

Генрих Хаапе Оскал смерти 1941 год на Восточном фронте

Операция «Барбаросса»

Пять минут до часа «Х»!

Сейчас 22 июня 1941 года. Вместе с командиром батальона Нойхоффом и его адъютантом Хиллеманнсом я стою на гребне невысокого холма на юго-восточной границе Восточной Пруссии. Прямо перед нами простирается равнинная, но пока почти невидимая в предрассветных сумерках Литва. В который уже раз я мельком взглядываю на фосфоресцирующий в темноте циферблат своих наручных часов. Ровно 3 утра. Я знаю, что именно в это мгновение, точно так же, как я, взволнованно всматриваются в свои часы и миллионы других немцев. Все они синхронизированы. Три громадных германских армии совместно с Люфтваффе пребывают в полной готовности к атаке, за которой последует колоссальная бойня. Гигантские сосредоточения неисчислимых рот, батальонов, полков и дивизий залегли в напряженной готовности; с нетерпением ожидают своего часа «зеро» многочисленные эскадры Люфтваффе — ближние и дальние разведчики, истребители, тактические и пикирующие бомбардировщики...

Четыре минуты до начала вторжения!

Весь Восточный фронт — от Финского залива на севере до Черного моря на юге — изготовился к нанесению сокрушительного удара по России. Удар этот будет нанесен одновременно со стороны Финляндии, Восточной Пруссии, Польши, Карпат и Румынии. Ужасающая стена сплошного огня из всех видов орудий вдоль всего этого фронта протяженностью более трех тысяч километров сметет оборону неприятеля — в этом никто из нас просто не сомневается! Наши победоносные армии, закалившие свой стальной дух на европейских полях сражений, вскоре не оставят камня на камне от линий укреплений русских! Каждый германский солдат полностью осознает огромное значение этой великой, колоссальной кампании. Каждый воин знает, что перед ним простирается страна бескрайних просторов и поистине неисчислимых расстояний, вне зависимости от того, в какую сторону направлено его оружие — на Ленинград, на Москву, на Днепр или на Каспийское море.

Три минуты до начала вторжения!

Я думаю о моих товарищах, военных врачах, находящихся сейчас в Финляндии — там, где рассвет в этот момент уже прорезал тьму своими первыми лучами. Нас же пока окутывает почти непроницаемая мгла глубокой ночи, ночи безлунной и беззвездной — все небесные светила надежно упрятаны низкой облачностью. Постепенно со стороны литовских равнинных полей начинает дуть едва заметный теплый ветерок, и я вдруг ощущаю на своем лице легкую испарину — следствие в гораздо большей степени ужасающего напряжения этих судьбоносных минут, нежели обычной духоты, свойственной летней ночи. В мертвенной тишине наши самые передовые штурмовые подразделения уже беззвучно подбираются к вселяющей невольный трепет пограничной линии. То же самое происходит не только в нашем секторе нападения, но и по всему огромному фронту. В окутывающем нас покрове ночной тьмы это всеобщее боевое товарищество ощущается всем сердцем, почти физически. Это братство охватывает собой каждого из трех миллионов немцев, готовых в этот момент развязать величайший холокост в истории человечества — операцию «Барбаросса». Кто-то невдалеке закуривает, вслед за чем в его адрес сразу же раздается резкий, но приглушенный окрик, и огонек недокуренной сигареты падает на землю и поспешно затапывается ногой. Вокруг не слышно больше ни слова — лишь изредка можно различить отдельное негромкое клацанье металла, короткий лошадиный всхрап или нервное биение копытом. Мне кажется, что я уже начинаю различать легкое, едва заметное

порозовение далеко-далеко в небе. Я начинаю старательно выискивать хоть что-нибудь, за что можно было бы зацепиться взглядом, на что можно было бы отвлечься от одолевающих меня мыслей. Рассвет все приближается и приближается. В восточном направлении уже становится возможным различить плотные образования серо-черных облаков. Неужели эти последние мгновения так и останутся бесконечными?! Я снова бросаю взгляд на часы.

Осталось две минуты!

Мои мысли помимо воли вдруг обращаются к Марте, каким-то неведомым образом связывают меня с ней. Наверное, она будет спать — так же, как горячо любимые жены и матери миллионов других мужчин, находящихся сейчас на этом необъятном фронте. Они не знают ничего о том, чем мы занимаемся в данный момент, не знают ничего о том, какие опасности поджидают их мужей и сыновей в ближайшие несколько часов, несколько месяцев, а может так стать, и несколько лет. Для них эта ночь — такая же обычная, как и тысячи других, и это именно то, чего нам так хотелось бы... Нам же — наступать! Нескончаемой чередой будут меняться названия населенных пунктов и имена отдельных людей. Некоторым посчастливится уцелеть, другие же будут увековечены в памяти каждого из нас. От одних останутся лишь смутные воспоминания, а другим суждено стать частью истории. Кому что уготовано, мы не знаем. Деревни будут разорены, города — разрушены. Насмерть перепуганные люди будут стоять по обочинам дорог с широко распахнутыми от ужаса и растерянности глазами. Поля сражений вдоль этих же дорог будет легко определить по огромным захоронениям погибших в них. И эта страшная война начнется, как только окружающая нас ночь уступит место первым лучам восходящего солнца.

Одна минута до часа «зеро»!

Мы не можем думать ни о чем другом, кроме как о том, что произойдет в следующую секунду-другую. Напряженность момента достигает такого предела, что дыхание многих вокруг становится в буквальном смысле слова затаенным. Мы ждем, наши лица застыли в своей окаменелости, пульс же, напротив, колотится как бешеный. Кажется, что вместе с нами в этом нечеловеческом напряжении застыл весь мир...

Почти внезапно тишина взрывается мгновенно возникшим — как будто из ниоткуда — могучим, ужасающим ревом тысяч и тысяч артиллерийских орудий. Их залпы настолько многочисленны и плотны, что слились в восприятии всех в один непрерывный оглушительный стон. Вспышки выстрелов сразу же превращают предрассветную мглу в «день». В это мгновение истины, раскалывающее жизнь на мир, оставшийся в прошлом, и войну, ставшую теперь настоящим, наша артиллерия «заговорила» вдоль всего более чем трех-тысячекилометрового фронта с такой поразительной слаженностью, как будто ее орудия были приведены в действие неким единым для всех них электрическим синхронизатором. Орудия всех калибров бьют практически прямой наводкой по передовым линиям обороны русских. Снаряды летят в стан врага прямо над нашими головами с низким, тяжелым и леденящим кровь гудением. Этому жуткому утробному звуку начинают вторить еще более неисчислимые пулеметы и автоматы. Если бы не драматизм происходящего, то звук их выстрелов на этом фоне больше всего напоминал бы безобидную трескотню детских игрушек. Русские наконец отзываются ответным огнем. Мы отчетливо слышим чуть менее утробное завывание их тяжелых снарядов, уносящихся над нашими головами в ночь за нами. Однако по мере того, как наводка большинства немецких орудий постепенно переносится на самый передний край вражеской обороны, интенсивность их огня превращается во всепоглощающее «крещендо». Вслед за столь массовой артподготовкой туда устремляются наши передовые штурмовые части, а их уже обгоняют «пантеры», изрыгая из себя огонь и сметая все на своем пути.

В считанные минуты весь Восточный фронт оказывается объятым всепожирающим пламенем!

* * *

18-я пехотная рота 3-го батальона все еще залегает в своих окопах, дожидаясь отдельного приказа к наступлению: особенность нашей задачи состоит в том, чтобы поддержать передовые наступательные силы в любой критический момент в том месте, где оборона возьмет над ними верх. Время от времени предрассветный сумрак немного оттеняет ослепляющий огонь артподготовки, и тогда из наших окопов становится видно, насколько стремительно происходит продвижение немецких штурмовых частей в глубь обороны противника. От Москвы, которая является для нас сейчас главной целью, мы отделены пока почти двумя тысячами километров русской земли.

6-я дивизия, к которой мы относимся, является, в свою очередь, частью Группы армий «Центр» под командованием фон Бока, и поэтому на нас будут обращены взгляды всей Германии, ожидающей именно от нас этой великой победы — в гораздо большей степени, чем побед Группы армий «Юг», продвигающихся на Украину, и побед Группы армий «Север»,двигающихся к Ленинграду. Мы твердо знаем, что наше направление имеет не просто приоритетное, но первостепенное значение.

Большинство пограничных застав русских уже взяты штурмом и объаты бушующим пламенем. Защитники лишь нескольких отдельных блиндажей все еще продолжают отважно и отчаянно защищаться, но и они вскоре будут окружены и разбиты. Вот строго на восток несется группа «штук» (пикирующий бомбардировщик и штурмовик *Junkers Ju-87 «Stuka»*), вот самолеты, один за одним, организованно выпадают из строя и переходят в почти отвесное пикирование для бомбометания, имеющее при этом, однако, все то же направление на восток. Звуки разрывов их бомб смешиваются с величественной общей звуковой симфонией сражения. Отбомбившись, «штуки» перестраиваются для повторного захода на выбранные ими цели, и на этот раз работают по ним пушками, а затем так же стремительно исчезают из виду где-то в стороне. С нашего небольшого возвышения все это выглядит как сцена из грандиозной батальной постановки. Позади меня, с биноклем в руках, неподвижно возвышается монументальная фигура командира нашего батальона Нойхоффа. Как будто пытаюсь убедить самого себя в чем-то, он уже в который раз негромко и многозначительно повторяет одну и ту же фразу: «Ну, вот мы и в состоянии войны с Россией! Войны с Россией!»

День постепенно вступает в свои права, и безмятежная предутренняя прохлада уступает место все большему и большему количеству пожаров, клубящихся густым грязно-черным дымом, который лениво поднимается кверху и расползается по пробуждающимся редким холмам и тенистым лесам. Поступает приказ к наступлению. Нойхофф отправляет посыльного с распоряжениями для наших связистов. На часах 3.45 утра. Кажется совершенно невероятным, что с тех пор, как вступили в дело наши пушки, прошло всего каких-то сорок минут. Мы выбрались на позицию и двинулись вперед. Движение приносит огромное облегчение, однако перемещаюсь я не пешком, а верхом на моей лошади, которую приходится при этом удерживать в довольно жесткой узде. Перепуганная кобыла ведет себя довольно беспокойно, а я пытаюсь хотя бы немного расслабиться: и человеку, и лошади совсем скоро предстоит настоящее крещение огнем. Я задаюсь по-настоящему непростым вопросом: а как выдержу все это я сам? Однако постепенно прихожу к выводу, что по крайней мере пока все в порядке. Рядом со мной, тоже верхом, едет мой конюх Петерманн. Он везет две сумки с комплектами медикаментов и инструментов для оказания первой медицинской помощи. В санитарной машине, движущейся вслед за нами в нескольких сотнях метров, находится остальная часть нашего медицинского персонала — Дехорн, Мюллер, Вегенер и водитель.

Встречаем первого нашего раненого солдата. Пулевое ранение в руку. Я достаю из сумки предусмотрительно припасенный в изобилии резиновый жгут и бинт. Кровотечение не очень сильное, поскольку пуля прошла руку навылет и при этом, по-моему, лишь слегка задела кость. Я накладываю жгут и подвешиваю руку на поддерживающую перевязь через шею.

— Ну как? — спрашиваю я солдата.

— Унтер-офицер Шаффер и еще один офицер, которого я не знаю, убиты, герр ассистензарцт, — отвечает мне он. — Других раненых и убитых, насколько мне известно, нет. Насчет того, что вообще происходит, — не уверен, все было так быстро...

— Возвращайся назад по этой дороге, — говорю я ему, — пока не встретишь санитарную машину, которая едет за нами.

Улыбнувшись, он не мешкая отбывает в указанном направлении. Можно сказать, что война закончилась для него уже через пять минут после того как началась. Вспрыгиваю обратно в седло и припускаю галопом по направлению к голове нашей колонны, Петерманн — следом за мной. Поравнявшись с командиром батальона Нойхоффом и скачущим бок о бок с ним его адъютантом Хиллеманнсом, я тут же слышу обращенный к себе вопрос первого:

— Все в порядке?

— Да, герр майор, потери пока невелики.

— Что вы подготовили для размещения раненых?

— Не беспокойтесь, герр майор, все спланировано со всей возможной обстоятельностью.

— Да, но все же, Хаапе, каковы именно ваши планы по этому вопросу? — продолжает настойчиво интересоваться Нойхофф.

— Дорога, проходящая через пограничную заставу с востока на запад, сливается затем с главным шоссе, ведущим к Кальверии, а там — наш госпиталь. Раненым, которым я уже оказал и еще окажу в дальнейшем первую медицинскую помощь в полевых условиях, велено дожидаться на этой дороге оберштабсарцта Шульца, который будет периодически курсировать по ней на санитарном автомобиле вместе с командой специально проинструктированных санитаров, собирать этих раненых и доставлять их в госпиталь. Тяжело раненные будут временно размещаться в близлежащих к дороге домах и либо также доставляться в госпиталь, либо обеспечиваться для ухода за ними санитарями или сиделками. Точно таким же образом организована эвакуация раненых и в других батальонах.

— Хорошо, — ворчливо соглашается наконец Нойхофф.

* * *

В нашем батальоне — один погибший офицер. Это совсем еще молоденький лейтенант Шток, его жизнь оборвана пулей русского снайпера. Тело было обнаружено на вытоптанном кукурузном поле. Два человека из 11-й роты под командованием Крамера, в которой служил и Шток, копали ему могилу в мягкой податливой земле рядом с тем же полем. За этим процессом молчаливо наблюдали четверо русских солдат. На двоих из них были при этом свежие марлевые повязки с еще сочащейся через них кровью. Мой маленький и чрезвычайно подвижный ординарец Дехорн даже дал одному из них напиться воды из своей фляги. Двоим же из этих четверых, насколько я заметил, медицинская помощь оказана не была, несмотря даже на то, что на ноге одного из них была совершенно очевидная серьезная рана. Четверку эту охранял подчиненный мне санитар Вегенер, причем в руках у него был, по всей видимости, автомат покойного Штока. Третий мой ординарец-санитар, ефрейтор Мюллер, тоже не спускал глаз с пленных, причем вид он при этом имел не только хмурый, но и довольно озадаченный.

Не отводя автомата от четверки русских, Вегенер отдал мне честь и доложил:

— Мы перевязали этих двоих, герр ассистензарцт, но что делать с двумя другими? Они устроили засаду на герра лейтенанта Штока, хотели напасть на него из этих зарослей. Наши люди смогли нейтрализовать их с помощью гранаты. Нам что, тоже оказать им первую помощь?

— Мы не судьи, Вегенер! — резко оборвал его я. — Наша работа — помогать раненым, и немецким и русским, даже если эти русские действительно убили одного из наших офицеров. Опустит автомат!

Двое наших солдат закончили тем временем рыть могилу для Штока и как раз опускали в нее его тело. Завершив погребение, они наскоро соорудили своими саперными лопатами над могилой холмик, склотили из двух стволов березок грубый крест и воткнули его сверху. Вот и все, что оставалось теперь сделать для Штока. Да, ну и еще, конечно, на крест была надета цепочка с его идентификационным жетоном, а сверху — водружена его каска, из чего явствовало, что здесь покоится лейтенант Шток, 21 года от роду... Ничего, конечно, не было сказано, например, о том, что этот прекрасный парень с удивительно тонкой и чувствительной натурой был при жизни блистательным пианистом; ни слова не было упомянуто и о том, что однажды, когда мы покидали Нормандию, своим исполнением «Лунной сонаты» он сумел добиться того, что я забыл обо всем на свете, но зато отчетливо вспомнил о главном и вечном. Теперь же он вдруг оказался вычеркнутым из жизни со всей ее красотой и полнотой, чтобы оказаться включенным в скорбные списки мертвых, и произошло это за какие-то считанные доли секунды — за тот ничтожно крохотный промежуток времени, который потребовался маленькой свинцовой пуле, чтобы долететь из дула русской снайперской винтовки до его сердца. До того момента я был, конечно, очевидцем не одной смерти, но, основываясь на этом субъективном и не таком уж обширном опыте, почему-то пребывал в некоем наивном убеждении, что у человека перед отбытием в мир иной есть по меньшей мере хотя бы несколько последних минут... Никогда раньше я не видел, чтобы человека можно было лишить жизни так мгновенно и настолько, если можно так выразиться, чисто! Гибель Штока как-то резко переключила мысли о себе самом на мысли о моих товарищах. В это мгновение у меня произошла существенная переоценка ценностей, и теперь я взирал на окружающий меня мир как бы глазами моих товарищей по 3-му батальону. Я с пронзительной ясностью осознал вдруг, что нашему батальону предстоит еще столько всего такого, что воспоминания о молодом лейтенанте Штоке и о его тонких пальцах пианиста будут постепенно просто вытеснены огромным количеством других, не менее трагических событий.

Проехав пограничную заставу, совмещенную с таможней, мы оставили позади себя Восточную Пруссию и оказались в Литве. Нашим взглядам уже не представляли не слишком привлекательные пейзажи, первым же запоминающимся элементом которых оказывалась словно бы паутина заградительных сооружений из колючей проволоки, опутавшей собой все луга и кукурузные поля. Перейдя границу, мы оказались как бы в совершенно другом мире. Земля, сельские пейзажи и вообще природа вроде бы и не слишком отличались друг от друга по обе стороны этой возведенной человеком разделительной линии. Очевидная разница, однако, просто бросалась в глаза: мы пришли с любовно обрабатываемых, культивируемых земель Восточной Пруссии и оказались вдруг, к своему вящему изумлению, среди каких-то диких каменистых полей, окруженных деревушками с покосившимися лачугами, в которых обитали очень бедно одетые крестьяне.

Через какой-то час с небольшим после своего начала война прокатилась над головами этих людей, практически не коснувшись их и не причинив почти никакого вреда. Она просто оставила их позади себя и таким образом уже как бы даже закончилась для них. Многие представители гражданского населения уже повылазили из своих укрытий, но выглядели при этом довольно беспомощно и пребывали в явном замешательстве. У нас, однако, не было времени останавливаться и что-то им советовать. Передовые части нашей пехоты углубились уже примерно на четыре-пять километров на территорию противника. А «пантеры», как нам было известно, проникли еще дальше на литовские равнины и вовсю совершали там свои ужасающие концентрические рейды. Не оставались без дела и Люфтваффе. Действуя с наших передовых тыловых аэродромов, они совершали один боевой вылет за другим. Враг был обращен в бегство — и это было самым разумным, что ему оставалось делать в сложившейся обстановке. Все утро мы совершали энергичный и чрезвычайно массированный марш-бросок, наши глаза и шеи устали при этом провожать штаффель за штаффелем, стремительно несущиеся на восток: «Хейнкели» и «Дорнье» с их басовитым и как бы немного пульсирующим гудением, «Мессершмитты» с их душераздирающим

завыванием и... бесконечные, неисчислимы «штуки». Все группы самолетов летели, поддерживая идеальное положение относительно друг друга в строю, как на воздушном параде, как будто бы не было ничего проще, как проходить вот так вот образцовым строем над оккупированной, но пока еще спорной территорией противника, т. е. над фронтовой полосой самых активных боевых действий.

Вдруг мы услышали в отдалении какое-то странное и постепенно приближающееся гудение, однако пока не могли рассмотреть ничего более или менее определенного, даже с помощью биноклей. И вот наконец в широкой бреші между низко висящими облаками мы наконец рассмотрели источник потревожившего нас звука. Это были... пять, шесть... семь русских бомбардировщиков. Наши колонны остановились, и люди бросились по обочинам в поисках хоть каких-нибудь укрытий. Зенитчики поспешно позапрыгивали на свои зенитные установки. Теперь стало уже хорошо видно, что это не тяжелые бомбардировщики, а маленькие и тупоносые истребители-монопланы, а вместе с ними еще и похожие на них бипланы — возможно, пикирующие бомбардировщики. Вся эта группа летела строго на запад и должна была вот-вот пройти прямо над нашими головами — их целью были, к счастью, не мы. Зенитчики открыли по ним не слишком упорядоченный огонь и таким образом обнаружили себя. Русские самолеты с небольшим снижением отклонились вправо от первоначального курса и благополучно проскочили мимо, а примерно через минуту мы слышали глухие разрывы их бомб где-то в полутора-двух километрах сзади, в нашем тылу, а затем увидели и взметнувшиеся вверх клубы пыли и дыма от этих разрывов. Вот они уже возвращаются обратно на восток, правда теперь немного стороной от нас, да и не в таком четком строю. Мы возобновили наше движение в том же направлении.

Первые пленные! Мы разглядывали их очень пристально и даже как-то жадно, желая понять сразу как можно больше о нашем новом враге. Их было примерно около взвода, одеты в поношенную форму какого-то неопределенного желто-зеленого цвета. Выглядели они как-то не вполне по-военному, слишком расхлябанно, и все как один обриты наголо. Тяжелые мясистые лица с крупными чертами были при этом какими-то на удивление невыразительными.

От расположенной неподалеку от дороги фермы, мимо которой мы в тот момент проходили, послышался крик — это звали нас с просьбой оказать первую помощь находившимся там раненым. Я отправился туда в сопровождении Дехорна и Вегенера. Войдя в дом, мы увидели группу штатских и нескольких раненых русских солдат. Я быстро оказал всем нуждавшимся в этом первую помощь, а Вегенеру приказал заняться легкими случаями и сделать доклад санитарной команде с наставлением управиться со всем этим как можно безотлагательнее.

Закончив с ранеными, мы отправились дальше. Надо заметить, что по мере нашего продвижения все дальше и дальше на восток я очень скоро понял, что, учитывая специфику наших задач, самым оптимальным для меня средством передвижения является... лошадь. Несясь верхом галопом по полям сбоку от дороги, я уже очень скоро смог обогнать маршировавшую по ней колонну и снова присоединиться к Нойхоффу, и именно в это мгновение с поля с мирно колыхавшимися на нем высоченными стеблями кукурузы — буквально метрах в пятнадцати спереди и справа от нас — вдруг раздалась выстрелы. Нойхофф осадил своего коня настолько резко и сильно, что от неожиданности тот взвился на дыбы и чуть не упал. Никто из нас не сомневался тогда, что стреляли прямо по нам. В мгновение ока мы спрыгнули на землю и пригнулись как можно ниже, успев заметить, как адъютант Нойхоффа Хиллеманнс и еще некоторые из наших людей стремительно бросились в кукурузу, осатанело стреляя прямо перед собою из всего огнестрельного оружия, у кого что было. Как только они скрылись в этих довольно густых зарослях, оттуда сразу же послышались звуки короткой, но отчаянной рукопашной схватки, отдельные pistolетные выстрелы, удары прикладами карабинов и приглушенные вскрики.

Первым, все еще сжимая свой карабин за ствол, из кукурузы выбрался обратно высоченный пехотинец из штабной роты. Пожав плечами, как будто такие эпизоды для него

— самое обычное дело, он бросил нам: «Все кончено!» Приклад карабина этого верзилы, как я сразу же заметил, был густо забрызган кровью.

Нойхофф и я поспешили в кукурузу. На совсем недавно вскопанной с целью сооружения укрытия земле, обгазированной еще теплой кровью, в совершенно противоестественных положениях лежали тела русского комиссара и четверых солдат. Их головы и лица были буквально вмяты в эту землю ударами прикладов. При виде этой душераздирающей картины у меня сразу же мелькнула мысль, что устроенная ими таким бестолковым образом засада на нас являлась, по сути, каким-то безумным способом самоубийства. Руки комиссара все еще судорожно сжимали вырванные с корнем стебли кукурузы. Потери с нашей стороны на фоне всего этого были несравненно меньшими: один человек ранен штыком в руку, у другого же — еще более легкое ранение икроножной мышцы. Немного йода, немного марли, пара полосок самоклеящегося пластыря — и оба вполне готовы продолжать путь вместе со всеми нами. Нойхофф, Хиллеманнс и я поехали вместе верхом во главе колонны.

— Не ожидал увидеть такое, — несколько потрясенно замечает наконец Нойхофф, вторя моим мыслям. — Атаковать пятером целый батальон... Это же чистейшее самоубийство!

Нам еще только предстояло узнать на собственной шкуре, что эти маленькие кучки русских окажутся одной из наших самых больших головных болей. Кукуруза вымахала более чем в человеческий рост и представляла собой идеальное укрытие для этих банд горилл, таившихся в ней, в то время как основная часть сил русских уже откатилась назад в поспешном отступлении. Как правило, верховодили у них фанатичные советские комиссары, и мы никогда не знали, откуда и, главное, когда раздадутся их выстрелы.

По мере того, как солнце приближалось, становилось все жарче и жарче, а поскольку мы топали тысячами ног по мельчайшей дорожной пыли, то постепенно вся наша амуниция — одежда, оружие, равно как лица и руки, — приобрела устойчивый светло-желтый оттенок. Пылевая завеса на дороге и вблизи нее была настолько плотной, что люди и машины просматривались сквозь нее вообще как какие-то потусторонние призраки. Я промочил гортань и губы глотком воды из своей походной фляги и был несказанно рад, когда вдруг объявили небольшой привал. Был как раз полдень, и мы расположились для отдыха в небольшом придорожном лесочке. Только мы устроились поудобнее в не слишком густой тени, как увидели приближавшуюся к нам с восточного направления группу русских бомбардировщиков. Они шли чередующимися виражами, явно выискивая какую-нибудь наземную цель.

Однако на этот раз им пришлось повстречаться с нашими «Мессершмиттами». 109-е устремились на них, как ястребы на стаю голубей! Атаковали они со стороны солнца, на пикировании. Проведя первую атаку, они ушли «горкой» вверх, набирая высоту для следующей атаки, и так, раз за разом, начали методично, одного за другим, отправлять на землю все до одного бомбардировщики. Первый из них, охваченный пламенем, перешел в беспорядочное падение и устремился вниз, вскоре за ним таким же факелом последовал второй. У третьего самолета оторвало одну плоскость, и он тоже, кувыркаясь, устремился к земле. Помню, меня тогда еще поразило, насколько медленно они падали. От самолета, оказавшегося без крыла, отделились две человеческие фигурки, а вот над ними раскрылись и купола парашютов. Наши истребители продолжали свои атаки до тех пор, пока в небе кроме них не осталось больше ни одного самолета. Вся вышеописанная схватка заняла, самое большее, десять минут.

Проезжавший мимо нас на мотоцикле вестовой крикнул нам, что один из бомбардировщиков рухнул прямо на артиллерийскую колонну. Там требовалась срочная медицинская помощь. Я припустил галопом в указанную мне сторону и, когда прибыл на место, узнал, что пятнадцать артиллеристов уже мертвы. За зарослями придорожных кустов лежало еще девять очень сильно обожженных солдат. Ожоги пятерых из них были столь ужасны, что я почти не надеялся, что они протянут более одного-двух дней. Оценив

обстановку, я отправил посыльного за санитарной машиной — для всех девятерых нужны были носилки, а я тем временем быстро занялся оформлением оперативных медицинских карточек на каждого из них: школьный учитель из Дуйсбурга, слесарь из Эссена, шахтер из Хамборна, портной из Динслакена, лесничий из Липперлянда, вагоновожатый трамвая из Оснабрюка и трое студентов из Мюнстера. Сдать их с рук на руки санитарной команде я смог только через пару часов. За это время я успел окончательно потерять свой батальон, и никто, казалось, не мог подсказать мне ничего вразумительного по поводу их хотя бы примерного местонахождения. Я прикинул, что если буду двигаться все время в юго-восточном направлении, то в конце концов выйду к дороге на Кальверию, которая являлась тогда местом официальной дислокации нашей дивизии.

Вместе с сопровождавшим меня верным Петерманном мы отправились в выбранном направлении по одной из проселочных дорог, надеясь, что так наш путь окажется короче, однако примерно через полтора-два километра я вдруг услышал выстрелы и мне показалось, что пули просвистели прямо возле моего уха. Будучи не слишком опытным военным, я не мог определить, с какого направления или с какого расстояния по нам стреляли, да и по нам ли это стреляли вообще, хотя, собственно, кроме нас на этом открытом месте, насколько хватало глаз, больше никого и не было. Мы быстро укрылись за оказавшимися поблизости кустами, и, осторожно оглядываясь по сторонам, я разглядел невдалеке какое-то фермерское подворье. Оно выглядело куда более надежным укрытием от пуль, чем какие-то там кусты, хотя там наверняка и было полно русских. Однако мне показалось, что к нему приближаются немецкие солдаты. Так и оказалось, и вскоре передо мной предстал наш гауптман, которому я и поведал вкратце о своих злоключениях.

— Ну что ж, — ответил он мне иронически, — в вашей истории нет ровным счетом ничего необычного. Мы играем с ними в эту игру с самого утра. Моя задача как раз и состоит в прочесывании окрестных лесов и полей в поисках этих горилл. Мы уже бог знает сколько их перестреляли и в плен взяли сто двадцать, но и я потерял при этом некоторых из моих лучших людей. Так что вы счастливчик, доктор!

— Вдвойне счастливчик, — в тон ему откликнулся я. — На наш батальон сегодня тоже была устроена засада, но мне, как видите, удалось уцелеть.

— Так происходит везде в сельской местности, — поведал он мне. — Эти свиньи, отходя, понаделали множество потайных складов с амунитией в кукурузных и других полях и, дождавшись, когда пройдут наши головные колонны, начинают постреливать оттуда из снайперских винтовок. А видели бы вы, какая у них межрасовая мешанина среди рядового состава! Я встречал даже монголов, татар и калмыков. Странное это вообще какое-то занятие — отстреливать этих узкоглазых ублюдков! Как будто в каком-нибудь Китае находишься...

Наговорившись со мной, гауптман указал мне верное направление к дороге на Кальверию.

— Не думаю, чтобы в этих полях вас потревожил еще кто-нибудь из этого сброда, — заметил он на прощание. — Этот участок я очистил от них полностью.

Теперь, однако, я был куда как более осмотрителен. Двигаясь напрямую через поля, я почувствовал, что моя нерешительность стала постепенно исчезать. Я вдруг осознал, что вовсе не каждая пуля находит свою цель.

По искомой мною дороге на восток двигалась плотная и нескончаемо длинная колонна солдат, техники и буксируемых артиллерийских орудий. Среди этого грандиозного скопления людей и машин я вдруг разглядел один из автомобилей нашего батальона. Я радостно припустил галопом вдоль дороги по обочине. Навстречу стали попадаться все более и более многочисленные группы пленных, конвоируемых в наш тыл. И вот я встретил наконец одного из наших людей. Это был командир 10-й пехотной роты, бульдогоподобный, но при этом до невозможности добродушный Штольц. Он был, как и я, несказанно рад тому, что ему удалось не только успешно выполнить поставленную задачу где-то в нескольких километрах севернее, но и при этом еще и благополучно пробраться по таящим множество опасностей проселкам обратно к трассе и присоединиться к нашему батальону.

— Эй, доктор! — крикнул он мне. — Для вас есть работа. Видите вон ту ферму? — Штольцева лошадь подскакала к моей столь стремительно, что чуть не налетела на нее, а его рука тем временем указывала на какое-то место где-то даже меньше чем в километре от дороги, в полях. — Там есть раненые!

— Из ваших?

— Нет, благодарение Богу. Но им очень нужен доктор, там сейчас с ними только санитар-носильщик.

— Спасибо, Штольц, я еду туда!

— Эй, доктор, лучше бы вам взять с собой для спокойствия пару моих людей. Но только чтобы потом они ко мне обязательно вернулись. Да чтобы вместе, а не порознь!

Он отдал какие-то распоряжения отправляемым со мной унтер-офицеру и солдату и, взмахнув рукой своей роте, чтобы та следовала за ним, поскакал вдоль дороги, чтобы присоединиться к основной части нашего батальона. Что же касается меня, то я уже несколько часов как не слышал ничего ни о подчиненной мне санитарной команде, ни о санитарной машине. Поэтому я послал одного из своих новых попутчиков к оберштабсарццу Шульцу с распоряжением выделить нам санитарный автомобиль. Приехал он довольно быстро, поскольку все на дороге пропускали его, даже если для этого надо было сойти на обочину в густую придорожную пыль. Я приказал шоферу санитарной машины ехать к ферме, а сам отправился следом верхом вместе с Петерманном. Когда мы въезжали на двор фермы, позади нас в землю, взметнув фонтанчики пыли, ударили несколько пуль.

Внутри фермы прямо на полу главной большой жилой комнаты лежало пятеро наших солдат; двое из них были уже мертвы, хотя их тела даже еще не успели остыть. Санитар-носильщик, оказавшийся уравновешенным и спокойно говорившим человеком средних лет, доложил мне:

— Это ужасно. Впервые в жизни я испытываю отчаяние, герр ассистензарцт. Теоретически я, конечно, все это представлял себе и раньше. Но один только вид настоящих, реальных ранений напрочь вышибает из головы все теории! — умоляюще глядя на меня, проговорил он. — Надеюсь, эти двое умерли не по моей вине. Я старался делать все, что мог...

— Не изводитесь так. Они в любом случае были уже не жильцы, — попытался приободрить его я, осматривая тем временем троих еще пока оставшихся в числе живых раненых. — Насколько я вижу, вы вполне хорошо поработали, так что не переживайте по поводу позабытых теорий.

В самую первую очередь я занялся раненым в брюшную полость. Пуля вошла в нижнюю часть живота, прошла навывлет и вышла в средней подреберной части спины немного левее позвоночника. Лицо солдата было мертвенно-бледно и перекошено болью, на лбу блестели крупные капли пота.

— У вас обычное сквозное ранение брюшной полости, — со всей определенностью и как можно более беззаботно сказал я ему, как будто бы речь шла о пустяковой царапине живота. — Думаю, что внутренние органы и кишечник повреждены не слишком сильно — во всяком случае, не смертельно. Вас необходимо безотлагательно прооперировать. Единственную по-настоящему серьезную опасность для вас сейчас представляет внутреннее кровотечение, но если вы были ранены уже пару часов назад и до сих пор живы — то выживите и дальше, — проговорил я с обнадеживающей улыбкой. — Санитарная машина уже дожидается снаружи. Она доставит вас в госпиталь, где вас сразу же прооперируют. Не волнуйтесь. Считайте, что вы уже на полпути домой.

Когда его искаженное гримасой боли лицо немного расслабилось, он смог мне чуть-чуть улыбнуться, а я тем временем осторожно обработал входное и выходное пулевые отверстия, закрыл их тампонами, закрепил их и завершил процедуру нанесением особого дезинфицирующего и герметизирующего состава из целлюлозы. Немного подумав, я еще и выстриг ножницами остатки пропитанной кровью, потом и грязью гимнастерки вокруг обеих ран. Санитар-носильщик помог мне подвязать колени раненого к его шее в положении у

подбородка — с тем, чтобы максимально расслабить мышцы живота. Сделав ему болеутоляющий, успокаивающий и противостолбнячный уколы, я плотно укутал его на носилках теплым одеялом, заполнил карточку ранения, и мы отнесли его в санитарную машину. Закончив с первым раненым, я сразу же приступил ко второму. Ранение головы. Без сознания. Обработав и перевязав рану, я отправил его вслед за первым.

У третьего солдата было сквозное пулевое ранение верхней части бедра. Резиновый жгут для остановки кровотечения был наложен правильно, сверху от раны, и затянут не слишком сильно, но сделано это было, судя по всему, уже довольно давно — нога онемела уже почти полностью. Я достал из своей медицинской сумки приготовленный как раз для таких случаев зажимной хомут и велел санитару-носильщику снять с бедра жгут. Как только это было сделано, из перебитой пулей артерии стала пульсирующе выбиваться кровь. К счастью, артерия была не главной, иначе шансы на спасение ноги были бы слишком малы.

Я прижал к ране ватный тампон и одним-единственным точным надрезом ножниц немного удлинил ее вверх. Затем, убрав тампон, я быстро зажал край артерии хомутиком. Кровотечение из нее прекратилось, и кровь более активно устремилась по другим неповрежденным артериям в кровеносную систему ноги, которая за последние пару часов омертвела уже почти бесповоротно. Раненый вопросительно посмотрел на меня.

— Теперь нам придется немного подождать и посмотреть, не утратили ли вены вашей ноги своей способности пропускать через себя кровь. Если наполнение кровообращения окажется достаточным, то это вернет вашу ногу к жизни. В вашем случае, я думаю, все будет хорошо, — заверил я его.

— Герр ассистензарцт, — послышался негромкий голос санитару-носильщика, — здесь одна крестьянка сварила для вас большущую банку кофе.

С огромной благодарностью я принял банку горячего дымящегося кофе от пожилой женщины, которую заметил только сейчас. Взглянув на наручные часы, я увидел, что было уже 3.15 дня. Мы пребывали в состоянии войны с Россией ровно двенадцать часов, однако в последний раз я ел и пил что-то кроме воды уже восемнадцать часов назад. Есть совершенно не хотелось, но жажда была просто ужасной.

Женщина сама налила кофе в большую кружку и подала ее мне, проговорив на хорошем беглом немецком:

— Я так счастлива, что пожары миновали наш дом! Моя мать была немкой — из Прибалтики, а когда я была маленькой девочкой, то даже жила два года в Берлине. Вот уж были счастливые деньки — старые добрые времена!

— Добрые времена возвращаются! — с благодарностью заверил ее я и, улыбнувшись, произвел кружкой движение, какое делают при провозглашении особо торжественных тостов. Кофе оказался настолько неожиданно вкусным, что, допив первую кружку, я тут же, уже сам, налил себе вторую.

В какой-то из задних комнат вдруг раздался резкий звук расколотаго пулей оконного стекла.

— И вот так целый день! — горестно посетовала женщина. — Это русские стреляют из того леса, что за домом.

Я выбежал наружу и подозвал к себе двоих из штольцевской роты.

— Сдается мне, что вы не слишком-то сильно расстарались, чтобы вычистить оттуда всех русских! — набросился я на них.

— Мы прочесали весь этот лес вместе с обер-лейтенантом Штольцем — ни одна мышь не ускользнула бы! — с невозмутимым достоинством ответил мне унтер-офицер.

— А кто же это тогда стреляет? — продолжал настаивать я.

— Возможно, герр обер-лейтенант, что что-нибудь да должно остаться и для следующих за нами частей второй линии, чтобы им было о чем писать в письмах домой.

— Имя?! — резко оборвал я его.

— Шмидт, герр ассистензарцт.

— Профессия?

— Юрист, герр ассистензарцт. Адвокат, с вашего позволения.

— Не удивлен. Большой остроумник, не так ли? Так вот, господин остроумник, в данный момент вы находитесь у меня в подчинении и поэтому будете неукоснительно выполнять все мои распоряжения. Ясно?

— Да, герр ассистензарцт.

— Ну так и присматривайте за этими русскими в лесу, чтобы вели себя тихо!

— *Zu Befehl!* (Слушаюсь!) — продолжая нахально паясничать, ответил он мне и картинно вскинул свой легкий ручной пулемет, направив его на лес и изобразив на лице суровую решимость. Прежде чем он успел натешиться своей дешевой клоунадой, еще одна русская пуля пробила вдруг крышу нашей санитарной машины. Махнув рукой на замершего в идиотской позе юриста, я велел шоферу перегнать автомобиль в более подходящее для укрытия место за домом, а сам поспешил вернуться в дом к «своей» ноге. Она заметно порозовела, и когда я стал щипать раненого за бедро и даже за пальцы, он уже ощущал это. Теперь венозное кровообращение можно было считать относительно удовлетворительным. Итак, пора было возвращаться обратно, время в нашей ситуации было исключительно дорого. Зажимный хомутик надежно предотвращал кровотечение из поврежденной артерии. Я не стал его трогать, но все же решил подстраховаться и наложил на артерию жгут локального действия — на тот случай, если хомутик вдруг сорвется. Сделав солдату противостолбнячную прививку, я собственноручно вместе с санитаром-носильщиком отнес его в санитарную машину.

— Не переживайте, — успокоил я его напоследок, — ваша нога заживет и полностью восстановится.

— Спасибо вам, герр ассистензарцт! — взволнованно откликнулся он, и его глаза заблестели. — И вам тоже спасибо, герр Пфarrer, за то, что молились за меня!

Поймав на себе мой недоуменный взгляд, санитар-носильщик попытался ответить на мой не прозвучавший вслух вопрос:

— Когда мы, оказавшись тут без защиты, уже начали всерьез опасаться, что нас вскоре попросту перебьют те русские, что засели в лесу прямо за пастбищем, у нас было достаточно времени подумать о душе. Но я все же верил, что Господь Бог не оставит нас без помощи. И поэтому я молился... Видите ли... я ведь раньше был священником... Ведь вера действительно привносит в душу покой и вселяет в нас мужество...

Я был очень тронут и, немного помолчав, сказал ему:

— Вам не в чем себя винить. Вы все делали правильно.

На карточке ранения, привязанной к шее раненого в живот, было написано красным карандашом моей рукой: «ОПЕРИРОВАТЬ НЕМЕДЛЕННО» с тремя восклицательными знаками.

— А теперь жми на полную в госпиталь! — крикнул я шоферу санитарной машины. — Да не забудь доложить, что двоих здесь надо похоронить.

Санитарная машина рванула в обратный путь и, как только выехала из спасительного укрытия, тут же оказалась под градом пуль. Я мог только стоять и наблюдать в бессильной ярости за этой исполненной драматизма картиной — ведь огромный красный крест на фоне белого круга на борту машины был прекрасно различим в ярких лучах полуденного солнца. Если бы хоть одна пуля попала в двигатель и вывела его из строя, раненый в живот умер бы, в этом не было никаких сомнений. Вдруг с другой стороны здания оглушительно загрохотал ручной пулемет юриста, и обстрел нашей санитарки сразу же прекратился. Очевидно, господин остроумник все же засек, откуда стреляли русские снайперы, и подавил их своим огнем.

— Я не успел сказать вам, герр ассистензарцт, — услышал я в этот момент какой-то не слишком уверенный голос санитара-носильщика. — Погребение здесь требуется более чем для двоих.

— Что вы имеете в виду?

— Там, в ложбине по другую сторону дома, лежат еще шесть тел.
— Сколько?
— Шесть, герр ассистензарцт, и один из них — врач.
— Вы уверены в том, что все они действительно мертвы?
— Мне так сказали.
— Мы должны убедиться в этом сами. Пойдемте со мной, падре. Юрист, прикройте нас своим огнем, когда мы побежим вон к той канаве!
— *Jawohl*, герр ассистензарцт! — осклабился тот.

Ложбина, на которую указал мне санитар-носильщик, находилась метрах в ста от дома. Мы стремительно бросились к ней и уже успели нырнуть и скатиться внутрь, как следом за нами — невзирая на то, что от фермы без умолку грохотал пулемет, — обрушился град русских пуль, взметнувших огромные фонтаны пыли на обоих возвышающихся краях. Окажись мы чуть менее расторопны, — могли бы и не добежать последних метров двадцати.

В ложбине в неестественных позах были распростерты шесть человеческих тел. Санитар-носильщик, который еще совсем недавно был напарником уже известного нам падре, лежал на спине, широко раскинув руки, а четверо других солдат — неподалеку от него, в тех позах, в каких и попадали, когда их настигла смерть. Шестым был действительно военный врач, лежавший ничком, уткнувшись лицом в землю. На его левом рукаве виднелась белая повязка с красным крестом, а в правой руке он все еще сжимал древко белого же флага с таким же красным, но огромным крестом, отчетливо различимым, при желании, с любого расстояния. Содержимое его медицинской сумки было рассыпано вокруг.

Как будто боясь, что его может услышать кто-нибудь кроме меня, Пфarrer взволнованно зашептал прямо мне на ухо:

— Русские залегли в ста метрах отсюда — видите, вон там, за теми кустами! Доктор собрал всех раненых сюда, в котловину, и оказывал им первую медицинскую помощь, и в этот момент русские стали по ним стрелять. Я наблюдал за всем этим с фермы и, конечно, ничем не мог помочь им. Доктор встал во весь рост и стал размахивать флагом, но они не прекратили огонь. Он упал, а они все стреляли и стреляли до тех пор, пока в ложбине не прекратилось какое-либо движение. Это ужасно... хладнокровное убийство...

На этом голос санитара-носильщика задрожал и оборвался, а в глазах появились крупные слезы.

Мы подползли к мертвому врачу, и я осторожно перевернул его с живота на спину. Челка светлых волос упала с его бровей — и, о ужас... в охватившем меня мертвящем оцепенении я воззрился в широко распахнутые, но ничего уже не видящие глаза Фрица!

Ни с того ни с сего в моей памяти всплыла вдруг отчетливая картинка: Фриц и я — два унтерарцта, облаченные в новенькую униформу, жизнерадостно дожидаясь отправления поезда на железнодорожном вокзале Кельна. А вот и другое, яркое и четкое как явь, воспоминание: Фриц в ночной пижаме в номере отеля в Ле-Мане, пребывающий в серьезном замешательстве по причине того, что ему никак не удастся убедить очаровательную молодую француженку покинуть его постель. И я, неистово настаивающий на своем законном праве занять причитающуюся мне вторую кровать номера и уже подумывающий о том, как бы предстоящая ночь не превратилась в ночьку с *ménage a trois*. Как же мы хохотали на следующее утро, когда вспоминали этот забавный эпизод, сколь заразительна была неподдельная веселость Фрица, да и француженка оказалась действительно восхитительной девушкой...

Сейчас же я все никак не мог оторвать исполненного муки и печали взгляда от своего старого друга, распростертого на чужой земле — как будто я мог усилием какой-то нечеловеческой воли заставить эти глаза вновь посмотреть на меня, а эти застывшие губы заговорить со мной... Всего двенадцать часов войны, всего в нескольких километрах на русской территории, и я уже потерял одного из своих ближайших друзей. Это было уже слишком, слишком много для первого дня войны против нового врага, чьи методы ведения боевых действий мы еще только начинаем с трудом постигать. Мое перенапряженное

сознание наполовину отказывается воспринимать смерть Фрица. Коленопреклоненный Пфarrer терпеливо дожидается позади меня, когда я выйду из оцепенения.

Ни слова не произнося и вряд ли ясно осознавая, что я делаю, я взвалил Фрица на плечо, неуклюже выбрался из ложбины наружу и, медленно переставляя отяжелевшие ноги, направился к ферме. Ни из леса, ни из дома не прозвучало на этот раз ни единого выстрела. Пфarrer решительно и безропотно последовал за мной.

Я осторожно опустил тело Фрица на траву в саду за домом. К нам подошли двое пулеметчиков и Петерманн. Жутко изрешеченная пулями, выпущенными почти в упор, гимнастерка Фрица была вся густо пропитана его кровью. Я расстегнул ее и снял с шеи цепочку с идентификационным жетоном, затем последовательно вынул из карманов документы, расчетную книжку, аккуратно упакованную стопку фотографий, спички и портсигар. Все это я бережно завернул в носовой платок и передал этот узелок Петерманну.

— Надо будет отправить это его родным, — каким-то не своим голосом бросил я ему вслед, когда он повернулся и направился с ним к дому.

В углу кухни была составлена целая пирамида из оружия погибших и раненых, которых мы уже отправили в госпиталь и которым оно больше не понадобится. Я выбрал автомат с полным магазином патронов, еще два полных магазина рассовал по карманам, а в нагрудные карманы гимнастерки положил две легкие гранаты. Петерманну я вручил карабин. Не спрашивая ничьего разрешения, Пфarrer тоже молча взял карабин и повесил его себе на плечо.

— Давайте-ка заставим этих русских поприйтихнуть в своем лесу до тех пор, пока мы не выберемся отсюда, — опять же каким-то чужим голосом проговорил я. — И пусть им будет что вспомнить о встрече с нами.

На губах юриста играла адресованная мне кривая ироническая ухмылочка, и я заметил, что он к тому же выразительно поглядывает на мою нарукавную повязку с красным крестом, забрызганную кровью Фрица.

— Ты прав, — кивнул я ему в ответ, хотя он ни о чем и не спрашивал, медленно стянул повязку с рукава, аккуратно сложил ее и засунул во внутренний карман гимнастерки. — Это действительно как-то не сочетается с огнестрельным оружием, да и в любом случае ничего не значит для русских. Правила Женевской конвенции здесь не действуют. Теперь я такой же солдат, как и все вы. Слышишь, ты, юрист?

Мы осторожно, по одному, выбрались наружу и стали пристально всматриваться в тот участок леса, откуда, как мы полагали, русские в основном ведут огонь. Я мельком взглянул на адвоката Шмидта. «Огонь!» — скомандовал он, и его пулемет, мой автомат и две винтовки одновременно открыли шквальный огонь по деревьям на уровне груди.

— Это заставит этих *Scheisskerle* (нем. — засранцев, говнюков) попадать на землю хотя бы на некоторое время, — прокомментировал Шмидт.

Воспользовавшись замешательством врага, мы поспешно отступили за дом, запрыгнули на наших лошадей и припустили восвояси, каждую секунду ожидая в спину пулю снайпера... А уже через несколько минут влились в непрерывный поток людей и машин на пыльной дороге, ведущей нас на восток.

Медицинское обеспечение — неудовлетворительно!

Наши войска стремительно продвигались в глубь территории России. Если не считать тех первых нескольких минут на рассвете, организованного сопротивления нам нигде не оказывалось. Каким бы частям ни была доверена охрана западной границы Советов, подразделения эти были разбросаны довольно фрагментарно. Реально «фрагменты» эти, как я смог убедиться, могли представлять ощутимую опасность лишь для отдельно же взятых наших подразделений, вступающих с ними в непосредственное противостояние, но для германской армии в целом их действия были подобны лишь досаждающей активности отдельных и не слишком многочисленных злобных насекомых. В течение нескольких

последующих часов я был всецело занят тем, что, так сказать, наносил болеутоляющую и заживляющую мазь на злобные укусы этих враждебных нам «насекомых», которые в действительности представляли собой разрозненные группы красных фанатиков, то там то сям изводящие наши марширующие колонны. До самой поздней ночи я неустанно перемещался от одной группы раненых к другой, от другой к последующей — и так без конца. Надо заметить при этом, что большинству раненых первая медицинская помощь оказывалась сразу же санитарями-носильщиками, я же был занят только наиболее тяжелыми случаями. Такая организация нашей работы представлялась нам тогда наиболее оптимальной.

Отбрасывая длинные тени на шагавших по кальверийской дороге людей, солнце как-то слишком уж долго все медлило и медлило окончательно скрыться за западным горизонтом. По-настоящему начало темнеть уже только после десяти вечера, и для работы с ранеными потребовалось дополнительное искусственное освещение. С наступлением ночи с равнинных полей стало задуть довольно прохладным и бодрящим ветерком.

Я как раз заканчивал выполнение своих обязанностей на одном из очередных импровизированных санитарных пунктов и подумывал о том, как бы мне настичь свой батальон, чтобы присоединиться к нему для ночного привала, как ко мне примчался на коне и обратился за помощью ассистензарцт 2-го батальона Кнуст. По его словам, у него оставалось четырнадцать еще даже не осмотренных раненых в таком же санитарном пункте у дороги на Мемель.

Тут нам очень удачно подвернулась как раз освободившаяся санитарная машина, поэтому мы перепоручили наших уже здорово подуставших лошадей Петерманну с наказом дожидаться нашего возвращения рядом с большим приметным перекрестком. Добравшись до места за полчаса, мы нашли раненых в довольно плачевном состоянии. Ими была получена лишь первая простейшая медицинская помощь от санитаров-носильщиков, и они ждали врача уже с двух часов дня. В результате ощутимой потери крови многие из них испытывали сильный озноб. В свете факелов было прекрасно видно, что лица их искажены давно и с трудом преодолеваемой болью. К счастью, эта позабытая и покинутая всеми группка изувеченных войной людей все еще не утратила присутствия духа. Четверо наименее тяжело раненных выставили свои пулеметы на изготовку и держали наготове ручные гранаты на случай внезапного ночного нападения врага, которое было гораздо более чем просто теоретически возможным. Мы достали из санитарки все шерстяные одеяла, что там были, а саму машину установили таким образом, чтобы можно было работать при свете ее фар. Санитар-носильщик, остававшийся с этой группой, подвел нас к самым тяжелым раненым, и шестерых из них мы почти сразу же перенесли в машину для немедленной отправки в госпиталь. Вернувшись к остальным, мы соорудили из одеял и стволов молоденьких деревьев импровизированную палатку, чтобы как-то оградить раненых от довольно прохладного ветра. Все они ни на мгновение не выпускали при этом из рук своих винтовок, а тем, что дежурили у пулеметов, были выданы еще и дополнительные одеяла.

— Остальных заберет другая машина, которую мы пошлем за вами, — твердо заверили мы санитар-носильщика. — Не позже чем к утру. Прощайте и удачи вам!

Кнуст и я забрались в кабину к водителю. Мой автомат, с которым я теперь не расставался, лежал у меня на коленях, а нагрудные карманы успокаивающе оттягивали еще и две гранаты. Пока санитарка медленно и с трудом пробиралась в ночи, освещая себе фарами песчаную проселочную дорогу, Кнуст уснул. На рукаве его все еще болталась повязка с красным крестом.

Я тоже очень хотел заснуть — мое тело буквально вопило от усталости, требуя себе хотя бы кратковременного отдыха, однако мозг упорно сохранял повышенную активность. Перед моим мысленным взором стремительно проносились тысячи картин и событий сегодняшнего дня. Событий, которые я ощущал необходимым безотлагательно осмыслить и тщательно рассортировать. Ведь те всего несколько километров фронта, на которых я находился последние двадцать часов, — это же, по сути, почти ничто по сравнению с

огромным продвигавшимся на восток германским фронтом, протянувшимся от Балтики до Украины! На скольких полях и холмах, в скольких лесах и траншеях умирали сейчас, вот именно в этот конкретный момент, раненые немецкие солдаты, отчаянно дожидаясь помощи, которая не придет или придет, но уже слишком поздно? Вне всякого сомнения, рассуждал я про себя, армия могла бы быть подготовлена и более основательно к тому, чтобы более эффективно справляться с возникшим адским коктейлем из смятения, неразберихи, страха и безысходности, остававшихся ужасающим шлейфом за идущими впереди штурмовыми батальонами. Может быть, конечно, организация и обеспечение самых передовых частей и были вне критики, но, на мой взгляд, наблюдалось также и очевидное, я бы даже сказал, преступное пренебрежение к нуждам подразделений второй линии, следовавших сразу за этими передовыми частями. Конечно, может, было бы даже лучше порекомендовать наступать немного помедленнее, если бы это высвободило нам хотя бы немного времени для того, чтобы успевать находить и спасать раненых и предавать земле погибших.

За всеми этими размышлениями мы незаметно доехали до места встречи с Петерманном и дальше двинулись уже верхом, прикидывая, как бы нам снова догнать батальон. Вдруг из темноты возникла и поравнялась с нами полевая машина командира нашего полка. Оберст Беккер сидел впереди, рядом с водителем, его адъютант — сзади. У меня мелькнула мысль, что не иначе как само Провидение избрало меня своим глашатаем для того, чтобы я смог поделиться с Беккером своими мыслями и чувствами по поводу вопиющей дезорганизованности в действиях частей второй линии и трудностей, мешающих оказывать раненым своевременную и качественную помощь. Обычные доклады подчиненных своим командирам довольно стереотипны и сводятся примерно к следующему: «Ничего необычного... Ничего такого особенного... Ничего из ряда вон выходящего, о чем стоило бы докладывать». Однако на этот раз у меня *было* о чем доложить. И я чувствовал, что оберст Беккер, будучи рьяным приверженцем дисциплины и порядка, по достоинству оценит мою откровенность и даже будет благодарен мне за такой доклад. В первую очередь он всегда проявлял очень чуткую заботу о своих солдатах, и к тому же я знал, что он меня помнит и уважительно расположен ко мне еще со времени нашей совместной службы в Нормандии. Впервые это проявилось тогда, когда он обратил свое внимание на мою привычку сокращать в составляемых мной медицинских докладах словосочетание «Haltepunkt» (пункт остановки) до специфической и даже как бы этакой сленговой медицинской аббревиатуры «Нр.». С тех пор он так и прозвал меня — Хальтепункт. Но как бы то ни было, мне было приятно, когда я услышал из остановившейся машины:

— Здравствуйте, Хальтепункт. Как обстановка?

Спешившись, я отдал честь приветливо улыбающемуся мне оберсту и ответил со всей возможной прямоотой:

— Положение неудовлетворительное в слишком многих отношениях, герр оберст. Информация о местонахождении и количестве раненых поступает зачастую либо слишком поздно, либо даже не поступает вовсе. Офицеры и солдаты на переднем крае наступления уделяют раненым не слишком много внимания, и в результате мы не имеем с ними должного взаимодействия.

Брови Беккера медленно поползли вверх, а глаза стали наливаться сталью, но я все равно продолжал, уже почти сорвавшись в крик:

— Раненые разбросаны на слишком больших площадях, герр оберст, и в результате получают либо недостаточную медицинскую помощь, либо не получают ее вообще!

— Где ваша повязка с красным крестом? — резко и гневно спросил он, с явным неудовольствием покосившись на мой автомат и рукав без повязки.

— Я снял ее, герр оберст.

— Кто приказал?

— Никто, герр оберст.

— Доложите начальнику медицинской службы, что самовольно сняли с себя повязку.

Немного помолчав и, по всей видимости, стараясь взять себя в руки и успокоиться,

Беккер прокашлялся и проговорил уже более миролюбиво:

— Будьте добры воздерживаться от критиканства передовых боевых подразделений, а вместо этого сконцентрироваться на выполнении собственных служебных обязанностей. Действия боевых подразделений — не ваша забота, вы отвечаете за заботу о раненых! Будьте добры, еще раз повторяю, помнить об этом.

Оберст приказал своему водителю двигаться дальше, и машина энергично тронулась с места.

Я грузно взобрался обратно в седло, ощущая себя побитой ни за что собакой, мокрым пуделем. Я был зол и в то же время совершенно опустошен и подавлен. В список моих печальных опытов было внесено еще одно правило, которое следовало неукоснительно соблюдать в ходе ведения боевых действий: никогда не рассчитывать на какое бы то ни было содействие со стороны боевых подразделений. Если же какая-то помощь и будет вдруг оказана — как это было в случае с выделенными мне Штольцем двумя его людьми, — относиться к этому как к неожиданному дару свыше. С этого момента я твердо решил создать свою собственную систему оказания помощи раненым, одной из главных определяющих черт которой была бы моя максимальная независимость от кого и чего бы то ни было. Нелицеприятная беседа с Беккером стала для меня хорошим уроком! И хорошо, что я получил его раньше, а не позже — это должно было сослужить мне хорошую службу в дальнейшем.

Справа от дороги рядом с каким-то домом стояла санитарная машина. Подумав, что моя помощь может оказаться полезной, я вошел внутрь, но обнаружил, что там уже находится врач из 1-го батальона и ситуация у него полностью под контролем. Мой коллега поведал мне печальную историю о том, как трое наших санитаров-носильщиков и раненые, которым они оказывали в тот момент помощь, были зверски перебиты русскими в ходе боя за какой-то там бункер недалеко от границы. Мое сердце ожесточилось против врага еще сильнее.

Ближе к ночи стало возможным подолгу ехать прямо по самой дороге, которая теперь была почти свободна от колонн, устраивавшихся на привал и готовившихся урвать во время него хотя бы немного времени на сон. Тут я увидел прямо рядом с дорогой свет и толпу людей вокруг навеса, изнутри которого он исходил. Подъехав ближе, я разглядел, что рядом с навесом стоит и машина оберста Беккера. Доносившиеся оттуда чрезвычайно привлекательные запахи мясного гуляша и какого-то супа заставили меня осознать, насколько я нечеловечески голоден.

— А вот и господин Хальтепункт! — весело поприветствовал меня Беккер. — Вы сегодня что-нибудь ели?

Казалось, он уже совершенно забыл о суровом разноре, устроенном мне всего лишь какой-то час назад.

— Нет, герр оберст, — откровенно признался я.

Моя обида на старого вояку куда-то сама собой улетучилась.

— Тут вот сварили изумительный гороховый суп с говядиной. Присоединяйтесь-ка и отведайте. Ну прямо точно как по-домашнему!

Наваристый суп из огромного чугунного котла был действительно божественно вкусен. Энергично опустошая поданную мне дымящуюся миску с ним, я невольно припоминал слышанное мной о старом оберсте. Он всегда питался той же самой пищей, что и его подчиненные, причем никогда не приступал к еде до тех пор, пока не убеждался в том, что все его люди накормлены.

— Запомните хорошенько, Хальтепункт: хорошая кормежка помогает телу и душе крепко держаться друг дружки, — приговаривал Беккер, пока я был всецело занят супом. — Никогда не проходите мимо полевой кухни!

Заботливо, ну прямо-таки по-отечески дождавшись, пока я закончу с едой, он возбужденно продолжил:

— Знаете, насколько продвинулись за сегодняшний день наши разведывательные

подразделения? До самого Мемеля! Мы уже почти дошли до Мемеля, Хальтепункт! Это означает, что за первый день мы преодолели семьдесят километров вражеской территории. Можете мне верить, Хальтепункт, это выдающееся достижение!

Все солдаты вокруг навеса с полевой кухней были накормлены, и вот наконец водитель Беккера принес старику тарелку точно такого же супа и большой ломоть армейского хлеба. Разломив его пополам, Беккер протянул один кусок мне. Принявшись с аппетитом за еду и не отрываясь от нее, он продолжал и продолжал говорить:

— Мне понятна ваша позиция. По-вашему, отдельные группы раненых рассеяны по слишком обширным площадям — это ведь ваши слова, не так ли?

Пристально глядя на меня из-под своих косматых бровей, он совсем по-стариковски то и дело помаргивал глазами.

— Теперь извольте выслушать мою точку зрения. Важен в конечном итоге лишь результат боя. Возможно, на сегодняшний день ситуация находится и не под таким безупречным контролем, как нам этого хотелось бы, однако для русских она — вообще катастрофическая. Да, Хальтепункт, говорю вам, катастрофическая!

Отломив кусочек хлеба, он назидательно погрозил мне пальцем.

— Наш сегодняшний прорыв значительно ослабит моральный и боевой дух врага. Вот увидите, завтра-послезавтра картина будет совершенно иной. Но мы должны все равно как можно активнее продолжать наступать русским на пятки.

Промокнув губы носовым платком, он задумчиво добавил:

— Да, Хальтепункт, личные чувства и переживания одного отдельно взятого человека не имеют никакого практического значения в масштабах войны. Советую вам, юноша, хорошенько усвоить этот урок.

Проглотив тем временем уже вторую кружку кофе, я поблагодарил за угощение, отдал честь командиру и продолжил свой путь. До штаба своего батальона я добрался лишь к двум часам ночи, или, точнее было бы сказать, уже почти утра.

— Ну наконец-то! — послышался обрадованный голос Нойхоффа. — Я уже не мог выносить всего этого. За последние четыре часа унтер-офицер Мейр не давал мне прохода и заморочил все мозги с этим несчастным, который изо всех сил раззявил свою пасть, да так, что ее заклинило в этом положении, и все это время с тех пор никак не может захлопнуть ее обратно. Ради бога, помогите ему поскорее чем-нибудь!

Ко мне был немедленно доставлен человек с и в самом деле неестественно широко раскрытым ртом. Хиллеманнс и Ламмердинг, батальонный офицер по особым поручениям, стояли рядом и с интересом наблюдали за тем, что я стану с ним делать. Я оказался в затруднительном положении — с подобным случаем я не сталкивался пока еще ни разу. Нижняя челюсть человека выскочила вперед из своих челюстных суставов и действительно заклинилась в этом положении так, что рот его представлял собой несоразмерно огромное отверстие на измученном болью лице. Истекавший слюной язык судорожно ворочался внутри, как бы пытаясь что-то сказать мне — разумеется, безуспешно. Я поспешил вспомнить все из основных принципов анатомии, что могло иметь отношение к этому случаю, и пришел к выводу, что стоит попробовать оказать осторожное давление на челюсть в направлении вперед и вниз. Теоретически это должно было привести к тому, что и без того растянутые мышцы челюсти растянутся еще немного, но при этом, возможно, вывихнувшиеся челюстные суставы освободятся из положения заклинивания и, сдвинувшись вначале вперед, а затем снова назад, окажутся на подходящем им месте сопряжения с верхней челюстью. Итак, что должно было произойти теоретически, я знал, что же произойдет на практике... Оставалось только надеяться на лучшее. Я взял два носовых платка и с помощью унтер-офицера туго обмотал их вокруг больших пальцев обеих своих рук.

— Зачем это? — поинтересовался Нойхофф.

— Предохранительная мера безопасности. Ненавижу засовывать свои пальцы между зубов, когда челюсти могут в любой момент захлопнуться как капкан.

Я велел унтер-офицеру встать сзади моего сидящего на стуле пациента и держать его голову крепко прижатой к своему животу. Он все сделал правильно, но вид у него был при этом, как будто бы он держит за рога самого черта. Глаза несчастного «черта» взирали на меня и с мольбой и с подозрительностью одновременно.

— Готов? — спросил я его.

Вместо ответа глаза еще больше округлились от ужаса. Я осторожно поместил большие пальцы рук на нижние коренные зубы бедолаги и, примерившись, вначале не очень сильно надавил на них. Затем, сделав глубокий вдох, я что было сил резко надавил на них в направлении вниз и на себя одновременно... За мгновение до того, как челюстные суставы с оглушительным не то чтобы даже щелчком, а даже каким-то лязгом встали на свои места, я успел выдернуть пальцы изо рта. Манипуляция эта оказалась даже проще, чем я ожидал. Еще не вполне веря своему счастью, пациент два-три раза недоверчиво открыл и закрыл рот.

— Ну вот и хорошо, — с облегчением констатировал я факт благополучного завершения операции. — Впредь будьте осторожнее, когда станете раскрывать рот слишком широко, — что, впрочем, не подобает делать настоящему солдату. Вы меня понимаете?

— *Jawohl*, герр ассистензарцт, — осторожно, очень осторожно раскрывая рот, ответил мне солдат.

— Ну, как там все прошло? — спросил Нойхофф.

— Да ничего особенного, герр майор, — ответил я. Я очень хорошо усвоил полученный в тот день урок.

Мы присоединились к остальным людям нашего батальона под покровом леса как раз тогда, когда вернулась моя санитарная машина с Вегенером и Дехорном. Эти двое добросовестно и безостановочно исполняли свои обязанности ровно двадцать четыре часа и были выжаты как лимоны — так же, впрочем, как я сам, да и многие-многие другие. На часах было 3.00. Я восполнил комплектность своей медицинской сумки и из последних сил втиснулся на четвереньках в маленькую штабную палатку, где уже располагались ко сну Нойхофф, Хиллеманнс и Ламмердинг. Уже через несколько секунд все мы как по команде провалились в глубокий, крепчайший, без каких бы то ни было сновидений, сон на... полтора часа.

Приказы о расстрелах

По моим субъективным ощущениям, через несколько считанных минут мы уже продолжали наше размеренное походное движение по направлению к реке Мемель, двигаясь по широкой песчаной дороге. Полторачасовой сон оказался, скорее, во вред, чем на пользу. Не слишком-то просто пробудиться, если перед этим ты был вымотан как собака. И касалось это, конечно, не только меня одного. Мы промерзли до костей, все мышцы сделались одеревенелыми и отчаянно болели, ноги были стоптаны и раздуты настолько, что мы с большим трудом сумели втиснуть их в свои походные ботинки. Перед самым выходом из ночного лагеря нами была получена секретная телеграмма Германского Верховного главнокомандования за личной подписью самого Гитлера. Текст ее дал нам обильную пищу для обсуждений до самого восхода солнца.

«Все русские комиссары подлежат немедленному расстрелу сразу вслед за поимкой», — гласил текст приказа.

Лицо Нойхоффа, когда он сообщил нам эту новость, было очень серьезным. Можно даже сказать, что он пребывал в некотором совсем не свойственном ему замешательстве. При этом он отдельно подчеркнул, что мы не должны разглашать содержание данного приказа в войсках — это была секретная информация только для офицерского состава. Далее в приказе говорилось о том, что за первый день боевых действий значительное количество оказавшихся в плену немецких солдат были хладнокровно расстреляны именно по приказаниям красных комиссаров. Этой расправе были подвергнуты, в том числе, медицинский персонал и беспомощные раненые солдаты. Окончательная ответственность за

все эти злодеяния была возложена на комиссаров.

Пока мы ехали по дороге, Кагенек, Штольц и я принялись за приглушенное, но тем не менее довольно оживленное обсуждение полученного приказа.

— Я, черт возьми, против расстрела беззащитного человека, даже если он и преступник! — возмущенно провозгласил Кагенек. — В любом случае это порочная политика. Подобную новость будет невозможно удержать в тайне. И что будет, когда об этом прознают русские? Я вам отвечу. Зная, что сдачей в плен они не смогут спасти свои шкуры, комиссары станут отбиваться еще ожесточеннее, до последнего патрона! А представляете, что сделает из всего красная пропаганда?!

— Каждый человек имеет право на отношение к себе как к личности, — глубокомысленно вставил я. — Что скажете, Штольц?

По хмуро сдвинутым бровям Штольца было понятно, что он тщательно обдумывает свой ответ:

— Что касается лично меня, то я не собираюсь никому отдавать «хладнокровные» приказы о расстреле. Кстати, я даже и не могу определить разницы между комиссаром и просто офицером Красной Армии и, если уж на то пошло, даже не собираюсь вникать, в чем она состоит. Надеюсь, я могу рассчитывать на то, что мое мнение останется строго между нами?

Штольцу и не было никакой нужды беспокоиться о том, что о его мнении станет кому-то известно. Практически каждый офицер нашего батальона имел точно такую же позицию по данному вопросу, и по нашим приказам не был расстрелян ни один плененный нами комиссар. Надо заметить, что, собственно, до плена доживали не многие из них — большинство либо уже были убиты в ходе боя, либо они сами пускали себе пулю в висок, чтобы избежать плена. Те немногие, которых нам удавалось взять живьем, отправлялись на запад, и вскоре им удавалось затеряться в постоянно разраставшемся потоке пленных. Однако и нам самим еще предстояло ощутить на себе, какое влияние умели оказывать на окружавших их людей эти красные фанатики. Везде, где мы сталкивались с особенно ожесточенным сопротивлением, практически всегда обнаруживали или выявляли в дальнейшем комиссара. Каждый день наши самолеты разбрасывали над территорией противника иллюстрированные листовки с призывами к солдатам убивать комиссаров, прекращать сопротивление и сдаваться в плен. И зачастую создавалось впечатление эффективности этой пропаганды: время от времени отдельные группы красноармейцев, прежде чем сдаться самим, убивали своих комиссаров, которые обычно были довольно ненавидимыми фигурами.

До нас дошло оперативно-тактическое сообщение о том, что мост через Мемель достался нам не уничтоженным. Под покровом речного тумана наши разведчики переправились на тот берег специально с целью воспрепятствовать попытке врага взорвать мост, а вихрем промчавшийся по мосту сразу же вслед за этим кавалерийский эскадрон фон Бёзелагера стремительно захватил и уничтожил предмостное укрепление противника на противоположном берегу. К этому моменту к мосту подошли головные отряды 2-го батальона под командованием Хёка, а наша артиллерия тем временем массированно подавляла защищавшую мост батарею русских.

Мы развернули наши топографические карты. Мемель в этом районе делал большую петлю, охватывавшую собой сельскую местность с огромными площадями лесов.

— Не так уж плохо, — отметил с удовлетворением Нойхофф. — Через три часа там должны быть и мы.

Однако особый приказ по нашему подразделению положил конец этим планам! «3-й батальон 18-го пехотного полка направляется на зачистку лесных массивов, расположенных к югу от дороги на Мемель».

Вскоре нам стала понятна и причина этого приказа. На этой дороге между Кальверией и Мемелем русскими уже были застрелены два посыльных мотоциклиста, а ранним сегодняшним утром еще и было совершено нападение на санитарную машину. Команда об

изменении тактических планов была передана назад по колонне, и батальон на несколько минут замер на месте. Сыпая проклятиями, личный состав 10-й роты под командованием Штольца и 11-й роты под командованием Крамера занял рассредоточенную вдоль дороги позицию протяженностью около шести километров. Дистанция от солдата до солдата в этой внушительной человеческой цепочке составляла примерно пятнадцать шагов. По общей команде они двинулись в открытом порядке через поля, холмы и перелески с вполне определенной задачей: не пройти мимо ни одного русского в данном конкретном секторе.

9-я рота под командованием обер-лейтенанта Титжена была оставлена в резерве, и все ее солдаты как один тут же устроились кто как, чтобы хотя бы немного «прихватить поспать». Я быстро организовал временный пункт первой помощи поблизости от поста боевого управления Нойхоффа и приготовил все необходимое на случай возможной вспышки боевой активности. Сразу же вслед за этим я расстелил одеяло прямо под утренним солнцем и улегся отдыхать. Хиллеманнс, как обычно, был занят сообщениями, донесениями и прочей оперативной корреспонденцией. Майор Нойхофф уселся на валун и пристально воззрелся вдаль. Немного повернувшись в нашу сторону, но как бы разговаривая с самим собой, он произнес:

— Майор Хёк со своим 2-м батальоном уже марширует по мосту через Мемель. Вот нас и еще раз притормозили для того, чтобы мы взяли на себя прочесывание шестидесяти квадратных километров богом покинутых буераков и поиграли в прятки с горсткой проклятых русских. Мои ребята вернутся назад в лучшем случае уже далеко за полдень. Они будут дьявольски уставшими, и нам придется догонять остальных до глубокой ночи. Два дня войны — и два дня мы вынуждены заниматься зачисткой самого вражеского отребья.

— Да уж, — поддакнул я ему из солидарности. — Но ведь кто-то же должен заниматься выполнением этих особых задач.

— Да будь они прокляты, эти особые задачи! — взорвался Нойхофф. — То, о чем вы говорите, называется не особыми задачами, а грязной работой, которую мы вынуждены делать из-за других и за других.

В этот момент мы увидели, что наши люди ведут к дороге четверых пленных, пойманных ими в лесах. Трое из них были одеты в штатское, но бритые наголо черепа выдавали в них солдат. Двое из них были монголами и как-то неуместно свирепо «тарасились» на нас своими узенькими глазками. Пока Нойхофф, продолжая восседать на своем валуне, с интересом разглядывал русских, мы узнали, что одним из посыльных мотоциклистов, застреленных здесь сегодня на рассвете, был ефрейтор Бельцер из нашего батальона. Карманы ефрейтора, когда обнаружили его тело, были опустошены, а перевозимые им донесения исчезли. Губы Нойхоффа сжались в плотную бескровную нить.

— Убит и ограблен... — как-то очень страшно прошептал он, ни на секунду не сводя взгляда с русских пленных. — Один из моих людей убит и ограблен... Этого человека, — кивнул он головой на русского в военной униформе, — отправить в зону временного содержания военнопленных. А эти три пугала... — он злоецо сощурил глаза на тех, что стояли перед ним в нелепой гражданской одежде, — этих троих поганых уличных грабителей я расстреляю немедленно.

Нойхофф вызвал унтер-офицера и шесть солдат из 9-й роты. Уже через несколько минут расстрельная команда стояла перед майором.

Никто из присутствовавших при этой сцене не смел не только произнести ни слова, но даже и пошевелиться.

— Что ты думаешь по этому поводу? — повернувшись к Хиллеманнсу, спросил у него Нойхофф.

— Думаю, что надо поступить, как вы прикажете, герр майор, — как всегда исполненный сознания долга, ответил Хиллеманнс.

Я пристально смотрел на троих пленных. Было совершенно ясно, что они не понимают ни слова по-немецки и не осознают, что их участь висит на последнем волоске. Ближе всех пленных стоял ко мне хрупкий паренек всего лет восемнадцати. Гражданская одежда

болталась на нем слишком свободно и была явно с чужого плеча. Он ответил мне прямым, каким-то по-детски наивным и не отдающим себе отчета в происходящем взглядом. Он совершенно не выглядел как откровенный убийца; я, по крайней мере, никак не мог поверить, что он являлся таковым. Практически наверняка он переоделся в штатское с целью затеряться среди литовского гражданского населения, чтобы избежать пленения.

Мне было также понятно, что для принятия окончательного решения Нойхофф нуждается в чьей-то более ощутимой моральной поддержке, нежели та, что прозвучала в покорном ответе Хиллеманнса, и даже та, что была заложена в недавно полученном приказе Гитлера. Реалии нынешней войны были слишком непривычны для Нойхоффа как для солдата старой закалки, который был приучен воевать по строго определенным правилам. Ему нужно было, чтобы хотя бы кто-нибудь еще выразил свое уверенное согласие с его мрачным вердиктом.

— Разве вы не считаете, доктор, что мы не должны церемониться с этими головорезами? — обратился он вдруг прямо ко мне.

— Я даже не знаю, что ответить вам, герр майор, — еле выдавил из себя я, ощущая к этим жалким, беспомощным и никому не нужным голодранцам лишь жалость, с которой не мог ничего поделать. — Вы совершенно уверены в том, что это переодетые снайперы, герр майор? Если бы мы нашли при них какое-нибудь оружие или инкриминирующие документы, то тогда их смерть была бы совершенно оправданной в соответствии с законами военного времени. Если же ничего обнаружено не будет, то лично я не стал бы отягощать этим свою совесть.

Нойхофф метнул в мою сторону быстрый и не слишком довольный взгляд, в котором, однако, как я успел заметить, промелькнуло возникшее сомнение.

— Обыскать их, — отрывисто проговорил он.

Обычные гражданские паспорта, несколько огрызков черствого хлеба и пригоршня просушенного табака — это было все, что содержали их карманы.

— Отправьте этот сброд в зону для военнопленных, — грубо приказал Нойхофф.

Не глядя больше в мою сторону, он с выраженным неудовольствием раскачивался с пяток на носки и обратно, но я знал, что на самом деле Нойхофф испытывал в этот момент облегчение от того, что не стал участником смертной казни. Явно для того, чтобы отвлечься на что-нибудь, он без всякой необходимости пристально осмотрел всех коней и лошадей и коновязи и убедился в том, что они хорошо накормлены и напоены. Ласково похлопав по шее своего вороного мерина, он дал ему заранее припасенный кусочек сахара.

— Придется теперь переписывать мой доклад в штаб полка! — сердито проворчал Хиллеманнс.

Поразительно: пока мои руки были вынужденно ничем не заняты в ходе этой не слишком продолжительной, но полной драматизма сцены, Хиллеманнс уже успел настроичить доклад о приведении приказа о расстреле в исполнение! Дехорн занимался проверкой укомплектованности моей медицинской сумки, а Мюллер, который никогда не мог сидеть без дела, чистил и смазывал мой автомат. Вегенера я отправил на моем служебном «Мерседесе» искать нашу затерявшуюся где-то санитарную машину.

Солнце неуклонно поднималось к зениту. Я улегся прямо на землю в тени вяза и стал пристально разглядывать сквозь сплетение его ветвей проплывавшие над нами белые облака.

* * *

В своих блуждающих то там то сям мыслях я то и дело возвращался к Фрицу, задумываясь, например, о том, похоронен ли он уже или еще нет, представлял себе грубый, должно быть, как у Штольца, березовый крест в качестве единственного и незамысловатого, но исполненного глубокой печали памятника на его скромной могиле. Фриц, бедный Фриц! Молодой, как и многие другие, нацист, он относился к национал-социалистскому движению хоть и с энтузиазмом, но без фанатизма. Фриц, для кого обычный день был слишком мал,

чтобы вместить в себя всю его кипучую энергию, жизнь — слишком ограниченным временным пространством для удовлетворения его многочисленных и разнообразных амбиций, а война — вообще представляла собой грандиозное и увлекательное *приключение*. Примерно таким, в общих чертах, он и был, когда я встретил его впервые.

«*Koln Hauptbahnhof!*» (нем. — «Главный железнодорожный вокзал Кёльна!») — натужно и хрипло выплескивали из себя громкоговорители и без того пронзительный в своей отчетливости женский голос, заполняя его пульсирующим эхом все внутреннее пространство клубящегося дымом и паром высокого свода навеса главного железнодорожного вокзала Кёльна в тот полдень в самом начале ноября 1940-го. «*Koln Hauptbahnhof!*» Голос перекрывал своим оглушительным эхом даже свист паровоза и был совершенно излишним сообщением для солдат, высыпавших, как горох, из прибывшего поезда, — названия пунктов назначения виднелись повсюду: на стенах вагонов, на стенах зданий вокзала, на опорах мостов, на пешеходных переходах, повсюду. Те из них, что были покрупнее, подсвечивались еще и яркими лучами прожекторов. В Англии, как мы слышали, к тому времени были сняты со своих мест все названия железнодорожных станций и даже дорожные указатели — по мысли англичан, эта мера должна была сбить нас с толку, когда мы вторгнемся на их остров. Нам же, у себя дома, не было никакой нужды прибегать к подобным уверткам — вопрос о чьем бы то ни было вторжении на территорию фатерлянда никем всерьез не рассматривался. Подобная крамольная мысль, по-моему, никому даже не приходила в голову. С Францией было покончено: «линия Мажино» сметена с невообразимой легкостью, а англичане — сброшены с континента, и именно этими людьми в серо-зеленой униформе, которые прибывали сейчас на железнодорожный вокзал Кёльна, чтобы отбыть затем в том направлении, указанном им Вермахтом. Наша армия стояла теперь в состоянии полной боеготовности, но, однако, не в состоянии полной определенности, у северного побережья Франции, и мы жадно пытались разглядеть сквозь дымку Пролива нашу следующую цель — Англию. Для нас, пятерых не лишенных некоторого честолюбия унтерарцтов, принимавших сейчас свою поклажу из багажного отделения, она должна была стать личной целью.

Мы попрощались с Германией на долгие годы еще в пору студенчества, отметив это судьбоносное в нашей жизни событие пятью бутылками «*Liebfraumilch*» (вино «Молоко любимой женщины») на живописной террасе над Рейном, а теперь намеревались сесть на поезд, который унесет нас к следующему пункту нашего увлекательного странствия — в Гранвилль, Нормандия. Наши внутренние *Schweinhunden* (нем. — свинячьи собаки, скоты) снова забеспокоили нас. Это было очень прискорбно, поскольку на раннем этапе нашей военной подготовки целых несколько фельдфебелей приложили массу своих усилий специально для того, чтобы искоренить их в нас. «Личности!» — припоминаю я, как эмоционально высказывался по этому поводу один из этих фельдфебелей. — «Так вы думаете, что все вы — личности... Ошибаетесь — в каждом из вас сидит внутренняя *Schweinhund*! А Вермахту не нужны люди с сидящими в них *Schweinhund*-ами! И моя задача — помочь вам избавиться от них и стать настоящими солдатами, гренадерами!» Поэтому в июле и августе 1939 года мы учились стрелять из винтовок и печатать образцовый строевой шаг на плацу. Война с Францией и Англией застала нас обучающимися выкапыванию отхожих мест в полевых условиях и метанию гранат. Боевые действия с Францией уже были в полном разгаре, а мы все еще постигали специфику блиндажирования и оказания медицинской помощи в полевых боевых условиях, а также в срочном порядке обучались верховой езде. Затем вдруг Вермахт наконец вспомнил о том, что когда-то «очень давно», где-то еще на «гражданке» мы были к тому же и дипломированными врачами, и нам в конце концов снова вернули наши стетоскопы и скальпели. Но для того, чтобы надежно предотвратить пробуждение внутри нас коварных *Schweinhund*-ов, армейское командование позаботилось о том, чтобы попридержать нас в некоем не вполне определенном статусе *унтерарцтов*. То есть в соответствии с табелью о рангах мы как «врачи-практиканты» занимали некое промежуточное положение между курсантами и офицерами и были обязаны первыми отдавать честь всем, кроме рядового состава; на деле же мы вынуждены были

исправно козырять абсолютно всем: от генералов до почтовых ящиков...

* * *

Последний праздник жизни мы устроили нашим внутренним *Schweinhund* -ам с поистине королевским размахом в Париже. Высокомерно презрев возможную ответственность, мы основательно подзадержались там на целый день, а потом и на всю ночь, прежде чем возобновить наше бодрое и жизнерадостное шествие по северной Франции со следующей остановкой на ночь в Ле-Мане. Дивизионный начальник медицинской службы в Гранвилле довольно быстро спустил нас с небес на землю — буквально несколькими хорошо продуманными и еще убедительнее звучащими фразами он не оставил у нас никаких сомнений в том, что теперь мы находимся на театре самых активных боевых действий.

К неопишуемому сожалению, нас разделили и разбросали по разным батальонам. Катя на штабном автомобиле вдоль сбросивших листья бескрайних яблочных садов провинции Кальвадос, я впал в глубокую задумчивость по поводу того, с какими людьми мне предстоит сражаться плечом к плечу в предстоящей войне против общего реального, а не условного врага. Должен сказать, что я гораздо больше — и небезосновательно — был уверен в себе как квалифицированный врач, нежели как хорошо подготовленный солдат, и очень надеялся на то, что мои новые командиры проявят ко мне в этом плане логичную снисходительность.

Однако на майора Нойхоффа появление его нового унтерарцта не произвело ни малейшего внешне проявленного впечатления. Он равнодушно смерил меня взглядом с головы до пят, при том что я, в свою очередь, разглядывал его с неподдельным и простодушно-откровенным интересом. Некоторое не слишком значительное опоздание с прибытием нового врача 18-й пехотной роты 3-го батальона Нойхофф оставил без высказанных вслух комментариев, однако не преминул отметить тот полный прискорбный факт, что я не имею ровным счетом никакого боевого опыта. Возможно, предположил он, мне удастся успешно исправить это упущение по другую сторону Пролива. Не играю ли я случайно в *скат* или в *Doppelkopf* ? Не играю ли я! Вот так вопрос для первого знакомства... Ну что ж, теперь я по крайней мере знал, что сгожусь здесь хоть на что-то, и мое присутствие за карточным столом сегодня вечером после ужина, возможно, будет оценено по достоинству. Лейтенант Хиллеманнс, батальонный адъютант, проводит меня в мою комнату, было сказано мне напоследок.

Хиллеманнс был подчеркнуто официален и холодно учтив — примерно как не слишком приветливое ноябрьское солнце, и я невольно вспомнил в тот момент слова оберштабсарцта Шульца: «Если ты еще не в курсе, то могу сообщить, что ты назначен офицером медицинской службы в один из трех самых элитных батальонов генерала фон Рунштедта. Командиром твоего полка будет оберст Беккер — выдающийся офицер с огромным боевым опытом как в Первой мировой, так и в этой войнах. Мои поздравления!» Я очень надеялся на то, что моя беспокойная внутренняя *Schweinhund* будет вести себя хорошо и сумеет серьезно настроиться на то, чтобы не мешать мне как можно полнее соответствовать требованиям, предъявляемым к тем, кому посчастливилось служить в этом славном боевом подразделении. Далее я начал убеждать себя в том, что, несмотря на некоторую грубоватость манер Нойхоффа, я вроде как разглядел в его глазах едва заметный озорной огонек, что, несомненно, должно было свидетельствовать о его прекрасных человеческих качествах, что адъютант Хиллеманнс, возможно, еще тоже покажет себя в дальнейшем с более человеческой стороны — несмотря на то что, когда он показывал мне пустовавшую в тот момент офицерскую столовую, его манера обращения со мной была хоть и вполне корректна, но очень и очень суха. Для расквартирования своего офицерского и унтер-офицерского состава 3-й батальон реквизирует часть главного отеля небольшого городка Литтри. Наша столовая располагалась на первом этаже здания, а мой номер, показанный мне Хиллеманнсом, — в противоположном крыле. Прежде чем оставить меня своими великодушными заботами, он приказал унтер-офицеру проводить меня в медсанчасть, где мне предстояло работать...

Когда я вошел внутрь старинной виллы, которая должна была стать моим самым первым военным госпиталем, трое находившихся там людей немедленно вскочили и вытянулись по стойке смирно. Первый из них, как выяснилось в дальнейшем, был унтер-офицер Вегенер. Он был очень говорлив и изо всех сил старался исполнять роль бывалого вояки. Второй, ефрейтор Мюллер, отличался, напротив, чрезмерной молчаливостью. Это был рослый, очень светловолосый и как-то сразу располагавший к себе своим благодушием детина. Вскоре мне стало ясно, что им безропотно и безотказно выполняется практически вся реальная работа. Дехорн, третий из них, был темноглазый коротышка, все время начеку, только что прибывший с молодым пополнением из Германии. Родом он был из моего родного города, Дуйсбурга, и я тут же назначил его своим личным медицинским ординарцем и заодно уж вестовым. Вегенер был совершенно явно рад, что я не выбрал для этого вычурную лошадку — Мюллера. Как показало время, я ничуть не ошибся тогда в Дехорне — в дальнейшем он оказался необычайно ловким и дельным помощником, обладавшим к тому же удивительным даром распознавать мои желания с одного лишь взгляда. После того как он помог мне дотащить пожитки до отеля, я решил немного побыть наедине с самим собой и отпустил его. Достав сразу же лежавшие под рукой несколько моих любимых книг и портрет Марты, я поставил его на видное место на туалетном столике. Коробка с туфлями, которые я купил ей в подарок еще в Ле-Мане, тоже до сих пор еще была со мной. Я все никак не мог найти кого-нибудь, кто отправлялся в Германию и мог бы захватить их по пути с собой, хотя как раз в то время многих солдат, прошедших французскую кампанию, должны были отпустить домой. Все были уверены в том, что стремительное и победоносное шествие частей Вермахта через Францию к ее северным берегам, к Ла-Маншу, будет непременно иметь своим продолжением незамедлительное же вторжение в Англию. В портах и гаванях северной Франции было сосредоточено такое внушительное количество барж, буксирных судов, моторных и просто рыбацких лодок, что это не оставляло никаких сомнений в наших намерениях. На словах операция «Морской лев» репетировалась так много раз, что каждый немецкий солдат уже заучил свою «роль» наизусть, однако «занавесу» в следующем «акте» этой грандиозной постановки так и не суждено было подняться...

* * *

В тот вечер я пунктуально вышел к ужину ровно к половине седьмого, и Хиллеманнс представил меня остальным офицерам батальона. Обер-лейтенант Граф фон Кагенек, командовавший 12-й ротой батальона, дружески поприветствовал меня. Он обладал изящными, какими-то даже отточенными аристократическими манерами, а на его лице то и дело появлялась сдержанная и едва заметная улыбка. Он как-то сразу пришелся мне по душе. Далее меня весело и шумливо поприветствовал обер-лейтенант Штольц, являвший собой совершенно иной тип немецкого офицера. Это был добродушный великан просто-таки гигантского телосложения. Этакая буйволиная стать и уверенность в себе как-то очень естественно сочетались в нем с бурной жизнерадостностью и умеренно частыми взрывами громоподобного и неподдельно веселого хохота, то и дело раздававшимися в течение всего ужина. В разговоре его зычный гогот очень часто сопровождался дружеским и весьма ощутимым хлопком собеседника по плечу, от которого, если тот стоял, у него едва не подгибались колени. Штольц был командиром 10-й роты, и вскоре я понял, что его подчиненные очень любили и уважали его и были готовы пойти за ним буквально в огонь и в воду. Полной противоположностью Штольцу был батальонный офицер по особым поручениям, лейтенант Ламмердинг, обладавший не только молниеносной реакцией и сообразительностью, но и весьма острым языком, что помогало ему поддерживать завидный авторитет в батальоне и практически всегда отстаивать свою позицию. Главными и самыми любимыми видами оружия Ламмердинга были его сарказм и ирония, которым мог достойно противостоять, казалось, только фон Кагенек с его находчивостью и редкостным природным

остроумием. Тут следует, однако, отметить, что саркастичный язык Ламмердинга применялся им только по делу и против тех, кто мог хоть как-то постоять за себя, и никогда — для каких-то злонамеренных или коварных целей. По своей сути это был очень скромный и порядочный человек, под показной беззаботностью которого скрывались твердая, как сталь, отвага и холодная, как лед, решимость. Двое других командиров рот — гауптман Ноак, 9-я рота, и обер-лейтенант Крамер, 11-я рота, — на ужине в тот вечер отсутствовали, поскольку размещались тогда вместе со своими ротами на некотором удалении от Литтри.

В довольно скором времени мне пришлось убедиться в том, что *унтерарцт*, не имеющий, вроде меня, за своими плечами реального боевого опыта, не вправе рассчитывать в 3-м батальоне на какое-то серьезное к себе отношение. Могу сразу же привести пример: помимо майора Нойхоффа я был единственным офицером в батальоне, которому по штату был положен автомобиль, и номинально я действительно имел в своем распоряжении «Мерседес», но... только лишь номинально. На деле же я не мог пользоваться им практически никогда, поскольку он был постоянно задействован Хиллеманнсом и Ламмердингом для нужд штаба. Все мои многочисленные разъезды мне приходилось совершать верхом — так в мою жизнь вошел незабвенный Вестуолл. Он представлял собой, вне всякого сомнения, самую захудалую и жалкую клячу во всем батальоне. Росинант Дон Кихота презрительно рассмеялся бы ему в лицо (фыркнул бы в морду). И все это при том, заметьте, что на мою долю приходилось гораздо больше разъездов, чем на долю любого другого офицера батальона. Переживая однажды очередной приступ внутреннего неистовства по этому поводу, я вдруг постиг секрет того, как можно пускать это чудо природы галопом, и мы немедленно стали центром всеобщего внимания. Наш шумный успех зависел теперь только от одного — от моей способности выглядеть так же глупо, как и мой конь. Только в этом случае, и никак иначе, у нас получалось выглядеть, да и действовать согласованно, как единая боевая связка. Нойхофф совершенно ясно дал мне понять, что не ожидает всерьез слишком многого от своего нового унтерарцта. Ну разве что я мог составлять им компанию за карточным столом в качестве четвертого игрока в *Doppelkopf*. Мне еще предстояло приложить очень и очень много усилий для того, чтобы добиться по-настоящему уважительного к себе отношения. В свой тридцать один год я был самым старшим по возрасту офицером полка — за исключением, конечно, самого Нойхоффа и еще обер-лейтенанта Крамера, но на деле мое какое-то не слишком вразумительное воинское звание делало меня самым младшим членом нашего офицерского сообщества.

Заехавший к нам однажды с инспекционной проверкой командир нашего полка оберст Беккер не сделал, вопреки моим надеждам, ничего, укрепляющего мой моральный облик в глазах сослуживцев. Несмотря на свои пятьдесят лет и ранение в Первой мировой войне, в результате которого его левая рука была почти обездвижена, Беккер представлял собой очень решительную и мужественную фигуру. Его зоркий глаз не упускал ничего. Для начала он сделал мне замечание, касающееся того, что я не приветствую отдаванием чести всех офицеров нашего батальона, хотя, как унтерарцт, я был вправе и не делать этого. Однако уже на совместном ужине офицеров батальона в тот же вечер он снизошел до того, чтобы отвести меня в сторону и обсудить некоторые детали моей работы, в результате чего в шутку и во всеуслышание прозвал меня «Хальтепунктом»...

Постепенно, очень-очень постепенно, Нойхофф начал воспринимать меня более серьезно — не только как партнера по игре в *Doppelkopf*, но и, что самое главное, как военного врача. Я, в свою очередь, тоже подспудно формировал свое представление об этом человеке, о чертах его характера, привычках, наклонностях. Это оказалось возможным, во-первых, благодаря все тем же встречам за карточным столом, а во-вторых, из разговоров о нем с Ламмердингом. Нойхофф выдвинулся в офицеры из рядовых, еще при старом Рейхсвере, а затем, со временем, дорос и до своего нынешнего звания и должности. С возрастом к нему пришла привычка размышлять обо всем в том русле, что им изношено уже слишком много пар армейских ботинок и сапог и что в некоторых отношениях он уже слишком устарел для современных приемов ведения войны. В результате подобных

упаднических умонастроений у него развилась легкая, но хроническая форма воспаления глазных слезовыводящих каналов. Выражалось это в том, что его глаза то и дело слезились настолько сильно, что казалось, он вот-вот заплачет, за что Ламмердинг в шутку прозвал его «Майор Слезкин» («*Major Augenschirm*» — нем. слезы).

Хиллеманнс, как и его командир, тоже вышел в офицеры из простых солдат, но был при этом чрезвычайно амбициозен. Это был стопроцентный педант как в отношении самого себя, так и по отношению к своим подчиненным. В любой момент времени его обувь была начищена до зеркального блеска — даже через пять минут после того, как мы возвращались с учебно-тренировочного марш-броска по ноябрьской слякоти. Его волосы были всегда разделены безупречным пробором и аккуратно подстрижены в строгом соответствии с тем, как того требовал устав. То, что он недобирал в плане индивидуальности, харизматичности и личного человеческого обаяния, он старательно компенсировал дотошным знанием всех возможных уставов, правил и предписаний, а также безукоризненным внешним видом и выправкой.

Лейтенант Шток, один из самых молодых офицеров батальона, в частных беседах со мной поведал мне много интересных деталей о других наших сослуживцах. Сам по себе Шток представлял собой 21-летнего почти что юношу, очень располагавшего к себе, с тонкой чувствительной натурой и добрым сердцем. Помимо прочего, Шток был замечательным пианистом. Как он бывал трогательно благодарен, когда ему удавалось найти кого-нибудь, с кем он мог хотя бы немного поговорить о музыке! Однако, несмотря на все эти бесспорные душевные качества, отношение к юному Штоку со стороны других офицеров было довольно сдержанным, а местами и прохладным — и именно в первую очередь из-за его слишком нежного возраста. Ламмердинг, по наблюдениям Штока, почти всегда воздерживался от принятия участия в каких бы то ни было политических дискуссиях. После окончания школы он сразу же поступил в военную академию, но затем, как поговаривали, спровоцировал какой-то серьезный семейный разлад у себя дома — вроде бы как из-за того, что наотрез отказался вступать в нацистскую партию, при том что его родной брат являлся одним из высокопоставленных лидеров в СС. Ламмердинг выказывал очень мало внешне проявленного уважения к кому бы то ни было, даже к Нойхоффу, однако был при этом безупречным офицером, на которого командир всегда мог положиться. Обер-лейтенант Граф фон Кагенек отличался точно таким же беспечным и даже, казалось, легкомысленным отношением к жизни. Он принадлежал к древнему аристократическому роду, его отец во время Первой мировой войны был известным и очень уважаемым генералом, а четверо родных братьев — все как один выдающимися офицерами. Одним из его предков был знаменитый князь Меттерних, а сам фон Кагенек был женат на княгине Баварской. Молодой Шток был очень вдумчивым и проницательным наблюдателем, и я был искренне огорчен, когда его приписали к 11-й роте под командованием Крамера, дислоцированной вдали от Литтри...

* * *

Ноябрь уступил место декабрю, а мы все еще продолжали отрабатывать вторжение, имитируя высадку на территорию противника на выделенной нам для этого береговой линии к востоку от полуострова Шербург. Наши войска пребывали в состоянии полной боевой готовности, а в свете их совсем еще недавнего победоносного шествия по Франции — обладали еще и неукротимым боевым духом. Мы не испытывали никаких иллюзий по поводу того, что как только наши ноги коснутся английского побережья, основной удар защищающих его подразделений противника будет направлен именно на пехоту, т. е. на нас. Разумеется, сразу же вслед за передовыми частями туда же будут отправлены транспорты с танками и артиллерией, и это в какой то мере должно было облегчить нашу участь. Но мы прекрасно понимали также и то, что, скорее всего, мы сможем реально рассчитывать на это только тогда, когда нам удастся хорошенько закрепиться на берегу, чтобы двинуться уже в

глубь английской территории. Величайшая сила Вермахта — это, вне всякого сомнения, его пехота. Об этом свидетельствовало и то, что каждый без исключения взвод каждой роты наших пехотных частей, подготавливавшихся для высадки в Англии, был обучен действовать как абсолютно автономное, независимое и самодостаточное боевое подразделение. Необходимые для дальнейшего продвижения боеприпасы и продовольствие были бы, конечно, доставлены, но позже, а первые часы и даже дни мы могли рассчитывать только на самих себя. И только при выполнении этого условия мы могли одержать нашу главную победу — твердо закрепиться на вражеской территории. Если прибавить к этому еще и нашу осведомленность о том, что нам будет оказана незамедлительная и очень мощная поддержка со стороны дислоцированных вдоль французского побережья и великолепно оснащенных 9-й и 16-й армий, то вместе с ними наше численное превосходство над противником выражалось бы уже как десять к одному. Все это вместе взятое наполняло наши сердца беспримерной отвагой, решимостью и твердой убежденностью в том, что, несмотря на значительные потери, мы сможем одержать в этом грандиозном сражении более чем убедительную победу над британской армией. Нас не смущали ни регулярные бомбардировочные налеты английских военно-воздушных сил, в результате которых в портах и заливах вдоль французского побережья оказалась потопленной некоторая часть судов из приготовленной для нашего десантирования флотилии, ни даже отдельные слухи о том, что для того, чтобы помешать нам при переправке через Пролив, англичане намереваются заливать его акваторию огромными количествами особой легковоспламеняющейся жидкости. Бомбардировки были сосредоточены в основном в стороне от нас, на довольно ограниченном секторе французского побережья — на тех гаванях, откуда было проще всего достичь берегов Англии. И единственными нашими визитерами с воздуха были несметные стаи чаек, кружившие над начинавшим сумрачно темнеть зимним морем и иногда залетавшие в глубь материка. Приближалось Рождество, и мы начинали смутно догадываться, что, вероятно, операция «Морской лев» будет перенесена на начало следующего календарного года. Скорее всего, нападение на Англию должно было быть предпринято в январе или даже феврале — в зависимости от погодных условий, ветров и приливов...

Германская армия готовилась к Рождеству, которое она проведет во Франции впервые за последние двадцать пять лет. Многие получили отпуска, и я, в свою очередь, организовал таковой для Дехорна, чтобы он смог встретить Рождество со своей очаровательной молоденькой женой. Он отбыл домой счастливый, сияющий и, как новогодняя елка, обвешанный многочисленными подарками для его собственной семьи, для моей Марты, а также для семей Вегенера и Мюллера.

Кагенек вызвался обеспечить наше праздничное пиршество настоящим традиционным рождественским жарким и в этой связи пригласил меня принять с ним участие в охоте на оленя в знаменитом Баллеройском лесу. Мне предстояло служить лишь скромным подручным при его бесшабашной натуре, поскольку, как оказалось, охота в этом лесу была строжайше запрещена и резервировалась лишь для представителей нашего Верховного главнокомандования и их личных гостей. Во время самой охоты мы повстречали в лесу какого-то артиллерийского майора, находившегося там явно с той же браконьерской целью, что и мы сами. Кагенек сумел так искусно заморочить майору голову своими разглагольствованиями по поводу запретов вообще и запрета на охоту в данном лесу в частности, что напуганный горе-охотник почел за несказанное счастье, что еще легко отделался нашим «дружеским предупреждением» и был великодушно отпущен подобиру-поздорову на все четыре стороны. К тому же, поспешно продираясь сквозь чащу восвояси, он, по иронии судьбы, невольно спугнул прямо на нас великолепного оленя. Мы воспринимали наше рождественское жаркое не иначе как персональный подарок нашего недостижимого и несравненного Верховного главнокомандования.

За пару дней до Рождества выпал довольно глубокий снег, и офицеры нашего батальона организовали на сочельник праздничный ужин в столовой. Мне, однако, все никак

не удавалось настроиться на праздничный лад — я до сих пор не получил от Марты рождественского поздравления. После совместного ужина Кагенек, Штольц и другие отправились продолжать веселиться дальше со своими компаниями, а Ламмердинг и я решили вдруг немного побродить по живописным заснеженным улочкам ночного Литтри. Доносившаяся до наших ушей музыка привела нас в маленькое кафе, где, невзирая на поздний и к тому же комендантский час, в самом разгаре была веселая пирушка местных горожан. Ламмердинг успокоил растревожившегося было хозяина кафе, заверив его, что сегодня он может не закрывать свое заведение еще сколько угодно времени. Устроившись с бутылочкой вина за уютным столиком в глубине зала, мы решили поглазеть на танцующих, которые к тому моменту отплясывали уже все неистовее и неистовее. Проплывая мимо нас в танце, одна темноволосая француженка схватила вдруг фуражку Ламмердинга, насмешливо нахлобучила ее на себя и так же беспрепятственно уплыла в ритме танго в толпу танцующих. Однако ситуация эта стала по-настоящему взрывоопасной, когда какой-то темпераментный француз (судя по всему, муж этой дамочки) резко и грубо сорвал фуражку с головы своей возлюбленной, швырнул ее обратно Ламмердингу, да к тому же еще и вызывающе посмотрел на него. Этого оказалось уже вполне достаточно для того, чтобы и без того бледный от возмущения Ламмердинг немедленно вскочил со своего места с плотно сжатыми в одну ниточку губами, а главное — с пистолетом в руке. Музыка прекратилась, и повисла напряженная тишина. Все испуганно смотрели на Ламмердинга. Я осторожно подошел к нему и стал настойчиво шептать на ухо, чтобы он отложил разбирательство этого инцидента до завтрашнего дня, когда француз протрезвеет, а владелец кафе заверил нас, в свою очередь, что он лично проследит за тем, чтобы этот человек явился завтра в штаб нашего батальона. На следующий день этот далеко не такой разгоряченный, как накануне, ревнивец действительно покорно явился в наш штаб и принес свои личные извинения Ламмердингу за свой оскорбительный выпад, имевший к тому же оттенок неуважения к немецкой военной униформе.

31 декабря прибыла наконец моя долгожданная рождественская почта, и я решил провести канун Нового года наедине с письмами от Марты. Мюллер, добровольно выполнявший в отсутствие Дехорна обязанности моего ординарца, затопил камин ароматными сосновыми поленьями и был отпущен. Я достал из полученной от Марты посылки миниатюрную и уже любовно наряженную ею новогоднюю елочку, бережно установил ее на туалетном столике, расставил вокруг нее почти такие же крохотные свечечки, а рядом сложил ее подарки. Ароматическая медовая свеча давала мне достаточно света, чтобы я мог углубиться в чтение писем от моей Марты, а подброшенные в камин несколько свежих сосновых веток наполнили комнату столь любимым мной с детства запахом...

В моей памяти всплыл другой сочельник, проведенный мной вместе с Мартой, когда она приезжала навестить нашу семью, и я вспоминал сейчас, как наяву, ее звонкий и чистый голос, когда она пела рождественские гимны. Впервые я увидел и услышал ее всего лишь за несколько месяцев до этого исполняющей партию Маргариты в «Фаусте» в Дуисбургском оперном театре. Каждый вечер, когда он был свободен от дежурства в отделении травматологии госпиталя Кайзера Вильгельма, молодой врач неизменно проводил, взволнованно вжавшись в кресло партера Оперного театра. Этот молодой врач, то есть я, трепетно и очарованно внимал утонченной изысканности ее мадам Баттерфляй, пикантности ее Мими и темпераментности ее Кармен. Ее артистизм неизменно вызывал мое восхищение, а когда я познакомился с ней ближе, вне сцены, то непосредственность и искренность ее самовыражения в обычной жизни снискали и мою пылкую любовь к ней. Однако скоро мне пришлось уезжать к месту моей армейской службы, и мы с ней даже не обручились. Постепенно и очень невольно мои мысли вернулись в мой маленький номерок отеля во французском Литтри.

Снаружи было по-зимнему холодно, но как-то не очень по-зимнему промозгло. На крышах лежали толстые шапки снега, но на улицах было довольно слякотно. С Пролива не

переставая дул сырой ветер, но с карнизов уже потекла капель. Новый 1941 год наступил тихо, под осторожный шорох подтаивающего, оползающего с крыш снега...

Постепенно и очень не сразу батальон все же принял в свои ряды не имевшего фронтового опыта унтерарцта. Нойхофф счел наконец возможным полностью возложить на меня все организационные хлопоты, касавшиеся нашего лазарета. Мне даже удалось раздобыть вполне презентабельного коня — правда, только после того, как я поставил Хиллеманнсу непримиримый ультиматум по этому вопросу. Коня звали Ламп, и его самые лучшие годы были уже, конечно, позади. Он был не слишком послушным, и, когда шел рысью, посадку на нем всадника можно было назвать какой угодно, но только не слишком удобной и надежной. Однако при всем этом он обладал каким-то несомненным кавалерийским духом и почти всегда, когда у него был выбор, предпочитал возбужденный галоп, нежели спокойный размеренный шаг. Когда мы ехали в группе с другими всадниками, его частенько становилось трудно удерживать, поскольку он то и дело норовил вырваться вперед основной группы. Объяснялось все это просто — в течение многих лет до того, как он попал ко мне, Ламп был верным боевым конем майора Хёка, приученным к тому же к жизни на передовой. Мне даже иногда казалось, что вынужденное прозябание Лампа в тылу, под каким-то жалким унтерарцтом, было ему совершенно не по нутру. Вестуолл был понижен до более соответствовавшей ему должности — теперь он был запряжен в оглобли санитарной повозки. Окончательная точка в мучительной эпопее утверждения моего личного авторитета в батальоне оказалась поставленной оберстом Беккером — он сообщил мне, что будет ходатайствовать о моем повышении в звании до чина *ассистензарцта*. Сие радостное известие он торжественно сообщил мне лично — по благополучном завершении устроенной им в 7 утра «неожиданной» инспекционной проверки моего лазарета, о которой, к счастью, заблаговременно предупредил меня Кагенек. Я знал, кстати, и о том, что проверка эта была устроена в результате неоднократных жалоб на меня со стороны гауптмана Ноака, командира нашей 9-й роты, с которым мы повздорили еще во время нашего самого первого знакомства. Однако, благодаря посредничеству того же Кагенека и Штольца, мы с Ноаком все же уладили мешавшие нашему мирному сосуществованию противоречия, а вскоре после этого он по решению командования полка был переведен на должность командира 14-й противотанковой роты нашего же батальона. На должность командира 9-й роты был назначен обер-лейтенант Титжен — прекрасно подготовленный офицер, которому прочили блестящую военную карьеру. Будучи не слишком высокого роста, обер-лейтенант отличался зато исключительно кипуче-деятельной натурой. Не давал он скучать и подчиненным ему солдатам. Ко мне, например, он постоянно обращался с просьбами прочесть его роте то лекцию об оказании первой медицинской помощи, то лекцию о важности соблюдения гигиены в полевых условиях, то лекцию о чем-нибудь еще. Титжен был приветливым и дружелюбным малым, но во время наших неофициальных, внеслужебных, так сказать, офицерских сборищ я почти всегда обращал внимание на то, что он посещает их не то чтобы без особенного желания, но как-то все-таки и без особой радости — как обязательные и вовсе уж не так уж и неприятные мероприятия, посещению которых он все же предпочел бы нечто другое. Объяснение тут было очень простое и вполне извиняющее обер-лейтенанта: он торопился как можно быстрее вернуться к своим служебным делам во вверенной ему роте.

Кстати, как я сумел понять в дальнейшем, Ноак был тоже и хорошим товарищем, и прекрасным солдатом; о первом нашем с ним неприятном знакомстве я упомянул лишь в качестве иллюстрации к тому, как мне было непросто вписаться в офицерское сообщество батальона и стать его полноценной частью. Но вот обер-лейтенант Крамер, командир 11-й роты, был человеком, к которому я никогда не испытывал дружеского расположения, и мою антипатию к нему разделяло большинство офицеров нашего батальона. В один из погожих солнечных деньков в конце января мы вместе со Штольцем совершали конную прогулку по близлежащим окрестностям и решили нанести Крамеру неожиданный визит. Он расквартировал свою роту в громадном старинном *chateau* (фр. — замок) километрах в семи-восьми от Литтри, где, кстати, обитала сам как какой-то средневековый феодал.

Штольц так и называл это место: «замок Крамера». И действительно, сей природно-архитектурный ансамбль был настоящим монументом хроническому комплексу неполноценности Крамера, происходящему всего лишь из того факта, что он, как, между прочим, и многие другие, выдвинулся в офицеры из рядовых. Это многих от него отталкивало. Кстати, именно по этой же причине его вряд ли можно было назвать и истинным офицером...

Разительным контрастом с увиденным было воспоминание по пути обратно о том скромном здании, в котором была размещена рота Штольца. Однако в 10-й роте всегда царила идеальная дисциплина, старательно и совершенно по доброй воле поддерживаемая самими солдатами, — дисциплина, являвшаяся прямым следствием их уважения и искренней привязанности к своему прекрасному командиру. Да и самому Штольцу, кстати сказать, тоже довольно здорово повезло, что среди его унтер-офицеров был такой уникальный человек, как обер-фельдфебель Шниттгер — лучший унтер-офицер во всем нашем батальоне. Прибыв в расположение части, мы как раз застали его заботливо присматривавшим за приготовлением тушеного жаркого из голубей, которых он закупил для своих солдат на местном рынке. Поварами, занимавшимися этим священнодействием, были два здоровенных блондина — два совершенно идентичных брата-близнеца. Эти двое красавчиков извлекали максимум удовольствия из того смущения и неразберихи, которое они каждый раз вселяли в сердца местных красоток, когда появлялись на улицах Литтри. Рынок, сообщил нам Шниттгер, просто завален голубями. Дело было в том, что буквально на днях от вермахта было получено строгое предписание в кратчайший срок истребить всех до одного голубей в Нормандии — по причине того, что якобы французы отправляли с почтовыми голубями через Пролив секретные сообщения в Англию. Местных французских голубятников обрадовать такое, конечно, не могло, и поэтому они в инициативном порядке постарались опередить специально отправлявшиеся команды армейских «голубиных экзекуторов», которые — то ли от чрезмерного усердия, то ли по причине слишком скудных познаний в орнитологии, — но принялись рьяно сворачивать головы всем подряд, породистым и дорогостоящим, голубям и голубкам в городе...

Январь и февраль промелькнули один за другим, и в Нормандию пришла весна. Однако вопреки слухам ее наступление не принесло с собой обещанных поставок нам новых видов секретного вооружения, которые, по тем же слухам, вроде бы как только и дожидались приказа о начале вторжения, чтобы быть испытанными на реальном враге. Единственное, что повлекло за собой наступление весны, так это обилие все новых и новых слухов — ну и еще, конечно, неожиданно дерзкий рейд в наше расположение английского диверсионно-десантного отряда. Слухи об этом рейде упорно расползались по всей германской армии, хотя Вермахт и пытался сохранить все это в секрете. Итак, небольшой отряд англичан высадился на нашем побережье в районе Грандкампа, недалеко от того места, где нас упорно дожидались наши десантные плавсредства для вторжения. Но главным было отнюдь не это, а то, что они сумели незаметно подобраться к нашей радарной установке, расположенной на практически отвесных прибрежных скалах, и, не произведя ни единого выстрела, повязать по рукам и ногам весь обслуживавший и охранявший ее персонал. Затем они разобрали на кусочки всю радарную установку, представлявшую собой объект повышенной секретности, и все эти кусочки, в целости и сохранности, утащили с собой обратно. А для того чтобы напоследок насолить нам, причем не просто так, но в издевательски-шутливой форме, они прихватили с собой (также в целости и сохранности) еще и тамошнего повара.

Этот уникальный рейд английских диверсантов оказался для нас довольно ощутимой психологической, да и моральной встряской, особенно для тех наших подразделений, которые рвались в бой и были уже до крайней степени изведены монотонностью каждодневных шаблонных подготовительных тренировок. Наконец, нам показалось, что вот-вот последует приказ о начале операции «Морской лев». Нойхофф собрал всех офицеров на общее собрание. Сообщенная им новость произвела впечатление разорвавшейся бомбы:

вторжение в Англию откладывается на неопределенный срок, а нам надлежит незамедлительно подготовиться для дальней передислокации. Конечный пункт этой передислокации или хотя бы примерный театр военных действий были пока неизвестны. Мы находились под секретным приказом.

Той же ночью мы в срочном порядке покинули Литтри, и в течение нескольких изматывающих дней наш поезд нес нас через Францию и Германию в общем направлении на восток, обходя при этом крупные города и частенько простаивая на запасных путях по часу-два за раз. В Нормандии, подготавливая к отправке нашу амуницию и разнообразное оборудование, мы потели. Сейчас же, все более и более углубляясь в зону континентального климата, мы оказывались в настоящей зиме. В Алленштайне земля была покрыта еще довольно толстым слоем снега, ветер упруго стегал в лицо морозом, а озера восточной Пруссии стояли скованными льдом. Мы сошли с поезда и продолжили наш путь на восток пешим ходом. Погода, как уже было сказано, была в прямом смысле слова зимней. Шли мы только по ночам, а днем спали в стогах сена, в амбарах и изредка, когда на то было особое разрешение, в предоставлявшихся нам домах местных жителей. Все это закаляло и укрепляло нас в преддверии того, что нас ожидало впереди.

В наших разговорах вместо словосочетания «Морской лев» все чаще стало проскальзывать новое слово «Барбаросса». Оно как-то очень удачно сочеталось с немногочисленными равнинными ландшафтами восточной Германии — древним краем тевтонских рыцарей и крестоносцев. В конце концов мы дошли до Филипово в польской области Сувалки — менее чем в двадцати километрах от границы с сопредельной Россией... Итак, значит, нас подготавливали к войне на Восточном фронте, т. е. к войне на огромных, с трудом поддающихся осознанию пространствах. По слухам, мы располагали к войне против России ста семьюдесятью дивизиями, общая численность которых составляла более трех миллионов человек. Когда мы дошли до наших приграничных позиций на востоке, до нас наконец дошел смысл таинственного слова «Барбаросса»...

* * *

— Могу я принести герру ассистензарцту что-нибудь поесть? — услышал я вдруг голос Дехорна, выжидательно стоявшего у меня за спиной. Я с некоторым усилием заставил себя выйти из своей мечтательной задумчивости и утвердительно кивнул ему. Мюллер, как я заметил при этом, уже закончил с чисткой моего автомата и теперь деловито рассортировывал разные виды перевязочных бинтов. Нойхофф и Хиллеманс оживленно беседовали о чем-то прямо во время еды, а Дехорн медленно пробирался ко мне, осторожно неся перед собой тарелку, щедро наполненную до краев гуляшом.

Один из наших вестовых проехал мимо нас на велосипеде. От него мы узнали, что все наши роты уже дошли до Мемеля на всей протяженности фронта по нашему сектору и взяли еще девятерых пленных. Две или три сотни русских были вынуждены отступить через реку вплавь, побросав при этом свое оружие и технику.

— Неблагодарная работенка, что уж тут и говорить! — донесся до меня сдержанный комментарий Нойхоффа. — Ничуть не удивлюсь, прямо даже вижу, как наши люди отдохнут там где-нибудь в лесах часок-другой, а потом вернутся обратно к четырем-пяти вечера. Разве не так, Хиллеманс? Вот посмотришь. А что — еда здесь хорошая, еды много, а еще их здесь дожидается горячий кофе.

Мы терпеливо дожидались возвращения наших рот, отправленных на зачистку леса, чтобы и самим затем отправиться дальше, к Мемелю. Насколько знал вестовой-велосипедист, работы там для меня не было. Он очень и очень ошибался — работы было достаточно.

Боевых ранений, к счастью, действительно не было. Однако почти каждый солдат перед тем, как идти куда бы то ни было дальше, с наслаждением омыл в водах реки свои страшно натопанные и намятые за последние дни ноги. Размоченные в воде ноги размякли

и распухли еще больше, покрывавшие их волдыри полопались, а когда солдаты с трудом обули их в ботинки и сапоги, намялись и натерлись в результате еще хуже, чем было до того... Мне пришлось даже настоять на том, чтобы в приказах по батальону была оглашена специальная инструкция медицинской службы, гласящая о том, что «всем солдатам строго запрещается купаться или мыть ноги в воде за исключением тех случаев, когда точно известно, что дальнейших передвижений пешим походным порядком в ближайшие 24 часа не предвидится. Вместо купания и мытья ног рекомендуется смазывать их оленьим или любым другим жиром животного происхождения. Олений жир будет распределен по всем ротам, а прямо сейчас его можно получить у унтер-офицера Вегенера». Мне казалось тогда, что восемь сотен солдат с воняющими ногами — это все же лучше, чем восемь сотен солдат с не дающими нормально перемещаться и требующими лечения исключительно болезненными волдырями на ногах.

Бесконечно длинный переход

Мемель оставался уже в сорока километрах позади нас, и полуденное солнце нещадно припекало марширующие колонны. С сухими, потрескавшимися губами, красными воспаленными глазами и покрытыми пылью лицами люди непреклонно двигались на восток, имея лишь одно сокровенное желание — лечь и поспать хотя бы несколько часов. Однако безостановочное движение все продолжалось и продолжалось — по дорогам и проселкам, по лесам и полям...

Наши ударные войска, кавалерийские эскадроны и сновавшие по передовой вестовые-велосипедисты были уже далеко впереди нас. Они расчищали нам дорогу, обеспечивали наше продвижение и настойчиво наступали на пятки отступавшему врагу, не менее упорно применявшему на нашем секторе фронта все виды задерживающей нас оборонительной тактики. Однако, минуя придорожные деревни, мы стали замечать повсюду проявления совсем иного духа местных жителей. По сравнению с первыми двумя днями чувствовалась очень заметная разница: если раньше улицы были абсолютно обезлюдившими, как будто мы проходили через деревни-призраки, то теперь вдоль дороги стало появляться все больше и больше литовцев. То здесь, то там едва заметные дуновения ветерка лениво колыхали появившиеся желто-зеленые флаги. Теперь литовцы уже верили в грядущую победу Германии, и эти их флаги символизировали новую свободу для Литвы. Некоторые деревенские жители протягивали солдатам сигареты, кружки с водой, каравай свежее испеченного хлеба. По их глазам было видно, что они делятся всем этим с радостью, с отчаянной надеждой на то, что русские уже больше никогда не вернуться.

Вскоре после полудня мы отдохнули пару часов в тени придорожного леса. Подложив под головы сумки с противогазами, камни или просто вытянутую руку, люди мгновенно засыпали. На каждом из таких привалов начиналась моя работа. К моей палатке сразу же выстраивалась очередь страдающих от различных недомоганий, ранений или просто стертых в кровь ног. Сегодня были еще и несколько случаев теплового удара. На этот случай у меня были припасены специальные уколы. Еще одной напастью для нас оказалась загрязненная вода, и пока на полевой кухне приготавливался чай, я раздавал всем желающим воду, пропущенную через особый фильтровальный аппарат, который мы возили с собой. Весь личный состав был по несколько раз привит от сыпного тифа, паратифа и дизентерии, но я все-таки предпочитал не рисковать. Существовала даже специальная инструкция, запрещавшая пить непрокипяченную или непрофильтрованную воду.

Но изможденный многочасовой жаждой и вдосталь наглотававшийся дорожной пыли солдат выпьет первую же воду, которую увидит, и остановить его невозможно ничем, хоть даже особым приказом по батальону. Решить эту проблему мне неожиданно помог Мюллер. Однажды утром он обнаружил у одного из колодцев с питьевой водой целую россыпь каких-то подозрительных и никак не маркированных ампул. Он сразу же принес их мне, а я, конечно, немедленно отправил их на экспертизу в ближайший госпиталь. В ампулах, к

счастью, не оказалось ничего опасного для жизни или здоровья, но событие это уже породило стремительно разнесшийся слух о том, что посредством ампул с каким-то неизвестным нам ядом русскими отравлены все колодцы с питьевой водой. Само собой, я и не думал опровергать эти домыслы. Во время вечернего привала Мюллер и Дехорн с торжествующим видом доставили ко мне шестерых совершенно поникших духом солдат, сознавшихся в том, что пили воду из «отравленного» колодца. Одним из этих шестерых был Земмельмейер — помощник нашего повара и большой юморист. От всегдашней веселости не осталось и следа, а то, что он был не просто солдатом, а еще и помощником повара, извиняло его за совершенной проступок еще меньше, чем остальных.

— Как это ты поймал их? — спросил я у Мюллера.

— Очень просто, герр ассистензарцт, — ответил Мюллер вполголоса, отведя меня в сторону. — Я сказал всем, что с помощью особого противоядия мы можем спасти жизнь любого, кто пил из колодца. В противном же случае они, скорее всего, умрут.

— Ловко... И что же нам теперь прикажете делать с ними, герр «доктор»?

— Ну, не знаю... Почему бы, например, не поставить им клизмы с хорошенькой дозой касторового масла?

Посматривая на растерянных и ничего не понимавших солдат, Дехорн громко расхохотался, чем поверг их в еще большее недоумение.

— Ты слишком суровый доктор, Мюллер. Я думаю, что они слишком измотаны походом, чтобы выдержать еще и такое нешуточное промывание желудка. Но мы все же дадим им по три ложки активированного угля и по хорошей столовой ложке касторового масла. Это не причинит им никакого вреда, но послужит хорошим уроком на будущее.

На следующее утро восемнадцать еще более перепуганных солдат повинились Мюллеру, что пили воду из отравленного колодца, и он уже сам выдал им «противоядие» в виде все того же активированного угля и касторки. После этого забавного недоразумения единственные жалобы в связи с желудочными недомоганиями поступали к нам на кухню от ее работников-мордоворотов, а уж там-то для приготовления пищи применялась только тщательнейшим образом отфильтрованная и прокипяченная вода. К тому же во время привалов они стали попроворнее стараться как можно быстрее напоить всех жаждущих чаем и кофе.

Мы преодолевали километр за километром, обошли стороной Гродно и направлялись к Лиде. Время от времени над нами пролетали русские самолеты — возможно, их целью был оставшийся позади нас мост через Мемель. Зенитчики отмечали траекторию их полета пунктирами симпатичных белых облачков от разрывов их снарядов, но понуро шагавшие по дороге люди уже не поднимали глаз ни на что, что не касалось непосредственно их собственной, персональной войны. А собственная война каждого на том этапе ограничивалась очень узкими и простыми рамками: суровые трудности дороги, боль в стоптанных ногах, сухость во рту, тяжесть снаряжения и то, что могут принести с собой следующие несколько шагов. Бодрость духа солдата поддерживали только мысли о предстоящем привале. Каждый мечтал о том, чтобы просто остановиться, не переставлять шаг за шагом окаменевшие неподъемные ноги и несколько часов поспать. Не было слышно никакого пения, никаких шуток, никаких пустопорожних разговоров — только отдельные короткие реплики, да и то строго по делу, когда это было действительно необходимо. Колонна двигалась по дороге почти в полном безмолвии. Время от времени на придорожные поля и леса производились неожиданные набеги с целью выявления и обезвреживания могущих скрываться там русских. Это было необходимо, а потому выполнялось со всей педантичностью, но уже без энтузиазма. Энтузиазм был необходим нам для того, чтобы заставлять себя двигаться вперед по дороге.

Багровое солнце медленно опускалось за поднятые нами плотные облака пыли. Вот оно скрылось совсем, однако наше мрачное шествие продолжалось и в сгущавшейся тьме. Мы уже хотели, чтобы русские где-то там впереди наконец остановились... Мы мечтали уже о чем угодно, хоть бы даже и о бое — лишь бы только нарушить эту невыносимую

монотонность, эту убийственную непрерывность нашего бесконечного шествия. Привал был наконец объявлен уже в начале двенадцатого ночи. Его решено было устроить на большой ферме немного в стороне от дороги. За сегодняшний день мы покрыли более шестидесяти километров!

Часом позже вестовой нашего полка доставил нам фантастическое сообщение о том, что завтрашний день объявлен для нашего батальона днем отдыха. Многие к тому моменту уже крепко спали, остальные же приветствовали новость громкими радостными криками. Возгласы эти, однако, ни в малейшей степени не потревожили сна их товарищей.

* * *

Купавшиеся нагишом в пруду около фермы солдаты приветствовали громкими криками, свистом и смехом хорошенькую доярку, как ни в чем не бывало направлявшуюся в свой коровник. После крепкого и продолжительного ночного сна мысли молодых здоровых мужчин текли теперь в гораздо более нормальном русле, чем накануне, — и доярка явно не выглядела совсем уж безразличной к такому повышенному вниманию к своей скромной персоне. На этот день я отменил свой запрет на купание и мытье ног — поскольку идти нам никуда сегодня не предстояло. Те, что не купались в пруду, раздевались по пояс и с наслаждением разгуливали босиком, стирали носки и портянки или чинили обмундирование. Настроение у всех было исключительно приподнятое, даже какое-то праздничное.

Время от времени до нас доносилось далекое, приглушенное расстоянием громыхание канонады. Казалось, что оно не дальше, чем накануне вечером, и я чувствовал себя несколько беспокойно. Чуть позже в тот день Кагенек откуда-то пронюхал, что у Белостока в нашем окружении оказались целых две русских армии, которые в течение двух суток отчаянно пытались прорвать сжимавшееся вокруг них стальное кольцо. А канонада, что мы слышали, доносилась до нас со стороны осажденной нами крепости в Гродно.

Ко мне выстроилась длинная очередь солдат с тщательно вымытыми ногами. Все они пришли ко мне для осмотра и лечения. Я наконец имел возможность уделить им такое количество внимания, в котором они действительно нуждались. Сейчас можно было никуда не торопиться. Я неспешно обрабатывал йодом маленькие волдырики, прокалывал и дезинфицировал те, что покрупнее, удалял ножницами кожу с нагнаивавшихся совсем уж крупных волдырей и все их заклеивал особым тонким пластырем — так, чтобы потом можно было более-менее успешно и не слишком болезненно втиснуть ногу в ботинок или сапог. Ни разу в жизни не удалял я столько отмершей кожи за один день! Направить солдат в тыловой госпиталь пришлось всего лишь в нескольких случаях. Были случаи и попроще, включая и дизентерию — думаю, что в результате того, что они просто напились загрязненной воды. Одного человека сбросила с себя лошадь, а двое страдали от острого воспаления слизистой оболочки глаз — в результате многочасового пребывания в густой пыли. В целом, однако, люди перенесли первые три дня нашей кампании вполне удовлетворительно. Я считал, что на моей личной ответственности лежит необходимость сделать так, чтобы, когда дело дойдет до настоящих боев, Нойхофф располагал бы батальоном безупречно здоровых бойцов. Когда начнутся реальные боевые действия, мы уже не сможем уделять столько времени медицинскому обслуживанию личного состава.

Штольц, босой и голый по пояс, наслаждался ласковым послеполуденным солнцем, живописно восседая на вязанке сена и лакомясь жареной картошкой. Вдруг мы увидели, что от фермы к нам, отчаянно жестикулируя, стремглав бежит литовский крестьянин. У него явно было какое-то важное и срочное сообщение к нам. «*Komm!*» — подозвал его к нам Штольц. Мы не могли понять ни слова из того, что перепуганно тараторил нам литовец, кроме несколько раз повторенного «*Russke! Russke!*» При этом он все время указывал рукой в направлении леса, находившегося от нас всего в паре сотен метров.

— В лесу русские, — «перевел» наконец я.

— Ну, в любом случае их там не может быть слишком много, — совершенно спокойно

и даже как-то с ленцой промычал Штольц сквозь набитый рот. Не прекращая невозмутимо жевать картошку, он взял свой автоматический пистолет, сунул в карманы брюк пару гранат и, все еще по пояс голый и босой, неспешно отправился к лесу в сопровождении десятка солдат. Уже минут через десять он вернулся обратно, подталкивая впереди себя трех пленников — одного русского офицера и двух солдат.

Пленных отвели для допроса на ферму, в гостиную с большим камином. Ламмердинг взялся вести протокол допроса. Выполнявший функции переводчика офицер знал русский лишь очень поверхностно, и все-таки нам, хоть и с великим трудом, но удалось выудить из этих троих ту главную информацию, что нас интересовала.

Наше нападение на русских застало этих людей врасплох, спящими внутри железобетонного бункера на границе. Они не имели ни малейшего представления о том, что мы уже находимся с ними в состоянии войны, но когда наши крупнокалиберные снаряды начали сотрясать стены их блиндажа, они предприняли отчаянную, но не слишком благоразумную попытку сражаться за него «до последней капли крови». Однако наши войска не предоставили им возможности проявить себя настоящими героями — они, колонна за колонной, просто проходили и проходили мимо них, как мимо пустого места, в глубь русской территории. Мужественные защитники блиндажа наконец осознали, что дальнейшее сопротивление не только бесполезно, но и губительно для них. С наступлением ночи затаившаяся в блиндаже небольшая группа офицеров и солдат незаметно выскользнула из него, намереваясь догнать свои отступающие части, и к тому времени, когда Штольц взял троих оставшихся из них в плен, они уже четвертые сутки беспорядочно блуждали ночами по лесам. Они были крайне изнурены и отчаянно голодны, да к тому же не имели ни малейшего понятия ни о своем местонахождении, ни о текущей ситуации в целом. То, что они угодили в плен, вообще, казалось, не имеет для них никакого значения. Самым интересным, что нам удалось узнать в результате допроса, было то, что Красная Армия была совершенно не подготовлена к нашему нападению 22 июня. Во всяком случае, на нашем участке мы атаковали, в сущности, спящую армию.

Вегенер вернулся на «моем» «Мерседесе» и привез с собой молодого лейтенанта, назначенного для прохождения службы в наш батальон на место погибшего Штока. Фамилия лейтенанта была Больски, и его, конечно за глаза, неминуемо переименовали в «Польски» (*Bolski — Polski*). Это забавное прозвище приводило его в неопределимое неистовство, поскольку, хоть Больски и происходил из прибалтийских немцев, он одинаково отчаянно ненавидел как русских, так и поляков — примерно как бубонную чуму. Еще его столь же лютая ненависть распространялась и на англичан, несмотря даже на то, что англичанкой была его собственная родная бабушка. Создавалось впечатление, что у него имелась какая-то болезненная внутренняя потребность везде и всюду, при каждом удобном случае настоятельно подчеркивать, что он является исконным, чистокровным немцем из Восточной Пруссии. Нойхофф включил его в состав 12-й роты, т.е. в ту роту, что была под командованием фон Кагенека. А у Кагенека, который уж точно был стопроцентным немцем, что называется, «голубых кровей», Больски стал стараться еще ожесточеннее доказывать себе самому и всем, кто не отмахивался от него, что он — самый что ни на есть настоящий, *стоятидесятипроцентный* немец.

Незадолго до того, как солнце стало скрываться за горизонтом, мы вдруг услышали нежную мелодию, исполняемую на лютне и доносящуюся откуда-то со стороны беседки невдалеке от дома. Ламмердинг и я пошли на эти столь удивившие нас звуки и увидели очень пожилого литовца, сидящего рядом с домом и играющего на своем диковинном инструменте для нескольких наших солдат. Его длинная снежно-белая борода делала его похожим на старинного барда. Мы попросили его перейти в дом и поиграть для нас еще. Старик уселся поудобнее у очага, и его руки, чуть заметно подрагивая, на какое-то мгновение замерли на его столь же древнем, как и он сам, инструменте. Все офицеры и солдаты как по команде замолчали, задумчиво прислонились к стенам вокруг седовласого музыканта и в почтительном безмолвии приготовились внимать его искусству.

Первые, едва различимые на слух аккорды возникли как будто бы из каких-то далеких таинственных глубин. Вначале они были как бы неуверенно нащупывавшими себе путь к своим слушателям, а затем незаметно развились в согласованную и изысканную мелодию — печальную, почти меланхолическую, однако никоим образом не заунывную. Лично я воспринимал эти исполненные грустью мелодии как музыкальное самовыражение души приграничного народа, страдавшего за многие столетия от граничащей с рабством зависимости от иноземцев. Затем, постепенно, настроение звучавшей музыки неуловимо изменилось — все более и более убыстрявшийся ритм стал бурным, пульсирующим, даже агрессивным. Лицо старика, бывшее до того спокойным, бесстрастным и совершенно отстраненным от мирских проблем, сейчас совершенно преобразилось. В глазах вспыхнул внутренний огонь, и он запел на неизвестном нам языке. Голос был ослаблен возрастом, но пение было очень уверенным и чистым — чувствовалось, что старец не ошибается ни в одной ноте. Казалось, что он поет хвалу народу, вновь обретшему свою утраченную ранее свободу.

Думаю, что те, кто принял протекторат германской армии и даже занял в дальнейшем посты в новой литовской администрации, очень прогадали, однако, в одной чрезвычайно важной вещи: недооценить подобные пронзительные призывы к свободе и национальному самосознанию, близоруко пренебречь помощью людей, подобных этому старику, в деле политической пропаганды и борьбы с красными было их грубейшей ошибкой. Это была поистине бесценная сокровищница доброй воли их же народа, которая только и ждала того, чтобы ею воспользовались. Вместо этого произошло, однако, совершенно обратное, и в результате — снова все те же притесненность, угнетенность и подавленность, ставшие уже «привычными» за долгие столетия иноземного ига.

Некоторые из солдат, слушая старика, принялись между делом с любопытством осматривать внутреннее убранство дома. Больше всего поразила их воображение огромная массивная каменная печь, выстроенная прямо по центру гостиной. Она имела очень толстые стены, открытый очаг для разведения огня и несколько углублений с установленными в них довольно примитивными на вид глиняными горшками. Своими внушительными размерами печь разделяла гостиную как бы на два отдельных помещения.

— Эй, дед! — послышался голос одного из солдат. — У тебя, должно быть, большая семья. Но все же зачем вам такая громадная печь?

Старик загадочно улыбнулся. Он знал немецкий достаточно хорошо для того, чтобы понять, о чем его спрашивают.

— Вы будете в России этой зимой? — переспросил он солдата ставшим вдруг слабым и тонким голосом.

— Возможно...

— Вот тогда и поймете зачем! И, пожалуй, тогда вам будет уже не до смеха.

* * *

В половине третьего следующего дня мы уже снова двигались походным порядком на восток. Дорога была скверной, как никогда до того, а с наступлением темноты последовал настоящий ночной кошмар с крутыми и местами даже обрывистыми холмами и, что самое ужасное, — с бесконечными рытвинами, выбоинами, колдобинами и непомерно глубокими колеями вдоль дороги, проделанными огромными колесами русских телег в пору распутицы. Ночная тишь то и дело нарушалась пронзительными выкриками кучеров, отчаянно вопивших на лошадей. Бедные и измотанные ужасной дорогой животные, запряженные в тяжелые повозки, с огромными трудностями преодолевали глубокие песчаные ямы, чередовавшиеся с крутыми склонами далеко уже не равнинных холмов. Иногда объявлялись короткие остановки для того, чтобы дать хотя бы немного передохнуть совсем уж выбившимся из сил и дыхания лошадям, после чего погонщики снова упруго тянули их за поводья, и измученные животные, устало всхрапывая и раздувая бока, принимались снова

тащить свои тяжелые упряжки. Порой создавалось забавное впечатление, что повозки тянут не лошади, а люди, а лошади только помогают им по мере оставшихся у них сил. Повозки жалобно поскрипывали, проезжали некоторое — не слишком большое — расстояние, и их тяжелые колеса снова увязали в глубоком песке.

Однако форсированное движение на восток должно было продолжаться, а колеса — крутиться. По два или даже по три отделения солдат от каждой роты отряжались специально для того, чтобы помогать подталкивать повозки в труднопроходимых местах. Как только повозка начинала опасно замедлять свое движение, грозя в очередной раз завязнуть в песке, солдаты бросались к ней, хватались за спицы колес и, налегая на них всем весом, помогали колесам миновать опасное место. Солнце уже поднялось над восточным горизонтом, а наше неумолимое и какое-то ожесточенное движение вперед все продолжалось и продолжалось. Люди и лошади, согласованно взаимодействуя друг с другом и выбиваясь из последних сил, безостановочно толкали и тянули тяжело груженные повозки. Многие солдаты поснимали свои гимнастерки и нательные рубахи. Пот ручьями струился по их спинам, на него тут же оседала рыжая дорожная пыль, превращавшаяся затем в затвердевшую бурую корку. Одно отделение для подталкивания повозок поочередно сменялось другим, и сменившиеся с облегчением благословляли Провидение за то, что какое-то время им можно снова просто идти пешком.

Самые хорошие дороги, с наиболее качественным и устойчивым к износу покрытием, были выделены для ускоренного продвижения по ним в глубь России передовых ударных частей, моторизованных подразделений и артиллерийских батарей Вермахта. Пехота же, с ее транспортом на конной тяге, была «удостоена» более или менее параллельных им проселков уже известного нам «качества». Эти так называемые дороги, состоявшие по большей части из песка, местами слишком уж походившего на извесь, мы в буквальном смысле слова осыпали неприличными для произнесения вслух проклятиями. Это, однако, не освобождало нас от необходимости с огромным трудом двигаться дальше, и к половине третьего следующего дня — ровно через двадцать четыре часа непрерывного перехода всего с двумя коротенькими привалами — мы достигли наконец нашего следующего «бивуака». Спустя всего лишь несколько считанных часов отдыха мы уже снова следовали дальше, через холмы и леса, которые по мере нашего углубления в бескрайние пространства территории России становились все более и более дремучими. Уже почти не отдавая себе в этом отчета, мы механически преодолевали километр за километром, переход за переходом.

Где-то на девятый день после начала войны — 30 июня — мы получили первое за все это время сообщение о положении на других направлениях нашего наступления. Оно было доставлено вместе с другими ежедневными приказами генерала Штрауса — командующего 9-й армии, к которой относились и мы. Нойхофф передал сообщение Ламмердингу, чтобы он зачитал его вслух всему батальону, не останавливая при этом, однако, его походного движения.

«Во взаимодействии с 4-й армией и двумя танковыми группировками успешно проведено окружение и уничтожение значительных сил русских. Потери врага пленными составили более ста тысяч человек, потери убитыми и ранеными — еще значительнее. Разбитыми и отступающими армиями оставлены на полях сражений 1400 танков и 550 артиллерийских орудий. Значительное и с трудом поддающееся подсчету количество вооружения и техники брошено врагом в лесах. Настоящее сражение явилось лишь подготовкой к могучему мощному и неотвратимому уничтожению русских армий на участке между Белостоком и Минском».

Прослушав это лаконичное, но поражающее воображение сообщение о победе наших войск, мы пораскрывали рты от изумления.

— Эти цифры потрясут мир, — с едва сдерживаемым ликованием проговорил тогда Нойхофф.

* * *

Следующие два дня наш бесконечный переход продолжался как обычно — все по тем же ужасающим дорогам. Правда, теперь мы уже пореже совершали неожиданные вылазки по окрестным полям и лесам в поисках снайперов. Судя по всем сводкам боев, русские, казалось, были обращены уже в настолько поспешное отступление, практически бегство, а мы преследовали и наседали на них так плотно, что было уже даже трудно представить себе, что они смогут остановиться и закрепить оборону, пока мы не прижмем их к самым воротам Москвы.

2 июля Кагенек раздобыл где-то солдатскую газету, датированную тремя днями ранее. Она называлась «Прорыв» и была отпечатана одной из полевых типографий германского министерства пропаганды. В газете был представлен довольно развернутый обзор положения на всем Восточном фронте. Такого рода информационный бюллетень попал нам в руки за все это время впервые — возможно, он и был первым. На следующем же привале Кагенек зачитал нам «Прорыв», первая полоса которого представляла собой краткое содержание последующих сообщений, набранное крупным шрифтом в виде своеобразных лозунгов:

ПОБЕДОНОСНЫЙ МАРШ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ —
СВОЕВРЕМЕННЫЙ УПРЕЖДАЮЩИЙ КОНТРУДАР НАНЕСЕН В САМОЕ
СЕРДЦЕ ГОТОВЫХ К НАПАДЕНИЮ НА НАС СИЛ РУССКИХ —
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ПРИГРАНИЧНЫЕ СИЛЫ РУССКИХ
ПРОРВАНЫ В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ — ОКРУЖЕНИЕ ОГРОМНОГО
СКОПЛЕНИЯ РУССКИХ АРМИЙ — ПОПЫТКИ РУССКИХ ВОЙСК
ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ПРЕСЕЧЕНЫ — УНИЧТОЖЕНО БОЛЕЕ 1100
ВРАЖЕСКИХ САМОЛЕТОВ И ТАНКОВ — ПАДЕНИЕ КРЕПОСТИ
БРЕСТ-ЛИТОВСК — ВИЛЬНО И КОВНО В НАШИХ РУКАХ.

Тот пыл, с которым солдаты слушали чтение Кагенеком более подробных новостей о наших успехах за первые восемь дней, был наглядным подтверждением того, насколько продуманным было каждое слово, подобранное министром пропаганды. Новости дошли до нас как нельзя более вовремя — когда многие из нас, изнуренные бесконечным форсированным переходом, уже начинали втайне потихоньку сомневаться про себя в том, что нападение на Россию было действительно столь уж оправданным или необходимым. Теперь все сомнения были развеяны тщательно продуманными словами Геббельса. Всем теперь было совершенно ясно: Германия была вынуждена напасть на скопления войск красных, подготавливавшихся для вторжения в фатерлянд.

Кагенек тем временем уже заканчивал чтение: «Целые эскадрильи советских самолетов были уничтожены на земле, прямо на их аэродромах, до того, как они смогли взлететь для выполнения своих смертоносных задач по бомбардировке невинных немецких женщин и детей. Благодаря образцовому взаимодействию немецких армий нам удалось уничтожить громадное количество самолетов, танков и другой военной техники, а также захватить в плен значительное количество живой силы противника. Все эти огромные цифры дают представление об ужасающей картине той смертельной опасности, которая была сконцентрирована у восточных границ рейха. Совершенно очевидно, что нам удалось сорвать русско-монгольские планы о вторжении в Центральную Европу лишь в самую последнюю минуту — планы, последствия реализации которых были бы трагичны сверх всяких ожиданий. Весь немецкий народ выражает свою глубочайшую благодарность своим мужественным защитникам».

Когда мы остались одни и хотя бы на время избавились от компании лизоблюда и подхалима Больски, который повсюду таскался за Кагенеком в качестве добровольного адъютанта, я спросил у Кагенека:

— Что ты думаешь об этом, Франц?

— Ты имеешь в виду, кто на кого напал на самом деле?

— Да.

Кагенек изложил мне свою позицию совершенно искренне и беспристрастно:

— Большевизм и национал-социализм в любом случае не смогли бы сосуществовать друг с другом бесконечно долго. Это даже не подлежит обсуждению. И, конечно, первыми напали мы. Единственный вопрос: было ли это действительно необходимо? Если бы мы заключили с русскими действующее соглашение о том, что мы не вмешиваемся в их планы, — Константинополь, Персия, Индия и так далее, — то тогда мы не были бы в состоянии войны с Россией *сегодня*. Тогда мы, возможно, заключили бы мир с Англией и в дальнейшем действовали бы против большевиков уже вместе.

— Да, но кто же все-таки начал эту войну?

— Кто ее начал — не имеет на самом деле никакого значения. Тоталитарные государства могут нападать друг на друга когда угодно — когда посчитают, что для этого настал подходящий момент. И заручаться чьей-то поддержкой или советоваться с кем-то по этому поводу им незачем. Англия и Америка, прежде чем вступить в войну, должны подготовить к этому свои народы. Своим вторжением в Польшу мы поставили Англию перед моральной проблемой объявления нам войны.

— Да поможет нам Бог, если мы не победим!

— Да уж, да поможет нам Бог!.. — с жаром согласился Кагенек. — Но даже если мы и победим, у нас самих дома все равно слишком много недоразумений, которые еще предстоит прояснить...

На следующий день нас ожидала все та же старая история — переход, переход, переход...

Штольц выразил скромную надежду на то, что мы никогда больше не увидим ни одного русского солдата. Нашему батальону очень повезло в том отношении, что двойной охват (захват в клещи) русских войск у Белостока был произведен нашими войсками успешно, поскольку в результате наш северный фланг оказался надежно защищенным, даже в том случае, если бы русским удалось где-нибудь вырваться из окружившего их стального кольца. Нам стало известно о том, что теперь наши бронетанковые войска оказались вовлеченными в серьезное сражение у Минска, Группа армий «Север» успешно продвигается по направлению к Ленинграду, уже захватив по пути Ригу, а Группа армий «Юг» овладела стратегически важным польским городом Лемберг. Мы все еще маршировали по тому, что раньше было Польшей, направляясь в сторону Османской империи.

Кагенек, Больски и я ехали рядом друг с другом верхом, когда нам передали очередную информационную сводку, из которой мы узнали об ужасающих зверствах, учиненных красными в Лемберге. Перед тем как покинуть город, русские устроили там зловещий карнавал смерти. Они расстреляли всех своих политических оппонентов, и в первую очередь тех, кто имел связи с немцами или подозревался в сочувствии к нацистам. В числе прочих были также расстреляны или угнаны в плен женщины, дети и старики.

— Звонят колокола Вестминстерского аббатства... — манерно кривляясь, произнес нараспев Больски. — А его Святейшество архиепископ Кентерберийский и Английский возносит молитву Господу, чтобы тот даровал победу его горячо любимым собратьям-безбожникам большевикам...

Выдав эту пропитанную ядовитым сарказмом тираду, Больски с остервенением плюнул на землю, демонстрируя этим, видимо, свое окончательное отречение от своей английской бабушки.

Впервые за все время с начала кампании мы попробовали использовать для транспортировки нашей санитарной повозки захваченных в качестве трофеев местных лошадей. Мы заменили ими тех, что занимались этим раньше: старый Вестуолл отбросил копыта прямо на ходу, а его коллега, товарищ и напарник, с которым они на пару из последних сил героически тащили нашу повозку, был тоже уже совсем недалеко от той же

печальной участи, поскольку достиг самой крайней степени изнурения. Мы с Мюллером наскоро соорудили небольшую четырехколесную тележку, идеально подходившую для работы в полевых условиях, и запрягли ее двумя низкорослыми, но коренастыми русскими лошадками. В тележке размещалось мое медицинское снаряжение, перевязочные материалы и другое оборудование, за которое отвечал Мюллер. наших новых маленьких подопечных мы назвали Максом и Морисом. Макс был черным, а Морис — бурым, как медведь. Эти поистине удивительные маленькие животные были идеальны для любой лошадиной работы, и в особенности для езды по русским сельским проселочным «дорогам». Они никогда не увязали в песке или грязи и, мелко-мелко, но быстро-быстро и как-то очень легко и непринужденно переступая своими коротенькими мускулистыми ножками, могли безостановочно тащить свою упряжку не то что часами, а, казалось, неделями. Таким вот образом они и протащили нашу маленькую повозку через непролазное сельское бездорожье до высот, с которых уже просматривалась Москва — по осеннее-зимней слякоти вперемешку со снегом, во время тяжелейших боев при отступлении к Ржеву, — и не выказывали при этом ни малейших признаков утомления, недомогания или прочего недовольства своей участью. Я мог совершенно спокойно полагаться на безотказных Макса и Мориса. С момента их поступления к нам на службу моя обеспокоенность по поводу нашей время от времени пропадавшей где-то санитарной повозки отошла куда-то на второстепенный план — я знал, что Макс с Морисом в конце концов обязательно притащат ее. Бывало, что такое случалось даже через неделю, а то и через две. Если бы не они — не видать бы нам, пожалуй, никогда нашей повозки...

Нам потребовалось всего лишь двенадцать самых первых дней кампании, чтобы прийти к неутешительному выводу о том, что в этой стране совершенно непригодны к применению практически все виды нашего транспорта. Конные повозки оказались слишком тяжелыми для нормального продвижения по этим невероятно безобразным дорогам. Наши прекрасные, породистые лошади слишком зависели от привычного полноценного питания и никак не могли окончательно акклиматизироваться в новых условиях. Особенно заметным это стало в ходе зимних боев. Тогда как немецкие лошади нуждались в слишком продолжительных перерывах для отдыха и усиленном питании — а подходящий корм для них, да еще и в достаточном количестве, имелся не слишком часто, — низкорослые русские лошадки прекрасно добывали себе подножный корм самостоятельно в виде травы по обочинам дорог и в лесах. Им вполне удавалось сохранять прекрасную форму и силу даже на скудном зимнем рационе, состоящем зачастую из пучка соломы, обдираемой ими коры придорожных деревьев и мха. Они, конечно, никогда не отказывались от предоставляемой им пищи, когда она была, но когда случалось, что ее не было, они никогда не проявляли ни малейших признаков беспокойства по поводу ее отсутствия и безропотно шли дальше. Они одинаково хорошо переносили и ужасающую жару, и трескучий мороз, а когда не было воды по причине, например, ее замерзания в колодцах, они с вполне довольным видом утоляли жажду снегом.

Они обладали совершенно потрясающими инстинктами. Во время снежных буранов они трогательно прижимались друг к другу и таким образом спасали себя от пронизывающего ледяного ветра, а их и без того медведеподобные шкуры становились к зиме настолько мохнатыми и густыми, что не пропускали к коже ни единой снежинки. Они безошибочно распознавали глубокие колдобины под маскировавшими их снежными наносами и никогда не сбивались с твердой дороги, даже если она была неотличима по виду от окружавших ее сугробов. У них была уверенная поступь горных коз, и они жизнерадостно вышагивали на восток, тогда как наши лошади, имевшие значительно больший живой вес, постоянно увязали по самый живот в сугробах, которые сами же на свою беду и находили. Многие наши солдаты обязаны жизнью этим нашим маленьким, но великодушным и верным спутникам. Известно множество случаев, когда человек, безнадежно заблудившись в зимнем лесу или в безмолвной снежной пустыне, доверялся своей маленькой и мохнатой русской лошадке, и та неизменно выводила его обратно к людям. Очень часто, когда мы оказывались

отрезанными от остальной части нашего подразделения и не имели с ними абсолютно никаких контактов, они спасали нас от голодной смерти ценой собственной жизни. Но с нашей стороны это было все равно что есть собственного друга.

Во время движения по направлению к русско-польской границе специально назначавшиеся наряды для проталкивания по бездорожью наших громоздких и тяжеловесных повозок на конной тяге продолжали обливаться обильным потом. Повозки эти были идеальны для передвижения по Франции, но для этой кампании оказались слишком малопригодными, а в ходе зимних боевых действий в условиях свирепых морозов вообще стали настоящей обузой. Нойхофф составил специальный доклад, в котором изложил все транспортные проблемы, затруднявшие наше продвижение. Нет никаких оснований сомневаться в том, что доклад этот был отправлен по назначению, однако никакой реакции за этим не последовало и ничего сделано не было. Создавалось впечатление, что Верховное главнокомандование предпочитало реагировать лишь на доклады о наших блистательных победах.

По стопам Наполеона

Дорога Наполеона оказалась и нашей дорогой. Теперь мы маршировали к Москве буквально по стопам наполеоновской армии 129-летней давности. И надо сказать, что двигаться по песчаным дорогам, ведущим нас в сторону Османской империи, было значительно проще.

Две трети поверхности этой дороги на восток были вымощены древними, но крепкими булыжниками, а оставшаяся треть, по обочинам, представляла собой плотно утрамбованный песок. Наши колонны двигались теперь легко и свободно: тяжелый транспорт — по вымощенной части дороги, а легкий, в том числе и наши маленькие невозмутимые лошадки, — по песчаным обочинам. Боковые линии дороги были отмечены высаженными вдоль них в то же, наверное, время высоченными березами, стоявшими подобно таким древним отборным наполеоновским гвардейцам. Дорога, кстати, была вымощена булыжником в 1812 году по личной инициативе французского императора и руками специально доставленных им для этого корсиканских мастеров. 600 000 (шестьсот тысяч) человек, которых Наполеон вел в Россию по этой самой дороге одной цельной армией, представляли собой, должно быть, грандиозный и очень красочный людской поток. Достичь предместий Москвы в ту ужасную зиму удалось только девяноста тысячам из шестисот, а обратно на родину смогли добраться лишь несколько сотен человек.

Внешне наши солдаты, облаченные в однообразную тускло-коричневую полевую униформу, являли собой, должно быть, лишь невзрачную тень той блистательной наполеоновской армии. И тем не менее было вполне естественным, что мысли, наверное, каждого человека, следовавшего по этой дороге, были заняты в те часы маленьким корсиканцем, чьи пылающие честолюбивые амбиции оказались бесславно затухшими снегами и льдами русской зимы. Призраки императорской французской армии, казалось, незримо следовали вместе с нами вдоль обочин дороги, и спины наших солдат наверняка неоднократно поеживались при воспоминаниях о картинках из школьных учебников истории, иллюстрирующих ужасное поражение французской армии в 1812 году.

Размышлял об этом и Кагенек, критически сравнивая продвижение французов с нашими собственными успехами.

— Наполеон не вступал в контакт с врагом, за исключением, конечно, эпизодических стычек с арьергардом русских, — проговорил он, выражая всеобщее настроение, — до тех пор, пока не вышел на линию обороны Москвы у Бородино.

— А как же вы тогда объясните его огромные потери в живой силе по пути к Москве? — живо поинтересовался Якоби, один из офицеров Кагенека.

— Их погубили огромные расстояния, — ответил Кагенек. — Наполеон просто не сумел обеспечить должное снабжение их всем необходимым.

— Не забывайте и о болезнях! — очень своевременно вставил я. — Знаете ли вы о том, что, например, во время войны 1870 года от болезней умерло в четыре раза больше людей, чем погибло собственно в ходе самих боев? Так какими же тогда должны были быть, по-вашему, потери Наполеона? В особенности от дизентерии, холеры, тифа в летнее время и сыпного тифа зимой, не говоря уже об обморожениях. Сыпной тиф, если уж на то пошло, оказался вообще главным бичом наполеоновской армии — они имели от него просто-таки ужасающие потери. Да даже сегодня двадцатилетние еще могут проскочить через эту напасть, а сорокалетние или пятидесятилетние, если их не вакцинировать, практически обречены.

— А какова причина сыпного тифа? — еще более обеспокоенно поинтересовался Якоби.

— Вши. Но заболевание могут переносить только инфицированные вши. И, поверьте, нам предстоит сразиться еще и с ними. Иначе они нас просто-напросто погубят.

— А как же прививки?

— Сыворотки на всех не хватит. В лучшем случае мы, возможно, сможем вакцинировать 5 процентов личного состава всей германской армии. А может, имеющегося количества сыворотки хватит как раз на то, чтобы вакцинировать наиболее предрасположенных к заболеванию.

— А ты, Хайнц, вакцинирован? — спросил у меня Кагенек.

— Нет. Но я не думаю, что это будет столь уж необходимо до тех пор, пока я нахожусь в столь чистоплотной и соблюдающей гигиену компании, как наша. В особенности если Больски избавится наконец от привычки то и дело чесаться у себя в шевелюре.

Больски в ответ и бровью не повел — как если бы он не расслышал или не понял моего недвусмысленного намека.

— А какое вообще значение имеют для нас расстояния?! — вместо этого вдруг запальчиво и как-то даже требовательно воскликнул он.

— Чертовски огромное, — проворчал Кагенек. — Такое же, какое они имели для Наполеона.

— Чепуха! — презрительно процедил Больски. — Сейчас двадцатый век, и наш фюрер — Адольф Гитлер, а не Наполеон.

— И что же из этого следует? — спросил Якоби.

— А то, что мы располагаем величайшей армией, во главе которой стоит величайший военный гений всех времен! Расстояния теперь не имеют никакого значения! — принялся заученно вещать Больски, распаляясь до величайших же высот своего ораторского «искусства». — Давайте не забывать: мы — не какие-то там обезличенные дротики, брошенные наудачу в толпу врага, которые могут попасть, а могут и не попасть в свою цель. Мы — разящий меч новой Германии, который вложен в лучшие руки фатерлянда, и, будучи призванными на его защиту, мы готовы крушить и разить наших врагов до их полного уничтожения!

— Хорошо сказал! Нет, действительно хорошо. Просто превосходно! — саркастически зааплодировал Якоби. — Геббельсу следует остерегаться, как бы Больски не занял его место.

— Мой дорогой Больски, — изысканно учтиво проговорил Кагенек, — вы решили все наши проблемы. И, в частности, одну мою маленькую личную проблему. С самого нынешнего утра я намереваюсь нанести визит моей любезной тетушке, живущей тут неподалеку, и вы убедили меня в том, что я должен наконец сделать это прямо сейчас. Благодарю вас! О, благодарю вас!

С этими словами он припустил галопом в направлении стоящей в отдалении рощицы деревьев.

* * *

Наше удовольствие от вояжирования по вымощенной Наполеоном дороге оказалось,

увы, не слишком долговечным. Нам поступил приказ оставить ее и двигаться на северо-восток, к Полоцку. До этого момента мы двигались форсированным походным порядком на Минск, но бои за него уже закончились, и в нас там больше не нуждались. Из донесений воздушной разведки следовало, что враг направляет значительные резервы своих сил на фронт через Смоленск и Витебск. Делалось это с очевидным намерением остановить наше продвижение к Москве на линии Полоцк — Орша. А остановив нас там, красные лишили нас и возможности использовать главное шоссе между реками Двина и Днепр, по которому наши бронетанковые части могли бы устремиться на Москву на своей максимальной скорости.

И вот мы снова в хорошо уже знакомых нам условиях: никуда не годные дороги, пыль, жара, жажда и проталкивание повозок вручную. Такова картина на сегодняшний день. Такой же она будет и завтра — километр за километром изнурительной, убийственной монотонности.

Отчаянно скучные поля, поросшие вереском, сменяются болотистой местностью, а извилистая линия деревьев отмечает собой фарватер небольшой речушки. Для обычного человека ничего экстраординарного в этом, конечно, нет, но для измученных и обессиленных длительным переходом солдат эта речушка — источник райского блаженства. Поэтому, как только мы доходим до ее берега, раздается ожидаемый всеми приказ о привале. Мы смотрим на наши топографические карты, а затем пристально и в полном безмолвии вглядываемся в противоположный берег. Название речки — Березина, а другой ее берег — это уже Россия. Мы стоим на самом краю Польши и в некотором изумлении всматриваемся вдаль, где на горизонте темнеют густые и непроходимые русские леса.

Тут вдруг в нашей памяти всплывает, что на берегах именно этой речки были разбиты последние десять тысяч отступавших наполеоновских солдат. Все десять тысяч, за исключением лишь нескольких сотен, были перебиты насмерть. Лишь считанные несколько сотен сумели добраться до западного берега, на котором мы сейчас стоим, чтобы донести до Франции печальное известие о величайшем в истории военном фиаско. Остатки огромной по тем временам шестисоттысячной французской императорской армии, покинутой своим императором, который к тому времени был уже в Париже, получили на Березине свое самое последнее сражение.

Нашим вестфальским гренадерам — доблестной 6-й дивизии — тоже предстоит очень хорошо запомнить Березину, а именно то ее место, что примерно в 240 километрах ниже по течению, на юг, среди припятских болот. Но мы пока еще ничего не знаем об этом. Мы совершенно не спешим прервать долгожданный отдых на берегу реки, а когда один из наших людей находит в речном песке у кромки воды бронзового орла с головных уборов наполеоновских офицеров, мы расцениваем это как несомненно доброе предзнаменование.

Эта эмблема французской армии окажется в дальнейшем в одном из подразделений нашей фронтовой пропаганды, которое сделает на ней целый «капитал». Полевая солдатская газета гласила тогда: «Наш фельдмаршал и фюрер Адольф Гитлер уже наглядно продемонстрировал всему миру, что принимаемые им планы неизменно и безукоризненно воплощаются в реальность. Так было и с Планом Шлиффена, в результате выполнения которого германские дивизии одержали блистательную победу во Франции. С тем же настроением принимает фюрер символическое послание ему от великого корсиканца и ведет Вермахт к великой и окончательной победе над русским колоссом. Мы находимся на заре великой эры — эры могучей объединенной Европы. Наполеон не смог воплотить в действительность этот великий идеал, но он станет реальным фактом нашей жизни под предводительством и руководством фюрера».

Наш отдых около Березины продолжался около полутора-двух часов. Мы с непередаваемым наслаждением тщательно вымыли в реке голову и верхнюю часть тела по пояс, смыв с него ужасную запекшуюся корку пыли. Прохладная речная вода охладила наши пылающие от пота вперемешку с пылью глаза и освежила потрескавшиеся от жажды губы. И — снова вперед, километр за километром, но теперь уже по самой России.

На двадцать пятый день войны, 12 июля, мы получили сразу несколько полевых газет с информационными сводками о боевых действиях. Увидев в напечатанном виде новости о битве за Минск, мы приветствовали прочитанное громкими одобрительными восклицаниями. «Битва за Минск закончена. Нашей Группе армий „Центр“ противостояли четыре русских армии. В результате все они потерпели поражение — либо были разгромлены, либо обращены в беспорядочное бегство; захваченными в плен оказались триста тысяч русских солдат и офицеров; также захвачены или уничтожены две тысячи шестьсот танков и тысяча пятьсот артиллерийских орудий. Неприателем понесены огромные потери убитыми...»

По мере нашего продвижения вперед враг продолжает откатываться на восток. Кажется, что наш батальон так никогда уже и не нагонит его. Как будто нашей войне так и суждено остаться одним непрерывным марафоном — до Урала или даже еще дальше.

С огромным облегчением слушаем мы новости, приносимые разведкой: враг занимает оборонительные позиции и окапывается на линии Полоцк — Орша — Витебск. Реки, озера и густые леса формируют собой дополнительную линию естественных оборонительных укреплений, а в совокупности с железобетонными бункерами и противотанковыми рвами все это составляет единую и очень сильно укрепленную систему защиты, так называемую «линию Сталина» — первый по-настоящему серьезный барьер в главной системе обороны Москвы. Теперь мы уже больше не сомневаемся в том, что враг наконец намерен закрепиться и сражаться. Мы счастливы, мы можем смеяться над пылью, над жарой, над жаждой — ведь впереди, до передовых позиций, нам остается преодолеть всего каких-то тридцать-тридцать пять километров. Наши головные отряды и бронетанковые подразделения в настоящий момент уже вовлечены в серьезное сражение. Сопротивление врага на восточном берегу Двины с каждым часом становится все более жестким. До нас доходят сведения с передовой о том, что нашими бронетанковыми частями и моторизованными подразделениями пехоты получены приказы прекратить свои атаки, закрепиться на захваченных позициях и удерживать их до тех пор, пока к ним не подтянутся следующие за ними подразделения наших войск.

Нас наконец ждет настоящая война!

Колонна бодрым шагом покачивается вдоль дороги, взволнованно устремляясь навстречу своей судьбе. Теперь у нас есть вполне определенный пункт назначения, конкретная цель, и нас отделяют от нее всего какие-то считанные километры.

Через день после переправки через Березину нам приказано остановиться и разбить укрепленный лагерь позади огромного и лишенного древесной растительности холма. С его гребня хорошо просматривается лежащая прямо под нами, в районе слияния двух соседних озер, небольшая деревня Гомели. Впереди и справа от нас, насколько хватает взгляда, раскинулось первое, довольно большое озеро; узенькая полоска воды соединяет его с вторым озером — тем, что поменьше и что находится слева от нас. За Гомелями и озерами просматриваются многочисленные противотанковые рвы, блиндажи и оборонительные заграждения из колючей проволоки сталинской линии обороны, которую нам и предстоит прорвать. Уж на этот-то раз наш батальон не будет оставлен в резерве. Мы должны будем стать первой волной атакующих частей, и именно мы будем штурмовать эти теснины у Гомелей.

* * *

На следующий день от разведывательных подразделений до нас дошли новости о том, что наша задача будет далеко не такой уж и простой. Русские части заняли Гомели и разрушили мост над водной перемычкой между двумя озерами. От языков, захваченных нашими лазутчиками, удалось получить очень ценные сведения. Все имевшиеся подходы к мосту надежно контролировались из двух расположенных поблизости блиндажей, а узкие теснины, через которые мы рассчитывали прорваться, также находились под перекрестным

огнем из других пяти блиндажей. Еще больше блиндажей имелось у врага в глубине его позиций. Прежде всего нам надлежало очистить от красных деревню, затем переправиться через водную перемычку, выбить врага из блиндажей около деревни и, наконец, подавить сопротивление его тыловых блиндажей и полевых оборонительных позиций, артиллерийская подготовка по которым перед нашим наступлением не проводилась.

С помощью своих помощников я довел до обязательного сведения всех солдат батальона приказ, запрещающий любые приемы пищи в последние шесть часов перед началом нашего наступления. Сделано это было для того, чтобы увеличить шансы остаться в живых тем, кому не посчастливится получить ранение в живот. В своих разъяснениях к этому запрету я особо подчеркивал, что даже маленький кусочек хлеба, попав в желудок, вызывает усиленное кровообеспечение кишечника и в случае ранения брюшной полости внутреннее кровоизлияние окажется в результате значительно более интенсивным. С целью проведения короткого координирующего совещания с Нойхоффом, Хиллеманном и Кагенекком к нам прибыл командир полка оберст Беккер со своим адъютантом фон Калкройтом. Пока оно проходило, я раздал нашим солдатам зеленые камуфлированные противомоскитные наголовные сетки в качестве защиты от полчищ комаров, наводнявших собой эту болотистую местность в просто-таки ужасающем количестве, но в особенности — для защиты от каких-то неизвестных не то комаров, не то москитов, обладавших не только совершенно невероятными размерами, но и, самое главное, имевших помимо хоботка для высасывания крови еще и жало. Их атаки на нас, особенно по ночам, были чем-то страшным. За их размеры и свирепость мы прозвали этих монстров «штуками» — в честь наших пикирующих бомбардировщиков *Junkers Ju-87 «Stuka»*.

В восемь часов вечера Нойхофф устроил общее собрание для офицеров батальона. Жара к тому часу уже спала, но солнце упорно не спешило опускаться за горизонт, как будто не желало — хотя бы даже на короткую летнюю ночь — расставаться со своей властью над всем сущим. Какой-то солдат наигрывал на губной гармонике популярный немецкий мотивчик, кучка его приятелей как-то лениво и нестройно подпевала ему хором. Слабый ветерок разносил от полевой кухни запах неизменного гуляша. А всего в каких-то считанных километрах от нас — в пределах не только прямой видимости, но и слышимости — притаившиеся в своих укрытиях русские напряженно ожидали нашего завтрашнего наступления.

Командир 14-й противотанковой роты гауптман Ноак (бывший совсем еще недавно, во французскую кампанию, обер-лейтенантом), обер-фельдфебель Шайтер из 13-й пехотно-артиллерийской роты вместе с другими офицерами нашего батальона внимательно вслушивались в выступление Кагенека, разъяснявшего последовательность наших завтрашних действий в соответствии с разработанным планом нападения.

Вслед за небольшой артподготовкой, которой решили все же не пренебрегать, мы должны были взять штурмом деревню Гомели, а затем произвести окончательную ее зачистку от русских. Ноаку и Шайтеру с их легкими орудиями предстояло быстро занять подходящие позиции на захваченном плацдарме и подавить своим прямым огнем в упор ближайшие вражеские блиндажи. Под прикрытием этого огня наши головные штурмовые отряды, диверсионно-саперные команды и огнеметчики должны будут форсировать водную перемычку между озерами, а также предпринять обходной маневр — переправиться на надувных резиновых лодках через тонкую вытянутую часть озера в обход основного очага боя и ударить по блиндажам и оборонительным позициям врага с их тыла. Все саперные подразделения, не задействованные в этой операции, бросались на незамедлительное восстановление разрушенного моста — для того, чтобы дать возможность резервным стрелковым ротам быстро переправиться на ту сторону и укрепиться на предмостном плацдарме на территории противника. Дальше их единственная задача состояла в том, чтобы надежно удерживать эту важную позицию до подхода основных сил. К моменту восстановления моста до пригодного эксплуатационного состояния по нему уже должна была двинуться, а затем закрепиться на другой стороне остальная и главная часть батальона

с тяжелыми артиллерийскими орудиями. Не снижая темпа наступления, его предполагалось продолжить до следующего моста у Далежек, в пяти километрах впереди, а затем развить в районе лесных массивов у деревни Шарочка, обозначенной на наших картах как Точка 62. Такова была наша задача на первый день.

В соответствии с нашим общим планом я выработал диспозицию и своих собственных маленьких «военно-медицинских сил». Вегенер во время всего наступления должен был оставаться при штабе Нойхоффа; Мюллер должен был со всей возможной осмотрительностью сопровождать, не рискуя лишнего, мою санитарную повозку, чтобы не подставить ее под удар врага, а также направлять санитаров туда, где они окажутся нужнее всего, и присоединиться ко всем остальным только по окончании боя; Петерманн вместе со своим конем и с моим Лампом должен был оставаться рядом с конями Нойхоффа и Ламмердинга; Дехорну и мне предстояло сопровождать атакующие отряды и быть у них постоянно под рукой, чтобы немедленно оказывать помощь раненым. Оберштабсарпт Шульц выделил в мое распоряжение дополнительную санитарную машину, которую я поручил постоянным заботам Мюллера.

Командиры временно прикомандированных к нам подразделений отправились к своим людям, а офицеры 3-го батальона еще некоторое время сидели и что-то обсуждали друг с другом. Нойхофф был очень серьезен и задумчив. Хиллеманс, как и всегда, был занят своей каждодневной «бумажной войной». Кагенек, Штольд и Ламмердинг как ни в чем не бывало подшучивали друг над другом в своей обычной манере. И даже младшие офицеры, казалось, не проявляли никакого особенного беспокойства по поводу того, что принесет завтрашнее утро. На самом же деле абсолютное большинство этих людей испытывали по этому поводу весьма и весьма сильную тревогу. Хиллеманнс собрал все свои бумаги и передал для оглашения всему личному составу батальона приказ о наступлении за подписью Нойхоффа. Приказ этот заканчивался словами: «Офицеры, унтер-офицеры и солдаты 3-го батальона идут в бой с непоколебимой верой в победу за фюрера, народ и фатерлянд. Подпись: майор Нойхофф. В походе — 14/7/41».

В последний час уходящего светового дня я написал длинное письмо Марте, не упоминая ни словом о том, что нас ожидает завтра. Я чувствовал себя очень уставшим и с удовольствием думал о том, что имею возможность поспать целых несколько часов подряд перед тем, как наши головные отряды двинутся к своим позициям в 3 часа утра.

* * *

Шел последний предрассветный час. Наши тщательно закамуфлированные и скрытые от глаз врага роты залегли в высокой траве, кустах и среди кукурузы. Позади нас, расположенные в одну растянутую линию, изготовились к бою тридцать восемь артиллерийских расчетов различного калибра. Кроме тяжелых мортир калибра 21 см у нас имелась еще и одна «Толстушка Лиина» — огромная пушка калибра 25 см, особой задачей которой являлось разрушение особенно прочного блиндажа, из которого прицельно простреливались оба предмостных плацдарма. Прямо рядом со мной располагались 88-миллиметровые зенитные орудия, которые должны были обрушить свой огонь прямой наводкой по бойницам блиндажей.

До начала операции оставалось еще полчаса, и я решил пока укрыться от полчищ огромных жалящих комаров в своем «Мерседесе». Дехорн последовал моему примеру. Вегенер и мой штатный водитель, покуривая, уже восседали внутри. Я тоже закурил — отчасти для того, чтобы чем-нибудь занять себя, а отчасти в качестве защиты от этих кошмарных насекомых. «Штуки» все равно добирались до нас, поэтому мы подняли дверные стекла.

Повисла казавшаяся бесконечной тишина.

Более для того, чтобы что-нибудь сказать, нежели потому, что это было действительно необходимо, я спросил Вегенера:

— Хорошо помнишь свои обязанности?

— Да, герр ассистензарцт.

— Хорошо, — кивнул я. — Хорошенько подготовь санитарный пункт, пока мы с Дехорном будем продвигаться с наступающими частями.

На востоке показался краешек багрово-красного солнца. Где-то к северу, вдалеке от нас, раздавалась беспорядочная стрельба русских, время от времени перемежаемая гулками выстрелами крупнокалиберных орудий их бронепоезда. В нашем секторе царили пока полная неподвижность и зловещая тишина. Необычно большой диск солнца на востоке еще только неспешно выплывал из-за горизонта, не давая пока много света, и высокие ели вдоль берега озера неясно вырисовывались, как огромные тени каких-то таинственных стражников. Впереди нас — за Гомелями и по ту сторону озер — болотистая местность переходила в луга, а луга уступали место кукурузным полям.

Позади нашей машины, неподалеку от своего замаскированного кустарником 88-миллиметрового орудия, стоял его боевой расчет и, заметно нервничая, курил одну сигарету за другой.

Повсюду чувствовалось нараставшее с каждой минутой напряжение.

Вегенер взял свой санитарный чемоданчик и в соответствии с планом отбыл в сторону полевого штаба Нойхоффа. А вот мимо нас в сопровождении Хиллеманнса и Ламмердинга прошел и сам Нойхофф.

— Какое сейчас точное время? — машинально спросил я у Ламмердинга.

— Время по полку — ровно без двадцати одной минуты четыре. Через двадцать минут начинаем!

— Спасибо. Желаю вам удачи. И постарайтесь, Ламмердинг, не попадать ко мне в руки.

— Не беспокойтесь, постараюсь, — как-то не слишком весело ухмыльнулся он мне в ответ.

Солнце над восточным горизонтом поднималось все выше и выше. Уже совсем скоро должно было стать достаточно светло для того, чтобы 88-миллиметровые орудия смогли вести свой прицельный огонь прямой наводкой.

Кутившие неподалеку от нас четыре унтер-офицера их орудийных расчетов затушили свои сигареты и неспешной походкой направились к своим орудиям.

Прорыв «Линии Сталина»

«Пора, Дехорн», — сказал я, вылезая из машины и захлопывая за собой дверцу. Дехорн выскользнул наружу с заднего сиденья и накинул на плечи лямки своего санитарного походного вещмешка. Мы стояли у ближайшей к нам 88-миллиметровки. Ее дуло было наведено на блиндаж по левую сторону от разрушенного моста — прямоком на бойницы для ведения огня изнутри. Командир орудийного расчета не сводил глаз со своих наручных часов. «Минутная готовность... тридцать секунд... пять секунд, — поднял он руку. — Одна секунда... Огонь!» Резкая отмашка.

Мы пристально всматриваемся в блиндаж. Первый снаряд попал почти в цель, но чуть-чуть выше, хоть и снес камуфляж, маскировавший бойницу. Но выстрел из 88-миллиметровки, рядом с которой мы стояли, был лишь одним из дюжины других. Возвышенность, на которой мы находились, в одно мгновение ожила вспышками многочисленных выстрелов, а земля под ногами задрожала. Листья на кустах затрепетали, а направленная вперед взрывная волна от выстрела и спутные волны уплотнения воздуха от летящего практически горизонтально над самой землей снаряда проделали очень эффектную колышущуюся борозду в верхушках высокой травы вдоль траектории его следования к цели. Казалось, что оглушительный грохот одновременных выстрелов десятков орудий всколыхнул не только траву, но и самое небо, а на злосчастную деревню Гомели и на оборонительные укрепления врага по другую сторону от соединительной протоки обрушился адский ураган из стали и огня.

Смертоносный огонь зенитных орудий прямой наводкой по едва просматривавшимся сквозь скрывавшую их маскировку блиндажам перекрывался отдельными отчетливо различимыми уханьями выстрелов «Толстушки Лиины» и утробным воем ее крупнокалиберных снарядов, нацеленных на большой блиндаж по левую сторону от моста через протоку. Другим бункерам тоже довольно крепко доставалось от 21-сантиметровых минометов, а в это же время 10,5-сантиметровые гаубицы, 15-сантиметровые орудия и дальнобойные 10-сантиметровые орудия плотно накрывали своими снарядами занятую врагом деревню.

Пламя стремительно охватывало разрушаемые прямо на глазах дома. В воздух то и дело взметались мощные фонтаны из земли, кирпичей и деревянных балок — деревня Гомели методично, дом за домом, сметалась с лица земли. Нам были хорошо видны фигурки русских солдат, выбегавших из горящих зданий и замертво падавших на улице. Трудно было даже представить себе, что в этом шквальном, несущем смерть всему живому обстреле может уцелеть хоть кто-то. А все это время минометы забрасывали навесом через озеро остальные железобетонные и стальные блиндажи своими здоровенными 21-сантиметровыми минами повышенного взрывного и разрушающего действия. Было просто немыслимо, как это они еще до сих пор стоят на месте. Общая картина разрушений, уже причиненных обстрелом, была просто-таки невероятной. Артиллерия массированно обрабатывала фронтальные укрепления сталинской линии обороны в течение целого часа, показавшегося мне бесконечно длинным. Все это время искусно укрытая от глаз врага пехота терпеливо дожидалась сигнала к своему наступлению.

Ровно в пять утра, практически не прекращая стрельбы, каждое артиллерийское орудие увеличило угол своей вертикальной наводки до условленной заранее величины и перенесло огонь на вторую линию обороны противника. Снаряды пронзительно ревели над головами наших штурмовых отрядов в составе 9-й и 10-й рот под командованием Титжена и Штольца соответственно, которые уже сбегали по склону холма на плоский участок земли, простиравшийся непосредственно до самых Гомелей. Через несколько минут обе роты уже были в пылающей деревне, а за их продвижением пристально наблюдали сотни пар глаз. 11-ю роту мы до настоящего времени придерживали в резерве.

— Давай, Дехорн, — приказал я. — Теперь настал и наш черед!

Мы спустились к подножию холма, пересекли равнинный участок и оказались у самого начала главной улицы Гомелей. Вокруг нас немедленно взвились фонтаны пыли от пулеметных очередей, а несколько пуль просвистело прямо над головами. Стало совершенно очевидно, что по крайней мере отдельные вражеские блиндажи каким-то неведомым образом все же устояли в этом безжалостном обстреле, хотя, насколько мы могли видеть, большинство из них было в очень значительной степени разрушено. Мы втянули головы в плечи и поспешили юркнуть в канаву. Густой дым медленно плыл по деревне и, миновав протоку, повисал над озером и упорно сопротивлявшимся блиндажами. Когда завеса дыма в какой-то момент приподнялась, я заметил, что бой вроде бы сконцентрировался у дальнего конца деревни, недалеко от разрушенного моста.

Стараясь держаться подальше от улиц, то и дело простреливавшихся вражескими пулеметами, мы с Дехорном стали пробираться вперед, используя для прикрытия пылающие дома. На улицах и открытых пространствах лежали убитые русские. Тела многих из них были ужасно изуродованы осколками наших артиллерийских снарядов. Тут мы увидели раненого солдата из роты Титжена. Легкое касательное пулевое ранение плеча. Все втроем мы вбежали в дом, ровно половина которого, судя по остаткам фундамента, была как ветром унесена. Сам дом при этом, однако, не горел. Пулеметная очередь разбила в мелкую щепку деревянный переплет окна и ударила в стену напротив оконного проема.

— Осторожно! — крикнул я. — В задней комнате будет безопаснее.

Оставшаяся половина дома была пуста. За несколько минут мы обработали и перевязали рану. Плечевые кости, к счастью, были целы. Для того чтобы унять боль, я сделал солдату укол морфия, и вскоре она отступила.

— Подходящее место для перевязочного пункта, — заметил я Дехорну, оглядывая уцелевшую часть дома, а затем, обращаясь к раненому солдату, добавил: — Скоро здесь появится унтер-офицер Вегенер. Дождитесь его и передайте, что ему приказано оборудовать здесь перевязочный пункт.

Дехорн вывесил белый флаг перед входом в дом, и мы стали пробираться дальше — туда, где шел бой у разрушенного моста. Передвигались мы очень осторожно, иногда даже ползком, используя для укрытия все, что могли, даже дым. От моста остались лишь торчавшие из воды деревянные сваи, а воду вокруг них то и дело вспарывали пулеметные очереди. Перекрестный огонь велся практически непрерывно с противоположного берега. Блиндаж по левую сторону — тот, что большей, самый ближний к мосту и огня из которого мы опасались больше всего, — был теперь мертвенно тих в результате работы по нему «Толстушки Лиины». Но блиндаж по правую сторону все еще непрерывно отстреливался, да к тому же еще и поддерживался пулеметным огнем из третьего блиндажа, расположенного недалеко на берегу озера.

На подступах к мосту с нашей стороны, неуклюже раскинув руки и ноги, распластались множество мертвых русских солдат, а тела двоих из них, наполовину погруженные в воду, повисли поперек его деревянных распорок. По всей видимости, они хотели избежать боя с нами и были подстрелены своими же при попытке перебраться на тот берег по обломкам моста.

Наши собственные легкие орудия теперь постепенно перемещались поближе к мосту, и одна из 37-миллиметровок Ноака уже открыла свой огонь по полуразрушенному блиндажу справа, который каким-то непостижимым образом все еще продолжал свое упорное сопротивление. Некогда узкая бойница для ведения огня изнутри представляла собой теперь здоровенный зияющий чернотой пролом, и вскоре в него один за другим влетели целых два наших снаряда. Густое облако дыма, как река, текло по улице в нашу сторону и, клубясь, окутывало собой остатки моста с прилегавшей к ним протокой. В этой почти непроглядной завесе к мосту пробирались какие-то едва различимые силуэты, в одном из которых я с трудом распознал Шниттгера. Было похоже на то, что они намереваются пересечь протоку по уцелевшим обломкам моста, перепрыгивая со свай на сваю. Я изо всех сил напряг зрение, чтобы проследить за их движениями, но густой дым, скрывавший их от русских по ту сторону протоки, не давал увидеть их и мне отсюда.

Прошли две или три минуты, наполненные напряженным ожиданием. Затем дым постепенно рассеялся. Шниттгер и его люди уже карабкались вверх по противоположному берегу протоки. Часть из них переправилась на ту сторону вплавь, а часть все же сумела это сделать по торчавшим из воды обломкам моста под прикрытием очень своевременно возникшего там облака дыма. Теперь они подбились к упрямо не сдававшемуся правому блиндажу, но следующее облако дыма, надутого со стороны деревни, снова скрыло их из вида. Из этого облака раздался вдруг треск очередей сразу нескольких немецких автоматов и разрывы ручных гранат, из чего мы сделали вывод, что Шниттгер со своими людьми вступил в ближний бой с русскими, залегавшими в окопах, прорытых между блиндажами. Дым рассеялся, и мы увидели, что на другом берегу стало еще больше немецких солдат. 37-миллиметровое оружие прекратило свой огонь по блиндажу, и оказавшиеся поблизости от него огнеметчики стали безжалостно заливать его через амбразуру струями своего пламени.

Больше из этого блиндажа не раздавалось ни звука.

Постепенно и методично все оставшиеся полевые укрепления противника на этом участке были нейтрализованы, продолжал сопротивляться только третий блиндаж — тот, что находился дальше всех, у озера. За считанные секунды наши саперы навели переправу через протоку, положив на сваи длинные и широкие доски, по которым группа за группой штурмовые отряды перебежали на ту сторону. При этом, однако, двое солдат были подстрелены из третьего блиндажа, упали в воду и утонули, но основная масса людей все продолжала и продолжала перетекать на ту сторону.

Вот я услышал оттуда несколько повторившихся призывных криков: «Доктор!

Доктор!» — и, вместе с неотступно, буквально по пятам следовавшим за мной Дехорном мы рванули к мосту. Неуверенно балансируя руками и очень рискуя свалиться в воду, мы все же благополучно перебрались на ту сторону по доскам. Вражеские пули свистели вокруг нас, казалось, во всех мыслимых и немыслимых направлениях. Остановившись на несколько мгновений под прикрытием того берега, чтобы перевести дыхание, мы, часто и тяжело дыша, стали карабкаться по направлению к только что замолчавшему наконец блиндажу. В ближайшей соединительной, которой мы не преминули воспользоваться, оказались, к счастью, наши солдаты. Прямо рядом с ней, развороченная взрывом 21-сантиметрового снаряда, зияла огромная и довольно глубокая воронка. «Всех раненых сюда!» — как можно громче прокричал я и первым скатился вниз. В край воронки Дехорн тут же воткнул предусмотрительно заготовленное длинное древко с развевавшимся на нем белым флагом.

В воронку следом за нами вползли трое легко раненных, а четвертого, тяжело раненного, притащили на носилках. У него было сквозное пулевое ранение легких, при котором, однако, не оказалась задетой ни одна крупная артерия. Я вколол ему успокоительное и положил на другой бок.

— Ни единого движения! — строго приказал ему я. — Кровотечение может прекратиться только при условии полной неподвижности тела.

А в воронку уже втаскивали следующие носилки. На них оказался солдат в полубессознательном состоянии с ужасной глубокой раной горла. Должно быть, он уже потерял довольно много крови. Пульс еле прощупывался, и было очень сомнительно, что он сможет и дальше вынести столь сильный болевой шок. «Хотя, — подумал я, — если я сразу же сделаю ему хорошую инъекцию морфина и произведу незамедлительное переливание крови, он, может быть, и справится». Это был его единственный шанс, поскольку без переливания крови он, вне всякого сомнения, умер бы.

К счастью, у меня как раз имелся при себе портативный аппарат Браун — Мельзунгена для переливания крови, а внутри этой глубокой воронки мы, можно сказать, пребывали в относительной безопасности. Наши пушки уже перенесли свои прицелы на следующую линию вражеской обороны, но вражеская артиллерия все еще продолжала довольно активно огрызаться, причем, в том числе, как раз по нашему плацдарму. Нам еще очень повезло, что ни один их снаряд не разорвался в непосредственной близости от нас. Но свист пуль русских автоматов то и дело заставлял нас непроизвольно пригибать головы.

— Донор! — крикнул я санитару-носильщику из 10-й роты. — Мне нужен донор крови, группа «О»!

— Откуда вы знаете, какая группа? — услышал я голос Штольца. Солдат с рваной раной горла был одним из его людей.

— Группа «О» подходит всегда, — ответил я ему. — Но что это за кровь у вас самого на руке?

— О, ерунда — просто царапина.

Рана была действительно неглубокой, и в ожидании искомого донора крови я обработал и перевязал ее. К счастью, я достаточно хорошо подготовился к переливаниям крови в полевых условиях, будучи еще в Восточной Пруссии. Я классифицировал каждого человека в батальоне в соответствии с его группой крови и решил — ради упрощения дальнейших действий при будущих переливаниях — лично познакомиться с каждым, имеющим универсальную группу «О». Я проверил всех их на сифилис и составил общий список доноров, имевших эту группу крови. Мюллер же прекрасно знал всех их в лицо и поименно без всякого списка. Несмотря на тот факт, что мы решительно игнорировали значение резус-фактора, мы крайне редко сталкивались с какими-либо осложнениями при переливании крови на передовой.

(В войсках СС было принято татуировать группу крови на правом плече — для того, чтобы врач мог с одного взгляда определить требуемую группу крови. Между прочим, в дальнейшем этот несмыслимый признак несомненной принадлежности к СС послужил вполне достаточной причиной для смертной казни многих его обладателей.)

— Черт бы побрал этот третий блиндаж! — в сердцах воскликнул Штольц, выбираясь из воронки. — Эти ублюдки не собираются сдаваться! Мы обошли их стороной, а их надо поскорее выкурить оттуда. Они продолжают отстреливать наших людей одного за другим!

Вот наконец передо мной сидит донор крови. Это могучий вестфалец из Липперлянда с артериями, как у лошади.

— Берите сколько надо, герр ассистензарцт, — говорит он мне, улыбаясь. — Крови у меня слишком много.

В это мгновение где-то совсем неподалеку от нас раздался оглушительный взрыв огромной силы, заставивший ощутимо всколыхнуться почву под ногами. От неожиданности я вздрогнул, и игла выскочила из вены.

— Что это такое только что было? — удивленно спросил я его.

— Это Шниттгер только что взорвал бронированную дверь блиндажа, вот и все, — все так же невозмутимо ухмыляясь, ответил донор. — Для того чтобы удержать Шниттгера снаружи, нужно что-нибудь попрочнее, чем какой-то там кусок русской брони!

В результате того, что раненому было перелито 500 кубических сантиметров крови донора, мертвенно бледные губы первого стали понемногу снова приобретать свой нормальный цвет, а пульс стал более уверенным и наполненным. Я отпустил плотного и пышущего здоровьем вестфальца и ввел пациенту в кровеносную систему еще и 500 миллилитров соляного физраствора. Сердцебиение восстановилось почти до нормального. Опасности немедленной смерти удалось избежать. Я осторожно проверил повязку на горле, дабы убедиться, что кровотечение не возобновится.

Из всех отважных защитников русского блиндажа в живых остался только один, но его ожоги были настолько ужасны, что вряд ли можно было надеяться на то, что он выживет. Однако я все же приказал двум русским пленным, которые вроде бы что-то смыслили в оказании первой помощи, перевязать его, а также дал им еще перевязочных материалов для того, чтобы они помогли и другим раненым русским.

Несколько наших рот добрались к тому времени до восточного берега озера и рассредоточивались теперь в боевые порядки для штурмовки более глубоких эшелонов сталинской линии обороны. Но наиболее трудная задача на сегодня была уже выполнена. Захват деревни Гомели и соединительной протоки между двумя озерами оказался удачным с первой попытки, а хорошо укрепленная линия фронтальной обороны русских — сломлена и прорвана. С помощью русских пленных наши саперы за сорок минут возвели новый мост на обломках старого, и по нему медленно двинулись первые тяжелые артиллерийские орудия.

Дехорн и я вернулись на наш главный перевязочный пункт в Гомелях. У входа в дом стояла наша маленькая полевая санитарная повозка, запряженная Максом и Морисом.

— Ну, вот и прекрасно! — ободряюще кивнул я Дехорну. — Мюллер уже здесь, и все идет по плану.

Входя в дом, я громко позвал Вегенера, но на мой голос никто не отозвался.

— Вегенер ранен... В голову, — тихо сообщил мне Мюллер, встретивший меня в дверном проеме в заднюю комнату.

Вегенер лежал вместе с другими ранеными на подстилке из соломы. Он был в полном сознании, но густо пропитанная кровью повязка на его голове говорила о том, что ранение было очень серьезным. Я осторожно снял бинты и похолодел: винтовочная пуля вошла в заднюю правую часть шеи, прошла через всю голову и вышла наружу через правый глаз Вегенера. Успокаивало по крайней мере то, что при этом не наблюдалось никаких признаков паралича.

— Где это случилось? — как-то довольно глупо спросил я у Вегенера. — Как такая рана вообще возможна?!

— Здесь, за домом, — хрипло и едва различимо прошептал он. На этом его силы, видимо, закончились, потому что говорить дальше он уже просто не смог.

— Прямо за домом, — подхватил его ответ Мюллер. — Вегенер вышел наружу, чтобы принести еще соломы, нагнулся за ней и вдруг упал ничком. Я все это видел, стоя позади

него, и втащил его в дом.

— Какое дьявольское невезение... — пробормотал я. — Поймать шальную пулю, когда бой за деревню был уже закончен!

Правый глаз Вегенера был просто-напросто выбит пулей изнутри. Ужасного вида пустую глазницу прикрывало теперь, да и то частично, лишь верхнее веко и несколько нитеподобных кусочков красной плоти. Нижнее веко, а вместе с ним фрагмент лицевой кости в верхней части щеки, прямо под глазницей, были также снесены пулей. «Какое ужасное несчастье!» — не переставал я повторять все это время про себя. Входное отверстие от пули сзади на шее было не очень большим, и потому кровотечение было не слишком сильным — только слегка кровоточащие капилляры. Оставив левый глаз открытым, я наложил на голову бедному Вегенеру свежую повязку, сделал укол для облегчения кровообращения, а также еще одну болеутоляющую инъекцию.

— Твоего правого глаза больше нет, — сказал я ему как можно мягче и спокойнее, — но хороший протезист сделает тебе такой новый глаз, что внешне он будет выглядеть совсем как настоящий. Главное, что не задет мозг, а левым глазом скоро научишься видеть не хуже, чем двумя. Не падай духом, парень! Отнесись к случившемуся с той точки зрения, что оно означает для тебя окончание войны.

К дому подъехала наша санитарная машина. Трое других солдат имели несравнимо более легкие ранения, и Мюллер помог им устроиться внутри. Вегенер тем временем заснул. Частота и наполнение пульса были удовлетворительными. Я запрыгнул вместе с Дехорном в санитарную машину, и мы отправились к мосту, чтобы забрать раненых из воронки, а на обратном пути заехать еще и за Вегенером. Раненые с более легкими случаями были оставлены дожидаться следующей санитарной машины.

Мы осторожно переехали через мост, но на этот раз никакого огня из третьего блиндажа уже не велось. Хоть Штольц и смотрел уже на этот блиндаж, как на свою добычу, окончательно вывел его из строя все же не он, а... Больски! Как раз в ту минуту, что Штольц разговаривал со мной в воронке о том, что собирается «выкурить» оттуда русских, подобравшись к ним с тыла, Больски взял отделение штольцевских же солдат и произвел на бункер примитивную фронтальную атаку. Вне всяких обсуждений, это был слишком опрометчивый поступок с его стороны, однако последствия его оказались вполне успешными. Доказав таким образом свою (хоть и бездумную) отвагу в бою, Больски стал полагать, что приобрел себе в Гомелях настоящее имя и всеобщее признание его несомненных рыцарских достоинств.

Наша артиллерия направила теперь свой огонь на мост у деревни Далежки, и мы слышали, как русские орудия ведут свой непрерывный ответный огонь. Однако в те минуты, когда мы собирали наших раненых, опасаться нам было нечего, так как вражеский огонь оказался сосредоточенным в стороне от нас. Состояние солдата, которому я произвел переливание крови, оказалось вполне удовлетворительным, и сей отрадный факт наполнил мою душу самым счастливым ликованием за все это вовсе не бедное событиями утро — ведь когда я увидел этого беднягу впервые, я был уверен, что его шансы выжить совсем не велики. Санитарная машина крадучись пробиравалась обратно по улицам Гомелей, чтобы забрать Вегенера и отвезти его вместе с раненым в горло в тыловой госпиталь. Когда они уезжали, Дехорн и я провожали осторожно переваливавшуюся по ухабам машину очень опечаленными взглядами. Расставание с Вегенером очень сильно повлияло на Дехорна, а мне он был вообще земляком — так что война, можно сказать, ударила теперь и по нашему дому.

Влившись в основной поток наших войск, мы двинулись вместе со всеми по дороге на Далежки. На обочине я увидел пять свежих могил, на которые как раз только что были установлены березовые кресты. Двое погибших были из 9-й роты Титжена, совершившей героический рывок по левому флангу наступления, один из штольцевской роты и один из 12-й роты под командованием Кагенека. Пятый был сапером. Я взглянул на часы. 8.25 утра. Вся операция заняла менее четырех часов.

— Как имена погибших? — спросил я у солдата, устанавливавшего кресты и теперь

водружавшего на них стальные каски. Он перечислил мне их имена.

Четверых из них я не знал, а пятым оказался один из штольцевских близнецов. Память услужливо перенесла меня в Филипово, где в составе своей роты близнецы играли в ручной мяч против команды 9-й роты. Оба играли прекрасно и носились по всей площадке как ураган, а один из них забросил в самом конце решающий мяч. После игры, хитро посмеиваясь, каждый из близнецов уверял, что победный мяч забросил именно он, и никто из нас не знал, кто же из них говорит правду, а кто просто смеется. Теперь один из них мертв. Шутка закончилась.

— Где второй брат? — спросил я у солдата.

— Он только что ушел — сразу, как только похоронил брата. Вон он!

Он указал своей малой саперной лопаткой вдоль песчаной дороги на восток на удаляющуюся понурую фигуру оставшегося в живых близнеца. Да, это был он — медленная походка, поникшая голова... Я подумал тогда о том, каким, должно быть, страшным одиночеством предстоит ему теперь мучиться без брата до самой своей смерти.

«Нам лучше поспешить, — одернул я самого себя и поспешно влился в общий людской поток. — Впереди нас ожидает еще больше работы».

Невдалеке уже начинали прослушиваться раскатистые очереди наших крупнокалиберных ручных пулеметов.

Шаги высокой ссутуленной фигуры впереди замедлились еще больше, близнец свернул с дороги и направился в лес.

— Надеюсь, он не собирается застрелиться... — обеспокоенно проговорил Дехорн.

Мы бросились бежать за ним следом. Близнец уже скрылся среди деревьев. Пока мы бежали по лесу, ожидая в любой момент услышать роковой выстрел, сухие опавшие ветви деревьев с оглушительным треском ломались у нас под ногами. Вот мы наконец увидели его сидящим немного впереди на стволе поваленного молнией дерева. Голова опущена на скрещенные на коленях руки, могучие плечи сотрясаются еще более суровыми рыданиями. Нас он не видел. Да что нас — весь мир не существовал для него в этот момент. Половина его собственного мира навсегда осталась сзади, под грубым березовым крестом.

— Давай оставим его одного, Дехорн, — прошептал я. — Человек, который может плакать, не станет убивать себя.

На дороге мы повстречались с Титженом, который сообщил нам, что большинство блиндажей первой линии обороны противника уничтожено. Почти все их защитники сражались до самого конца, и в плен взято всего несколько человек.

Главное направление удара нашего батальона теперь пришлось на мост у деревни Далежки. Однако все столь же упорно защищавшие его русские основательно закрепились на ферме всего лишь в нескольких сотнях метров от реки. Наши артиллеристы довольно быстро подожгли ее прицельным огнем, и пламя вскоре охватило все надворные и жилые строения. Штурмуя ферму, мы слышали жалобное мычание и рев заживо горевших внутри коров. Но вот в одном из окон показался белый флаг, знаменуя собой окончание еще одного жестокого боя.

Плоская, как стол, и довольно обширная луговина с той стороны реки достигала в отдалении темной полосы сменявшего ее леса. Прибрежная часть луговины была усыпана, как оспинами, воронками от снарядов, а по ту сторону от моста оказался еще один блиндаж, представлявший для нас смертельную угрозу, но на этот раз почему-то не замаскированный. Его зловещие бойницы грозно смотрели прямо на мост, для защиты которого он и был здесь выстроен. Противотанковое орудие Ноака произвело по этим амбразурам несколько выстрелов подряд, но в ответ оттуда не прозвучало ни единого выстрела. Тогда, не полагаясь на везение, по блиндажу несколько раз ударило крупнокалиберное орудие, но и ему не удалось спровоцировать никаких признаков активности. Блиндаж упорно продолжал безмолвствовать. Мы ринулись штурмом на мост и вскоре оказались на восточном берегу реки. Со стороны блиндажа — все та же слишком подозрительная тишина. Очень осторожно, перебираясь перебежками от одной воронки к другой, наши головные штурмовые группы

подобрались к блиндажу вплотную, не сводя глаз со стрелковых амбразур... Выждав немного, они совершили последний решительный бросок!

Трое из них одним мощным рывком распахнули тяжелую стальную дверь и швырнули внутрь несколько гранат.

Внутри блиндажа с дыркой от пули в затылке лежал на спине мертвый комиссар. Больше никого. Должно быть, перед тем, как спастись бегством, его пристрелили его же собственные подчиненные.

Первая фаза сражения была, можно сказать, позади. На часах было 12.15 пополудни; сталинская линия обороны была прорвана; наш батальон был собран в одном месте, и Нойхофф подвел предварительные итоги. Девять железобетонных блиндажей было разрушено и выведено из строя, а все полевые оборонительные укрепления — полностью очищены от отстаивавших их русских. Расположившись в удобном месте невдалеке от моста, я оказал помощь последним, по-видимому, на тот день раненым и организовал тем из них, кто в этом действительно нуждался, отправку в тыл. К счастью, тяжелых ранений больше не было. Приняв доклады о проделанной работе от всего подчиненного немедицинского персонала, я поймал себя на приятной мысли о том, что, в отличие от первого дня нашей кампании, всем раненым была оказана вполне квалифицированная, а главное — незамедлительная, без каких бы то ни было задержек и проволочек, медицинская помощь. Если бы сейчас среди нас оказался оберст Беккер и, подойдя ко мне, поинтересовался, как обстоят дела, я бы вполне правдиво ответил ему на этот раз: «Ничего особенного, о чем стоило бы докладывать». Проанализировав события сегодняшнего дня дополнительно, я пришел к интересному выводу о том, что нами с Дехорном выбрана самая оптимальная схема нашей работы — следовать почти вплотную за нашими головными штурмовыми подразделениями. Это было, конечно, гораздо более рискованно, но зато мы получали возможность оказывать раненым самую оперативную и безотлагательную помощь. И таким образом уже спасли сегодня по крайней мере одну человеческую жизнь.

Два наших разведывательных патруля добрались тем временем до лесных массивов примерно в двух-двух с половиной километрах от нас и просигнализировали оттуда, что неприятеля в них нет. Когда мы дошли дотуда сами, нашим глазам предстало впечатляющее количество блиндажей, траншей, окопов и прочих хорошо подготовленных полевых оборонительных укреплений, но русские либо покинули их, либо просто не успели занять эти позиции ввиду нашего стремительного прорыва. Как бы то ни было, но наш батальон продолжил свое продвижение к Сарочке прямо сквозь густой и почти непроходимый лес.

Все были очень озадачены. Каждый инстинктивно напрягал слух в надежде услышать неожиданный выстрел или свист подлетающего вражеского снаряда, до рези в глазах всматривался во все стороны с целью обнаружить вражеского снайпера... Все, решительно все окружавшее нас казалось каким-то непривычно жутким и даже сверхъестественным. Чем дальше мы продвигались по этому абсолютному безлюдью, тем более продолжительного и ожесточенного боя с притаившимся и поджидавшим нас врагом ожидали. Сталинская линия, насколько нам было известно, была сооружена еще в 1939 году как первая по-настоящему серьезная линия обороны Москвы, а потому укомплектовывалась исключительно подразделениями, специально подготовленными к ведению оборонительных действий. Тем не менее мы все же прорвали эту линию обороны и проникли в глубь территории противника более чем на восемь километров. Но... шум не затихшего окончательно сражения все еще слышался где-то *позади* нас. У нас возникало весьма неприятное ощущение, что мы, возможно, являемся *единственным* германским подразделением по эту сторону линии обороны русских... Поэтому мы с равной степенью вероятности ожидали нападения на нас как спереди, так и сзади, — равно, впрочем, как и с любого другого направления. Не прекращая, однако, своего продвижения вперед, мы продолжали то и дело наталкиваться на сильно укрепленные, но абсолютно безлюдные оборонительные сооружения противника.

Пошел дождь, и в лесной тени стал быстро сгущаться вечерний сумрак. Вот мы достигли нашей официальной цели на тот день — Точки № 62, однако Нойхофф не

торопился отдать приказ об остановке. Пробираемся через леса еще где-то в течение часа. Почти непроглядная, как внутри египетских пирамид, тьма и полное отсутствие хоть каких-то дорог.

Но вот мы вышли из леса и увидели несколько избышек и амбаров — здесь жили бедные русские крестьяне. Много добиться от них мы не смогли. Выяснилось только то, что красные проходили поблизости где-то ранним вечером, причем как в восточном, так и в западном направлениях. Новость не слишком успокоила нас.

Лагерь для привала мы разбили в полночь — для четырехчасового отдыха, как сразу предупредил нас Нойхофф. В два часа ночи прибыл вестовой из штаба полка. Все находившиеся в командирской палатке мгновенно проснулись. Из привезенного им донесения следовало, что крупное соединение немецких бронетанковых войск прорвало сталинскую линию обороны к северу от нас и затем значительно углубилось на территорию противника. К югу же от нас наступление оказалось не столь успешным. Немецкие атаки достаточно эффективно пресекались посредством более многочисленных железобетонных блиндажей и противотанковых рвов — сталинская линия там все еще держалась. Наш батальон, проложивший путь всему остальному 18-му полку, оказался единственным прорвавшимся сквозь нее сухопутным подразделением. Таким образом, пока сталинская линия обороны не будет прорвана и в других местах, мы оказывались предоставленными самим себе на территории противника...

Пылающие степи

Наша военная удача все же сопутствовала нам. В течение целых двух следовавших за первоначальным прорывом дней наше дальнейшее движение сопровождалось легким, но непрерывным дождем, а наши головные отряды вступали лишь в легкие эпизодические перестрелки со стремительно отступавшим врагом. Роты, действовавшие как наша фланговая оборона, захватывали множество пленных из числа разбитых остатков спасавшихся бегством русских. Многие из них не имели при себе никакого оружия и сами искали удобного случая сдаться. Никаких оборонительных укреплений русских нам больше не попадалось, а сами они лишь изредка предпринимали довольно беспорядочные попытки воспрепятствовать нашему наступлению.

К полудню второго дня появилось солнце, и, как только оно высушило нашу промокшую одежду и согрело наши тела, мы и вспоминать забыли о двух предыдущих промозглых ночах. Мы вернулись к уже хорошо освоенному нами занятию — рутинному движению походным порядком на восток. Прорыв сталинской линии обороны был для нас уже событием из прошлого, и нам снова становилось трудно даже представить себе, что на нашем пути когда-то и встречалось что-то, что могло бы оказаться помехой в нашем непреклонном продвижении на восток. Мы все шли и шли, без отдыха и без остановок.

— Я уже поговорил с Больски по поводу того, чтобы он поумерил свое недовольство Штольцем и забрал поданную им на него жалобу, — услышал я обращенный к себе голос Кагенека.

Конфликт между Больски и Штольцем начался еще в Гомелях, когда первый самовольно взял группу людей из роты второго для того, чтобы провести решительную лобовую атаку на упорно сопротивлявшийся третий блиндаж русских.

Штольц тем временем как раз обходил блиндаж кругом с намерением ударить по нему с тыла. Больски же настойчиво убеждал всех в том, что блиндаж причинял слишком большой урон нашим частям, переправлявшимся через временный мост, и поэтому его необходимо было немедленно заставить замолчать. Он первым и ворвался внутрь — Штольц об этом даже еще пока не знал. Больски храбро штурмовал блиндаж, собственноручно доставив к нему взрывчатку повышенной мощности, для того чтобы взорвать бронированную дверь. Да, ему действительно удалось уничтожить это сильное оборонительное укрепление, но ценой жизни двух людей Штольца. Штольц был в ярости и

не старался скрывать этого ни от самого Больски, ни от всех остальных. По мнению Штольца, которое он также не замалчивал, проводить лобовую атаку было безумием; Больски не имел никакого права соваться в его роту, брать его людей и подставлять их под верный смертельный удар. По выражению все того же Штольца, Больски не имел ни малейшего представления ни о единоначалии, ни о воинской дисциплине, и лучше всего бы ему вообще было оставаться в своей Польше.

— Полагаю, что единственная реальная причина этого инцидента — сам Больски, — заметил я Кагенеку.

Кагенек рассмеялся.

— Именно! Как раз это и мучает его больше всего. А когда он в своей обычной штабной манере возразил Штольцу, что его фамилия «Больски», а не «Польски», Штолец вообще все испортил, заявив при всех: «По мне — так величай себя хоть „Дойчски“, если это тешит твое самолюбие, но держи свои шаловливые польские ручонки подальше от моей роты!» Во всяком случае, по моему совету Больски все же забрал свою жалобу на Штольца.

— Сдается мне после всего этого, что этот Больски просто дурак.

— Как бы то ни было, но я вообще-то уже послал на него представление к награждению Железным Крестом 2-го класса...

* * *

В тот раз мы остановились для привала уже ранним вечером, и я отправился совершать врачебный обход всех рот, оставив 12-ю роту Кагенека напоследок, чтобы иметь возможность как следует пообщаться с ним. Но оказалось, что Кагенек уже отправился навестить своего друга фон Калкройта — адъютанта командира полка. Стоит кстати заметить, что эти неофициальные визиты вежливости Кагенека весьма способствовали поддержанию прекрасных взаимоотношений и толкового взаимодействия с командованием полка.

Обер-фельдфебель Беккер сообщил мне, что Кагенека, наверное, не будет большую часть вечера. Он был очень наблюдательный и осведомленный человек, этот Беккер, и являлся кандидатом на получение офицерского звания — присвоение ему «лейтенанта» было уже буквально не за горами. Родом он был из Зауерлянда — восхитительного края живописных холмов, поросших густыми лесами, и очень многим напоминал мне моего дорогого друга Фрица. Он точно так же свято верил в Гитлера и счастливое будущее Германии, очень похожим образом рассуждал обо всем этом, но и точно так же, как Фриц, не испытывал склонности навязывать своего мнения другим. Беккер был намного мельче Фрица, а в батальоне ему даже дали прозвище «маленький Беккер» — чтобы отличать его от нашего высокого и импозантного командира полка.

Тут ко мне подошел лейтенант Якоби.

— Привет, доктор! Боюсь, мне сегодня придется побыть за хозяина вместо Кагенека. Но зато этим вечером я имею предложить тебе нечто совершенно особенное, а именно — немного *трудной воды*.

— Это что еще за дьявольщина такая? — переспросил я.

— Настоящая русская водка! По крайней мере семьдесят-восемьдесят процентов чистого спирта.

— Это ерунда, Якоби. У меня в моем хозяйстве имеется стопроцентно чистый спирт — я каждый вечер перед сном по бутылочке выпиваю!

— Ах да, конечно. Но он не обладает столь дивным букетом, как моя «трудная вода».

Он извлек из внутреннего кармана бутылку и поставил на ящик, служивший нам столом, два маленьких стаканчика. Поскольку стаканчики были совсем уж крохотными, буквально по не слишком большому глоточку, Якоби наполнил их до краев. «Маленький Беккер» скромно удалился.

— Ну, за освобождение России и за Рождество в Кремле!

— *Прозит!* — ответил я.

Мы опрокинули стаканчики и поспешили проглотить выпитое. «Трудная вода» устремилась к нам в нутро подобно огню. Несколько долгих секунд мы не могли ни вдохнуть, ни выдохнуть. Затем Якоби закашлялся.

— Почему ты кашляешь? — ехидно спросил я его.

— А почему у тебя глаза слезятся? — парировал он.

— Потому что меня не может не печаливать тот прискорбный факт, что в 12-й роте пьют такие слабенькие напитки, тогда как мы, медики, всегда располагаем нашим стопроцентным спиртом.

— Тогда, доктор, давайте еще! — протянул было Якоби бутылку к моему стаканчику.

Но я уже проворно отодвинул его в сторону.

— Знаешь, Якоби, я думаю, что французский коньяк подходит нам больше, чем русская водка.

— Ты прав. Но я думаю, что он даже слишком хорош, чтобы пить его здесь, в этой кровавой России. Здесь никогда не знаешь, что тебя ожидает в следующую минуту. Взгляни на Полоцк — вот уж крепкий орешек! Эти проклятые крестьяне дрались как черти! Видишь этот пистолет?.. — Он выложил на ящик пистолет действительно устрашающих размеров. — Это красноармейский пистолет, которым застрелился командир блиндажа № 5.

— Я не стану проклинать судьбу, если не увижу больше ни одного русского блиндажа, — заметил я.

— А тогда какого же черта ты лезешь так близко к ним?! — возмущенно поинтересовался Якоби. — Тебе, конечно, лучше знать, как делать свою работу, но я тебе скажу, что доктор — это слишком ценный человек, чтобы рисковать его жизнью так, как рисковал своей ты. Ты ведь был у той протоки даже раньше Штольца!

Не скрою, мне было приятно слышать от него такие слова. То, что я — ценный для батальона человек, конечно, польстило моему самолюбию. Помню, я еще подумал тогда с некоторым снисходительным высокомерием: а вот интересно, обучают ли в Дюссельдорфе до сих пор — как и раньше, в мою бытность, — врачей-практикантов оборудовать отхожие места в лагерных полевых условиях?..

— Нет, Якоби, все-таки нельзя устанавливать столь жесткие и скоропалительные правила. Особенно, как ты сам говоришь, здесь, в России. Я не хочу быть солдатом. Будь моя воля — я бы завтра же уехал домой и женился на Марте. Но, пожалуй, солдатом здесь придется быть каждому.

Якоби налил еще по стаканчику.

— Тогда, — рассудительно проговорил он, — если ты действительно собираешься играть в солдатики вместе со всеми нами, ради бога, заведи себе приличный пистолет, который действительно может оказать тебе добрую услугу, а не эту твою ерунду, которую можно носить в жилетном кармане. Это же ведь просто игрушка!

— Для меня — в самый раз! — воспротестовал было я, догадываясь, куда он клонит.

— Я настаиваю! Ты должен принять от меня этот русский пистолет в память о том, как мы с тобой в первый раз пили русскую *трудную воду*!

Водка к тому времени уже начинала потихоньку действовать на нас обоих, и Якоби церемонно застегнул на мне кожаный поясной ремень с русским пистолетом в такой же кожаной кобуре. Я чувствовал себя в тот момент американским ковбоем.

* * *

На следующее утро мы были снова в пути уже тогда, когда солнце еще только едва-едва начинало показываться из-за горизонта. Обойдя стороной Полоцк, мы продолжали двигаться на восток по направлению к городу Городок, расположенному немного к северу от железнодорожной линии от Ленинграда к Витебску и Орше. Мы шли правильно организованным боевым порядком, и настроение у всех было по-праздничному

приподнятым. Наше наступление получалось настолько стремительным, что казалось, что Москва совсем рядом — где-то там, прямо за горизонтом. К тому времени мы располагали уже довольно значительным количеством трофейных русских лошадей и поэтому могли менять упряжки довольно часто. Несмотря на то что наши маленькие, но неизменно жизнерадостные Макс и Морис значительно облегчали наше продвижение как пехоты, мы все же старались щадить их. Незначительные сами по себе перестрелки с врагом, которого мы гнали в направлении Витебск — Смоленск, случались все реже и реже.

Мы неуклонно двигались к Москве. Каждый день приближал нас к этой нашей главной цели на тридцать-сорок километров. С потертостями ног теперь ко мне почти не обращались. Ноги уже привыкли к этому тяжелейшему бесконечному переходу — так же, впрочем, как и сознание. Все теперь воспринималось намного более простым и легким, чем раньше, и нам казалось, что, если потребуются, мы сможем дошагать таким же бодрым аллюром хоть до самого Урала. Минуемые нами пейзажи появлялись и исчезали за нашими спинами, точно встречные корабли во время шикарного морского круиза...

Вот на горизонте показались и стали приближаться клубы густого черного дыма. Это горит подожженный отступающими русскими город Городок. Несколько русских снайперов-смертников выволакиваются из их укрытий на улицу. Город взят. Брошенный город. Город-пустыня...

Мы сворачиваем к югу и примерно в восьмидесяти километрах от главного направления нашего движения гасим два очага вражеского сопротивления между Городком и Витебском. Мы окружаем врага, и на запад отправляется очередная внушительная партия пленных...

Витебск, пока что самый крупный город из пройденных нами за всю кампанию, — взят. Русские и его превратили в одно большое пожарище. Выжженная, безжизненная земля...

Снова на северо-восток, по направлению к Велижу. Дезорганизованные русские беспорядочно вступают в бой то там, то здесь, но явно без единого скоординированного плана. У нас несколько раненых и убитых. Нойхофф не скрывает своего ликования по поводу наших несомненных успехов в продвижении к нашему главному призу — столице всех Советов...

Велиж взят и вскоре остается позади. Стремительно растет количество пленных и захваченного нами оружия...

Тридцать километров за один день, сорок за следующий день, затем еще тридцать... Наши войска проглатывают эти расстояния с радостной непринужденностью и даже азартом. Начинает уставать только мой старый верный Ламп. Я стараюсь беречь его, как только могу, — то иду пешком, то еду в моем «Мерседесе». Поскольку Вегенер был комиссован по ранению, я затребовал нового водителя. Им оказался ефрейтор Крюгер. Он очень умело и аккуратно ездит по запруженным войсками дорогам и добросовестно присматривает за состоянием самой машины. На должности Вегенера состоит теперь Мюллер. Я строго проинструктировал его держаться вместе с санитарной тележкой подальше от очагов боевых действий. Потерять еще и Мюллера я просто не могу — заменить его будет просто невозможно.

25 июля. Прошло уже десять дней с тех пор, как мы штурмовали водную протоку у Гомелей и прорвали сталинскую линию. По России нами пройдено уже 320 километров. Позади уже более двух третей дороги до Москвы...

— К концу августа будем уже там, — как-то высказал Якоби, возлегая под деревом во время короткого полуденного привала для передышки.

— Давайте-ка подстрахуемся и скажем так, что в сентябре, — отозвался Кагенек.

— Вот вы где! — послышался голос Ламмердинга, не замедлившего присоединиться к нам в прохладной тени. — Вот. Только что пришло.

Он протянул нам официальное сообщение о результатах битвы за Смоленск.

Якоби стал читать вслух:

«В центральной части Восточного фронта группой армий под командованием генерала фон Бока доведена до блистательного победоносного завершения великая битва за Смоленск... врагу нанесен огромный урон в живой силе и технике... триста десять тысяч пленных... захвачено три тысячи двести пять единиц бронетанковой техники... три тысячи сто двадцать артиллерийских орудий и огромное количество других видов стрелкового оружия... Люфтваффе под командованием Кессельринга уничтожили тысячу восемьдесят девять русских самолетов... решительный прорыв сильно укрепленной сталинской линии обороны... Витебск взят... Колонны моторизованной пехоты широким фронтом продвигаются к линии Орша — Смоленск... 16-го и 17 июля Смоленск пал под блистательным натиском дивизии моторизованной пехоты и надежно удерживается в наших руках, невзирая на свирепые контратаки врага... грандиозная битва развилась в глубину на двести пятьдесят километров... исключительные по своему накалу бои под самим Смоленском, а также в районах Витебска, Полоцка, Невеля и Могилева... участь окруженных сил врага предreshена. Эта победа стала убедительным доказательством превосходства немецких генералов, инициативности подчиненных им командиров частей и выдающейся отваги и стойкости наших солдат... Этот успех имеет огромное значение для продолжения наших дальнейших операций, и о падении Москвы можно говорить уже с полной уверенностью.»

Якоби взволнованно уронил вдоль тела руку с только что прочитанным текстом, затем, как бы опомнившись, вернул листок Ламмердингу.

— Фантастика... — только и смог проговорить он. — Это почти невероятно.

Все мы пребывали под глубочайшим впечатлением от этого официального сообщения об успехе Вермахта. Вот мы здесь, батальон почти не имел потерь, пройдено более двух третей дороги до Москвы; грандиозная битва не на жизнь, а на смерть только что завершена разгромом врага; теперь он наверняка будет отступать до самых ворот Москвы. Для Адольфа Гитлера это был несомненный триумф. Мы должны были признать его гений, и в этот момент его приветствовали и славил в вдоль всей огромной линии нашего фронта как ниспровергателя коммунизма.

— Ну как, Кагенек, еще не передумали? — с задором спросил Якоби. — Что вы скажете об этом теперь?.. Будем мы в Москве в следующем месяце?

— Возможно, вы и правы, Якоби, — сдержанно отозвался Кагенек. — Дороги с каждым днем становятся все лучше, а от Смоленска до Москвы — вообще прекрасное скоростное шоссе. Да, мы, пожалуй, могли бы быть в Москве в следующем месяце.

— И что же?

— Давайте все же не будем забегать вперед раньше времени. Когда мы возьмем Москву, у нас в руках окажется самое сердце России... — задумчиво проговорил он, и его глаза приобрели какое-то отсутствующее выражение. — Это могло бы означать конец войны...

— Хальтепункт!

Это, конечно, был голос оберста Беккера. Спутать его невозможно было ни с кем. Командир полка вышел из своей машины. Я подошел к нему и, вытянувшись по стойке смирно, отдал честь. «Что бы это могло быть? — напряженно раздумывал я про себя. — Выговор? Небольшое дисциплинарное взыскание? Или, напротив, поощрение?» Беккер вытащил из кармана маленький футлярчик.

— Именем фюрера и Верховного главнокомандующего Вермахта за примерное мужество, проявленное в боях за Полоцк, вы награждаетесь Железным Крестом 2-го класса, — произнес он подобающим моменту официальным, но в то же время и дружелюбным голосом.

Он приколот мне крест и ленту на правую сторону груди и добавил:

— Я поздравляю вас. Вы очень сильно рисковали.

Его адъютант, фон Калкройт, вручил мне наградной лист и тоже горячо пожал руку. Беккер подошел к Дехорну и тоже приколот к его гимнастерке Железный Крест 2-го класса. Глаза старого вояки сияли при этом неподдельной, но тщательно сдерживаемой радостью. Наградной лист был в точности такой же, как и у меня, за исключением разве что вписанного в него имени. Меня это вполне удовлетворяло. Моя награда значила для меня намного меньше, чем для Дехорна, в равной степени делившего со мной все опасности при прорыве сталинской линии. Поэтому было совершенно справедливо, что нас и наградили одинаково.

Следующим награжденным Железным Крестом 2-го класса был Больски — за героическую лобовую атаку третьего блиндажа. Железный Крест 1-го класса был вручен обер-фельдфебелю Шниттгеру — за выдающуюся храбрость, проявленную при переправе во главе с первым головным штурмовым отрядом через водную протоку и за уничтожение второго блиндажа. Кроме вышеперечисленных награды также получили еще один или два человека. По тому, какие по-дружески теплые и вдохновляющие слова нашел оберст Беккер для всех награжденных, создавалось впечатление, что ему прекрасно, в мельчайших подробностях известны действия абсолютно каждого из них при битве за Полоцк.

Все это имело вид довольно простой и не слишком продолжительной церемонии в тени придорожных деревьев. Никакого общего построения не было. Вокруг нас отдельными неформальными группками находились в тот момент лишь некоторые офицеры и солдаты батальона. Правда, при появлении Беккера все они, конечно, повскакивали с тех мест, где лежали и отдыхали, и теперь, подойдя к нам поближе, радостно пожимали наши руки. Дехорн и я отправились искать Мюллера, возившегося в тот момент с нашей санитарной повозкой и поэтому ничего не видевшего. Он был слишком занят наведением стерильной чистоты внутри повозки.

— Ну, Дехорн, о чем ты сейчас думаешь? — поинтересовался я.

— Я думаю об окончании войны, герр ассистензарцт. О том времени, когда все это закончится и мы снова будем дома. Тогда другие, те, что не были на войне, смогут по крайней мере увидеть, что я там не только был, но и принимал участие в боях, что я не из тех, кто отсиживался все это время дома. Моей жене это тоже будет очень приятно.

Это была самая длинная и самая связная речь, какую я когда-либо слышал от Дехорна.

Когда Мюллер увидел наши новехонькие награды, его лицо буквально вспыхнуло неподдельной радостью за нашу команду, за нашу *медицинскую* команду. Он, наверное, не был бы так счастлив, если бы его самого наградили сейчас сразу двумя крестами. Он был как игрок выигравшей футбольной команды, для которого гораздо важнее победа его команды, чем то, сколько мячей забил лично он сам.

* * *

На следующее утро я узнал, что мой Ламп околел.

То, что случилось что-то нехорошее, было ясно сразу уже по страдальчески сморщенной физиономии Петерманна и по его особенно сильному заиканию.

— К-когда я-я-я п-проснулся с-сегодня утром, я-я-я п-пошел п-проверить лошадей и у-увидел, что Ламп у-уже м-м-мертвый.

Дальше он просто указал мне рукой на дерево в нескольких шагах от нашей палатки. Под ним лежал мой старый добрый конь. Он лежал на боку, с вытянутыми ногами, давно уже остывший и окоченевший. Наше безжалостное форсированное походное движение истощило его силы и в конце концов убило его.

— Тебе не в чем винить себя, Петерманн, — сказал я. — Ты очень хорошо за ним присматривал. Ламп был просто уже слишком стар для такого рода путешествий.

Мы сняли с него недоуздок, и голова Лампа безжизненно опустилась на землю. Похоронить его мы, увы, уже не успевали, поэтому просто прикрыли сверху ветками деревьев, и на этом печальная церемония прощания с боевым другом была закончена. Мне нужно было как можно быстрее раздобыть где-то нового коня. Наш полковой ветеринарный

врач, Никерль, насколько я знал, был в тот день где-то на передвижной полевой ветеринарной станции. Никерль был венцем и славным веселым малым с сугубо штатским подходом к пониманию того, что такое война. Я был довольно хорошо знаком с ним — главным образом потому, что Марта была тоже из Вены, и он был всегда очень рад поболтать со мной о своем родном городе. Я быстро нацарапал ему записку на оборотной стороне чистой карточки о ранении и вручил ее Петерманну. Записка гласила: «Дорогой Никерль, мой конь издох, и мне срочно нужен другой, но только не старая негодная извозчичья кляча. Предпочтительнее всего — молодой восточно-прусский жеребец. Найду тебя сразу же, как только немного освобожусь».

— Вот, Петерманн, сейчас же отправляйся на ветеринарную станцию, где бы она в данный момент ни находилась, разыщи там обер-ветеринара Никерля и передай ему эту записку. Жди меня там, пока я не приеду, а сам тем временем осмотри всех лошадей и оцени, не найдется ли среди них чего-нибудь подходящего для меня.

Мы проехали мимо двух обгорелых каркасов бронеавтомобилей и четырех свежих могил рядом — одного обер-лейтенанта и троих солдат. Вся дорога и поля вокруг нее были изрыты перекрещивавшимися друг с другом гусеничными следами, а в маленьком молодом лесочке слева от дороги было беспорядочно разбросано около шестидесяти замерших русских танков. Многие из них были подбиты, но остальные — просто брошены совершенно неповрежденными. Это, кстати, было совершенно обычной картиной на этом участке дороги на Москву: несколько могил, несколько обгорелых единиц бронетехники и мертвенная тишина в лесах — вот и все, что оставалось у нас за плечами.

Наша шагавшая на восток колонна проявила не слишком много интереса к этой батальной сцене — глаза людей были уже сверх всякой меры намозолены огромным многообразием картин гибели, разрушения и разорения. Они хотели добраться до Москвы. Москва была их главной и единственной целью. В воздухе витали многочисленные и порой самые невероятные слухи и домыслы, главным лейтмотивом которых было то, что Москва скоро будет взята и для всех них это будет означать конец изнурительного похода, отдых, возобновление нормально организованной жизни, развлечения, цивилизацию, женщин и, может быть, даже некоторое послабление дисциплины. Возможно, кто знает, это будет означать и конец войны! Победу! Каждый с затаенной надеждой смотрел на Москву, но не далее того. Для них это был просто конец чудовищно долгой дороги к этой цели.

К вечеру 28 июля дошли до озера Щучье (ныне пос. Озерный) и разбили лагерь в шестнадцати километрах от города Белый. Мы высчитали по карте, что по прямой до Москвы остается ровно двести девяносто километров! Если считать от Восточной Пруссии — то мы уже прошли девятьсот шестьдесят километров. Почти тысяча километров чуть больше чем за пять недель! Три четверти путешествия уже позади, и одна четверть — все еще впереди. Мы могли бы проделать ее самое большее за две недели — даже при учете ужесточения сопротивления по мере приближения к столице России. Кагенек ошибся в своем прогнозе, и я поспешил поделиться этой мыслью с Якоби. Мы просто не могли не быть в Москве к концу августа! В свое время ледяная лапа русской зимы уже оттолкнула Наполеона от его заслуженного трофея. Но Москва должна быть в наших руках задолго до наступления зимы — вот тогда и посмеемся над ее морозами.

Но... на следующий день не было получено ни одного приказа на марш. Мы проявляли огромное нетерпение, однако основной части наших войск гораздо больше по душе была идея однодневной остановки для отдыха. Мне пришлось издать особое разрешение по батальону на купание в озере.

29 июля для проведения рекогносцировки лежащего впереди нас огромного лесного массива под названием Межа было выслано несколько конных отрядов.

Они прошли по пятнадцать километров на север, на восток и на юго-восток, но так и не увидели на своем пути ни одного русского.

30 июля нами был получен совершенно невероятный приказ — приступить к подготовке оборонительных позиций...

Налет конных казаков

Всей Группе армий «Центр» пришлось выполнить общую для всех команду «Стой!» и в течение нескольких последовавших за этим дней пребывать в состоянии вынужденной неподвижности. Миллиону человек довелось собственными ушами услышать приказ «Подготовить оборонительные позиции». От Великих Лук на юге до Рославля на севере шестьсот километров линии фронта застыло в неподвижности. Бронетанковые войска, части моторизованной пехоты, саперные подразделения, артиллерия, пехота — все замерли на месте и погрузились в томительное ожидание.

Как будто какой-то всемогущий волшебный капрал взмахнул своим небесным скипетром над Группой армий «Центр» и обратил ее в камень.

Никаких разумных объяснений происходящему мы так пока и не нашли. Мы тогда еще, кстати, даже и не знали, что приказ касается всей довольно обширной центральной части фронта. Не знали, что приказ «Окопаться и защищаться» распространяется на все то огромное стальное кольцо, что сжалось вокруг горла России. И слава богу, мы еще не знали тогда, что этому кольцу никогда не суждено окончательно сжать свою жертву мертвой хваткой, что оно утратит свою стальную твердость в зимних снегах, затем будет разъединено на отдельные фрагменты и в конце концов разбито вдребезги.

6-й дивизии был выделен для обороны сектор длиной четыреста восемьдесят километров, из которых почти пять километров приходилось на наш батальон. Пребывая в крайней степени недоумения, мы приступили к выполнению поставленных перед нами задач. Нойхофф и Хиллеманнс отправились на общее собрание офицеров полка, и каждый старательно убеждал себя в том, что вот, мол, Нойхофф вернется и привезет новость о том, что приказ о возведении оборонительной линии был просто чьей-то грубой ошибкой. В течение пяти недель мы каждый день слышали примерно одно и то же: «Вперед... шагом... марш! Вперед... шагом... марш! Так держать! Мы должны преследовать бегущего врага и разбить его, как только он остановится. У него не должно быть времени перевести дыхание. Чем быстрее мы наступаем, тем быстрее ему придется спасаться бегством. Москва — прямо за горизонтом. На полной скорости вперед на Москву!»

А теперь, когда головные конные дозоры докладывают о том, что врага нет нигде в радиусе пятнадцати и более километров вокруг нас, мы получаем приказ подготовить оборонительные позиции... Это была какая-то необъяснимая бессмыслица даже для самых молодых новобранцев.

Вот вернулись с собрания Нойхофф и Хиллеманнс, и все офицеры сразу же столпились вокруг них, чтобы узнать новости, нетерпеливо ожидая услышать, что все объясняется всего лишь чьим-то грубым просчетом. Однако Нойхофф не оправдал их ожиданий, поскольку вообще не привез никаких разъяснений по поводу происходящего. Стало понятно только, что... никакой ошибки не было. Он лишь подошел к штабной карте и обозначил на ней отдельные секторы линии обороны, которые собирался закрепить персонально за командирами рот. Двум ротам таким образом выделялось по два с половиной километра, а одна рота оставлялась в резерве для выполнения, в случае необходимости, дублирующих контратак. Отделения 12-й роты Кагенек придавались в усиление для поддержания остальных огнем своих пулеметов. В трех километрах впереди от главной линии обороны предполагалось рассредоточить полевой авангард из сорока человек, задачей которого являлось своевременное информирование штаба батальона о любых перемещениях противника — посредством специальных посыльных или по радио.

Держать себя в руках, терпеливо выслушивая все это, Кагенек был уже просто не в состоянии.

— Объясните нам все же, почему мы должны подготавливать здесь оборонительные позиции и обрекать себя таким образом на статичность нашего тактического положения, тогда как враг бежит и в нашем секторе не наблюдается никаких признаков его

присутствия?!

— По оперативным причинам, — отрывисто-грубо ответил Нойхофф.

— Что именно герр майор понимает под оперативными причинами? — с нажимом поинтересовался Штольц.

— Господа! — умоляюще воскликнул наконец Нойхофф, сдаваясь. — Я тоже ничего не знаю! Нам никто ничего не объяснил. Но все раньше или позже встанет на свои места. На сегодняшний день наша обязанность, как следует из приказа, — выстроить систему обороны, сохранять неусыпную бдительность и не дать застать себя врасплох.

Было совершенно ясно, что Нойхофф пребывает в точно такой же тьме неведения, как и все мы. Неведения и замешательства.

3-й батальон должен был стать правым флангом полка, 1-й батальон под командованием Бикманна — его центром, а 2-й батальон под командованием Хёка — левым флангом. Наблюдательный пункт оберста Беккера для общего руководства им оттуда боевыми действиями полка располагался в трех километрах позади нас, а такой же пункт командира дивизии Аулеба — в маленьком городке Щучье на берегу одноименного озера. Справа от дивизионного пункта наблюдения был дислоцирован знаменитый ныне кавалерийский эскадрон Бёзелагера. Каждый батальон выставлял свой аванпост сторожевого охранения в трех-четыре километрах спереди от главной линии обороны. К вечеру 30 июля линия обороны была таким образом методично выстроена и укомплектована личным составом.

Следующим утром я отправился на поиски передвижной ветеринарной станции. Крюгер вез меня на «Мерседесе», который к тому времени пришел уже в ужасающее состояние.

— Машина старая, да и пробег слишком большой, — лаконично прокомментировал это Крюгер. — Модель 1937 года. Германия, французская кампания, Восточная Пруссия и теперь вот еще Россия... Это слишком даже для «Мерседеса»!

Когда я был унтерарцтом во Франции, мне, как безответному несмышленику, подсунили самую старую клячу и самую старую машину в батальоне. Вспомнив об этой полузабытой обиде, я поклялся самому себе, что не уйду с ветеринарной станции до тех пор, пока мне не дадут по-настоящему хорошего коня, а кроме того — поставлю, если нужно будет, сам ад на уши, но добьюсь того, чтобы меня обеспечили достойным автомобилем! Однако когда я попытался впоследствии поднять этот вопрос в штабе дивизии, мне с довольно грубой прямоотой дали понять, что, пока не падет Москва, о новой машине для себя я могу даже не заикаться.

Как бы то ни было с машиной, но хорошая кобылица к концу того дня у меня все же была — восточно-прусская, с конного завода Тракенера, которую Петерманн отобрал для меня как раз к тому времени, когда я разыскал ветеринарную станцию. Я взял ее, не обращая внимания на шутливое возражение венского ветеринара по поводу того, что в армии не существует деления лошадей на хороших и плохих, поскольку в армии все — просто лошади. Я назвал свою новую кобылицу Сигрид, и Петерманн гордо повел ее под уздцы к озеру Щучье, а мы с Крюгером вернулись туда на «Мерседесе».

По дороге обратно к нашим позициям мы проезжали мимо понуро двигавшегося нам навстречу плотного потока гражданских жителей, эвакуируемых из деревень, которым не посчастливилось оказаться поблизости от нашей линии обороны. Людям было разрешено взять с собой столько их пожитков, сколько они смогут унести и увезти на своих телегах за один раз — до тех деревень, примерно в пятнадцати километрах западнее, где их должны были каким-то образом разместить. Несколько семей, не успевших присоединиться к общему потоку, все еще копались на своих подворьях, нагружая телеги всяким домашним скарбом вне каких бы то ни было мыслимых пределов их грузоподъемности. Мы остановились посмотреть, как крестьянские мальчишки достают мед из ульев, и вдруг до нас донесся откуда-то жалобный детский крик. Прислушавшись, мы определили, что он раздается из уже явно опустевшей и оставленной своими хозяевами избы.

Я быстро вошел внутрь и увидел в деревянном ящике возле печи примерно двухмесячного и очень болезненно выглядевшего младенца. Приказав Крюгеру срочно доставить мне оказавшегося неподалеку переводчика, я спросил у одного из русских, чей это ребенок. Мужчина указал мне вдоль дороги на противоположный конец деревни, где мы увидели удалявшееся от нас весьма примечательное семейство. Глава его — преклонных уже лет крестьянин — вел под уздцы лошадь, с трудом тащившую тяжело груженную телегу. Его неряшливая жена, то и дело выкрикивая что-то, пыталась не выпускать из вида их восьмерых детей, старшие из которых погоняли прутьями вдоль дороги громадных размеров свинью.

Переводчик сообщил мне со слов стоявшего рядом крестьянина, что они бросили ребенка, поскольку для него не было места в телеге, а кроме того, это был больной ребенок — обуза для семьи. Догнав престарелого «папашу», я приказал ему вернуться и забрать ребенка. Не сомневаясь в том, что тот не посмеет ослушаться приказа немецкого офицера, мы двинулись дальше, к сектору, закрепленному за нашим батальоном. Проехали мы совсем немного, когда вдруг что-то заставило меня велеть Крюгеру остановиться, развернуться и ехать обратно к той деревне.

Вскоре мы снова увидели знакомое уже нам семейство движущимся по дороге в наш тыл: отец, мать, лошадь с телегой, восемь детей и свинья, но... опять без грудного младенца. Терпение мое лопнуло, и я выхватил из кобуры свой пистолет, не зная еще, что буду делать дальше. Идею невольно подсказала свинья.

— Скажи ему, — велел я переводчику, — что, если он не возьмет с собой ребенка, я пристрелю его свинью, а затем еще и конфискую ее. Скажи ему, что свинья останется у него *только вместе с ребенком*. Нет ребенка — нет свиньи!

В намерения «папаши» явно не входило расставаться со своей драгоценной свиньей, поэтому ему все же пришлось взять с собой еще и своего девятого ребенка.

* * *

Прекрасный день случился 1 августа — день, пронизанный каким-то всеобщим праздничным настроением. После завтрака многие отправились купаться на озеро. «Парад больных», как я называл свой ежедневный прием, насчитывал всего несколько незначительных случаев. С тех пор, как мы вышли из города Сувалки и пустились в наш бесконечный переход по России, это был первый день, когда нам удалось расслабиться и по-настоящему отдохнуть.

К обеду нас порадовали еще и особым праздничным меню. Впервые за все это время мы ели не из походного котелка или из одной и той же железной миски и для первого и для второго, которые зачастую объединялись в одном неизменном гуляше, но имели целых три смены блюд, причем каждое из них было подано отдельно: гуляш (куда же мы без него), тушеное мясо с картофелем и свежие овощи. Повар мастерски устроил нам целый кулинарный праздник. После обеда еще один приятный сюрприз преподнес мне Дехорн. Разжившись где-то куриными яйцами, он взбил их с основательным количеством сахара, в результате чего получился потрясающий гоголь-моголь. Мы ведь целыми неделями не ели ничего сладкого, и организм настойчиво требовал от нас сахара. Проворно поглощая ложками сладкое лакомство, мы благодарно и с одобрением посматривали на Дехорна, а я вдруг ни с того ни с сего спросил его:

— Ты когда-нибудь был в опере?

— Да, один раз был. Мы ходили туда с женой.

— На какую оперу?

— На «Волшебную флейту». Это было, когда я ездил в отпуск из Нормандии на прошлое Рождество, и мы видели там вашу невесту в роли Памины, герр ассистензарцт.

— Да что ты говоришь! И ты рассказываешь мне об этом только сейчас! Почему?!

— Герр ассистензарцт не спрашивали меня.

— И как она понравилась тебе?

— Моя жена сказала, что она была как принцесса из волшебной сказки.

— А как она понравилась тебе самому? — не отставал я.

— Она была прекрасна и так красиво пела о жизни и смерти!

Тут Дехорн извинился и, нырнув с головой в свой походный мешок, стал рыться в нем. Обратно он вынырнул уже с программкой Дуисбургского оперного театра. Я прочитал: «МАРТА АРАЗИМ — Памина», а также увидел много других знакомых имен в перечне исполнителей. На меня нахлынула ностальгия.

— Чудной ты какой-то, Дехорн, — с беззлобной укоризной и грустью в голосе сказал я. — Это же надо, до сих пор ничего не рассказать мне об этом...

— Простите меня, герр ассистензарцт. На самом деле я много раз хотел рассказать вам, а потом начинал думать, что это не так уж важно — ведь герру ассистензарцту всегда есть и чем заняться, и о чем подумать, вместо того чтобы выслушивать мои истории.

— Дехорн, мы служим с тобой бок о бок, днем и ночью вот уже больше девяти месяцев, и я знаю тебя очень хорошо... или, возможно, не знаю совсем. Но уж ты-то точно знаешь меня как облупленного. Я еще только открываю рот, чтобы сказать тебе что-нибудь, а тебе уже точно известно, чего именно я хочу. Однако за все это время я слышал самого тебя говорящим что-нибудь, кроме «*Jawohl*, герр ассистензарцт», всего три раза: в первый раз, когда ты обеспокоился, как бы близнец из 10-й роты не застрелился; во второй раз, когда нас с тобой наградили Железными Крестами — да и то, ты раскрыл рот только после того, как я спросил тебя, о чем ты тогда думал; и вот сейчас, после яичного гоголя-моголя. В дальнейшем я рассчитываю на то, что ты будешь со мной все же пооткровеннее и станешь больше рассказывать и о себе самом, и о своих мыслях.

— *Jawohl*, герр ассистензарцт, — с готовностью ответил Дехорн, и лицо его расплылось в обычной дружелюбной улыбке. — Но я не знаю больше ничего такого, что могло бы быть интересным герру ассистензарцту.

* * *

В тот вечер в нашу жизнь вошла «Лили Марлен». Офицеры батальона удобно расположились в штабной палатке и слушали радио. Это был появившийся у нас совершенно новый радиоприемник, и мы настроили его на Белград. Как только Лили Андерс запела свою ностальгическую солдатскую песню, наша беседа мгновенно прервалась. Самое сильное впечатление «Лили Марлен» произвела на Нойхоффа.

— Будем слушать теперь эту песню каждый вечер! — объявил он. — Ламмердинг, возлагаю на твою ответственность каждый вечер настраиваться на «Лили Марлен».

Ламмердинг немедленно позвал своего ординарца:

— Курт, я делаю тебя ответственным за то, чтобы каждый вечер настраивать радиоприемник на песню «Лили Марлен». Каждый вечер, невзирая ни на что, будь то офицерское совещание, артиллерийский обстрел или наступающий противник. Покуда у нас есть этот приемник — «Лили Марлен» будет звучать. Ясно? Все верно, герр майор?

— Меня все это не касается, Ламмердинг, — отрезал Нойхофф. — Спрашивать буду с тебя.

* * *

Следующим утром я отправился вместе с группой офицеров нашего батальона на инспекционный обход оборонительных позиций; я хотел быть максимально в курсе расположения всех оборонительных сооружений на случай любого варианта развития боевой обстановки. Никто против моего присутствия не был. Тут уместно будет заметить, что мое положение в батальоне стало к тому времени почти, можно сказать, независимым. Мне, например, не возбранялось появляться где мне вздумается в пределах расположения батальона, и это превосходно устраивало меня. В этом отношении мне чрезвычайно

посчастливилось, что командиром моего батальона был именно Нойхофф, а не кто-нибудь другой — в других известных мне частях офицеры медицинской службы не имели и малой доли той свободы, которой имел удовольствие пользоваться я. Командиры их батальонов сами определяли за них ту роль, которую им предстояло играть в каждой операции, и сами же, например, выбирали, где расположить перевязочный пункт, а во многих случаях такой выбор был далеко не лучшим с медицинской точки зрения.

Нойхофф — в выгодную противоположность таким командирам — с самых первых дней нашей совместной службы полностью доверил на мое усмотрение решение всех медицинских и сопутствующих им вопросов. Общее направление всех своих действий я вырабатывал совершенно самостоятельно. В частности, главный перевязочный пункт почти всегда (за исключением особых обстоятельств) располагался где-нибудь в непосредственной близости от оперативно-тактического штаба батальона — мера, многократно оправдавшая себя в ходе дальнейших боев. Раненые всегда знали, где найти меня, да и к тому же в критических ситуациях финальные фазы боя чаще всего концентрировались именно вокруг штаба батальона. Благодаря этому у раненых всегда была уверенность в том, что им гарантированно будет оказана вся возможная медицинская помощь. А для раненого человека такое чувство защищенности имеет жизненно важное значение.

Исключительно повезло мне еще и в том, что человеком, ведавшим, помимо меня, решением медицинских вопросов в нашем батальоне, был оберштабсарцт Шульц. В каждой дивизии имелось два санитарных автозвода, главной задачей которых была эвакуация раненых из перевязочных пунктов на передовой в тыловые госпитали, а в случаях тяжелых ранений еще дальше в тыл. Совершенно естественно, что дивизионное медицинское начальство всеми средствами старалось беречь свои бесценные санитарные автомобили, тогда как фронтовые врачи, очень не любившие пользоваться для транспортировки раненых подручными видами транспорта, настаивали на том, чтобы они были у них всегда под рукой, даже под вражеским огнем. Симпатии и, следовательно, поддержка оберштабсарцта Шульца всегда были на стороне фронтовиков — и солдат, и врачей.

Раз уж Нойхофф предоставил мне такую редкостную для армии свободу действий, то вполне логичным было воспользоваться этим для того, чтобы быть как можно более в курсе всех ближайших планов действий батальона. В этом мне приходилось полагаться только на себя самого, поскольку офицеры батальона не считали нужным обеспечивать меня подобными сведениями по собственной инициативе. Вот и в то утро, не решаясь слишком уж докучать им своими расспросами, я с некоторой неосознанной внутренней тревогой возвращался вместе со всеми верхом вдоль осматриваемой нами линии оборонительных укреплений.

— Лишь бы только не застрять здесь очень надолго, — ворчал Хиллеманнс. — Слишком уж тут много лесов — как прикажете защищаться на такой местности?

* * *

Наша воздушная разведка сообщила о перемещениях в лесах между Ржевом и Межой крупных соединений вражеской кавалерии. Поэтому прежде чем расположиться играть в *Doppelkopf*, я на всякий случай пополнил брезентовую седельную сумку Петерманна дополнительным запасом перевязочных материалов и медикаментов для оказания первой медицинской помощи. Это была наша первая игра за все то время, что мы вышли из Филипово.

Мы расселись вокруг наскоро сколоченного из неструганых досок стола, и Ламмердинг принялся сдавать карты. По мнению Нойхоффа, у нас теперь должно было быть предостаточно времени для *Doppelkopf-a*. Мы все играли, круг за кругом, и мне постоянно везло.

Игру нашу прервали казаки. Срочное сообщение об этом было доставлено из штаба полка, а сразу же вслед за ним прибыло идентичное сообщение из штаба дивизии. Нойхофф

зачитал вслух: «Соединения русской кавалерии прорвали на значительную глубину линию обороны 1-го батальона. Располагаемые сведения о создавшемся положении имеют пока сбивчивый и неопределенный характер. Оставить для защиты вашей главной линии обороны только вспомогательные (резервные) части и два отделения сторожевого охранения. Все остальные силы 3-го батальона немедленно бросить на противника с целью восстановления боеспособности главной линии оборонительных укреплений 1-го батальона».

Нойхофф на правах командира реквизировал мой «Мерседес» и отправил на нем Хиллеманнса, чтобы тот раздобыл хоть какие-то более определенные и достоверные сведения о создавшейся диспозиции. Сбросив оцепенение, мы с Дехорном поспешили впрыгнуть за ним в машину. Двигало нами при этом, конечно, отнюдь не только любопытство. Мы медленно ехали вдоль песчаной дороги и вскоре оставили далеко позади головную часть нашего батальона. Я чувствовал себя очень напряженно, но Крюгеру было приказано при появлении первых же признаков чего-то подозрительного немедленно и по возможности скрытно развернуться и жать на полном газу обратно. Автоматы мы, однако, держали наготове.

Солнце медленно опускалось в темневший слева от дороги лес, откуда мы и ожидали появления казаков. Неожиданно мы услышали где-то позади нас яростный огонь наших 10,5-сантиметровых гаубиц и разрывы вражеских снарядов. Создавалось не слишком приятное впечатление, что противник прорвал всю линию нашей обороны и уже находится в глубине наших позиций. Мы продолжили наше движение с удвоенной осторожностью. Вдруг за изгибом дороги, еще пока довольно далеко от нас, мы увидели на обочине какой-то автомобиль. Сбросив газ, мы стали крадучись приближаться и вскоре, к своему облегчению, распознали в нем немецкий кубельваген. Из уже почти непроглядного лесного мрака рядом с ним на дорогу с некоторой не вполне уместной вальяжностью вышел немецкий кавалерийский капитан и остановил нас поднятием руки.

— Дальше вам ехать нельзя, — предупредил он.

Хиллеманнс выскочил из машины, вскинул руку в приветствии и, вытянувшись по струнке, бойко доложил: «3-й батальон, Нойхофф, следуем к месту прорыва с приказом атаковать врага и восстановить главную линию обороны!»

Капитан кавалерии произвел рукой еще один неспешный жест, долженствовавший означать команду «Вольно», и Хиллеманнс, опустив руку от фуражки, продолжил: «Могу я просить герра риттмейстера предоставить мне какую-нибудь информацию по обстановке? Мы не знаем, ни где находятся русские, ни насколько глубоко они проникли на наши позиции».

Впервые я видел легендарного риттмейстера барона фон Бёзелагера столь близко! В последних лучах заходящего солнца сдержанно поблескивал Рыцарский Крест, которым его наградили за выдающуюся храбрость во Франции. Вообще, у этого немногословного человека было больше всего наград во всей дивизии, и простые солдаты уважали его даже больше, чем самого командира дивизии. Сейчас он стоял прямо перед нами — мускулистый, подтянутый, спокойный, уверенный в себе — и терпеливо выслушивал возбужденную трескотню Хиллеманнса.

— Мой эскадрон будет здесь с минуты на минуту. Доложите вашему командиру, что сразу же, как только я сам получу свежие разведданные, я не забуду поделиться ими и с ним. Разместите тем временем ваш батальон вон у той фермы, и я вскоре предложу вам оптимальный план наступления.

— Благодарю вас, герр риттмейстер! — браво отсалютовал Хиллеманнс и поспешил обратно к нашей машине.

Я с облегчением вздохнул по поводу того, что наша поездка в тревожную неизвестность вроде бы благополучно подошла к концу. Тем временем к фон Бёзелагеру подлетели галопом несколько всадников. Спешившись, они стали о чем-то говорить с ним.

— Видите вон того, что стоит слева от Бёзелагера? — почему-то негромко, почти шепотом обратился к нам Хиллеманнс, садясь в машину. — Это его старший брат. Сейчас он

— глава всего их рода.

Сорок минут спустя батальон выдвинулся с фермерского подворья с приказом (по рекомендации Бёзелагера) атаковать врага с незащищенного фланга. Дехорн и я выждали десять минут, а затем двинулись следом вместе со штабом. Мюллеру было велено оставаться на подворье вместе с полевой кухней, резервом амуниции и взводом снабжения. Немного позже мы услышали рассказ о казачьем налете от командира одного артиллерийского подразделения, майора Крюгера. В общих чертах он выглядел так.

Ранним утром аванпосты сторожевого наблюдения 1-го батальона, расположенные примерно в пяти километрах перед главной линией обороны, были несказанно поражены появившимися перед ними неведь откуда примерно тысячей конных казаков. Поражены они были как в переносном, так и в прямом, физическом смысле: избежать ужасной участи каким-то чудом удалось лишь двоим из пятидесяти немецких солдат. Они потом и поведали из первых уст о том, что произошло с остальными их товарищами. Несметная орда всадников возникла вдруг как будто из ниоткуда, заполняя все пространство вокруг себя странными и пронзительными боевыми выкриками. Они сразу же принялись беспощадно разить немецких солдат своими ослепительно сверкавшими шашками, так и не дав большинству из них опомниться и успеть воспользоваться своим оружием. Многие из наших людей были разрублены их смертоносными саблями практически надвое, от головы до ног, остальные — обезглавлены.

Не слишком многочисленные солдаты, редко разбросанные в тот час по различным участкам главной линии обороны, еще не успели даже осознать всего ужаса того, что случилось с их товарищами на вынесенных вперед аванпостах, как казаки уже оказались прямо перед ними. За леденящим кровь «Ура-а! Ура-а! Ура-а!», раскатисто раздававшимся из тысячи вражеских глоток, сразу же последовал еще более ужасающий казачий налет. Лишь несколько немецких солдат поддались панике и кинулись бежать. Остальные же небольшие их группки отчаянно сражались до последнего — и все до одного были убиты. Вражеский прорыв охватил собой довольно широкий фронт главной линии обороны. В бой была брошена резервная рота 1-го батальона — но слишком поздно для того, чтобы успеть заткнуть собой проделанную врагом брешь. Казаки, воспользовавшись преимуществом неожиданности, достигнутым их стремительным налетом, увлекли бой за собой в глубину немецких линий и оказались в опасной близости со штабом Беккера. Саперная рота сражалась с казаками бок о бок со штабной ротой при поддержке отдельных расчетов, паливших по врагу прямой наводкой, но было совершенно очевидно, что все наши действия в сложившейся ситуации и беспорядочны, и не скоординированы друг с другом.

Кагенек вернулся с докладом о том, что атака нашего батальона оказалась успешной и что русские оказались теперь в положении, в котором очень рискуют быть окруженными со стороны нашего фланга и с тыла. Весь вечер до нас доносились отзвуки сильного ружейного и автоматного огня, а к десяти часам вечера стало известно о том, что Штольц достиг главной линии обороны 1-го батальона и отбил ее обратно. Наша 9-я рота уничтожила несколько групп русских пехотинцев и захватила значительное количество пленных. Конные казаки растворились в сумерках как призраки — просто каким-то непостижимым образом исчезли в безграничных просторах России, и все тут, точно так же, как и возникли из них утром. Большинство из них остались в живых, чтобы вступить с нами в ответную схватку на следующий день. Такой вот оказалась наша первая встреча с казаками, и нельзя не отметить, что для нас она стала чрезвычайно жестоким и даже, я бы сказал, каким-то зловещим боевым крещением.

Кавалерийский эскадрон фон Бёзелагера преследовал их с боями по территории России еще много километров, заставив на будущее остерегаться встречи с собой. Никто из его людей в тот вечер так и не вернулся, за исключением брата Бёзелагера, которого доставили назад с очень серьезным ранением брюшной полости. С имевшимся у меня оборудованием я не мог сделать для него абсолютно ничего, но немедленно отправил его на срочную операцию в тыловой госпиталь. Вскоре после прибытия туда он умер.

В ту ночь у нас уже не оставалось времени на то, чтобы разбить палатку, поэтому мы расположились на ночлег у подножия небольшого холма, надежно прикрывавшего нас по крайней мере от возможного ружейного и автоматного огня противника. Крюгер поставил мой «Мерседес» там же, будучи готовым в любой момент завестись и ехать. Мюллер и Петерманн были все еще на ферме, а мы с Дехорном завернулись в наши одеяла и легли спать прямо на траве у машины.

Помню ту ночь как сейчас. Она была как-то по-особенному прекрасна. Громадная луна мирно проплывала, казалось, прямо над нашими головами, «укутывая» нас густыми тенями елей.

Шум сражения еще некоторое время затихал в ночной дали, пока не растаял до отдельных отрывистых постукиваний какого-то одинокого крупнокалиберного пулемета. Когда от озера Щучье стал подниматься утренний туман и защебетали первые птицы, мы с Дехорном вдруг как-то разом очнулись от глубокого и крепкого сна, замерзшие и заочневшие. Проворно забравшись в «Мерседес», мы, чтобы согреться, запустили двигатель и тихонечко сидели себе внутри, стараясь больше не заснуть. Часы показывали без нескольких минут шесть, и каждый из нас размышлял про себя, что принесет нам этот новый день. Ровно в 6.00 как-то вдруг разом «заговорило» сразу несколько русских пушек.

Поначалу их снаряды рвались где-то далеко позади нас. Но вот некоторые из них стали падать ближе, но правее. Вдруг раздался оглушительный взрыв. Снаряд угодил прямо в огромное дерево менее чем в двадцати метрах от нас. Боевая часть не только расколола дерево пополам, но и разлетелась во все стороны массой смертоносных осколков, осыпавших собой ни о чем не ведавших спящих солдат. Многие из них проснулись с криками от жестокой боли.

Дехорн и я выскочили из машины и бросились бежать к раненым. Но не сделали мы и трех-четырех шагов, как раздался еще один ужасный взрыв. Это разорвался второй снаряд, но на этот раз уже метрах в двенадцати от нас. Могучая невидимая рука оторвала меня от земли, подняла в воздух и с огромной силой швырнула обратно.

Коктейли Молотова и главная операция

Пыль и дым все еще застилали все кругом, когда я смог наконец сбросить «собственную» пелену со своих глаз. Я инстинктивно пошевелил руками, затем ногами. Вроде бы ничего сломано не было. Все еще пошатываясь, я медленно поднялся с земли. Солдаты кругом кричали от боли, страха и ярости. Очевидно, я был без сознания всего несколько секунд. Когда мне удалось собрать свой мозг обратно в «фокус», я разобрал, что они кричат: «Носильщика! Давайте сюда носилки!»

— Дехорн! — позвал я, но никто не откликнулся. — Дехорн! — крикнул я громче и оглянулся вокруг.

Дехорн с грудной клеткой, развороченной здоровенным осколком, лежал в пяти метрах от меня. Я опустился рядом с ним на колени. Не менее, видимо, крупным осколком ему снесло также половину черепа. Часть окровавленных мозгов была тут же на траве, рядом с тем, что осталось от головы. Не в силах больше видеть все это, я отвернулся.

Тут я услышал, что Дехорна зовет кто-то еще. Голос раздавался со стороны моей машины. Я бросился туда. Большой кусок шрапнели вдребезги разбил оба колена Крюгера. Скрючившись от адской боли, он сидел на водительском месте, вцепившись в руль побелевшими пальцами. Сняв с безжизненного тела Дехорна его походный санитарный мешок и прихватив заодно свой медицинский чемоданчик, я быстро сделал Крюгеру укол морфия, уже выискивая тем временем глазами других раненых и пытаюсь прикинуть, сколько их.

Якоби лежал на спине сразу с несколькими осколками в груди, с проникающим ранением в живот, а вдобавок к этому — еще и с изуродованными осколками правым коленом и левой ступней. Я насчитал еще четверых очень тяжело раненных и одного с

легким ранением.

Из сильной раны на указательном пальце моей собственной левой руки обильно шла кровь, но это не могло быть помехой моей работе. Трое штабных служащих из всех сил старались помочь мне, но были такими неловкими и так нервничали при виде столь непривычно огромного количества крови, что только мешали. Они даже не знали, как правильно поднимать и переносить раненого человека. Это была суровая работа: одних, кричащих от боли и агонизирующих, приходилось оставлять без внимания для того, чтобы оказать помощь другим, но там не было больше никого, кто знал бы, как облегчить их страдания. Я работал лихорадочно быстро, но уже твердо решил про себя, что буду лично строго следить за тем, чтобы в будущем весь личный состав батальона проходил обязательную начальную подготовку по оказанию первой медицинской помощи.

Когда примерно через час приехала вызванная Хиллеманнсом санитарная машина с подготовленными санитарами-носильщиками, для меня это было по-настоящему счастливым облегчением. Правда, к тому времени всем раненым была уже оказана посильная помощь, и их оставалось только перенести в санитарную машину. К счастью, Нойхофф, Ламмердинг и Хиллеманнс во время обстрела никак не пострадали.

— Большое спасибо тебе, Хайнц, — слабеющим с каждым словом голосом проговорил Якоби и даже попытался улыбнуться. — Мне уже не больно.

Скользнув взглядом по подаренному им мне пистолету, он добавил уже почти шепотом:

— Не стесняйся и не бойся пользоваться им.

— До скорого, — солгал я ему. — Скоро поедешь домой.

Боль теперь действительно отпустила его — сказывалось действие основательной инъекции морфия. Какое-то время он еще должен был чувствовать себя в безопасности, не испытывать адской боли и не осознавать всей фатальной серьезности своих ранений. Закрывая дверь увозившей его санитарки, я уже знал, что завтра у озера Щучье среди многих других березовых крестов будет стоять и его крест. Умер он меньше чем через час.

Моя машина была основательно посечена восемью осколками, но когда я попробовал двигатель, он запустился. Я сел в свой старый «Мерседес», чтобы передохнуть несколько минут, прикурил сигарету и попытался восстановить картину всего случившегося. Причиной всех наших потерь были всего два вражеских снаряда. Первый из них разорвался, ударив в ствол дерева, и ранил Якоби и многих других. Второй разорвался на земле в метре или двух от первого, искромсал насмерть Дехорна и ранил Крюгера, изрешетив заодно машину. Оба снаряда, рассудил я, наверняка были выпущены следом один за другим из одного и того же орудия. Но если бы русский артиллерист сдвинул прицел своего орудия хотя бы на миллиметр, то Дехорн был бы сейчас жив, а Крюгеру не пришлось бы всю оставшуюся жизнь ходить на протезах. Тогда в артиллерии была распространена практика небольшого смещения прицела после каждого выстрела для того, чтобы увеличить эффективный разброс снарядов по большей площади при обстреле определенного участка территории. Возможно, русский наводящий отвлекся между двумя выстрелами для того, чтобы прикурить сигарету, и пренебрег лишним раз тем, чтобы немного изменить угол наводки. Участь Дехорна, таким образом, могла зависеть от той гипотетической сигареты.

Примерно к девяти часам утра приехал Мюллер с санитарной повозкой, а рядом с ним шел Петерманн, ведя под уздцы мою Сигрид. До обоих уже дошла весть о гибели Дехорна. Мне потом рассказывали, что, когда Петерманн, заикаясь от волнения, рассказывал об этом Мюллеру, у того в глазах стояли слезы. Все троем мы отправились подыскивать место для могилы нашего товарища и выбрали тихую полянку между тремя березами поблизости от приметного перекрестка двух дорог. Место очень соответствовало миролюбивой натуре Дехорна, и к тому же его нетрудно было бы отыскать в дальнейшем, когда тела немецких солдат должны были быть отправлены для перезахоронения в Германию. Не говоря ни слова, Мюллер с Петерманном вырыли могилу. Для того чтобы воздать последнюю почесть маленькому старательному санитару, в 11 часов прибыла даже салютная команда. Тело

опустили в могилу, я сказал прощальное слово, отгремели прощальные залпы... Салютная команда двинулась дальше, к другим захоронениям. Я не стал смотреть, как Мюллер с Петерманном закапывают могилу и водружают на нее крест, а вместо этого решил немного пройтись и привести свои мысли и чувства в порядок.

В штабе батальона Хиллеманнс сообщил мне, что нами получен приказ произвести сегодня в два часа дня ответный удар по врагу. Русских предстояло отбросить обратно за Межу, а их артиллерию — захватить или уничтожить.

— Очень мило! Километров на пятнадцать в глубь территории врага! По изрытой земле и непроходимым лесам! Да и еще и казаки наверняка все еще где-то там...

— И все же я думаю, что это правильно и это нужно сделать, — прервал меня Хиллеманнс. — Мы должны проучить этих ублюдков, или они так и не дадут нам спокойной жизни своими ежедневными обстрелами. Лучше уж так...

Для поддержания нашего контрудара были присланы три танка под общим командованием молодого лейтенанта Пандера. Их «одолжил» нам командир дивизии Аулеб. С этими тремя бронированными чудовищами впереди нас нам казалось, что мы можем победить весь мир.

Остановил нас огонь русских, который они вели из деревни на опушке леса. Между нами и деревней простиралось совершенно открытое луговое пространство. Нойхофф послал Штольца приказ обойти со своей ротой деревню справа лесом и дойти таким образом до реки Межа, чтобы отрезать противнику отступление в этом наиболее вероятном направлении. По достижении ими этой позиции Титжен должен был провести лобовую атаку деревни, а Кагенек — поддержать его огнем своих пулеметов и минометов. Меньше чем через час деревня уже была в наших руках, невзирая на отчаянное противодействие небольшой группы казаков и применение врагом «коктейлей Молотова». Это было наше первое знакомство с этим примитивным, но, однако, довольно эффективным оружием, которым русские (хоть и только сверху) подожгли наши танки.

Насколько успешным оказался наш контрудар, мы поняли только тогда, когда из леса показались люди Штольца, ведущие перед собой огромную толпу русских пленных. Помимо тех, что были убиты и ранены в деревне и вокруг нее, рота Штольца уничтожила почти всех русских, пытавшихся спастись бегством. Не встретив по пути никакого сопротивления, он успел достичь берегов Межи до того, как туда хлынули отступавшие силы противника. Подпустив первую отступавшую группу русских к самой кромке воды, он затем прицельно и методично перестрелял их всех. Поддавшиеся замешательству и панике основные силы русских — пехота, кавалерия и транспорт, — преследуемые двумя нашими танками, попытались переправиться через реку с ходу, но тоже вышли прямо под прицельный огонь людей Штольца.

Когда мы оценили результаты операции, оказалось, что мы захватили в плен сто сорок человек, а вместе с ними — еще и значительное количество оружия, техники и провианта. В моем ежедневном письменном докладе в тот вечер указывалось: «3-й батальон 18-го пехотного полка: убитых — 5, раненых — 29».

Штаб дивизии направил нам письменное поздравление с блестящим успехом, достигнутым столь небольшой ценой. В конце концов в системе исчисления в масштабе дивизии пятеро раненых и двадцать девять убитых действительно, наверное, ничего не значили. Едва ли в штабе дивизии знали хоть что-нибудь и о лейтенанте Якоби — для них он был просто именем в списках. Дехорн же, как и остальные погибшие в тот день, вообще относился, можно сказать, к «безымянному» рядовому составу... А тот парень с соломенными волосами и с остекленевшим от болевого шока взглядом? Его ужасная рана живота будет всего лишь еще одним подобным случаем в практике хирурга тылового госпиталя... Шансов — пятьдесят на пятьдесят. Может, и выберется... Делаем все, что можем... Кстати, не его ли брат-близнец был убит не так давно под Полоцком? Очень печально. Надо постараться спасти для матери хотя бы одного.

Я вызвал по радио три санитарных машины и отправил с ними всех нуждавшихся в

этом раненых; одним из них был наш остающийся пока в живых близнец.

Среди пленных оказалось несколько человек, смысливших кое-что в оказании первой медицинской помощи. При их молчаливом и почтительном содействии я осмотрел раненых русских и распорядился перенести их в неповрежденный дом. Один из помогавших мне пленных вдруг обратился ко мне на хорошем беглом немецком.

— Где вы так хорошо выучились немецкому языку? — удивленно спросил я.

— У моих родителей.

— А где живут ваши родители?

— В Сибири, около Утурска. Это и есть моя родина. Там у нас все говорят по-немецки. Все наши предки были переселенцами из Германии.

Я попросил его рассказать мне об этом поподробнее. Оказалось, что Екатерина II многочисленными заманчивыми посулами зазвала значительное количество немецких крестьян на поселения по Нижней Волге и в Сибири. Их деревни в Сибири и поныне сохранили немецкую самобытность, немецкий язык, даже немецкие песни. Однако большевики, конечно, заставили их воевать против нас, своих соотечественников, в составе Красной Армии. Русский немец сразу заинтересовал меня, и я подумал тогда, насколько полезным он мог бы оказаться для меня. Во-первых, он кое-что смыслил в оказании первой медицинской помощи, а во-вторых, одинаково свободно владел обоими языками. Он сказал мне, что его фамилия была Кунцль.

— Я беру тебя с собой, — сказал я.

Он ничего не ответил и лишь кивнул головой да недоверчиво пожал плечами. Мы пошли вдоль улицы к месту общего сбора батальона.

По пути нам попался большой сарай, в котором мы разглядели какого-то явно бесхозного коня. Подойдя ближе, мы увидели, что по его шее обильно струилась кровь, а на земле рядом с конем лежал мертвый казак, все еще сжимая в руке эфес своей шашки. Пулеметная пуля пробила коню шею, а зазубренный осколок вырвал большой кусок из его брюха. Несмотря на это, верный конь продолжал стоять и охранял своего мертвого хозяина. Я вытащил свой тяжелый русский пистолет, приставил дуло к виску коня и выстрелил. Бедное животное как-то неестественно медленно, будто нехотя, замертво опустилось на землю подле своего хозяина. Это было единственное, чем я мог помочь.

Вымотанные усталостью, мы пробирались в сгущавшихся сумерках к нашим оборонительным позициям. Сегодня ночью нам, возможно, удастся поспать спокойно, зная, что с нашего берега Межи нет ни одного русского; мы даже были вне пределов досягаемости их артиллерии. Однако мне все время не давали покоя мысли о светловолосом близнце, увезенном в тыловой госпиталь трясущейся на ухабах санитарной машиной, и о его ранении в живот. Я не смог ничего сделать для его брата, не смог ничего сделать для Дехорна, не смог ничего сделать для Якоби... Вполне возможно, что этому парню еще и придется дожидаться своей очереди на операционный стол, а ведь при ранениях в брюшную полость каждая минута промедления с операцией подобна смерти... Как бы не пришлось в самом деле их матери получить где-нибудь через месяц сразу две похоронки на обоих сыновей-близнецов! Заручившись разрешением Нойхоффа побывать в госпитале до того, как мы вернемся на наши оборонительные позиции, мы с Петерманном вскочили в седла и ринулись галопом в тыл.

* * *

— Когда мы приехали сюда, герр ассистензарцт, у них на операционном столе уже был другой солдат, тоже с ранением живота, — прошептал мне санитар-носильщик, сопровождавший близнеца в санитарной машине.

Я быстро взглянул на близнеца, лежавшего на носилках вдоль стены, и пощупал его пульс. Он был очень слабым, а губы — пугающе бескровными. Как я и опасался, ему действительно пришлось ждать около получаса, пока хирурги оперировали другого беднягу

с ранением живота.

Я толкнул дверь приемного покоя и двинулся напрямик на запахи эфира и карболки, но в результате оказался в длинном школьном коридоре, в котором находился и кабинет Шульца.

— Входите! — откликнулся он на мой стук в дверь. — А, Хаап! Что занесло вас к нам сюда?

— Герр оберштабсарцт, один из моих людей с тяжелым ранением в брюшную полость нуждается в срочной операции. Успокойте меня, пожалуйста, — скажите, что следующим на операционном столе будет он.

Вкратце я объяснил ему также дополнительную причину моего беспокойства, связанную с тем, что раненый сам совсем недавно похоронил своего родного брата-близнеца под Гомелями.

— Вообще-то он записан на операцию как раз следующим, — сообщил мне Шульц, покопавшись в бумагах на своем столе, а затем добавил: — У нас тут сегодня было задействовано целых пять операционных столов, и ни один не пустовал ни минуты.

— Благодарю вас, герр оберштабсарцт. И...

— Да, доктор?

— Если бы я мог как-то ассистировать при этой операции, то я бы хотел...

— Конечно, доктор.

Я прошел по коридору обратно, отыскал операционную, тщательно вымыл в ординаторской руки щеткой с мылом, и санитар помог мне облачиться в стерильный халат и маску. Никаких резиновых перчаток мне, однако, не дали — они полагались только хирургам и их ассистентам, принимавшим непосредственное участие в операциях. Вошел хирург, штабсарцт Бокшац, стряхнул с себя забрызганный кровью халат, стянул перчатки и погрузил руки в тазик со спиртом.

— Что привело сюда нашего *Truppenarzt* -а (фронтового врача)? — бодро поинтересовался он, подмигнув мне.

Взгляд его, как я заметил, хоть и был профессионально невозмутимым, но сами глаза отличались характерной воспаленной припухлостью от хронического недосыпания.

— Следующий оперируемый — один из моих людей, — ответил я.

— Не первый и не последний, я полагаю.

— Увы, вы правы, герр штабсарцт. Но этот парень — родной брат-близнец того, что мы уже похоронили не так уж много времени назад.

— Что там у него?

— Пулевое в брюшную полость. Пуля вошла прямо над пупком и вышла через левую часть спины, под почкой.

— И зачем людям нужны эти брюшные полости? Особенно в военное время... Раньше ведь мы себе подобных вопросов не задавали, а, доктор? Ну хорошо, пойдемте кромсать вашего близнеца.

Санитар проворно надел на вытянутые вперед руки хирурга новые резиновые перчатки, а затем повязал на лицо стерильную повязку.

— Йод! — почти весело воскликнул Бокшац, входя в операционную.

Надежно зафиксированный привязными ремнями за руки и за ноги близнец уже покорно возлежал на операционном столе. Исполнявший обязанности второго хирурга ассистент Бокшаца — достаточно хорошо подготовленный, как заверил он меня, операционный санитар — и еще двое ассистирующих санитаров доложили о своей готовности к началу операции. Еще один санитар стоял в изголовье операционного стола — это был анестезиолог.

Бокшац кивнул ему, и анестезиолог принялся осторожно, по капле, подавать эфир на марлево-ватную маску, накрывавшую рот и нос близнеца. Санитар, ответственный за хирургические инструменты, молча подал Бокшацу хирургические щипцы с зажатым в них ватным тампоном. Другой санитар стал осторожно поливать этот тампон йодом, следя за

тем, чтобы горлышко пузырька не коснулось при этом ваты. Бокшац обильно намазал йодом всю срединную часть живота, от груди до лобка. Тело пациента накрыли большим куском белой стерильной льняной материи, в которой имелся продольный прямоугольный вырез, приходившийся как раз на область его живота. Анестезиолог попробовал ущипнуть пациента щипцами за кожу на животе — тот все еще пока реагировал. Пришлось ждать, пока на маску будет подано дополнительное количество эфира. Еще пробный щипок — никакой реакции.

По бокам от предстоящего разреза были помещены и прикреплены к коже специальными зажимами еще несколько кусков стерильной белой ткани. Мощная лампа, висевшая над операционным столом, ярко освещала живот. Бокшац произвел уверенный надрез скальпелем, отступив примерно на ширину ладони от грудной клетки, погрузил его сантиметра на полтора в ткани мышц живота и повел по средней линии живота вниз к пупку, обогнул его справа и закончил надрез все той же прямой линией на ширине ладони внизу от пупка. Вся эта манипуляция заняла у него каких-то несколько считанных мгновений. Два-три дополнительных надреза — и кожно-мышечный покров брюшной полости вскрыт. Поблескивавшие внутренности брюшины с непривычки резанули глаз каким-то неожиданным бело-голубым цветом.

— Зажимы! Тампоны!

В мгновение ока все видимые поврежденные и кровоточившие сосуды были блокированы, а затем зашиты. Ухватив особыми самофиксирующимися щипцами за края надреза, Бокшац попробовал осторожно развести их в стороны, сделал еще небольшие вспомогательные поперечные надрезы в нижней части живота скальпелем и хирургическими ножницами и развел теперь брюшину в стороны окончательно, прикрепив ее края к белой льняной ткани. Брюшная полость была теперь открыта полностью. Ассистенты подвели под края надреза специальные крюки особой сложной формы, не имевшие никаких острых граней и кромок, и развели кожно-мышечный покров в обе стороны еще сильнее. Несвернувшаяся кровь хлынула внутрь брюшной полости. С помощью тампонов Бокшац удалил кровь, смешанную с содержимым кишечника, и наклонился, чтобы лучше рассмотреть состояние раны изнутри.

К счастью, двенадцатиперстная кишка оказалась неповрежденной, что уже исключало опасность инфицирования ее содержимым. С другой стороны, тонкая кишка была пробита сразу в нескольких местах, а толстая кишка была тоже повреждена и сильно кровоточила. За остановку кровотечения умело взялось сразу четыре руки, в то время как две другие продолжали удерживать брюшную полость в открытом положении с помощью крюков.

Отрывисто произносимые односложные команды хирурга... Позвякивание ослепительно блестящих хирургических инструментов... Вдруг раздается голос анестезиолога:

— Состояние пациента ухудшается!

— Кислород, — тут же, ни на йоту не теряя самообладания и не повышая голоса, отзывается Бокшац. — Переливание — вы, доктор, — оборачивается он ко мне. — И «Перистон»... со стимулятором.

Анестезиолог снимает чехол с кислородного баллона, который уже подкатил на тележке к изголовью стола санитар. Я набираю тем временем в большой шприц 200 кубических сантиметров суррогатного заменителя крови «Перистон», добавляю туда немного «Кардиазола» для стимуляции кровообращения и ввожу иглу в вену левой руки близнеца. Хирурги должны оставаться стерильными. Я подготовил все для переливания, некогда приступил к нему, пульс сразу же заметно усилился, но губы все еще продолжали пока оставаться мертвенно бледными. Однако общее состояние пациента стало с каждой минутой улучшаться.

Операция все это время не прерывалась ни на мгновение. Тонкая и толстая кишки были осторожно приподняты со своих мест. К этому моменту состояние оперируемого улучшилось уже настолько, что анестезиологу пришлось добавить еще эфира.

Очень мягко, но с неизбывной уверенностью в движениях Бокшац приподнял тонкую

кишку еще — так, что она оказалась над брюшной полостью, и аккуратно положил ее на стерильную ткань поверх живота пациента. Он пристально осмотрел ее, чтобы убедиться, что края всех повреждений надежно схвачены друг с другом. Затем заглянул в самую брюшную полость, чтобы посмотреть, как лучше заделать входное и выходное пулевые отверстия, и удалить последние остатки крови, прежде чем поместить «заштопанную» тонкую кишку обратно на свое место. Внутренние органы брюшной полости лежали перед нами чистые и блестящие, как на экспозиции. Это даже напомнило мне глиняную модель внутренностей человека, служившую нам наглядным пособием в медицинской школе. Бокшац еще раз проверил все: желудок, железы, толстую кишку... Все было там, где надо, и выглядело должным образом. Тонкая кишка была осторожно помещена обратно на свое место примерно в середине брюшной полости. После этого Бокшац и его ассистент принялись зашивать брюшину специальным кетгутом.

— Сыворотка — двадцать кубиков, — распорядился Бокшац.

Близнецу была сделана инъекция особой сыворотки от перитонита, поскольку все же имелась вероятность попадания инфекции в брюшную полость от омертвевших тканей или с бактериями из толстой кишки. Последний узелок вертикального шва был наложен и завязан, а лишние кончики кетгута — отрезаны. Затем были закрыты и зашиты нижние вспомогательные поперечные надрезы на животе. Оставшееся пока незакрытым снаружи входное пулевое отверстие над пупком было схвачено крест-накрест двумя стежками и заклеено антибактерицидным пластырем. Пациента отвязали от стола, осторожно перевернули на правый бок, и то же самое было проделано с выходным отверстием под левой почкой. В довершение близнеца обмотали поверх прооперированной брюшины, как мумию, плотным слоем бинтов — в качестве дополнительной защиты от внешних инфекций.

Вся операция, от начала до конца, не заняла и сорока минут. Близнец, бережно перенесенный санитарями на носилках в палату, уже начинал потихоньку приходить в сознание. Бокшацу помогли стянуть перчатки и снять окровавленный халат — так, чтобы сам он ни к чему не прикасался руками, и он, без малейшего перерыва, приступил к подготовке к следующей операции. А на хирургическом столе его уже дожидался очередной пациент, с раздробленным бедром.

* * *

Когда я вошел в штабную палатку, время близилось уже к полуночи. Лейтенант Пандер оживленно беседовал о чем-то с Нойхоффом, Хиллеманнсом и Ламмердингом. Он производил впечатление человека, хорошо осведомленного о течении войны, и придавал особое значение тому, что наше наступательное движение на Москву было остановлено не только в нашем секторе, но и по всему фронту Группы армий «Север». По его сведениям, значительные бронетанковые силы и многие эскадры Люфтваффе были переброшены для усиления Группы армий «Юг»,двигающихся к Киеву с целью его захвата.

— Таково личное решение Гитлера, — многозначительно и явно отработанно проговорил он, по привычке пробегая пятерней сквозь свою сильно обгоревшую в недавнем бою шевелюру. — Генералы отговаривали его от этого. Они хотели прежде всего оказаться в Москве.

— И это было бы не лишено смысла, — медленно выдавил из себя Хиллеманнс. — Мы могли бы быть в Москве в течение месяца. Что вы думаете по этому поводу, герр майор?

Прежде чем ответить, Нойхофф неторопливо раздумывал минуту-две. Он не часто комментировал действия вышестоящего руководства, в особенности когда приказы исходили напрямую из ставки Гитлера.

— Если то, что говорит Пандер, правда, — проговорил он врасстяжку, — то это означает, что наступление на Москву на некоторое время приостановлено. А вам, юноша, — наставил он указательный палец на Пандера, — я посоветовал бы постороже следить за тем, что вы говорите вслух. Людям там, наверху, общая картина происходящего известна гораздо

лучше, чем нам с вами. Но зачем потребовалось останавливать армию, наступающую на врага без всякого сопротивления с его стороны? Это, вынужден признать, представляется действительно странным. Это противоречит всем правилам ведения войны, которым меня обучали...

Для Нойхоффа это была почти мятежная речь.

После настойчивого и продолжительного преследования красных глубоко на их территории, понеся тяжелые потери и отправив на тот свет еще больше врагов, вернулся наконец кавалерийский эскадрон фон Бёзелагера. Он в очередной раз подтвердил то, что давно уже не являлось секретом ни для кого, — территории на расстоянии 15–25 километров к востоку от нас не контролировались абсолютно никем. Ничейная земля.

Мы все продолжали укреплять наши оборонительные позиции. Время от времени русские устраивали налеты бомбардировочной авиации, отличавшиеся, впрочем, исключительной неточностью бомбометания. Мы ежедневно посылали на восток разведывательные дозоры, но, видимо, наш контрудар у Межи все же возымел на красных свое действие: они, ради своего же блага, вели себя очень тихо.

Солдаты, изнывая от монотонного безделья, сами напрашивались в эти дозоры. Однако единственная медицинская помощь, которую мне приходилось им оказывать по долгу службы, состояла в том, чтобы удалять из их тел жала диких пчел, защищавших от наших разведчиков свои лесные гнезда. Было, правда, еще несколько случаев расстройства пищеварения, после того как в нашем меню появилось мясо местных диких кабанов. Близнец достаточно окреп после операции для того, чтобы его отправили долечиваться в госпиталь уже в Германии. Мы играли в *Doppelkopf*, купались в озере, слушали «Лили Марлен» и — как и весь остальной 650-километровый фронт — впадали в устойчивое оцепенение.

Оцепенение

Пока мы пребывали в этом оцепенении, русские лихорадочно работали над тем, чтобы преградить нам путь на Москву.

Казаки тоже не замедлили извлечь для себя выгоду из нашей неожиданной и необъяснимой остановки. Красная Армия постаралась сполна использовать все то жизненное пространство, которое было уступлено ей практически даром. К востоку от Межи русские подготовили мощную систему оборонительных укреплений, состоявшую из траншей, блиндажей, противотанковых рвов и заграждений из колючей проволоки. Они устроили минные заграждения, усилили свои части переднего края, организовали их снабжение всем необходимым и в конечном итоге сконцентрировали на нашем направлении значительные силы, для того чтобы еще раз противостоять нам.

Все это время мы были вынуждены беспомощно отсиживаться у озера Щучье и выслушивать рассказы наших разведывательных дозоров о том, насколько стремительно развивают русские свою оборонительную систему, а также читать доклады воздушной разведки Люфтваффе, в которых указывалось на постоянное подтягивание противником к фронту свежих сил и артиллерии, не говоря уже о наблюдаемых ими с воздуха многочисленных железнодорожных составах с боеприпасами и продовольствием. Каждый прошедший таким образом день означал в дальнейшем два дня задержки в нашем продвижении к Москве: один день, потерянный уже и так, сам по себе, пока мы утомительно бездействовали, занимаясь всякой внутрилагерной чепухой, плюс еще один день, в течение которого Красная Армия окажется в состоянии реально воспрепятствовать нашему наступлению — когда таковое наконец произойдет, — ввиду своей лучшей подготовленности к его отражению.

Я, как мог, старался заполнить унылое однообразие тех дней обучением и подготовкой новых людей, пришедших на замену Вегенеру, Дехорну, Крюгеру и двум санитарам-носильщикам — всем тем, кого я потерял за последние три недели. На водительское место Крюгера мне повезло заполнить Фишера, исключительно

компетентного в своем деле человека, в гражданской жизни — автомеханика из Хамборна. Он честно бился до последнего, чтобы привести «Мерседес» в более-менее приемлемое состояние, но в конце концов вынужден был признать: «Он совершенно никуда не годен, герр ассистензарцт. Почему бы вам не выдать мне дня на три проездные документы в тыл? Я бы тогда смог пригнать вам новую машину». Уехал Фишер на «Мерседесе», а вернулся через три дня на «Опеле „Олимпия“», который, как он объяснил, собрал своими руками из двух других «Опелей», брошенных где-то в тылу на свалке металлолома. Я посчитал не слишком благоразумным расспрашивать, как ему удалось проверить это.

Место Вегенера занял унтер-офицер Тульпин. Перед тем, как оказаться в России, он прошел французскую кампанию, имел очень хорошую подготовку и, надо признать, был гораздо отважнее и трудолюбивее Вегенера. Совершенно не походили они друг на друга и внешне. У Тульпина было узкое лицо с тонкими, плотно сжатыми губами, пронизательными и даже пронизывающими собеседника глазами. Лично мне самому он больше всего напоминал такого сухопарого нахохленного попугая. Но он был вынослив и совершенно не щадил себя, оказывая помощь раненым, а в ходе дельнейших жесточайших боев неоднократно доказал, что на него всегда можно смело положиться.

Мюллера я попросил следить за тем, чтобы я не нуждался во всем необходимом. Кунцлю (немцу-сибиряку) была выдана немецкая форма без погон и петлиц со знаками различия. В его обязанности входило заботиться о наших санитарных лошадках, Максе и Морисе, и помогать во всем Мюллеру, а в ходе боев — оказывать первую медицинскую помощь раненым русским. Полезен он оказался и в качестве переводчика, так как дважды в неделю мне надлежало бывать в небольшом, выстроенном на берегу озера лагере для русских военнопленных. Выполнение мной этой обязанности, кстати, косвенным образом спасло мне потом жизнь. Особым приказом по армии всему медицинскому персоналу, имевшему какие-либо прямые контакты с русскими пленными, надлежало проходить обязательную вакцинацию против сыпного тифа, и из имевшегося у нас ограниченного запаса сыворотки мне было сделано целых три прививки.

В конце августа мы получили нашу первую почту. Для меня там было четырнадцать писем от Марты — она писала мне каждый день — и два от моих братьев. Воздушные налеты на Рур, рассказывала мне Марта, становились день ото дня все более и более жестокими. Отбиваемые огнем зенитной артиллерии, англичане бомбили в основном промышленные районы. Марте приходилось проводить значительную часть своего времени в бомбоубежищах, а оперы теперь давались только в дневное время, поскольку вечерами их слишком часто вынуждены были прерывать воздушными тревогами. Оперы Чайковского были запрещены Гитлером. В вечер накануне нашего нападения на Россию Марта, оказывается, имела очень удачное выступление. В начале июля она пела в «Женитьбе Фигаро», в «Кармен» и в «Мадам Баттерфляй», а некоторые любители оперы, писала она, уже несколько раз саркастически интересовались у нее, когда из «Мадам Баттерфляй» будет убран американский государственный гимн.

В конце июля Марта съездила на праздники к себе домой в Вену. Ее поразили царившие там мир и покой — ведь на Австрию не упала пока еще ни одна бомба. Но уже через несколько дней, писала Марта, она была обязана вернуться в Дуйсбург для того, чтобы приступить к репетициям к новому сезону, который должен был начаться в сентябре. Марта, однако, не забыла упомянуть при этом, что ей был предложен ангажемент в Венской Народной Опере. Возможно, она уже даже решила про себя, что останется со своими родными в Вене. Мне было очень интересно знать, когда придет следующая партия почты для нас, с которой я получу ответы на мои вопросы.

На следующий день мне довелось поближе познакомиться с Бёзелагером. По иронии судьбы — благодаря в основном бациллярной дизентерии. Кагенек, очень подружившийся к тому времени с кавалерийским капитаном, порекомендовал ему меня в качестве врача. Я приехал в кавалерийский лагерь и обнаружил, что из-за скверных санитарных условий дизентерия достигла там уже масштабов эпидемии. Питьевая вода там не кипятилась,

специально организованных отхожих мест практически не существовало, а вся территория лагеря роилась невообразимыми тучами мух. К счастью, весь личный состав эскадрона был привит от дизентерии. В этом отношении им повезло гораздо больше, чем нашему полку, в срочном порядке отправленному на Восточный фронт без этих прививок, в результате чего мы потерпели огромные потери умершими именно от дизентерии.

Бёзелагер очень сильно похудел, страдал от ревматических мускульных болей и воспаления глаз, но сказываться больным было не в его характере. Однако он доказал в дальнейшем, что посредством самодисциплины может приказать себе даже... бездействовать. Я прописал ему постельный режим, полный покой, сильное слабительное средство, сульфонамид и активированный уголь. Питаться в ближайшее время ему надлежало исключительно жидкой овсяной кашей, а также пить как можно больше воды — разумеется, тщательно профильтрованной и прокипяченной. Но когда я порекомендовал ему еще и прикладывать к животу грелку с горячей водой, он лишь взглянул на меня с иронической усмешкой.

Через восемь дней он практически полностью поправился и пригласил нас с Кагенексом на дружеский ужин в своей командирской палатке. Главным блюдом в меню был... Гитлер.

— Самодовольный выскочка! Кафешный политиканишка, возмнивший себя военным гением! — то и дело взрывался Бёзелагер. — Почему бы ему просто не соваться в военные вопросы, а передоверить их обдумывание и решение генералам?!

— Потому что только его одного оседают гениальные идеи, вдохновляющие затем других, — мягко вставил Кагенекс.

— Вдохновение — это всего лишь желудочные газы, издающие громкий треск при выходе из организма, но попавшие перед этим по ошибке в голову. Эммануил Кант, — довольно уместно процитировал я.

— Мы больше не можем позволять себе относиться к нему и к его озарениям как к неудачным шуткам, — кипятился Бёзелагер, подливая нам и себе еще красного вина. — Нацисты пожирают самое сердце истинной Германии. Когда эта война закончится, то разгрести все это придется таким людям, как мы.

— Кто вас поддержит? — спросил Кагенекс.

— Большинство генералов! — с готовностью ответил Бёзелагер, возбужденно подавшись всем телом вперед. — В один из этих дней все подобные разговоры кристаллизуются в действие — в особенности если мы потерпим хоть какие-то поражения...

— Но генералы — это еще не армии, — резонно возразил Кагенекс. — И вам и нам прекрасно известно, что молодые офицеры, что приходят в наши полки, все как один рьяные нацисты.

— А как обстоят дела в войсках? — риторически спросил я и тут же развил свою мысль: — Это *мы* сыты по горло тем, что наше наступление на Москву заморожено. Но думаете, это волнует хоть кого-то в войсках? Ни в коей мере! Покуда им есть где преклонить голову и пока они имеют обязательное ежедневное двухразовое питание — они вполне счастливы. Они еще поворчали пару дней, когда нас только-только остановили, но теперь совершенно спокойно остались бы у этого Щучьего хоть до самого конца войны — и никто, поверьте, не возроптал бы. И большинству из них абсолютно безразлично, за какую Германию они воюют — за гитлеровскую или за нашу. Просто все они по сию пору пребывают под сильным влиянием Гитлера. Они все еще думают, что он непогрешим.

— Все мы воюем, потому что ничего другого нам просто и не остается, — подвел черту Бёзелагер. — Гитлер или не Гитлер, но Германия не может позволить себе поражения...

Помню, я тогда еще поинтересовался про себя — довольно праздно и даже как-то отстраненно, — в скольких офицерских палатках вдоль всего Восточного фронта велись в ту ночь подобные дискуссии.

* * *

Ранним утром под покровом тумана два полка русских прорвали слабо удерживаемые линии обороны соседнего с нами 37-го полка и продвинулись на занимаемые ими позиции вплоть до их полевого командного штаба. На закрытие брешы, возникшей в нашей обороне, был брошен 2-й батальон под командованием Хёка, а нас направили туда следом — как раз вовремя — для того, чтобы расправиться с окруженными красными. Бойня была просто невероятной, русские сражались до последнего человека, но и сами нанесли нам ощутимые потери: вместе с десятью своими ближайшими помощниками из числа штабных офицеров был убит командир 37-го полка; еще восемь офицеров получили тяжелые ранения; потери убитыми — более двухсот человек унтер-офицерского и рядового состава.

Однако уже через два дня мы были опять на своих старых позициях, и все, вплоть до мелочей, осталось по-старому. В нашем распоряжении было бесконечное количество ничем не занятого времени, и я решил использовать его хоть с какой-то пользой для дела, а именно — устроить для нашего личного состава цикл теоретических и практических занятий по оказанию первой медицинской помощи. Другой такой удобной возможности могло уже и не представиться. Я прекрасно помнил, как ужасался их беспомощности в то утро, когда погибли Якоби и Дехорн, и как твердо решил тогда, что больше ни один человек в батальоне не умрет из-за того, что рядом с ним в тот момент просто не оказалось кого-нибудь, кто мог бы оказать ему помощь.

Лекции по теоретической части проходили в живописной тени деревьев и носили довольно неформальный характер. Во время длительных форсированных переходов в наших людях уже успел выковаться дух истинного товарищества: офицеров и солдат связывали узы гораздо более прочные, чем обусловленные просто дисциплинарным уставом.

Нельзя не отметить, что спустя месяцы — особенно в ходе жесточайших осенних и зимних боев — все эти занятия по оказанию первой медицинской помощи, практической гигиене и инфекционным заболеваниям оказали всем нам поистине бесценную пользу. Ни один раненый на поле боя не остался без помощи, даже во время великого отступления. Можно без преувеличения сказать, что мы сформировали тогда прочное и могучее сообщество, объединенное великими принципами взаимопомощи.

* * *

«Скоро и настоящая осень. Война длится два года, а в России мы уже десять недель», — писал я Марте.

Это было 2 сентября — один из мягких теплых солнечных деньков бабьего лета. Ветви елей не колыхало ни единое дуновение хотя бы слабого ветерка.

«В ожидании приказа двинуться на Москву мы вот уже месяц ведем здесь спокойную и размеренную жизнь. От того, чтобы полностью расслабиться, удерживает лишь некоторая вероятность неожиданных вылазок со стороны врага. Сегодня я снова побывал на могиле Дехорна. Уверен, что к этому времени ты уже побывала в Оберхаузене и передала его жене мое послание. Возможно, оно хотя бы немного поможет ей перенести ее утрату. На его могиле всегда свежие цветы. Их туда приносит Мюллер. Товарищество — это вообще одна из самых чудесных вещей в той жизни, которую мы здесь ведем. Оно — гораздо более высокого порядка, чем можно встретить в гражданской жизни. Будучи совершенно свободным добрую половину времени, я увлекся здесь наблюдениями за природой.

Вот прямо сейчас, когда я пишу тебе это письмо, я вижу у ствола ели крохотную мышку-полевку, счастливо поедающую кусочек сыра, которым я угостил ее. Норка мышки — прямо между корнями ели. Конечно, в самых дремучих глубинах местных лесов здесь водятся и лоси, и волки, и медведи — то есть все те звери, что обычно ассоциируются с Россией, и это совершенно другой мир, гораздо более суровый и безжалостный, чем крохотный мирок моей маленькой мышки-полевки...

Очень тоскую по тебе, моя дорогая Марта... Мечтаю о жизни с тобой в мире и покое, не омраченном никакими неожиданными тревогами».

* * *

Он поджидал меня, когда я выезжал из устроенного у озера лагеря для русских военнопленных — высокий русский старик со снежно-белой бородой и в старом потертом пальто. В том, как он поднял руку, чтобы остановить меня, чувствовалось что-то неуловимо повелительное, а то, как он держал себя, подходя к машине, свидетельствовало о недюжинном чувстве собственного достоинства. Обратился он ко мне на безупречном немецком.

— Простите меня, дорогой господин, за то, что остановил вас, но дело в том, что я дожидаясь вас здесь вот уже несколько часов.

— Что я могу сделать для вас?

— Моя дочь очень больна. А как вы, наверное, знаете, здесь не осталось больше ни одного нашего врача. Я подумал, что, возможно...

— Где вы живете?

— Километрах в пяти отсюда. Я понимаю, что моя просьба в некотором смысле дерзка, герр доктор...

Я пригласительным жестом распахнул дверцу машины, он шагнул внутрь, бережно положил трость на пол и, несмотря на некоторую непрезентабельность своего одеяния, как истинный джентльмен с достоинством расположился на заднем сиденье. Старик подробно и точно объяснил Фишеру, куда и как ехать. Я спросил, как его имя. Оказалось, что он принадлежит к известному старинному русскому роду.

— Но все солдаты называют меня просто «старый пан», — счел нужным пояснить он.

По-польски и по-белорусски слово «пан» означало «господин».

Судя по дому старого пана, он был редчайшим индивидуалистом даже для России. Это была совершенно обычная на первый взгляд бревенчатая изба, но стоявшая на дальнем отшибе деревни и как бы не имевшая ко всей остальной ее части никакого отношения. По обе стороны от избы располагались тщательно ухоженные сад и огород, а за ней, через живописную лужайку, — неизменная баня.

— Здесь живут только трое моих дочерей и я сам. Жена умерла при родах четырнадцать лет назад, — рассказывал старик, пока мы входили в избу, которая отличалась от обычных тем, что имела отдельную спальню и отдельную «гостиную». В спальне на опрятной и чистой постели лежала больная девушка лет, должно быть, около двадцати. Две ее сестры — лет примерно четырнадцати и семнадцати — лишь с любопытством взглянули на меня, вежливо поздоровались и тут же удалились из комнаты, хотя никто им этого делать и не говорил. Не слишком продолжительного осмотра больной оказалось достаточно, чтобы диагностировать серьезный случай гриппа в стадии приступа. Дыхание девушки было затрудненным, а температура — очень высокой.

— Ваша дочь действительно очень больна, — сообщил я старику, когда мы прошли обратно на кухню. — Для того чтобы сбить жар, прикладывайте ей ко лбу холодные компрессы, но только во второй половине дня и вечерами, а также давайте по две таблетки «Пирамидона» три раза в день ежедневно. Имеется еще и прекрасное современное средство — «Эубазин», его можно применять совместно с «Пирамидоном». Для стимуляции работы сердца не помешает также «Кардиазол».

— Да, герр доктор, но где же я возьму все эти лекарства? По нынешним временам даже соль раздобыть непросто.

— Не беспокойтесь. Я прямо сейчас поделюсь с вами из своих запасов, а потом еще и заеду проведать вашу дочь примерно через неделю.

— Я очень признателен вам... — склонил старик свою седовласую голову. — Не откажетесь ли отведать немного нашего чая? Грета!

Старшая из двух здоровых девушек внесла дымящийся самовар, и мы присели к столу на резные дубовые стулья — родом явно из другой эпохи.

За чаем старый пан поведал мне в общих чертах историю своей жизни. Будучи молодым — еще во времена царизма, он учился в Париже и Вене, бывал в Берлине, Лондоне и Монте-Карло.

— Как вы умудрились остаться в живых в большевистской России? — с неподдельным интересом спросил я.

— Моя жена была шведкой, и мы почли за лучшее удалиться подальше в деревенскую глушь, тихонько осесть там и помалкивать, покуда не пройдет волна красного террора и кровопролития Гражданской войны. Со временем большевикам понадобились люди, владевшие иностранными языками, поэтому я в течение нескольких лет жил в Москве и занимался переводами на русский с французского и немецкого — в основном это были статьи из зарубежной прессы и различные научные труды. Я думал в те дни, — улыбнулся он, — что знаю гораздо больше о том, что происходит во внешнем мире, чем люди в европейских странах — о том, что творится в России.

— А сейчас? Большевики оставили вас в покое?

— Я доволен, что перевез дочерей сюда. Мы просто занимаемся своим хозяйством, следим за собой, за своими словами, соблюдаем осторожность, живем тихо, изолированно, никому не мешаем. Если вы, герр доктор, хотите понять, что такое большевизм, то вам следует сразу же забыть все о западной ветви коммунизма. Коммунизм в Германии или во Франции не имеет на практике абсолютно ничего общего со сталинским режимом. Человек здесь попросту не имеет своих человеческих прав — он лишь рабочая единица, представляющая собой ценность только до тех пор, пока она в состоянии что-либо производить. Двести миллионов человеческих существ, населявших Россию на рубеже двух эпох, были для большевизма не более чем имевшимся в его распоряжении сырым человеческим материалом. И они на добрую тысячу лет отставали в своем общем историческом развитии от других европейских наций. Сталин поставил задачу преодолеть эту тысячелетнюю пропасть за двадцать лет — и во многом добился ее выполнения. Неудивительно, что он стал кем-то вроде Бога!

— Однако у вас я вижу христианскую икону, — вставил я.

— Да, так же, как и у многих крестьян. Но в доме большевика вы такого не увидите. Вместо икон там портреты Сталина. Он и Ленин у них — вместо Бога.

Я поднялся, чтобы уходить.

— Не рассказывайте только никому обо всех этих моих идеях, — почти взмолился старый пан.

— Конечно, конечно, можете не беспокоиться. Но, возможно, Сталин уже больше не будет представлять для вас такую угрозу, как раньше.

— Как знать... Россия огромна, а Сталин очень тверд и нечеловечески жесток. Пройдет еще немало времени, прежде чем будет одержана победа над большевизмом, — задумчиво проговорил старик на прощанье.

Спустя уже четыре дня мне довелось снова нанести визит старому пану. Подъезжая к дому, мы случайно увидели двух его младших дочерей, жизнерадостно резвящихся совершенно обнаженными на лужайке перед баней. Старый пан вышел из дома навстречу машине, радостно приветствуя нас.

— Жар у дочери совершенно спал! Не знаю, как благодарить вас, герр доктор!

Тут он заметил мой взгляд, завороченно прикованный к двум девушкам, все еще бегавшим по лужайке, не испытывая при этом ни тени смущения. Должно быть, увлекшись своей зазорной игрой, они просто не услышали, как мы подъехали.

— О, это дети расшалились после бани.

— Дети? Они уже совсем не выглядят как дети!

— И все же они еще совсем дети. Физически они развиваются действительно раньше многих своих сверстниц из других стран, но по-настоящему становятся женщинами не раньше, чем годам к двадцати. Уверен, что нигде в Европе больше нет такой страны, где живут столь ангельски невинные девочки!

— Странно! А нам все время твердили о том, что большевизм исповедует свободную любовь.

— Поначалу так и было, но эта идея столь инородна, что попросту не могла прижиться здесь в принципе. Русские — очень добродетельны, герр доктор. Упомянутая вами идея была столь чужда их природе, что даже большевикам пришлось отказаться от нее. В Москве, возможно, с этим обстоит несколько иначе.

Моей пациентке стало действительно намного лучше, я продлил ей дальнейшее применение «Кардиазола» для стимуляции работы сердца, но все остальные лекарства отменил.

Грета, с раздумывавшимся в бане миловидным лицом, приготовила нам чай, и старый пан рассказал мне о России еще некоторые интересные вещи. Неквалифицированный рабочий, например, зарабатывал там всего 30 марок в месяц, ремесленник — 200 марок; инженеры получали за свой труд от 100 до 600 марок, а ученые — до 2000 марок в месяц — в зависимости от того, какой этим ученым внесен вклад в «дело построения и укрепления государства». Эти герои труда становились зачастую довольно богаты, в особенности если им удавалось стать лауреатами сталинских премий, размер которых варьировался от 2000 до 20 000 марок. Присуждались они за какой-нибудь особенно выдающийся вклад в развитие России, или, как это принято было называть, в ее «движение по пути мирового прогресса». Однако к этим людям никто не относился как к капиталистам, поскольку принято было считать, что они не отрываются от нужд простых людей. Более того, разъяснил мне старый пан, многие из них отнюдь и не получали этих фантастически огромных для России денег. Им выплачивался лишь некоторый процент от официального размера премии — как бы дивиденды от той пользы, которую они принесли государству.

Налоги были очень низкими, всего от трех до пятнадцати процентов, но основная часть денег все равно возвращалась в государственную казну через монополизированные государственные промтоварные и продуктовые магазины. Обычная нательная рубашка стоила 10 марок, а шерстяная рубашка считалась уже предметом роскоши и стоила 160 марок. Пара ботинок стоила 60 марок, но учебник — всего 20 пфеннигов. Буханка хлеба стоила тоже 20 пфеннигов, а килограмм мяса или масла — уже 3–4 марки.

Явно гораздо более высокие заработные платы в промышленном производстве по сравнению с сельским хозяйством способствовали ощутимому притоку деревенских жителей в города, однако постоянного жилья для этих пришлых рабочих там не строили. Вместо него возводили роскошные Дворцы культуры, спорта и прочие не менее великолепные дворцы для государственных учреждений, а также, конечно, больницы, школы и университеты — и все это для того, чтобы поскорее преодолеть ту пропасть, которая отделяла большевиков от западноевропейской цивилизации.

— Все вокруг принадлежит нам, но при этом мы не имеем никаких личных свобод. Государство защищает и заботится о нас, однако мы живем в постоянном ужасе перед возможными репрессиями. Мы стали могущественной нацией и в то же самое время — отчаянно бедной страной. Я и сам настолько беден, что имею только то, что вы видите вокруг, да и то должен быть за это благодарен.

На этом старый пан закончил свой не слишком жизнерадостный монолог. На прощание в знак благодарности и уважения он подарил мне свою старинную икону.

* * *

Первые три недели сентября промелькнули в неспешной умиротворенной монотонности бабьего лета. Но вот 22 сентября мы получили приказ оставить наши оборонительные укрепления около озера Щучье и переместиться на уже подготовленные позиции возле Ректы, в шестнадцати километрах к юго-востоку от города Белый. Это место должно было стать нашим отправным пунктом в наступлении на Москву. Для того чтобы скрыть от врага нашу передислокацию, мы делали переходы только под покровом ночной

тмы, и 26 сентября добрались наконец до наших новых позиций. На месте мы обнаружили хорошо подготовленную систему траншей и значительное количество блиндажей, которые должны были надежно защищать нас от артиллерийского огня. Вскоре русские и на практике дали нам понять, для чего именно предназначены эти железобетонные укрытия. Их орудия палили по нам с каким-то сосредоточенным неистовством, но дня за три мы привыкли даже к этому и чувствовали себя в наших блиндажах почти как дома.

Работы для нас теперь было предостаточно. Наступление было назначено на 2 октября и, как нам сказали, должно было закончиться уже в Москве, в трехстах с лишним километрах от того места, где мы сейчас находились. Как и у Полоцка, нашему 3-му батальону предстояло оказаться в первой волне нашего наступления. Мы должны были прорвать линию обороны русских и проложить таким образом путь 1-й бронетанковой дивизии.

Кагенек, Больски и я сидели перед блиндажом и изучали сделанную с разведывательного самолета фотографию русских позиций, которые должны были атаковать ранним утром следующего дня. Они были умело замаскированы, но мы все равно могли разглядеть на снимке проволочные заграждения и разветвленную систему глубоких траншей и окопов.

— А за всем этим, — объяснял нам Кагенек, — примерно в пяти с половиной километрах русские выстроили деревянный мост километра в три длиной прямо над болотистой топкой местностью, расположенной между нами и Белым. У меня есть подозрение, что для постройки этого моста они разобрали по бревнышку несколько своих деревень. Вот смотрите, нескольких деревень, обозначенных на карте, в действительности, оказывается, больше не существует — они просто куда-то бесследно исчезли. А ведь это к тому же, дополнительно осложнит нам завтра ориентирование на местности. В любом случае, когда мы прорвем первую линию обороны русских, нам придется идти на этот мост. Русские сделали его для того, чтобы не совершать большой объездной путь при постройке своих оборонительных сооружений. Для нас он должен стать ключевой целью нашей атаки. Может, они и устроили для нас ловушку, но мы должны захватить этот мост неповрежденным. Как я уже сказал, он имеет около трех километров в длину. Оказавшись на нем, нам придется прорываться по нему и дальше, до самого конца, поскольку сойти с него некуда — кругом болотистые топи. Когда мы оставим их вместе с мостом позади, можно будет считать, что главные наши трудности на этом закончились.

К нам, размахивая огромным плакатом, бежал Штольц.

— Смотрите! — кричал он. — Личное обращение фюрера! О нас все-таки не забыли!

— Давайте посмотрим, — предложил Кагенек.

Глаза Больски засияли.

— Личное обращение самого фюрера! — экстатически воскликнул он. — Вот здорово!

Он почти выхватил плакат из рук Штольца, развернул его, встал поудобнее и принялся громко и с выражением зачитывать текст обращения вслух. Это было почти все равно что слушать речь самого Гитлера.

«Солдаты Восточного фронта! — с подобающим, по его разумению, пафосом возопил он. — С тех пор, как я призвал вас 22 июня уничтожить ужасное зло, угрожавшее нашей Родине, вы вступили в сражение с величайшей военной силой в истории. Теперь нам доподлинно известно, что намерением большевиков было не только уничтожить Германию, но и покорить всю Европу. Благодаря вашему мужеству, мои товарищи, менее чем за три месяца боев нами захвачено более 2 400 000 пленных. Уничтожено или захвачено более 17 500 единиц бронетанковой техники всех типов, более 21 600 артиллерийских орудий врага. Кроме этого было сбито в воздухе и уничтожено на земле более 14 000 его самолетов.

Уже через несколько недель, мои товарищи, в железной хватке ваших рук окажутся три наиболее важных промышленных области России. Ваши имена, солдаты Вермахта, имена ваших дивизий, полков и батальонов — навсегда будут связаны в памяти потомков с величайшими победами в истории человечества. Мир

никогда еще не видел ничего подобного. Территория, уже оккупированная немцами, вдвое превышает территорию Германского рейха в границах 1933 года, более чем вчетверо больше Англии...

Сейчас мы начинаем последнее великое и решающее сражение года — битву за Москву...»

Последнее сражение года

Все пространство впереди нас укутывала утренняя дымка вперемешку с клубами порохового дыма — мутная грязно-белая пелена, то и дело резко сдуваемая с поверхности земли всполохами разрывов русских снарядов. Это плоское и казавшееся бесконечным пространство выглядело очень призрачно и неприветливо — этакая долина смерти, долина мертвых. Я стоял в пустом и сыром окопе вместе с моим новым санитаром Шепански и вслушивался в не слишком благозвучную музыку окружавшей нас войны — мучительную какофонию, издаваемую тысячами стальных глоток всех калибров.

Приказы нам отдавать было некому, в окопе мы были в тот момент только вдвоем. Осознавая всю меру своей ответственности в предстоящем бою, я испытывал вполне понятное волнение и, несмотря на то что было совсем не жарко, покрывался испариной. Воротник мундира непривычно сильно давил на горло, и я расстегнул его верхнюю пуговицу. Теперь я уже даже немного сожалел о том, что не поддался вчера, хотя бы чуть-чуть, вдруг охватившему меня приступу минутного малодушия, когда Нойхофф спросил меня, где бы я хотел устроить свой перевязочный пункт. После секундного колебания я, почти не задумываясь, ответил тогда: «На высоте 215». Высота 215 была главным объектом наступления нашего батальона и находилась уже по ту сторону от сильно укрепленных линий обороны красных. Я знал, что если следовать вплотную за головными отрядами и быть у них всегда под рукой во время прорыва обороны противника, то я смогу оказать раненым намного больше помощи, но ни сам Нойхофф, ни кто-либо еще не поинтересовались вчера моим мнением, и я выбрал остаться вместе с Нойхоффом и его штабом вплоть до завершения прорыва. Теперь же я очень надеялся на то, что сегодня мне еще представится возможность достойно проявить себя.

Мы с Шепански наблюдали из окопа, как ровно в 4.30 открыла огонь наша артиллерия, но оказались совершенно не готовы к тому, с каким неистовством откликнулись на наш обстрел русские орудия, — не готовы, хоть и ожидали этого. Завороженные грандиозностью происходящего, мы наблюдали, как залп за залпом над нашими головами в сторону вражеских позиций проносятся ракеты-постановщики дымовой завесы — наше новое оружие. Мы видели, как, разминировав и обозначив флажками тридцатиметровый в ширину проход через минное поле русских, возвращались, подобные призракам, наши саперы. Маленький Беккер — в новеньких лейтенантских погонах и поблескивавших петлицах — и Олиг выпрыгнули вместе со своими солдатами из окопов и ринулись в разминированный проход. Мы с Шепански замерли в своем окопе для того, чтобы через десять минут последовать за ними.

На востоке неторопливо пробивался тусклый свет наступающего дня. Он был как огромное серое чудовище, грозно и непреклонно подбирающееся к нашим позициям для того, чтобы поглотить нас. Мы вышли ему навстречу.

Однако лучше почувствовать себя мне удалось далеко не сразу же вслед за тем, как мы выбрались из нашего окопа. Согнувшись пополам, я побежал к проходу в минном поле. Шепански бежал следом. Где-то впереди громыхнул целый батарейный залп, и снаряды, как мне показалось, взрели прямо над нашими головами. Я инстинктивно бросился ничком на мокрую землю и изо всех сил вжался в какую-то небольшую ямку. Снаряды оглушительно разорвались всего метрах в пятидесяти справа, засыпав нас землей и ошметками дерна.

Поднимаемся и снова бежим вперед — до тех пор, пока не услышим следующий залп. Не оглядываясь, я отчетливо ощущал, как тяжело пыхтит, не отставая, сзади меня Шепански.

Завидев не слишком глубокую, но вытянутую ложбину, немного укрытую разросшейся травой, мы, махнув рукой на никогда не лишние в бою предосторожности, рванули туда. Только скатившись внутрь, мы увидели, что ложбина эта представляет собой... огромную свалку трупов. Сотни русских переплелись в ней в самых неестественных позах, в которых застала их смерть. Это было не доведенное до конца — то есть не закопанное и даже ничем не прикрытое — массовое «захоронение» на ничейной земле русских солдат, погибших в ходе той их свирепой атаки на нас около месяца назад. Сотни и сотни ссохшихся мумифицировавших трупов в военной форме... Ужасающе иссохшие тела были даже на вид твердыми, как дерево, а когда я случайно споткнулся об одно из них, раздался жуткий и глухой отзвук, как от барабана. Как ни странно, запах разложения почти не ощущался.

Мы проворно взобрались на один из боковых взгорков ужасной ложбины и упали в тени каких-то густых кустов, чтобы отдышаться. Шепански тяжело рухнул рядом со мной. Я прополз еще немного вперед и вверх, чтобы осмотреться, осторожно выглянул наружу, и оттого, что предстало моему взору, спину мне мгновенно сковало леденящим холодом. Полускрытый листвой дерева, на его нижних ветвях, прямо и неподвижно, сидел, уставившись на меня, русский солдат. Я втянул голову в плечи, вцепился в свой пистолет и даже постарался не дышать. Но русский солдат, казалось, совершенно не видит меня.

И тут вдруг меня пронзила мысль! Этот русский был мертв — так же мертв, как и все его товарищи в мертвой ложбине за нашими спинами. Я подполз ближе. От глаз, выклеванных, по-видимому, птицами, остались одни зияющие чернотой глазницы, которыми он и «взирал» на нас. Иссохшие летним зноем, сморщенные и растрескавшиеся губы обнажили желто-коричневые зубы, ослабленные в жуткую зловещую ухмылку. Мумифицировавшая кожа обтянула кости черепа жестким пергаментом. Мы стояли как вкопанные и, позабыв на несколько мгновений об опасности, угрожавшей нашей собственной жизни, оцепенело взирали на восседавшую на дереве жуткую мумию, бывшую не так давно живым человеком. Теперь его тело было почти сплошь источено кишевшими личинками мух. Его винтовка с оптическим прицелом валялась тут же, у подножия дерева, а вся форма — изрешечена бесчисленными дырками от пуль. Должно быть, этого снайпера зацепила на его дереве шальная пулеметная очередь, а затем уже другие, вроде меня, сбитые с толку и напуганные естественностью его позы, наштиговали уже безжизненное тело своими пулями.

С вершины взгорка мы смогли без труда разглядеть позиции русских, расположенные всего метрах в пятистах перед нами, за густой паутиной колючей проволоки. Используя для укрытия каждую ямку и кочку, к ним уже подбирались ползком наши солдаты. Стрелять им было пока не по кому, по ним тоже в тот момент никто не вел никакого огня, да и русская артиллерия на какое-то время вроде бы поутихла. Их снаряды лишь время от времени взрывались в паре сотен метров за нашими спинами, не причиняя нам ни малейшего вреда, тогда как наши орудия продолжали лупить по оборонительным позициям русских с неослабевающим упорством. Воспользовавшись временным затишьем во вражеском огне, мы стремглав сбежали по склону взгорка и присоединились к нашим пехотинцам, преодолев таким образом около двухсот пятидесяти метров пространства за один прием.

Внезапно весь мир превратился в один сплошной ураган огня, разом открытого друг по другу обеими сторонами. За пулеметным и винтовочным огнем немедленно послышалось уханье наших минометов, а практически одновременно с ним, но уже с удвоенной яростью загрохотала русская артиллерия. Мы попадали на землю и что было сил вжались в нее. Повсюду вокруг нас взрывались снаряды всех мыслимых калибров. Земля ходила под нами ходуном, и я вдруг ужаснулся еще больше от пришедшего вдруг осознания того, что мы находимся в самом центре одного из подготовленных русскими оборонительных секторов. Каждая русская пушка была прекрасно пристреляна по тому клочку земли, на котором мы сейчас лежали. Мы сами подарили красным целых два месяца для этой пристрелки и теперь угодили в собственную же, можно сказать, западню. Это был настоящий ад. В воздухе прямо над нашими головами проносились целые глыбы вывороченной взрывами земли, дерн, ветви

деревьев, не говоря уже про осколки снарядов. От переполнявшего меня ужаса я буквально вжал лицо в мягкую пахучую землю.

В какое-то мгновение мне показалось, что огонь вроде бы немного поутих, и я осторожно приподнял голову, чтобы осмотреться. В пятнадцати метрах от себя я увидел Шепански, неистово пытавшегося закопаться как можно глубже в землю прямо голыми руками.

Затем огонь снова усилился. Взрывной волной от разорвавшегося совсем рядом снаряда меня приподняло в воздух и с силой швырнуло обратно. Повсюду вокруг землю вспарывали бесчисленные осколки. Я с силой зажал ладонями жутко разболевшиеся уши, затем протер ими глаза от забившей их грязи и отбросил назад волосы с мокрого от пота лба. Не совсем четко, как в тумане, я разглядел слева от себя, там, где несколько секунд назад был Шепански, только что образовавшуюся воронку... Но самого Шепански там не было!

— Шепански! — крикнул я... и снова, во всю мощь своих легких: — Шепански!

Но мой голос утонул в новом урагане снарядных разрывов.

Я быстро впрыгнул в воронку, но она была пуста. Шепански исчез. *Дезинтегрировался.* В одно мгновение перестал представлять собой единое живое целое. Его попросту разорвало на кусочки прямым попаданием снаряда.

Инстинкт самосохранения превозобладал во мне, и я уже был благодарен судьбе за то, что «могила» Шепански оказалась для меня более или менее надежным укрытием. В сознании промелькнула расхожая мысль о том, что в одну и ту же воронку второй снаряд уже не попадет. Немного успокоившись, я все же поспешил как можно глубже вжаться в только что взрытую мягкую землю.

Смертоносный дождь продолжался еще минут двадцать, показавшихся мне вечностью. Но затем оборонительный огонь русских переместился и сконцентрировался на другом секторе.

Когда я поднялся на ноги, с моей формы хлынул целый поток земли. Свою каску я уже где-то потерял и поэтому вытащил из кармана полевую кепи и натянул ее на голову, предварительно постаравшись вытряхнуть застрявшую в волосах грязь. Пытаясь кое-как справиться с мыслями, я — без особой надежды и вне какой бы то ни было логики — огляделся вокруг в поисках Шепански. Как будто во сне, я поднял с земли кусок его походного санитарного мешка и автоматически рассовал себе по карманам обнаруженные в нем несколько упаковок перевязочного бинта. Кроме этого, я разглядел еще несколько отдельных обрывков его формы, но, увы, это было все, что осталось от моего нового санитара...

Все еще потрясенный и сбитый с толку, я медленно опустился и присел на минуту-другую на дне воронки, ничего пока не предпринимая. Пулеметный и винтовочный огонь «наверху» стал теперь еще интенсивнее, и я как-то притупленно осознал, что, покуда я нахожусь в воронке, он не может причинить мне никакого вреда. Мне вдруг отчаянно захотелось хотя бы в течение какого-то времени побыть в безопасности — просто в безопасности. «Как все-таки странно, — подумал я в тот момент, — исчез с лица земли Шепански... Вот просто был — и нет его!» Но в этой мысли, как ни странно, не было ни печали, ни даже сожаления. Случившееся воспринималось мной как роковая неизбежность. Не повезло, конечно, бедняге, что уж и говорить, — но это было все, что «зарегистрировал» тогда мой оцепенелый мозг. Конечно, Шепански не был моим близким товарищем, как Дехорн или Якоби. Его смерть нельзя было назвать тяжелой личной утратой. Вместе со всеми этими мыслями я, признаться, почувствовал и глубокое облегчение от того, что тот роковой снаряд угодил в Шепански, а не в меня. Я понадежнее прикрепил свой санитарный вещмешок к поясному ремню и взглянул на часы. С тех пор, как мы выскочили в самом начале боя из нашего окопа, прошло пятьдесят минут. Я здорово отстал от своих. Теперь для того, чтобы догнать наш батальон, мне предстояло хорошенько вспомнить все то, чему нас обучали на пехотной подготовке. Если мне суждено было оказаться раненым или убитым — я не хотел умирать в одиночестве.

Я совершал короткую, буквально в несколько шагов, перебежку, падал, двигался дальше ползком, затем снова короткая перебежка, и снова ползком. Таким образом я постепенно догнал на правом фланге наступления последнюю линию наших атакующих пехотинцев. Заградительный огонь русских был здесь уже не таким яростным, самая ужасная его плотность осталась позади. Русская артиллерия уже просто не успевала достать нас здесь своими снарядами в полную силу.

Совсем недалеко впереди возвышалась огромная масса спутанной колючей проволоки, сметенной нашим артиллерийским огнем. Оставшиеся неповрежденными провололочные заграждения были либо взорваны нашими саперами, либо разрезаны специально предназначенными для этого огромными ножницами по металлу. Наших неуклонно продвигавшихся вперед пехотинцев непрерывно прикрывали своим огнем пулеметчики и минометчики Кагенек. После столь массированного обстрела нашими снарядами и ракетами всего сектора наступления минных заграждений нам уже можно было практически не опасаться. Пулеметный огонь русских становился все тише и разрозненнее. Первая линия вражеских окопов была теперь в наших руках.

Трескотня автоматных очередей и взрывы наших ручных гранат где-то впереди говорили о том, что наши солдаты уже вступили в рукопашную схватку с врагом за следующую линию его окопов. Повсюду то и дело появлялись немецкие пехотинцы, пробегали несколько шагов и снова падали на землю. Прodelывалось это ими настолько умело и отработанно, что русские снайперы не успевали как следует прицелиться по этим неуловимым фигуркам.

Точно таким же образом — то бегом, то падая ничком — я преодолел последнюю сотню метров, отделявшую меня от русской траншеи, и впрыгнул в нее. Я снова в безопасности! Однако времени терять нельзя было ни секунды: в траншее было восемь раненых, и некоторые из них — очень тяжело. Двое раненых оказались санитарями-носильщиками, но, к счастью, был еще и третий санитар-носильщик, которого сия участь миновала. С его помощью я сделал все, что было в моих силах, для раненых и выглянул наружу посмотреть, не требуется ли моя помощь где-нибудь еще.

Последняя волна наших отрядов достигла теперь первой линии вражеских траншей, а головные отряды уже захватили две следующих. Огонь русских, однако, продолжал оставаться все еще довольно плотным, и мы старались особо не высовывать наши головы за бруствер. Кагенек пробрался ко мне по изгибам траншеи и присел рядом.

— Если бы хоть кто-нибудь подсказал мне, где именно засели эти проклятые свиньи, я бы выкурил их оттуда нашими минометами и пулеметами! — воскликнул он.

Он на мгновение выглянул наружу, но тут же присел, втянув голову в плечи, так как на это его короткое движение немедленно отреагировали вражеские снайперы.

— Эти проклятые красные собраты доставляют нам слишком много неудобств! — в сердцах добавил он.

Он рискнул высунуться из-за бруствера в другом месте на мгновение подольше, но тут же снова опасливо пригнулся, держа бинокль перед лицом.

— Я засек их! — радостно закричал он. — Их тридцать или сорок человек, и, по-моему, они пробираются прямо к нам. Я, правда, не слишком хорошо разглядел, они движутся прямо со стороны солнца. Иваны уже начинают кое-чему учиться у нас: поглядите-ка — контратака!

Кагенек еще раз выглянул за бруствер. На этот раз наступавшие были уже в четырехстах метрах от нас.

— Что это? — вдруг как-то недоверчиво воскликнул он. — Слышишь эти выстрелы? Ведь это немецкие пулеметы! Эти ублюдки стреляют по нам из наших же пулеметов!

Позабыв сгоряча о смертельной опасности, он высунулся из траншеи и с такой силой приткнулся к биноклю, как будто хотел таким образом сам попасть туда, куда всматривался.

— Ну и ну! Будь я проклят! Это немецкие солдаты! И, по-моему, из нашего батальона! Вроде бы Шниттгер... Это Шниттгер!

Обер-фельдфебель Шниттгер снова затеял и блестяще провел один из самых решающих боевых маневров. Под Полоцком он штурмовал протоку, а сейчас каким-то образом сумел пробраться во вражеский тыл. Русских деморализовал уже один только вид взвода его головорезов, внезапно возникших, откуда ни возьмись, у них за спиной. Часть из них сразу же сдалась, побросав на землю оружие, а остальные попытались спастись бегством в лесу, но многие были настигнуты вдогонку разящим автоматным огнем.

Сразу же вслед за этим весь 3-й батальон, как один человек, покинул свои траншеи и укрытия и, никем не сдерживаемый, стремительно бросился к рощице деревьев, являвшейся ориентиром на нашу главную цель — Высоту 215. Первыми на нее взобрались люди Шниттгера. Оглашая окрестности громкими ликующими возгласами и торжествующе потрясая над головами своим оружием, они в шутку делали вид, что не намерены больше пускать на Высоту никого из других своих товарищей, уже карабкавшихся с улыбками по ее склонам.

Прорыв был завершен, и мощная система вражеских оборонительных позиций перешла в наши руки.

Появился Тульпин, не раненый, а с его появлением нам стали доставлять и множество раненых. Поначалу их было всего двенадцать человек, но они все прибывали и прибывали. Нам удавалось уделять им столько внимания, сколько требовалось каждому из них: живот, легкое, голова, легко раненные, тяжело раненные. Но что самое важное — мы могли оказывать им требующуюся помощь сразу, без промедления, благодаря тому, что наш первый перевязочный пункт был устроен непосредственно у цели нашего наступления. Нескольким солдатам, потерявшим много крови, было организовано немедленное ее переливание; а если бы нас здесь не было — они, вероятнее всего, так и истекли бы кровью насмерть.

Задыхаясь от быстрого бега, передо мной возник унтер-офицер Шмидт — саркастичный юрист из 10-й роты.

— Там, герр ассистензарцт! Обер-лейтенант Штольца! — выпалил он, указывая рукой на русские позиции слева от разрушенного здания. — Он подорвался на mine, но пока еще жив!

Как раз в этот момент возобновила свою стрельбу русская артиллерия, но ее огонь был направлен на захваченные нами траншеи, а не на мой перевязочный пункт. Тульпин, находившийся поблизости и слышавший то, о чем сообщил мне Шмидт, выступил вперед и вызвался:

— Разрешите мне доставить сюда обер-лейтенанта Штольца, герр ассистензарцт!

— А можно я тоже с ним? — тут же быстро спросил юрист.

Замешкавшись на мгновение, я ответил им обоим сразу:

— Вы пойдете со мной, Шмидт. А вы, Тульпин, оставайтесь здесь и занимайтесь легкими ранениями. Я скоро вернусь.

— Нам придется идти через минное поле, — предупредил Шмидт.

— Так пойдете же!

Мы шли очень быстро, но вот Шмидт вытянул руку и остановил меня.

— Минное заграждение начинается где-то здесь, — сказал он.

Было уже совсем по-дневному светло, и мы стали внимательно всматриваться под ноги буквально перед каждым шагом, обходя кругом те места, где трава и даже свежая поросль под ней хранили хотя бы какие-то признаки прикосновения к ним. Мины не могли быть заложены раньше, чем четыре-пять недель назад. Но вот мы вышли на пространство, где вся земля почти сплошь была изрыта разрывами наших снарядов и ракет — здесь уже можно было и вздохнуть посвободнее и идти поспокойнее. Мы миновали разрушенную ферму и вышли к тому месту, где, по словам Шмидта, он оставил раненого Штольца. Однако там никого не оказалось.

— В чем дело, Шмидт? Я думал, что вы оставили обер-лейтенанта здесь.

— Я так и сделал, герр ассистензарцт. Вот как раз на это место я его и положил.

Мы вернулись точно по своим следам, обошли здание с другой стороны и увидели Штольца. При помощи выглядящего вдвое меньше, чем сам Штолец, солдата, на плечи которого он опирался, они удалялись через руины надворных построек в направлении наших позиций.

— Эй, Штолец, не так быстро! — что было сил крикнул я.

Он обернулся, и даже с разделявшего нас расстояния я смог разглядеть слабую, буквально вымученную улыбку на его лице. Лицо и руки были сильно перепачканы грязью и местами заметно кровоточили. Один ботинок был сильно разорван, а брюки и китель с правой стороны болтались лоскутьями.

Штолец неловко улыбнулся и смущенно пояснил:

— Вот ведь, доктор, где меня подловило...

— Спокойно, Штолец. Сейчас посмотрим.

Первым делом я проверил его глаза — они были не задеты. Очень часто при срабатывании мин взрыв взметал вверх целый фонтан грязи и осколков, ослеплявших жертвы как в переносном, так и в самом прямом смысле. Штольцу в этом отношении повезло. Имелись, однако, не слишком опасные резаные раны подбородка, правой щеки и правой же руки, несколько более глубоких ран и осколков в правой ноге, но голеностопный и коленный суставы были, к счастью, совершенно целы. Я, правда, пока не мог сказать ничего определенного по поводу серьезности повреждений правой ступни.

— Ну что же, Штолец, все не так плохо, как я опасался. Давайте пробираться к перевязочному пункту, там я смогу осмотреть тебя более основательно.

Мы довольно быстро миновали минное поле в обратном направлении, поскольку, во-первых, уже знали безопасный путь, а во-вторых, Шмидт и я практически несли Штольца на весу между нами. За то время, что я отсутствовал на перевязочном пункте, ни одного нового раненого не поступило, и я смог устроить Штольцу самый тщательный осмотр. Стальные осколки мины с рваными зазубренными краями, конечно, повредили мягкие мышечные ткани его ступни, но ее могучие кости выдержали удар, не сломавшись.

— Тебе дьявольски повезло, — заметил я ему. — Сможешь снова быть в строю уже через несколько недель.

Штолец недовольно хмыкнул. Я сделал ему противостолбнячный укол, а затем сопровождал его еще и инъекцией морфия, поскольку он, должно быть, испытывал очень сильную боль, хотя и старался никак этого не показывать. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Как только морфий начал действовать, Штолец как ни в чем не бывало сразу же попытался встать на ноги, заявляя:

— Я вполне пригоден для того, чтобы вернуться к моим людям прямо сейчас!

— Послушай внимательно, что я тебе сейчас скажу, — миролюбиво проговорил я, мягко усаживая его. — Завтра твоя нога очень, *очень* сильно распухнет, а уже сегодня, как только прекратится действие морфия, ты едва ли сможешь ходить. Если хочешь проверить и убедиться в этом сам — можешь попробовать погулять немного с помощью кого-нибудь из своих людей во-он по той дороге, чтобы примерно через час, не позже, тебя смогла забрать там наша санитарная машина.

Поддерживаемый солдатом, Штолец хмуро удалился. Уезжая, он сказал на прощание своей роте:

— Не беспокойтесь, я скоро к вам вернусь. *Auf Wiedersehen*, и ведите себя хорошо!

До того как прибыл Нойхофф со своим штабом, всем двадцати шести раненым у Высоты 215 была оказана необходимая медицинская помощь; тела тринадцати убитых — выложены в ряд. Был ранен также Хиллеманнс. Как я узнал, по полученному им ранению руки его могли даже комиссовать. После того как Мюллер оказал ему первую помощь, Фишер сразу же отвез его на моем «Опеле» в госпиталь. В батальоне немедленно была произведена перестановка офицеров. Ламмердинг был назначен вместо Хиллеманнса адъютантом Нойхоффа, маленький лейтенант Беккер стал офицером по особым поручениям, а Больски принял командование 10-й ротой Штольца.

* * *

Как только Тульпин завидел меня, сразу же бросился навстречу:

— Герр ассистензарцт, тут у нас серьезное ранение в легкое! Состояние раненого очень быстро ухудшается — по-видимому, он просто задыхается.

— *Verflucht! (Проклятье!)* — прошипел я сквозь зубы.

Весь батальон уже был собран в одном месте и готов к продолжению наступления. Я очень не хотел снова остаться где-то позади. Раненый лежал на земле в крайне плачевном состоянии: дышать у него получалось лишь с очень большим трудом, да и то не особо успешно. Я проверил оба легких методом выстукивания и прослушивания. Диагноз был вполне очевидным — пневмоторакс. Избыточное давление воздуха между плеврой и поврежденным левым легким практически сплющило правое легкое. Выстукивания давали слишком громкий отзвук, а прослушивание с помощью стетоскопа недвусмысленно свидетельствовало о том, что звуки, которыми должно сопровождаться нормальное дыхание, исчезли уже полностью. Но самым худшим симптомом было то, что избыточное давление воздуха со стороны полости правого легкого оказывало очень сильное прямое физическое давление на сердце и левое легкое и даже сместило их со своих мест.

Было совершенно ясно, что, если не предпринять каких-то срочных мер, раненый долго не протянет. Отверстие раны действовало наподобие клапана, впускающего слишком много воздуха в плевральную полость, но не выпускающего его обратно. Специального аппарата, применяемого при пневмотораксе, у меня не было, так же, как не было уже и времени для того, чтобы удалять воздух из полости посредством маленького шприца. Существовал, правда, еще один способ... Я обильно смазал йодом правую сторону грудной клетки для того, чтобы хоть как-то воспрепятствовать попаданию микробов в ее внутреннюю полость, а затем... длинной толстой иглой проколол плевру так, чтобы достать ею до плевральной полости. Воздух с шумом вышел по игле наружу, и это сразу же сказалось видимым облегчением для раненого. Я быстро надел на наружный конец иглы длинную резиновую трубку, плотно обхватил ее конец губами и принялся отсасывать воздух из полости для того, чтобы создать там необходимый вакуум.

Это был сколь необычный, столь и опасный метод, поскольку если бы при этом в грудную полость попало бы хотя бы немного наружного воздуха или, тем более, моей слюны, это неминуемо привело бы к плевриту. С величайшей осторожностью я отсосал оставшийся воздух из груди раненого, а затем быстро заклеил антибактерицидным пластырем входную и выходную пулевые раны, а также отверстие, оставшееся от толстой иглы. На карточке ранения я оставил распоряжение немедленно эвакуировать раненого первой же санитарной машиной вместе с тяжело ранеными в живот и поспешил вдогонку за своим батальоном.

* * *

Саперы шли впереди и расчищали дороги от тяжелых противотанковых мин, а за ними стремительно продвигалась 1-я бронетанковая дивизия. За двенадцать дней они бесстрашно преодолели 320 километров на северо-восток по направлению к Калинин, нанесли блестящий удар по железнодорожному сообщению Москва — Ленинград и образовали собой левую сторону клещей, которым предстояло замкнуться смертельной хваткой на горле советской столицы.

Наши успехи были, увы, не столь впечатляющими. Как и предсказывал Кагенек, мы приближались к длинному бревенчатому мосту, проложенному русскими через болота. Без всякого боя мы захватили огромное количество крупнокалиберных артиллерийских орудий, которые русские вынуждены были бросить в ходе своего поспешного отступления. Многие из них были калибра 12,8 см. Мы называли их Ratsch-Bums, поскольку слышали вначале

разрыв снаряда и только потом уже — выстрел пославшего его орудия. Снаряды эти имели просто-таки ужасающую скорость и почти горизонтальную траекторию полета. Красные стремительно отступали. Многие пехотные подразделения бросали оружие и сдавались без боя.

Во второй половине дня мы прижали отступавших русских к самой кромке болотистой местности, единственным проходом через которую был тот самый бревенчатый мост. Они только было начинали бежать по мосту, как наши пулеметы буквально сметали их с него своим прицельным крупнокалиберным огнем. Наблюдая за тем, как пулеметы скашивают всех до одного вражеских солдат, не имеющих возможности спрыгнуть ни вправо, ни влево, мы невольно подумали об ожидавшей нас собственной участи, когда мы достигнем другого конца переправы — ведь она наверняка находилась под таким же смертоносным огнем красных! Однако выбора у нас не было. Мы просто вынуждены были испытать свою судьбу на этом бревенчатом мосту.

Уже в начинавших сгущаться сумерках на бревна моста вступили вначале наши саперы и головные ударные отряды, а спустя небольшой промежуток времени за ними последовала и вся остальная часть батальона. Если бы только у нас получилось благополучно завершить переправу под покровом ночной тьмы, то к утру мы могли бы оказаться в прекрасной позиции для того, чтобы продолжить преследование бегущей Красной Армии! Мост имел в ширину всего лишь шесть метров. На более твердой почве бревна лежали прямо на земле, а на топких местах — поддерживались вертикальными деревянными сваями. В быстро сгущавшейся тьме наша колонна растянулась по переправе как злоеющая безмолвная тень. Многие бревна медленно погружались под нашим весом в хлюпающую, чавкающую и ощутимо колыхавшуюся в такт нашим шагам зыбкую почву. По обеим сторонам из зловонной жижи то и дело утробно булькали поднимавшиеся к ее поверхности болотные газы. Время от времени тьму над нашими головами рассекали явно выпущенные наугад трассирующие очереди. Зрелище это в совокупности со всем остальным получалось довольно фантастическим. Мы шли все дальше и дальше. Звук наших тяжелых шагов заполнял своей монотонностью почти все сознание. Никто не произносил ни слова. Все напряженно вслушивались в окружающую нас ночь, пытаясь различить любой звук, который донесется до нас поверх предательски ненадежных болотных топей.

Вдруг где-то справа от моста мне почудился чей-то жалобно взывавший о помощи голос. По мере того как мы приближались к нему, голос становился все более и более различимым. Кричали по-русски. Это были буквально душераздирающие мольбы о помощи, издаваемые красноармейцем, угодившим в трясины всего в нескольких метрах от моста. Болото неумолимо засасывало его в себя все глубже и глубже, но немецкие солдаты в мрачном безмолвии все проходили и проходили мимо.

Я отыскал глазами Нойхоффа и, наклонившись к его уху, горячо зашептал:

— Мы ведь можем спасти его!

— Как? — без энтузиазма поинтересовался он. — Мне и самому не очень-то по душе оставлять это дьявольское отродье подыхать подобным образом. Но любого, кто сойдет с этих бревен, засосет точно так же. Эти топи бездонны.

Крики, полные неопишемого ужаса и мучительного отчаяния, доносились до нас снова и снова. Я вышел из колонны и стал прислушиваться, чтобы определить поточнее местонахождение красноармейца. Наши солдаты все так же безмолвно проходили мимо. Вдруг от колонны все-таки отделился один из них, и с его помощью мне удалось извлечь из моста не слишком толстое и не слишком прочно прикрепленное к остальным бревно. Как смогли далеко, мы кинули его в сторону тонущего. Крики прекратились, и в течение нескольких последовавших за этим секунд мы могли явственно слышать всплески болотной жижи в отчаянных попытках человека добраться до бревна. Нам было абсолютно ничего не видно в темноте, но слышать, как человек из последних остатков сил борется за свою жизнь, и начинать уже догадываться, что у него ничего не получится, было по-настоящему жутко. Бедняга попытался еще что-то в последний раз выкрикнуть, но его голос захлебнулся в

зловещем болотном бульканье. Я почувствовал в тот момент, как буквально каждый волосок на моем теле встал дыбом от ужаса. Кошмарное бульканье затихло и сменилось тишиной. Мертвой тишиной.

На несколько минут наше продвижение было приостановлено, пока саперы быстро восстанавливали одну из секций моста, взорванную русскими при отступлении, но зато вся оставшаяся часть переправы прошла без приключений. Соппротивление врага на той стороне оказалось лишь очень незначительным и вскоре было подавлено. К полуночи мы уже были на твердой земле. Мы нашли какие-то огромные стога сена и зарылись в них спать.

* * *

Во второй половине следующего дня мы обошли стороной город Белый и оказались к востоку от него. Над городом висели густые клубы дыма, и оттуда раздавался шум ожесточенного сражения. Нам было приказано двигаться дальше и дойти до главного шоссе, соединяющего Белый со Ржевом. Закрепившись на шоссе, мы должны были отрезать русским отступление по нему. Однако наш путь к самому шоссе пролегал по проселочной дороге, ведущей через чрезвычайно густой лес, и нас там ожидало серьезное препятствие в виде поваленных русскими на эту дорогу деревьев. Их огромные стволы до метра и больше в диаметре зигзагообразно перекрывали дорогу на значительном расстоянии, а лес по бокам от нее был и по давню непроходим. Расчищать путь только с помощью топоров и пил оказалось нереальным — для того, чтобы справиться с самыми толстыми и неподъемными стволами, пришлось прибегнуть к помощи саперов и их пироксилина.

Пока мы боролись с этой преградой, батальон догнало свежее пополнение, прибывшее напрямик из Германии. Все вновь прибывшие были распределены по разным ротам. Я отобрал себе одного человека в качестве санитаря и носильщика на замену Шепански, а до него — Дехорна. Им оказался приземистый коренастый светловолосый паренек с открытой и располагавшей к себе манерой поведения. Из его документов я узнал, что в результате несчастного случая он полностью потерял зрение на один глаз, но, несмотря на это, все равно добился, чтобы его отправили добровольцем на передовую. Дома, в Германии, он прошел хорошую подготовку в оказании первой медицинской помощи и как санитар-носильщик. Звали моего нового санитаря Генрих Аппельбаум, а родом он был из Липперлянда.

— Итак, значит, ты подготовлен для того, чтобы стать здесь моей правой рукой, не так ли? — спросил я его для начала.

— Да, герр ассистензарцт.

— Ты у меня уже третий, знаешь об этом? Говорят, что три — счастливое число. И прямо с этого момента у тебя будет три главных обязанности. Запоминай. Первая: всегда, в любой момент иметь в своем медицинском походном мешке надежный запас бинтов, шприцев и всех остальных необходимых материалов. Вторая: всегда, в любой момент, когда он мне понадобится, иметь этот мешок под рукой. Как ты это обеспечишь — уже твоя забота. И третья обязанность, которая на тебя возлагается: следить за тем, чтобы я всегда располагал всем необходимым для моего личного удобства. Все ли тебе понятно, Генрих?

— Да, герр ассистензарцт.

— Тогда отправляйся сейчас к Петерманну и скажи ему, чтобы он отдал тебе новый медицинский походный мешок — тот, что сделан унтер-офицером Тульпином.

Петерманн испытал огромное облегчение оттого, что ему было велено передать онный мешок — хоть и новый — в другие руки, поскольку, как он сказал мне сам, он любил своих лошадок гораздо больше, чем вещмешки.

В результате бомбардировочного налета на нас примерно двадцати русских самолетов погибла одна лошадь и двое солдат получили легкие ранения. Это был, как обычно, совершенно неуклюжий, суматошный и нерезультативный воздушный налет русских, однако Нойхофф не был склонен подвергать нас излишнему риску и приказал двигаться дальше в рассредоточенном порядке.

— Судя по карте, — сказал он, — здесь совсем уже недалеко впереди должна быть небольшая деревушка. Штаб, 9-я и 10-я роты будут расквартированы в ней, а 11-я и 12-я роты останутся с машинами под командованием фон Кагенека.

Генриху и мне пришлось поотстать, чтобы взглянуть на двоих раненых. У одного было не слишком серьезное ранение икры ноги, а у другого — маленький осколок в руке. К тому времени, как мы закончили перевязку ран, мы уже потеряли контакт с головными отрядами, но, поскольку Нойхофф сказал, что деревушка уже недалеко, я решил догнать их, а Тульпину велел остаться с замыкающими ротами под командованием Кагенека. Я вручил Генриху винтовку, и мы тронулись в путь, решив немного срезать не слишком густым лесом. Перебравшись несколько раз через валежник, мы снова вышли на песчаную дорогу, где уже можно было разглядеть следы грузовиков наших головных рот. Заблудиться было уже просто невозможно.

Тем не менее примерно после получаса непрерывной ходьбы я начал ощущать некоторое беспокойство от того, что мы как-то все до сих пор никак не выйдем из леса. Стараясь не выдать голосом свою встревоженность, и, наверное, больше для того, чтобы приободрить самого себя, я заметил Генриху как бы между прочим:

— То, что мы с тобой делаем сейчас, посыльные проделывают по дюжине раз на дню.

Я, конечно, умолчал тогда о том, что эти самые посыльные к тому же частенько исчезают без всяких следов, не добравшись до места своего назначения. Чем больше я обо всем этом думал, тем больше жалел, что не остался с Кагенеком, который в ту минуту, вероятно, наслаждался кружечкой горячего кофе у полевой кухни. Я успокаивал себя мыслью о том, что повергнутый в бегство враг редко представляет собой серьезную опасность, если, конечно, не отрезать ему путь к отступлению.

Кругом стояла мертвая тишина, хотя до нас все еще доносились отдаленные звуки боев за Белый. Мы прошли еще около пятнадцати километров, когда вдруг впереди, за изгибом дороги, я услышал голоса.

— Ну наконец-то! — с облегчением вздохнул я. — Наше путешествие близится к своему завершению.

Мы ускорили шаги, вышли за поворот и остолбенели как парализованные. Русские!

Метрах в пятидесяти-шестидесяти впереди, кажется, заметив нас, двадцать или тридцать русских метнулись из лесу справа от дороги, стремительно пересекли открытое пространство и мгновенно исчезли в густых деревьях по другую ее сторону. Судя по приглушенным встревоженным возгласам, они все-таки видели нас. Не успел я обо всем этом подумать, как еще человек десять беззвучной тенью промелькнули следом за первой группой. И снова оглушающая тишина, как будто ничего этого и не было... Я сиганул под укрытие каких-то густых кустов слева от дороги, Генрих — за мной. Сдернув с плеча автомат, я выпустил в сторону красных несколько очередей. Генрих исправно поддержал «шквал» моего огня поддакиваниями своей винтовки. Только мы прервали свою беспорядочную стрельбу, как через дорогу тут же стремительно прошмыгнули следом за своими товарищами вначале три, а потом еще восемь полусогнутых теней. Мы успели сделать по ним лишь несколько выстрелов, а потом я что было сил метнул как можно дальше в лес еще и пару гранат. Минут пять мы напряженно вслушивались в оглушающую тишину, но больше с той стороны до нас не донеслось ни звука.

Вдруг мы увидели двух немецких солдат, преспокойно шагавших, посвистывая, по дороге навстречу нам. Они шли по тому самому месту, где вот еще совсем недавно, несколько считанных минут назад, подобно безмолвным лесным призракам, перепархивали через дорогу русские. Это были посыльные, несущие Кагенеку донесение из штаба Нойхоффа.

— Где находится штаб? — как можно строже спросил я у них.

— Примерно в двух с половиной километрах дальше по дороге, герр ассистензарцт, — беспечно кивнув головой назад, ответил один из них.

— Будьте осторожны! — предостерег я их. — В этих лесах еще полно русских.

Оба иронично ухмыльнулись, подумав, вероятно, что я либо шучу, либо страдаю галлюцинациями.

— Десять минут назад дорогу, по которой вы только что шли, перебежали около пятидесяти русских солдат и скрылись вон в той чаще!

— А, так вот, значит, все-таки, что за выстрелы мы слышали! — воскликнул второй солдат, продолжая смотреть на меня все так же насмешливо.

Их непробиваемая легкомысленность начинала уже раздражать меня.

— Ладно. Шагом марш дальше. Надеюсь, вы все-таки доставите ваши донесения по назначению. Советую вам все же поменьше болтать языками по дороге и побольше прислушиваться к тому, что творится вокруг. Ясно?

— *Jawohl*, герр ассистензарцт! — вытянулись оба.

Думаю, что, отправившись своим путем дальше, эти двое все еще продолжали глупо ухмыляться и насмешничать по поводу докторов, которым мерещатся в лесах воображаемые русские. С обуявшей меня досадой по поводу этих двоих умников я смог справиться, только прочтя Генриху по дороге целую проповедь:

— Эти два щеголя так и будут спать и грезить наяву, пока где-нибудь их все-таки не остановит пуля. Потом они будут надрываться во всю мощь своих легких и глоток: «Санитара! Носилки!» До сих пор, поди, хихикают, полагая, что мы стреляли по бесплотным теням и лесным призракам. Повезло еще и нам и им, что эти русские сами от нас удирали!

Сидя перед Ламмердингом и с аппетитом поглощая яичницу, я как бы случайно упомянул о нашем приключении, но и его это тоже более позабавило, нежели обеспокоило. Так я и остался наедине с одним собой в своих грустных размышлениях по поводу странной особенности человеческой природы — не делать для себя выводов из негативного опыта других людей.

А «пятьдесят русских нашего доктора» стали в батальоне неизменным поводом для зубоскальства.

Пророчество старого дровосека

По степям навстречу нам неуклонно наступала зима. Дни делались все короче. С момента начала операции «Барбаросса» мы уже потеряли два с половиной часа утреннего светлого времени, да и темное время суток стало наступать на три с половиной часа раньше. Ночи стали непривычно холодными и сырыми. Мы старались больше не устраивать ночные привалы под открытым небом — за исключением, конечно, случаев, когда это было совершенно уж неминуемым. Вместо этого мы предпочитали расквартировываться на ночь в русских деревнях, невзирая даже не то, что жилища там неизменно кишели клопами.

Однако отступавшие русские уступали нам свои теплые ночные постой слишком дорогой ценой. По-настоящему упорное сопротивление они оказывали нам только тогда, когда мы пытались выбить их из занимаемой ими деревни с наступлением сумерек. За возможность провести ночь в тепле и домашнем уюте вокруг огромной крестьянской печи они дрались как тигры.

Мы отчаянно надеялись на то, что Москва падет до того, как зима сцапает наши армии своей ледяной хваткой.

Грохот сражения за город Белый разбудил нас еще до побудки, и снова мы «наступали на пятки» отступавшему врагу. Мы еще не так долго находились на марше, когда группа русских танков поспешно скрылась от нас в направлении леса, расположенного прямо по ходу нашего следования. Местные крестьяне сообщили нам, что русские прошли через их деревни всего лишь часом раньше. В наши руки попало два брошенных вражеских танка — у них просто кончилось горючее. Мы дошли до дороги на Ржев и с радостью узнали о том, что прорыв прошел успешно по всей линии наступления и что наша дивизия в полном составе преследует разбитых красных.

Вечером нам пришлось выбить несколько отрядов русских из деревни, которую мы

наместили себе для ночлега. Сognaв местных жителей в одну половину их деревни, мы заняли для нашего расквартирования другую половину домов. Красные как раз успели хорошенько натопить их для нас.

На следующий день русские наспех подготовили у нескольких деревень оборонительные позиции и бросили против нас свежие силы. Однако наш свирепый лобовой огонь в сочетании с применением нами двойного охвата (захвата в клещи), как и всегда, оказались исключительно эффективны и причинили врагу ощутимые потери. Те, кому удавалось вырваться из нашего капкана, сеяли панику среди остальных сопротивлявшихся. Наши потери были куда менее значительными.

5 октября мы заняли подобным образом пять деревень и преследовали врага вплоть до самой поздней ночи. Однако в процессе этого роты нашего батальона оказались разбросанными на довольно обширном пространстве, и я примкнул к 10-й роте Больски, приписанной к резерву. Было уже 11 часов вечера, но мы не прекращали нашего движения, чтобы догнать остальную часть батальона и не остаться без ужина. Мы не ели ничего весь день и, несмотря на частые боевые столкновения, покрыли расстояние в сорок километров. Ночь была холодной, и чтобы согреться, я спешился и пошел рядом с Больски. Вдруг всполохи пожара горевшей неподалеку деревни осветили неясные очертания какого-то массивного контура на обочине дороги. Предмет походил на пушку, но внизу у него почему-то мерцало какое-то тусклое свечение.

— Что это? — схватил я за руку Больски.

— Черт его знает! Что-то странное, не правда ли?

— Эй! Пароль! — крикнули мы в темноту.

Ответом нам была только зловещая тишина.

Мы стали осторожно приближаться к подозрительному предмету, держа наготове автоматы и гранаты. В очередном отблеске пожара мы разглядели вдруг силуэты двух лошадей и полевую кухню. Нашу собственную полевую кухню! Один из солдат Больски приподнял крышку котла, и до нас донесся изумительный запах бобов, лука и мяса. Но где же кухонные «буйволы»? Ни их тел, ни каких-либо следов схватки видно не было. Мы стали громко звать нашего повара по имени. В ответ на это в придорожных кустах раздался наконец робкий шорох, и из них, стыдливо отводя глаза, вылезли повар и три его помощника. Их комично-жалкий вид смягчил сердце даже свирепого Земмельмайера.

— Какого дьявола вы там делали? — воскликнул Больски. — Мы уже думали, что русские перебили вас всех! Ну, говорите же, ради бога, хоть что-нибудь! Почему бросили полевую кухню?

Повар, казалось, собирался с силами, чтобы выдать из себя хоть слово.

— Мы ехали по этой дороге к штабу батальона, и вдруг из темноты к нам приблизилось около тридцати человек. Мы вначале подумали, что это наши, но когда они окружили кухню, мы поняли, что это русские. В тот же самый момент и они увидели, что мы — немцы. Они сразу убежали, и... мы тоже.

— И что же, даже не сказали друг другу «до свидания»?

Все, кроме «буйволов», разразились дружным хохотом.

— Ну ладно, теперь вы нашлись. Я ужасно голоден. А как вы, доктор?

— «За» обеими руками.

Мы все с аппетитом съели по большущему половнику тушеного мяса с луком и бобами — это было восхитительно — и мысленно поблагодарили русских за то, что они оказались такими нервными, когда натолкнулись на котел с нашим ужином. К полуночи мы догнали наш батальон, расположившийся на ночлег на ферме недалеко от деревни. Пища была роздана уже «умиравшим» с голоду солдатам, после чего практически весь батальон втиснулся в амбары, наполовину заполненные сеном и соломой.

— Слава богу, что мы сделали привал здесь, а не в деревне, — пробурчал маленький Беккер, когда я устроился рядом с ним на копне сена. — В деревне полно Иванов. Если бы мы попытались разместиться на ночь там — накликали бы себе на голову целое сражение.

Ноги-то у них, наверное, мерзнут точно так же, как у нас.

Лежавший рядом с нами Нойхофф не произнес на это ни слова. Он провалился в сон буквально мгновенно — сразу же, как только принял горизонтальное положение. По нему стало очень заметно, что постоянное напряжение и стрессовость последних дней сказываются на нем гораздо сильнее, чем на всех нас, а груз ответственности, возложенной на него, рос при этом день ото дня.

Беккер оказался прав. Русские устроили оборонительные сооружения по всему периметру деревни, но основная часть противника расположилась на ночлег поближе к выездным дорогам и выдвинулась за полчаса до рассвета. Их последние арьергардные отряды как раз покидали деревню, когда мы входили в нее сразу с двух направлений. Было совершенно ясно, что враг торопится отступить как можно дальше — к ближайшим окрестностям Москвы, но пребывает в постоянном напряжении из-за того, что за ним по пятам следуют наши бронетанковые дивизии и дивизии моторизированной пехоты, неуклонно отжимая его в направлении к Зубцову, Старице и Калинин.

Где-то уже ближе к полудню мы решили заглянуть ненадолго на местную государственную сыроварню, работавшую как ни в чем не бывало на полную мощность. Все желавшие напиться, кто сколько смог, молока, наелись сливочного сыра с нашим армейским хлебом, а также запаслись головками твердого сыра еще и впрок, набив ими вещмешки.

— Угощайтесь, дети, не стесняйтесь! — радостно бубнил Больски набитым ртом. — Это все бесплатно — неустанная забота о вас папаша Сталина!

Вокруг нас с любопытством собралось несколько русских рабочих сыроварни. Они дружелюбно улыбались нам и совершенно безбоязненно наблюдали за тем, как мы лакомимся плодами их трудов.

— Извольте видеть — в России счастливы абсолютно все, даже штатские! — сухо съязвил Крамер. — В конце концов что-то рациональное есть и в большевизме: никто ничем не владеет, поэтому и терять им тоже нечего.

— *Prosit!* Да здравствует Москва! — с умным видом изрек Больски, поднимая над головой свою кружку с молоком.

На следующий день, легко преодолев незначительное сопротивление противника, мы заняли городок Бутово и захватили при этом большое количество пленных. Вся вторая половина дня и вечер были объявлены свободными. В лучах позднего осеннего солнца Бутово выглядело очень миролюбиво и живописно. Деревья готовились сбросить свои золотисто-коричневые одеяния, а неспешно проплывавшие в небе темно-лиловые облака наталкивали на мысль о том, что лето и осень шлют нам свой одновременный прощальный привет. Кагенек, молодой лейтенант Гелдерманн и я неспешно прогуливались по улицам Бутова. Горожане были очень приветливы и милы с нами. Было совершенно очевидно, что они не относятся к нам как к врагам или завоевателям.

— Их будет совсем не трудно перетянуть на нашу сторону, — заметил Кагенек. — Нам лишь следует вернуть этим людям то, что отнято у них Сталиным и большевизмом. Пока еще для этого есть и время, и возможность, но уже совсем скоро может стать слишком поздно...

Облокотившись на ограду, окружавшую его бревенчатый дом, нас с интересом разглядывал пожилой крестьянин. Судя по внушительному количеству сложенных у него на дворе лесоматериалов, пил и топоров, он был, должно быть, дровосеком или плотником. Старик обладал весьма колоритной внешностью и мог бы послужить прекрасной моделью для скульптора. Его иссеченное суровыми ветрами и морозами лицо было будто бы вырезанным из старого сучковатого дерева.

— Взгляни-ка на этого старика-крестьянина, — сказал я Кагенеку. — Ему, наверное, есть о чем вспомнить. Он и царский режим еще застал; по сути, он был уже в довольно зрелом возрасте, когда расправились с царем. А сейчас он доживает вторую половину своей жизни при большевиках. Интересно было бы знать, что он обо всем этом думает...

— Бьюсь об заклад, что он лишь подчинился красным, но никогда не любил их, —

откликнулся Кагенек. — Иначе он не смотрел бы на нас сейчас столь дружелюбно.

— А я думаю, что он не любил ни царей, ни большевиков, — вставил Гелдерманн. — Его борьба за существование всегда была, по сути, неизменной. Одни и те же невзгоды, невежество и бедность при обоих режимах.

— А я догадываюсь, какой вопрос он хотел бы нам сейчас задать, — задумчиво продолжал Кагенек. — Он ведь видел много разных солдат за свою жизнь — и царской армии, и Красной Армии, и вот теперь германской армии. И вот теперь он разглядывает нас и спрашивает про себя: «Вы такие же, как и все, что были до вас, или вы все же чем-то отличаетесь?»

— «И вернете ли вы нам обратно нашу старую матушку Россию и нашу церковь?» — добавил я за старика.

— Да, — кивнул Кагенек. — И, поверьте мне, если мы сделаем это, миллионы будут приветствовать нас как своих освободителей; при их поддержке мы смогли бы действительно завоевать Россию.

Кагенек говорил спокойно, с расстановкой, отчего его слова звучали еще более выразительно и значительно. Я никогда еще не видел его в подобном настроении раньше. Гелдерманн внимательно прислушивался к нему с удивленным и все более возрастающим интересом.

— Если бы я увидел хоть какие-то признаки приближения этого или чего-либо подобного — я был бы просто счастлив, — продолжал Кагенек. — Я был бы спокоен за то, что наша победа имеет долгосрочный характер. Загляните в глаза этого старика, они как будто требуют у нас ответа. Да поможет нам Бог, если мы разочаруем миллионы этих людей. Если такое все же случится, они станут нашими злейшими врагами.

Когда мы вернулись в штаб, я достал из своего дорожного чемодана лист плотной бумаги для рисования и угольный карандаш. Взяв с собой Кунцля в качестве переводчика, я отправился обратно к дому того старика. Он все так же стоял у своей ограды и с невозмутимостью сфинкса наблюдал за действиями наших солдат. Я объяснил через Кунцля, чего хочу, и он кивком выразил свое согласие. Однако когда я принялся делать первые наброски его портрета, в его глазах появилась тень какого-то страха. Это было именно то выражение, которое никогда окончательно не покидало лица ни одного русского из всех, что мы встречали. Старик сказал мне, что не испытывает к немцам какой-либо злобы или враждебности. Его жизнь всегда была очень трудна и тяжела, но сейчас он ее уже почти прожил и вступает, так сказать, в закатную, зимнюю ее пору. Происходящее вокруг имеет лично для него гораздо меньшее значение, чем могло бы иметь раньше. Когда мы заговорили о зиме, старик многозначительно изрек:

— В этом году жуки откладывают свои личинки очень глубоко в земле. Зима, стало быть, будет ранней. Это будет по-настоящему суровая зима — зима, которую запомнят очень многие.

Всякий раз, когда бы я ни взглядывал на портрет старого дровосека, хранившийся бережно упакованным в моем чемодане, я вспоминал эти его пророческие слова.

* * *

Во время одного из амбулаторных осмотров легко раненных солдат нашего батальона я обнаружил первую вошь. Вернее, это была не вошь, а пока еще только гнида (личинка), но зато очень крупная. Это событие напрочь лишило меня покоя и душевного равновесия.

Мне предстояло немедленно выяснить, является ли этот случай одним из единичных, — я увидел ее, перевязывая рану одного из своих пациентов, — или же завшивлена уже значительная часть личного состава батальона. Тем же вечером я провел неожиданные инспекции нескольких домов, в которых были расквартированы на постой наши люди. Я обнаружил, что у большинства из них под потертую и изношенную летнюю форму было поддето по две или даже по три нательных рубахи и по паре-другой кальсон —

то есть практически все, что только можно было поддеть, лишь бы уберечься от холода.

Почти на каждом человеке было по несколько вшей, но в некоторых случаях их количество исчислялось уже сотнями. Вши не только ползали по телу и одежде, но отдельные из них буквально вгрызались под кожу в местах плотного прилегания к ней одежды — например, в области поясного ремня.

— Почему вы не докладываете мне о таких вещах?! — не на шутку разошелся я. — Ведь это не только отвратительно и ужасно, это подрывает мое доверие к вам! Это означает, что я не могу на вас положиться! А ваши дневальные, санитары и кладовщики — вообще, наверное, постоянно спят! Неужели вам не известно, что вши являются переносчиками самого ужасного инфекционного заболевания, которое только можно подхватить?! Неужели вы не знаете, что сыпным тифом были выкошены целые армии, причем буквально в считанные недели и дни?! Вы думаете, это русские победили Наполеона? Ну так я скажу вам, что Наполеона выдворили из Москвы не столько сами русские, сколько именно сыпной тиф! То же самое может произойти и с нашей армией! — ревел я. — С этого момента каждый лично отвечает за то, чтобы у него не было вшей!

Я приказал Тульпину не только выдать абсолютно каждому военнослужащему нашего батальона средство от вшей, но и подробно проинструктировать каждого из них, как обрабатывать им свою одежду.

Люди, в общем-то, были в этом не так уж и виноваты. Я понимал это. Когда мы устраивались на ночлег под открытым небом в более теплую погоду или когда спали прямо в наших траншеях, риска подцепить вшей еще пока не было. А во время длительных постоев у солдат было вполне достаточно времени, чтобы содержать себя в чистоте: мыться, стирать одежду и достаточно часто менять нательное белье. Сейчас же общая обстановка была совершенно иной: бедняги были в постоянном движении и свободное время оставалось лишь на сон, а спали они каждую ночь в кишевших вшами и клопами избах. У них почти не было времени на то, чтобы переодеться во что-нибудь чистое, и уж подавно его не было на то, чтобы успевать стирать свою одежду. А для того, чтобы не мерзнуть, они поддевали под форму все имевшиеся у них одежды и спали, нечеловечески устав, не раздеваясь, практически в полной боевой выкладке.

— А теперь, Генрих, — сказал я, когда мы дошли до места нашего постоа, — давай-ка внимательно посмотрим, нет ли этих букашек на нас самих.

— Конечно нет, герр ассистензарцт. Мы ведь только этим утром поменяли нательное белье на совершенно свежее.

— И все же давай посмотрим.

Мы оба сняли рубашки и стали пристально их осматривать. Уже вскоре я обнаружил на себе первую вошь. Как бы то ни было, но это вызвало неподдельное удивление у нас обоих. В конечном итоге, после тщательнейшей проверки каждого предмета нашей одежды, оказалось, что на мне «квартировало» четыре вши, а на Генрихе — две. Я с омерзением раздавил их между ногтями больших пальцев. Прежде чем одеться, мы основательно обсыпали и одежду, и самих себя порошком «Russia».

Нойхофф, Ламмердинг, Беккер и я, умиротворенно беседуя о чем-то, усаживались ужинать, как вдруг Ламмердинг, брезгливо сморщившись, спросил:

— Откуда, черт возьми, так воняет?

— Да уж, — согласился Нойхофф. — Мне тоже интересно было бы узнать...

Ламмердинг принялся, поводя носом из стороны в сторону, подошел ко мне, наклонился и удивленно воскликнул:

— Это *от тебя* воняет! Что это?

Сам я к тому моменту уже немного принялся к не слишком, прямо скажем, приятному «аромату» порошка «Russia» и ответил:

— Это очень передовой, новейший и современнейший гигиенический запах, Ламмердинг. Всего-навсего.

— Какой еще «передовой» и «гигиенический»? Ты воняешь в точности как

канализация!

— Ну уж и сравнение... Это порошок «Russia». Применяется против вшей. И, если не ошибаюсь, все вы скоро сами будете пользоваться точно таким же.

— Что вы имеете в виду, доктор? — негодуяще воскликнул Нойхофф. — У меня нет вшей!

— Не советую вам быть слишком уж уверенным в этом, герр майор...

— Не говорите глупостей! У меня за всю жизнь не было ни одной вши!

— Боюсь, что для вашей же безопасности буду вынужден просить вас доказать это...

Мы поспешно управились с едой, и трое штабных офицеров еще поспешнее поскидывали с себя мундиры и нательные рубашки. У Нойхоффа оказалось шесть вшей, у Ламмердинга — одна. Совсем без вшей оказался лишь маленький Беккер. Я триумфально извлек из кармана заранее приготовленную баночку порошка «Russia». Особенно мне хотелось, чтобы такой же «аромат», как и я сам, источал Ламмердинг.

— Теперь все мы будем вонять, как дикие лесные ослы, — сморщив нос, проворчал он.

— Нет, — мягко поправил я его. — Вы несколько непоследовательны. Теперь вы будете вонять в точности как канализация.

Волга и осеннее бездорожье

Нами был получен приказ изменить направление нашего походного движения с северо-восточного на юго-восточное. Воздушная разведка обнаружила в верховьях Днепра сильные оборонительные укрепления врага — к этому плацдарму мы и отправились следующим утром. Шел очень сильный, просто-таки проливной дождь. Дорога вскоре превратилась в сплошную непролазную грязь. Тяжелые машины увязали в ней, с огромным трудом выбирались, проезжали несколько метров и снова застревали. Вот тут-то и проявили себя во всей красе маленькие коренастые русские лошадки, запряженные в легкие повозки. Им удавалось вытаскивать из грязи даже небольшие 37-миллиметровые противотанковые орудия, и лишь благодаря им мы не отставали от основной колонны.

Невзирая на погодные условия, наше походное движение на Москву происходило гигантскими скачками. Под непрерывно льющим дождем мы покрывали в день от сорока до пятидесяти километров. До нас дошла весть о том, что группа бронетанковых войск под командованием Хота, для которой мы расчистили путь 2 октября, успешно преодолела все попытки сопротивления им русских и безостановочно прорвалась далеко в глубь их территории в направлении на Старицу и Калинин. Вся мощь победоносной Группы армий «Центр» фон Бока была теперь сконцентрирована на Москве. Применение нами тактики двойного охвата влекло за собой падение одного русского бастиона за другим. Стальное кольцо, которому предстояло замкнуться вокруг Москвы, должно было стать величайшим двойным охватом в истории. Мы, с левого фланга, должны были стать той стороной клещей, которая охватит Москву с северо-запада, а правый фланг, представленный Группой армий «Центр», приближавшейся тогда к Калуге и Туле, должен был охватить Москву с юго-востока.

А дождь все не прекращался. Русские крестьяне говорили нам, что такого дождя в этой части России в это время года не припоминали даже старожилы. Мы продолжали наше движение, но становилось все холоднее и холоднее. Мы были насквозь промокшими и подавленными. Дороги окончательно превратились в непроходимые болота, и мы с горечью думали об обещанном нам зимнем обмундировании.

Через двое суток после того как мы вышли из Бутово, во второй половине дня на наши безмолвно маршировавшие колонны вдруг посыпались огромные пушистые хлопья первого снега. Когда мы увидели, как они опускаются на дорожную слякоть, каждый подумал об одном и том же. Первые проявления наступающей зимы!.. Насколько эта зима будет холодной и долгой? Но хлопья снега, едва коснувшись болотистой жижи дороги, прямо на глазах таяли, будто она всасывала их в себя. Ближе к вечеру, однако, установился небольшой

морозец, снег таять перестал, и вся окрестность словно накинула на себя ослепительно белую мантию. Солдаты посматривали на нее с заметным беспокойством.

К вечеру мы достигли наконец верховий Днепра и находились теперь ровно в ста двадцати километрах от Вязьмы и в двухстах семидесяти пяти километрах к западу от Москвы. Прямо напротив нас, через реку, бывшую в том месте не слишком широкой, располагалась сильно укрепленная линия блиндажей русских. Еще до рассвета следующего дня мы форсировали реку, и уже к 6.30 утра вся система оборонительных укреплений русских перешла в наши руки, а враг был обращен в стремительное отступление. Одержав эту победу, мы устремились к нашей следующей цели — городу Сычевка.

Погода продолжала ухудшаться. Стало холоднее, и снег валил, не переставая, уже целый день, но, упав на землю, тут же таял и превращался в черную жижу, в которой наши машины увязали все глубже и глубже. Солдаты толкали их и помогали проворачивать колеса; наши доблестные русские лошадки были все в мыле, но продолжали исправно тащить свои повозки; временами нам приходилось делать коротенькие десятиминутные остановки, чтобы не надорваться от изнеможения; передохнув, мы снова принимались вытаскивать машины из черной вязкой грязи, погружаясь в нее в лучшем случае по колено. В ход пускались все ухищрения, лишь бы их колеса не вращались впустую. В отчаянной гонке с погодой, которая, как мы знали, будет теперь только ухудшаться, и для того, чтобы наверстать уже потерянное время, мы не прекращали наше движение всю ночь и к утру 11 октября вышли в заданный район к северу от Сычевки.

Сычевка пала, и столбы густого черного дыма, поднимавшиеся над горящим городом, растягивало ветром по горизонту и несло рваными клочьями над спасавшимися бегством красными и над нашими подразделениями, перегруппировывавшимися для того, чтобы отрезать русским отступление в северо-восточном направлении. В атаку бросались рота за ротой, и к темноте многие части русских были уничтожены полностью. Под фанатичным командованием комиссаров они бились до последнего человека. Среди частей, потерпевших полный разгром, был и один из печально известных «штрафных батальонов», сформированных по распоряжению Сталина из красноармейцев, осмелившихся отступить без приказа. В подобных подразделениях бок о бок с обычными рядовыми сражались и умирали порой настоящие боевые генералы.

На полях вокруг Сычевки лежали сотни мертвых и умиравших русских, тогда как наши потери составили лишь двадцать один человек погибшими и ранеными. Среди погибших был и веселый беспечный лейтенант Гелдерманн.

Во время боя я велел Мюллеру и Кунцлю лучше натопить русскую избу, которая должна была послужить нам перевязочным пунктом. Теперь у меня на руках было четырнадцать доставленных туда раненых. Выдав Кунцлю основательный запас перевязочных материалов, я отправил его посмотреть, что там с русскими ранеными. Вскоре он вернулся и доложил, что на поле боя их огромное количество, причем многие — тяжело раненные. Закончив со своими людьми, я отправился посмотреть на них сам. Я сел верхом на Сигрид, и вместе с сопровождавшим меня Петерманном мы скрылись в почти непроглядных уже сумерках.

С огромного поля, утыканного стогами сена, раздавались призывы о помощи. Многие раненые залезли в сено в поисках тепла и укрытия. Мы подъехали к одному из стогов и разглядели в нем двух солдат. Один из них постоянно крестился и вздымал в мольбе руки к небу.

— Мы должны помочь ему, — сказал я Петерманну, но, прежде чем мы подъехали ближе, второй солдат, сыпля непонятными нам, но явными проклятиями и угрозами, ударил своего раненого товарища наотмашь по лицу. Затем он резко обернулся к нам и выкрикнул какие-то слова, полные лютой ненависти. Прежде чем я успел осознать всю опасность ситуации, он вскинул в мою сторону руку с пистолетом и выстрелил. Сигрид испуганно отпрянула назад, и благодаря этому пуля пролетела мимо. Пока я выхватывал свой пистолет, русский вложил дуло своего себе в рот, выстрелил и рухнул замертво на холодную мокрую

траву.

Спрыгнув на землю, я стал подходить к продолжавшему часто-часто креститься раненому. Повторяя «*Karasho! Karasho!*», одной рукой я подавал ему успокаивающий знак рукой, а другой демонстративно медленно — так, чтобы он видел, вложил пистолет обратно в кобуру. У русского было сквозное пулевое ранение шеи. Перевязывая его, я взглянул попристальнее на его мертвого уже товарища. Форма на нем была не такая, как на обычных солдатах, — это был комиссар.

Оставаться там дальше было безумием. Быстро завершив перевязку, я негромко бросил Петерманну:

— Давай-ка поскорее выбираться отсюда. Тут требуется какое-то другое решение.

Лошади, казалось, тоже очень остро ощущали какое-то дурное предзнаменование. Как только мы вскочили в седла, они натянули поводья и сами припустили бешеным галопом к деревне.

Встретивший нас Бёзелагер заметил мне:

— Вы получили именно то, о чем спрашивали, доктор. Вам следует забыть здесь все ваши цивилизованные идеи о гуманности. Комиссар не ожидает от нас никакой помощи.

Я велел Кунцлю принудительно набрать в деревне тридцать русских и отвести их к полю боя, чтобы они оказали помощь раненым. Вскоре все эти тридцать человек были собраны передо мной. Это были молодые женщины и мужчины уже преклонного возраста, один из которых имел незаконченное медицинское образование. Я назначил его ответственным за группу и через Кунцля велел ему перенести всех раненых красноармейцев в большой колхозный амбар. Выдав ему еще и внушительное количество бинтов, я приказал переписать имена всей его группы — для того, чтобы никто из них не увильнул от возложенной на него обязанности. Я предупредил также, что мне придется расстрелять каждого, кто не будет выполнять моих распоряжений.

Отныне, решил я для самого себя, русским будут помогать только русские.

* * *

На пару дней дождь вдруг прекратился, и 14 октября мы впервые переправились через Волгу в районе города Зубцов. 16 октября мы переправились через нее вторично, на этот раз — севернее Старицы. Мы находились уже всего в одном дне хода от Калинина, который был взят штурмом бронетанковой группой под командованием Гота и должен был стать исходным плацдармом для главного наступления на Москву. По правому флангу Группы армий «Центр», то есть к югу от Москвы, 2-я армия под командованием фон Вайха захватила Калугу. Мертвая хватка вокруг столицы Советов начинала сжиматься.

Успехом завершился еще один двойной охват (захват в клещи), положивший начало грандиозному сражению за Вязьму и Брянск — южные бастионы Москвы. Это обещало стать самой ужасной бойней за всю эту войну.

Непродолжительный период хорошей погоды подошел к концу. Снова повисла пелена беспробудного дождя, температура резко упала, дождь сменился градом, а затем снегом. Потом снова пошел дождь. Наше наступление запнулось и увязло в непроходимом болоте дорог. Пехотинцы и верховые еще как-то умудрялись хлюпать по грязи вперед, но вот машины увязали в этой трясине уже на глубину до метра и даже порой более. Даже легкие конные повозки — и те погружались в нее по самые ступицы колес. Мы приделывали снизу к их осям длинные плоские полозья наподобие водных лыж для того, чтобы людям и лошадям было легче вытаскивать их из самых вязких мест. Практически весь моторизованный транспорт был оставлен позади безнадежно застрявшим в грязи, накрененным под самыми немыслимыми углами, перегораживавшим дорогу. Людям и машинам приходилось обходить и объезжать заблокированные таким образом участки дороги с обеих сторон, колеи постепенно расширялись, разветвлялись, и в конце концов дорога превращалась в совершенно непроходимое ни для чего и ни для кого болото шириной

метров в двести... Жидкая трясиноподобная грязь в них казалась и вовсе бездонной. Транспортные колонны с боеприпасами, продовольствием и, самое главное, бензином оказались перед невозможностью добраться до передовой, где особенно остро ощущалась нехватка бензина. Проблема решалась следующим образом: «Хейнкели» тащили на буксире к фронту огромные грузовые планеры, почти каждый из которых с громким треском разламывался при посадке невдалеке от нас, но все же доставлял к передовой источник ее жизненной силы — бензин для танков и моторизованного транспорта, которые с огромным трудом преодолевали на нем еще несколько километров грязи, затем безнадежно увязали в ней и бросались своими экипажами. Мы подцепляли наши легкие пушки и противотанковые орудия к безотказным русским лошадкам, перетаскивали боеприпасы в их легкие повозки; каким-то образом нам удавалось тащить за собой даже нашу полевую кухню, и иногда мы все же имели горячую еду, хотя в основном приходилось обходиться без нее.

Продвижение вперед фактически прекратилось. А дождь все лил и лил — стальные прутья дождя, сопровождавшие своими хлесткими ударами каждый наш шаг и издевательски барабанившие по деревянным крышам всякий раз, когда мы находили укрытие для ночлега.

В этих экстремальных, я считаю, погодных условиях Группа армий «Центр» сумела довести битву в огромном «котле» у Вязьмы и Брянска до победоносного завершения. Захваченные нами трофеи — танки, артиллерийские орудия и прочая военная техника и оборудование — не поддавались подсчету. Количество пленных было столь огромным, что определить его тоже оказалось весьма затруднительным. По слухам, в плен было захвачено более шестисот тысяч человек. Нескончаемый и все разрастающийся поток этих людей конвоировался мимо нас на запад практически все светлое время суток. В масштабах этого грандиозного сражения батальон, полк или даже дивизия почти не имели значения. Однако каждое это подразделение и каждый человек в каждом из этих подразделений вынуждены были сталкиваться и справляться с поистине экстремальными условиями. Предпоследняя победа была одержана. Красная Армия отчаянно цеплялась за каждую пядь земли, чтобы удержать Вязьму и Брянск, и все же не удержала их. Последнее серьезное препятствие на пути к Москве было преодолено.

Теперь у русских оставался один, самый последний союзник, который только и мог прийти к ним на помощь, как это уже бывало раньше, — *General Winter* (Генерал Зима)! Через ужасающие зимние дожди, каких не видывали даже здешние старожилы, мы кое-как уже прорвались. Теперь я все чаще раздумывал о старике-дровосеке из Бутово и, главное, о его пророческих словах: «В этом году жуки откладывают свои личинки очень глубоко в земле. Зима, стало быть, будет ранней». Оставалось лишь надеяться на то, что мы успеем захватить Москву до того, как ударят по-настоящему суровые морозы.

21 октября мы форсировали Волгу между Старицей и Калинином и, сокрушив все сопротивление врага, продвинулись на тридцать километров в направлении Торжка. Заночевали мы в небольшой деревушке в компании с нашими артиллеристами. Мы были настороже и находились в полной боевой готовности на случай неожиданного ночного боя, поскольку всего в восьми километрах от нас перемещались параллельным курсом значительные силы русских.

Следующее утро выдалось ясным и солнечным; на радостях все мы даже и думать забыли о вчерашнем ливне с градом. Мы были заняты подготовкой к продолжению нашего походного движения на северо-восток, как вдруг с пункта наблюдения поступило сообщение о том, что прямоком к занимаемой нами деревне направляется колонна не подозревающих об этом русских. Мы с Кагенеком поспешили на наблюдательный пункт, чтобы убедиться во всем самим. Из леса прямо на деревню действительно выдвигалось значительное формирование конных русских, сопровождаемое артиллерийскими и прочими конными упряжками. Они все выходили и выходили из леса — шеренга за шеренгой, орудие за орудием, отделение за отделением. Наши артиллеристы и пулеметчики тщательно прицелились по ним о чем не догадывавшимся русским. Затем раздалась команда «Огонь!»...

Первый же залп наших гаубиц угодил точнехонько по самой плотной головной колонне с расстояния в шестьсот метров. Это была не просто кровавая бойня, но настоящее массовое уничтожение. Красные отпрянули назад в беспомощном недоумении. Перепуганные лошади тоже пятились, падали, их повозки становились неуправляемыми. Второй залп ударил уже практически прямой наводкой, и те всадники, что еще оставались в седле, бешеным галопом ринулись обратно в лес. Тут к этой ужасной бойне подключились и наши крупнокалиберные пулеметы. Обезумевшие от ужаса и отчаяния русские падали на землю и пытались спастись ползком.

Некоторое количество наших офицеров, собравшихся на наблюдательном пункте, следили за этой хладнокровной бойней с поразившим меня веселым ликованием. Я отвернулся, но тут мне на память помимо моей воли пришли картины не менее кровопролитной резни, устроенной нам казаками у озера Щучье. Ко мне подошел Кагенек и, успокаивающе похлопав по плечу, проговорил:

— Тут уж ничего не поделаешь. Лучше уж мы их, чем они нас. Как говорится, убей или будь убитым.

Кровавая расправа над русскими была завершена без единого выстрела с их стороны. Перед тем как отправиться в путь, мы перенесли всех раненых красноармейцев, которых еще можно было спасти, в дома, и я помог им всем, чем только мог, а затем оставил на попечение местных жителей. Кагенек и я выезжали из деревни верхом, рядом друг с другом, в гнетущей тишине. Затем я проговорил, как бы ни к кому не обращаясь:

— В последнее время я все чаще начинаю чувствовать себя как-то глупо, неустанно складывая и сшивая по частям то, что другие тут же, целенаправленно и методично, рвут в клочья. Все это так дьявольски нелогично!

— Это война, Хайнц, — пожал плечами Кагенек. — Нужно просто постараться мужественно переносить это и не унывать.

— А что ты скажешь насчет всех тех, что мы захватили в плен? Что случилось с тем полумиллионом людей, что оказались в нашей власти за последние три недели?

— Я думаю, что это слишком завышенная цифра. Наступающая армия просто не в состоянии управляться с таким количеством пленных.

— Вот именно! И все, что мы в состоянии делать, — это конвоировать это огромное стадо людей под дождями и по морозам. А ты думаешь, их кормят по-нормальному? Или оказывают медицинскую помощь? Они там просто мрут как мухи. Не удивлюсь, если там еще и каннибализм наблюдается!

— Ты проявляешь к ним излишнее сочувствие, — довольно резко оборвал меня Кагенек. — И что, черт побери, мы должны для них делать? Не забывай о том, что все наши колонны с продовольствием увязли в этом болоте — нам и самим почти нечего есть. Вспомни также, что русские, отступая, пожгли все свои хлебные поля и уничтожили зернохранилища и все остальные продовольственные хранилища. Это ведь они сделали это — не мы. А сколько железнодорожных сообщений они вывели из строя! Так что сами виноваты. Ты просто слишком подавлен.

— Ты абсолютно прав. Именно подавлен, — с чувством вздохнул я.

— Тогда взбодрись и не унывай, а лучше подумай о наших собственных трудностях, — с примирительной улыбкой проговорил Кагенек. — Тебе, например, известно, что в гуляше у нас третий день конина вместо мяса?

Впереди вдруг раздалось два гулких взрыва. От головы колонны по цепочке донесся ставший уже до боли привычным призыв: «Доктора и носилки — вперед!» Головной отряд батальона только что угодил прямо на дороге в недавно заложенное минное заграждение. Я пришпорил Сигрида и понесся галопом вперед.

Около двух свежих воронок на дороге лежали трое. Двое погибли мгновенно, третий был еще жив. Его правая нога была полностью оторвана взрывом, а внутренности из ужасно разорванного живота свисали прямо на дорогу. Он кричал в агонии.

Минное заграждение было устроено на непосредственных подступах к небольшому

мосту через реку. Я стоял метрах в тридцати от ужасно изувеченного солдата, но подбежать к нему прямо по дороге было бы чистым безумием, даже с помощью миноискателя. Русские очень часто применяли «деревянные мины», почти не имевшие металлических частей, и миноискатели реагировали на них очень слабо, если вообще реагировали. Слышать душераздирающие крики раненого было просто невыносимо. Мины не могли быть заложены более двух дней назад, а справа от дороги была явно не притоптанная трава и буйно разросшиеся сорняки. Сопровождаемый Генрихом, я пробежал по зарослям сорняков к реке, пробрался по кромке воды к мосту, вскарабкался на него и осторожно приблизился к раненому с другой стороны.

Это был Макс Штайнбринк — приветливый дружелюбный малый и всеобщий любимец. Он конвульсивно изгибался всем телом в агонии и от отчаяния все время пытался приподняться на здоровой руке. Приподнявшись, он в ужасе натыкался взглядом на свои окровавленные внутренности, свисавшие до земли, и на то место, где всего несколько минут назад была его правая нога. Было совершенно ясно, что он умрет не позже чем через полчаса, что бы я ни сделал для него. Нужно было быстрее принимать какое-то решение, поскольку агония бедного парня была просто-таки невообразимой.

Он конвульсивно дергался всем телом и выкрикивал:

— Помогите мне! О, мама, мама, мама! — Тут он вроде бы осознал наконец-то, что мы подобралась к нему, и взмолился: — Пожалуйста, помогите мне!

Батальон остановился у предполагаемой границы минного поля. За каждым нашим движением пристально наблюдали сотни сочувствующих глаз. Я повернулся к своему помощнику и прошептал: «Морфий, Генрих, морфий...»

— Я помогу тебе, — сказал я уже громче умиравшему.

Генрих вложил мне в руку шприц и ампулу морфия. Вскрыв ампулу, я быстро набрал морфий в шприц.

— Еще одну ампулу, Генрих.

— О, помогите мне, пожалуйста, мама, мама! — снова взмолился сквозь стоны раненый, глядя на нас.

Минута, потребовавшаяся мне для подготовки укола, была для него целой вечностью ужасных страданий. Генрих крепко зафиксировал руку умиравшего, и я ввел морфий внутривенно. Внутримышечная инъекция, во-первых, начала бы действовать минут на десять позже, а во-вторых, еще не известно, насколько наверняка подействовала бы. Продлевать и без того жестокие муки обреченного Штайнбринка было бы верхом бесчеловечности. Морфий побежал по венам. Судорожная гримаса боли на его лице разгладилась, и он посмотрел на нас с Генрихом с невыразимой благодарностью. Больше он не испытывал никакой боли. Генрих опустился рядом с ним на колени и взял его руками под голову, которую тот все еще силился держать в приподнятом положении.

— Теперь все будет хорошо, — сказал я умиравшему и взял его за руку.

Он уже больше не отвечал и только медленно-медленно закрывал глаза, но все же крепко сжал мою руку, как будто прощаясь. Я знал тогда, что Макс Штайнбринк понял, что это его последние минуты.

Через несколько минут его прощальное рукопожатие ослабло, голова мягко опустилась на руки Генриха, и он умер.

Раздалась команда «Вперед марш!», батальон обошел минное заграждение стороной и стал переходить по мосту на ту сторону реки. А я все стоял и стоял на этом мосту и чувствовал себя таким обессиленным, как будто только что завершил главную и самую трудную в своей жизни операцию.

Саперы обезвредили мины и вырыли рядом с мостом три могилы, прозвучали три залпа прощального салюта, над могильными холмиками были водружены три креста, и батальон в полном безмолвии тронулся в путь. На ночь мы расположились в деревне Васильевское, находившейся как раз на вершине клина наших войск, углубившихся на территорию противника. Деревни по обе стороны от этого клина все еще были в руках русских. Я

устроил перевязочный пункт и лазарет поблизости от батальонного поста боевого управления.

«Генерал Зима» и «Т-34»

В ту ночь в батальоне был выявлен первый случай заболевания сыпным тифом. Ко мне пришел Генрих и доложил, что для лечения был доставлен солдат в явно бредовом состоянии. Я немедленно отправился осмотреть его сам.

У пациента наблюдались исключительно высокая температура, кашель и покраснение слизистой оболочки глаз, а лицо было опухшим и перекошенным. Проверка легких выявила признаки бронхита, но не воспаления. Его речь была бессвязной и путаной, а сам больной проявлял неадекватную беспокойность, суетливую подвижность и совершенную неспособность сосредоточиться. Сомнений у меня больше не оставалось: это было именно то, появления чего, раньше или позже, я так опасался — у меня на руках был очевидный случай сыпного тифа. В течение пяти последовавших за этим дней у больного стали проявляться большие красные пятна на животе и плечах, распространившиеся затем и по всему телу. Все это сопровождалось явными нарушениями умственной деятельности, галлюцинациями и должно было привести, по всей вероятности, к летальному исходу. Я щедро обсыпал больного порошком «Russia» и плотно укутал его чистым одеялом для того, чтобы снизить до минимума вероятность распространения болезни вокруг него с инфицированными вшами. В карточке болезни я жирно подчеркнул красным цветом слова «Сыпной тиф» и отправил его на нашей санитарной машине в тыловой карантин. Прodelав все это, я сел и крепко призадумался.

Этот единичный на весь батальон случай сыпного тифа встревожил меня гораздо больше, чем сводки боевых потерь убитыми и ранеными. Я изо всех сил старался изыскать самый эффективный метод нейтрализовать угрожавшую нам эпидемию в самом ее источнике — необходимо было найти способ полностью избавить наших людей от вшей.

Было ясно, что порошок «Russia» желаемого результата не дает, и к тому же я знал, что солдаты ненавидят его запах и всячески увиливают от его применения.

— Что наши люди думают о порошке «Russia»? — спросил я у Тульпина.

— Они используют его лишь как объект для своих шуточек и называют кормом для вшей, — несколько грубовато, но прямо ответил он.

Я не испытывал никаких иллюзий по поводу серьезности складывавшегося положения. Мы располагали лишь очень и очень незначительными количествами вакцины для прививок — можно было считать, что ее, по сути, все равно, что и не было вовсе. А теперь еще выяснялось, что единственная имевшаяся в нашем распоряжении защита от вшей порошок «Russia» — и та оказывалась практически бесполезной.

Я знал, что подчиненный мне медицинский персонал пользуется этим средством с должной регулярностью. Поэтому, собрав всех своих людей в лазарете, я поставил на стол стеклянную банку с водой и заявил им:

— Посмотрим, насколько эффективен этот порошок. Долой всю одежду, и каждую пойманную вошь — в банку!

Надо признать, что это была довольно странная сцена. Особенно комично смотрелся длинный и худой, как проволока, Тульпин рядом с невысоким, но мускулистым крепышом Генрихом. Мюллер уселся на ящик с перевязочными материалами, а я расположился на единственном во всей комнате стуле. Полагая, что это придаст мне больше веса и значительности в глазах подчиненных, я все же решил оставить на себе подштанники — в качестве привилегии, соответствовавшей моей должности.

К всеобщему смущению и замешательству, в банку стали отправляться вошь за вошью, и в конечном итоге общий «улов» составил четырнадцать штук. Результат обескуражил: несмотря на то что все мы с религиозной фанатичностью ежедневно обсыпали себя зловонным порошком, ни один из нас не был абсолютно чист от этих отвратительных

паразитов. Кожа Мюллера была красной и воспаленной, особенно в местах повышенного потоотделения, а одежда натирала эти участки еще больше. Это была экзема — реакция повышенной чувствительности кожи на порошок «Russia».

— Подойди сюда, Мюллер, — сказал я. — Дай-ка я посмотрю на тебя поближе.

Как только мы подошли к лампе, дверь в комнату неожиданно распахнулась, и на пороге возникли оберст Беккер и майор Нойхофф.

— *Achtung!* — крикнул я.

Все вытянулись по стойке «смирно». У меня вдруг пропал голос. Примерно то же самое происходило с Нойхоффом. Повисшую неловкую паузу прервал взрыв хохота Беккера.

— Та-ак, — все еще смеясь, благодушно протянул он. — Что здесь происходит, Хальтепункт? Чем это, позвольте поинтересоваться, вы здесь заняты?

Я наконец собрался с мыслями и выпалил на одном дыхании:

— Трое обнаженных военнослужащих и еще один в подштанниках из числа личного состава 18-го пехотного полка охотятся за вшами с целью определить степень эффективности порошка «Russia», герр оберст!

— Та-ак... И каков же, интересно, результат сего научного исследования?

— Не слишком утешительный, герр оберст.

— Отчего же?

— Во-первых, порошок обладает неприятным запахом и солдаты применяют его крайне неохотно. Во-вторых, кожа некоторых из людей проявляет на него аллергическую реакцию. Обратите внимание на этого человека, герр оберст. — Я указал на Мюллера. — Его кожа слишком чувствительна к воздействию на нее этого средства.

— Это все, Хальтепункт?

— Нет, герр оберст. Хуже всего то, что порошок «Russia» недостаточно эффективен как средство против вшей. Несмотря на то что мы регулярно применяли его в течение последних двенадцати дней, мы обнаружили на себе сейчас четырнадцать вшей. Вот они, в банке. И я должен доложить вам, что в батальоне выявлен первый случай заболевания сыпным тифом. Больной отправлен в тыловой госпиталь час назад.

От благодушно-шутливого тона Беккера не осталось и следа.

— Но ведь это совсем не тема для шуток! Что мы можем предпринять?

— В настоящее время не слишком многое, герр оберст. Мы будем продолжать применение порошка «Russia», который, по крайней мере, хоть немного помогает. Я постараюсь, — насколько это окажется возможным, — раздобыть как можно больше вакцины, чтобы я смог вакцинировать хотя бы больных с наиболее острыми случаями сыпного тифа. А нашим солдатам, — опять же, насколько это возможно, — следует полностью исключить контакты с русским гражданским населением.

— Это не так-то просто, — перебил меня Беккер. — Что-нибудь еще?

— Да, герр оберст.

Я просто обязан был как можно полнее использовать возможность перечислить командиру полка все, что нам было необходимо для предотвращения самой возможности эпидемии сыпного тифа.

— Весь личный состав без исключения должен быть тщательнейшим образом осмотрен, и люди даже с малейшими подозрениями на заболевание немедленно изолированы, — так же, как и все, кто находился с ними в непосредственном контакте. Зоны, в которых будут собраны эти люди, объявить карантинными. Совершенно необходимо организовать как можно более частые помывки личного состава наравне со столь же регулярной стиркой и заменой нательного белья.

Все это я выдал опять же на одном дыхании и немного сбился с него. Чтобы восстановить дыхание и заодно подчеркнуть важность сказанного, я сделал небольшую паузу, а заодно придал голосу еще более ворчливый и строгий тон:

— Все это было бы, конечно, проще сделать, когда мы получим наконец зимнее обмундирование. А пока наши солдаты носят на себе под формой, не снимая, не стирая и,

соответственно, не меняя, все одежды, какие только у них имеются — лишь бы только не мерзнуть. Как только наше походное движение хотя бы немного приостановится и мы займем более или менее постоянные зимние позиции, необходимо немедленно организовать особые пункты по выведению вшей и проводить в них систематическую обработку всего личного состава.

— Все это будет включено в общий приказ по полку, — задумчиво проговорил Беккер. — Но лично с моей стороны можете всегда рассчитывать на любую поддержку, что бы вам ни потребовалось. Да-да, можете быть совершенно спокойны.

Беккер взглянул на Нойхоффа и добавил задумчиво:

— Все это, однако, будет не так то уж просто воплотить в действительность...

Нойхофф повернулся ко мне, улыбнулся и едва слышно прошептал:

— Дорогой доктор, оденьтесь побыстрее, пожалуйста.

— Конечно, герр майор.

Я настолько увлекся докладом Беккеру о сложившейся ситуации, что совершенно забыл о том, что единственным предметом одежды, прикрывавшим мою наготу, были подштанники. Я схватил в охапку мою одежду и удалился за печь. Нойхофф последовал за мной снова и прошептал:

— Оденьтесь по полной форме, доктор, с ремнем и фуражкой, — все, как положено. Вы награждаетесь Железным Крестом 1-го класса.

Полностью и безупречно одевшись, я предстал перед оберстом Беккером. Он приколот мне Железный Крест к мундиру и сказал:

— Хальтепункт, эта награда является признанием неоценимости всего того, что вы проделали для вашего батальона начиная со 2 октября сего года. Вы, наверное, будете связывать ее, в частности, с памятью о взятии Высоты 215, не так ли?

Вначале Беккер, а следом за ним Нойхофф с чувством пожали мне руку и удалились.

— Клинк! — услышал я.

Это неловко повернувшийся Тульпин опрокинул банку, и вся вода с плененными в ней вшами вылилась на пол. Таким образом, самая первая обязанность, которую мне довелось выполнять в качестве обладателя Железного Креста, состояла в том, что мне пришлось помогать всем остальным незамедлительно отлавливать расплзавшихся вшей, а затем перещелкать их всех пинцетом.

И лишь после этого я позволил себе немного помечтать. По достоверным слухам, по завершении наступления определенное количество военнослужащих должно было быть удостоено отпуска, и я знал, что должен быть в числе первых отпущенных. Как же здорово будет смотреться Железный Крест на новенькой парадной форме! Дома я буду самым настоящим героем!

Обратно на землю меня грубо вернул «букет ароматов» порошка «Russia» и пота нескольких обнаженных тел мужчин, не чуравшихся тяжелой физической работы.

— Вы тоже одевайтесь, хватит загорать, — как бы между делом бросил я им. — И следите за тем, чтобы лазарет имел благопристойный вид — тем более что сегодня вечером будем обмывать новый Железный Крест. Вношу со своей стороны в общий праздничный котел все кофейные бобы, что у меня остались. Остальное — за вами.

— Я уже организовал несколько фунтов картофеля, — сообщил по секрету Генрих. — Было бы неплохо его пожарить, вот только жаль, не на чем.

— Это решается просто, — заверил его я. — Я выпишу на каждого из вас по две столовых ложки касторового масла. Этого тебе, надеюсь, хватит?

— Касторовое масло! — с неподдельным ужасом воскликнул Генрих. — Но ведь у нас всех будут рези в животе!

— Ничего подобного, — возразил я со знанием дела. — Знаю, что это удивит тебя, но касторовое масло в случае надобности является прекрасной заменой подсолнечному для приготовления пищи. А не говорил я тебе этого раньше потому, что ты давно извел бы все его на свою стряпню. Сегодня сделаем исключение, но только одно. Следующее исключение

будет, когда кто-нибудь из вас получит следующий Железный Крест. Просто разогрей масло пару минут на сковороде, а затем смело жарь на нем свою картошку.

Генриха все еще одолевали сомнения.

— Гарантирую, что никаких резей в животе не будет, — улыбнулся я.

* * *

На следующее утро русские предприняли на нас атаку с фланга. Удар был отражен с тяжелыми потерями для противника. Мы немедленно контратаковали и обратили врага в бегство. Отступая, русские снова побросали на оставленных позициях значительное количество оружия, техники и провианта. Мы с трудом форсировали реку, разлившуюся обширным паводком, и по дороге на Торжок заняли одну за одной пять деревень, по которым предварительно хорошенько поработали «штуки» (пикирующие бомбардировщики *Junkers Ju-87 «Stuka»*). К полудню 24 октября мы были уже всего в двадцати двух километрах от Торжка, расположившись на позициях в районе деревни Можки. По имевшимся у нас сведениям, деревня была сильно защищена противником, воздвигшим на этом рубеже мощную систему оборонительных укреплений.

Прямо на поле около нас приземлился легкий связной самолет Физелер «Шторх» («Аист»), и из него вышел генерал Люфтваффе фон Рихтгофен. Он прибыл специально для того, чтобы обсудить создавшееся положение и способы взаимодействия при личной встрече с генералом Аулебом, оберстом Беккером и другими высшими офицерами нашей дивизии. Наш полк должен был атаковать Можки следующим утром; фон Рихтгофен обещал нам непосредственную поддержку «штуками» с воздуха.

Погода ухудшилась: снова полил дождь, прерываемый время от времени небольшими снежными зарядами. Мы все промокли до нитки, а машины с боеприпасами и провиантом — как всегда в такую погоду — застряли где-то позади и еще не нагнали нас. Не было, конечно, и никаких намеков на обещанное еще две недели назад зимнее обмундирование. На дополнительные запросы Беккера были получены обнадеживающие заверения, общий смысл которых состоял в том, что скоро мы все получим, проблема лишь в незначительной задержке поставок из-за неблагоприятных погодных условий. В дополнение к моим личным переживаниям я еще и приболел — вероятно, просто простудился от переохлаждения.

В 1.45 пополудни 25 октября мы с Генрихом находились в небольшой ложбине всего в трехстах метрах от русских позиций. Воздух над нашей головой время от времени вспарывали вражеские пулеметные очереди, не причинявшие нам, однако, никакого вреда. Вот на горизонте показалась стремительно приближавшаяся к нам группа из четырнадцати «штурмовиков». Дойдя в красивом четком строю до вражеских позиций, они — прямо над нашими головами — стали одна за другой проваливаться в свое боевое пикирование. Пикируя практически отвесно, они издавали душераздирающий вой. Мне казалось тогда, что все они избрали своей целью почему-то именно нас с Генрихом... Полностью доверяя мастерству наших летчиков, я все же прижался как можно плотнее к земле. В самый последний момент они, как мне показалось тогда, каким-то чудом немного изменили угол своего смертоносного пикирования, и бомбы упали точно на позиции русских. Вспышки взрывов, грязь, клочья дерна, пулеметы, люди — все это разом взметнулось в воздух. Земля под нами ходила ходуном. Завороженные этим фантазмагорическим зрелищем, мы даже поднялись на ноги. Из русских зениток огонь вели теперь всего одно-два орудия, да и то какими-то единичными выстрелами. Мы ринулись в атаку, и в это же время «штуки» совершили еще один заход — на этот раз на предельно малой высоте, щедро поливая противника огнем своих пушек и пулеметов. Прорвав штурмом вражескую оборону, мы расстреливали в упор всех, кто не сдавался сразу же. К пяти вечера деревня Можки была в наших руках. Через час всем раненым была оказана необходимая помощь, а все погибшие — похоронены. В 7.30 вечера мы получили из штаба дивизии приказ оставить Можки и немедленно вернуться на наши исходные позиции.

По всему батальону вихрем носились самые разнообразные слухи и догадки. Почему нам приказано отступить после того как мы отбили у противника столь обширную территорию? Неужели нам предстоит окопаться здесь с дальним прицелом на зиму? Не захлебнулась ли в непролазной грязи атака на Торжок нашей 3-й бронетанковой группы? Не является ли данный приказ временным ограничением нашего наступления перед окончательным и победоносным броском на восток, к Москве? Или, может быть, наш генерал Аулеб просто струсил? Все, что мы знали более или менее точно, — это то, что по-прежнему льет как из ведра, а наши машины, тяжелые орудия, танки и снабжение — все безнадежно застряло где-то позади.

Оказалось, что главной причиной были «Т-34». Кроме того, Аулеб решил, что мы прорвались слишком далеко вперед и оголили наши фланги, но главной причиной нашего первого отступления были все же «Т-34». Этот новый тип русских танков практически беспрепятственно прорвался через позиции соседней с нами дивизии, да и у нас, впрочем, тоже не было ничего более-менее серьезного, чтобы противостоять ему. Поговаривали, что «Т-34» обладает могучей сокрушительной силой и защищен непробиваемой броней, а еще раньше бытовало мнение, что он вообще непобедим. Легенды об устрашающих подвигах «Т-34» распространялись по всему фронту подобно дикому пожару по лесному сухостою. Наши 37-миллиметровые противотанковые пушки оказались против него беспомощными и получили обидное прозвище «противотанковые хлопушки». Одно из наших славных и бесстрашных противотанковых подразделений, оснащенных этими 37-миллиметровыми орудиями, попало из них по «Т-34» более сорока раз, но это чудовище при этом даже не вздрагивало, даже от прямых попаданий, а лишь хладнокровно наезжало на пушки и подминало их под себя, будто игрушечные. На том этапе войны успешно противостоять «Т-34» могли лишь «Panzer IV», имевшие 75-миллиметровые орудия (да и то когда действовали совместно с нашими штурмовыми батареями), да еще разве что, 88-миллиметровые зенитные орудия.

Офицеры нашего батальона прекрасно осознавали тот прискорбный факт, что против этого нового оружия противника мы пока беспомощны, но тем не менее немедленно распространили призыв изыскать какие-то новые средства, чтобы противостоять ему. Командиры взводов экспериментировали с различными комбинациями мин и ручных гранат в одно концентрированное целое повышенной, соответственно, взрывной силы. Например, мощная Т-мина (противотанковая мина) увязывалась воедино с одной или более ручными гранатами, а для надежности связи все это упаковывалось еще и в вещмешок таким образом, чтобы снаружи оставался лишь взрыватель ручной гранаты. Из добровольцев формировались особые противотанковые команды, задачей которых было прорываться к «Т-34» и забрасывать эти самодельные бомбы им под днище. Далее они взрывались сами под действием на них веса танка. Такой способ борьбы с танками был практически самоубийственным для его исполнителей, и, применяя его, погибло много наших людей. Некоторые взрывались вместе со своей смертоносной ношей и вражеским танком. Но, с другой стороны, таким образом было успешно уничтожено и немало «Т-34». А самое главное заключалось в том, что пехотинцы, увидев, что это чудовище вполне успешно можно уничтожать, вновь обрели уверенность в себе. Действительно эффективные 75-миллиметровые противотанковые артиллерийские орудия поступили на вооружение лишь спустя девять месяцев.

Можки были самой северо-восточной точкой, которой мы достигли, а северный фланг главной линии боев так и закрепился примерно в тридцати километрах от Торжка. Таким образом мы защищали северный фланг 2-й, 4-й и 9-й армий, брошенных в полном составе на Москву. Увы, этот главный удар захлебнулся и иссяк на первых же шагах. Тогда как далеко на юге Группа армий «Юг» успешно захватила Харьков и Сталино, Группа армий «Центр» снова увязла в грязи на самых подступах к Москве. И снова над окружавшей нас отчаянно однообразной и унылой сельской местностью потянулись бесконечные густые серые тучи. И снова лил бесконечный, не прекращавшийся ни на одну минуту дождь.

* * *

В дверном проеме моего перевязочного пункта стоял безупречно, с иголки одетый майор с широкими красными лампасами вдоль брюк. В нищей и убогой русской деревне он выглядел до смешного неуместно. Когда часть нашего батальона вернулась в Васильевское, его теплая меховая куртка вызвала у многих невольный завистливый вздох. Деревня теперь была занята по частям ветеринарной ротой, интендантскими частями, артиллеристами, а также самыми разнообразными группами и подразделениями второй линии, все еще пытающимися догнать войска первой линии. Майор с красными лампасами одним только своим видом вызывал невольные воспоминания о Германии и свободной штатской жизни; он и его меховая куртка, должно быть, совсем недавно прибыли из мест, весьма и весьма удаленных от передней линии фронта. И вот это существо из иного мира входило в мой убогий в своей грубой простоте перевязочный пункт. Я инстинктивно вскочил по стойке смирно и порывисто отдал ему честь, как какой-нибудь зеленый *унтерарцт* в учебной части.

— Оставьте это, доктор, — величаво остановил он меня. — Я здесь не для того, чтобы инспектировать ваш лазарет, а с неофициальным и даже, некоторым образом, частным визитом.

— Чем обязан, — поинтересовался я, — высокой честью принимать вас у себя?

— Меня привели к вам две причины, доктор, — ответил он, сделав рукой пригласительный жест садиться. — Во-первых, я хочу ознакомиться с истинным положением на фронте. А во-вторых, у меня есть к вам личная просьба как к врачу.

— Рад быть полезным, герр майор.

— Окажите мне любезность, доктор, почтите своим визитом мое скромное место постоя сегодня вечером.

— С радостью, герр майор, — ответил я. — Смена ковров почти всегда вносит в жизнь приятное разнообразие.

— Боюсь, что с коврами у меня там не очень богато, — улыбнулся майор, — но, пожалуй, все же найдется кое-что, чего вы, как фронтовик, наверное, давно уже не видели.

Он был прав. Этим «кое-чем» оказалась бутылка явно не дешевого французского коньяка, и она действительно являла собой в наших краях редкое и захватывавшее дух зрелище. Ординарец майора принес ее из его роскошного и не по-фронтовому сиявшего полировкой и хромом автомобиля. Торжественно водрузив ее на стол, он удалился, но вскоре вернулся со свежим сыром, который майор приказал нарезать маленькими аккуратными кубиками. Пока майор неторопливо говорил о чем-то, откупоривая бутылку, я старательно следил за тем, чтобы не залить стол собственной слюной. Майор, казалось, не особенно интересовался аппетитными кубиками сыра, а мне, в свою очередь, было чрезвычайно трудно следить за тем, что он говорил. Наконец, он провозгласил первый тост за меня. Я с готовностью поднял свой стакан и хотел уже было подняться сам, но он остановил меня:

— Пожалуйста, не надо, дорогой доктор! Прошу вас, прошу вас, сидите! Давайте обойдемся без ненужных формальностей.

Великолепный коньяк прямиком из Франции и восхитительный сыр, вприкуску с которым мы его попивали, ограничили мое участие в беседе коротенькими ремарками на неспешную речь майора. Но тем не менее меня все время одолевала одна и та же мысль: «Неужели все это — лишь проявления простодушного дружелюбия? Что может скрываться за столь экстравагантным и расточительным обхаживанием чудачковатого фронтового доктора?»

Прежде чем майор раскрыл причину своего гостеприимства, несколько стаканчиков коньяка уже успели погрузить меня в более расслабленное и благодушное настроение. Причина эта оказалась чрезвычайно конфиденциальной: у герра майора, как он сообщил мне шепотом, были... мандавошки. Вот и вся причина. Всего лишь обычные мандавошки.

Я чуть не рассмеялся, но вовремя опомнился и заверил его, что он может совершенно не беспокоиться: я приготовлю для него маленький флакончик с особым составом, который обязательно, всенепременнейше поможет ему.

— Воспользуйтесь им всего три раза — я объясню как, — и, уверен, вы избавитесь от ваших мандавошек, герр майор. И эти бабочки любви — как очаровательно именуют их французы — лишь помогут вам сохранить воспоминание о приятном романтическом эпизоде вашей жизни.

— Да вы еще и поэт, а не только доктор, — рассмеялся он, поднимая свой стакан.

Мы чокнулись и выпили за любовь. С каждым очередным глотком мы становились все раскованнее, и майор заговорил о своем отношении к течению войны более откровенно. Он был намного лучше информирован об общем положении, чем любой из гораздо более высокопоставленных фронтовых офицеров. Я вряд ли был бы столь же впечатлен, если бы имел личную беседу, скажем, с самим фон Браухичем.

— Картина событий в Москве, которую я сейчас намерен вам обрисовать, имела место десять дней назад, — заявил он к моему немалому удивлению, — так что можете считать ее точной. Такова известная нам официальная версия, основанная на допросах пленных и на сведениях, полученных от наших разведчиков.

Московская газета «Правда», как поведал он мне далее, совершенно открыто писала о том, что столица России в огромной опасности. Коммунистическая верхушка и высшие генералы не надеялись больше на то, что город удастся удержать. Среди мирных жителей возникла паника, и все, кто мог, спасались бегством на восток. Семьи и родственники высокопоставленных людей уже эвакуированы из Москвы по воздуху. Из города уже вывезены Государственные архивы, золотые слитки Государственного Сбербанка, сталинский секретариат, а также персонал всех важных государственных организаций. Все стратегически важные строения, заводы и даже сам Кремль заминированы и будут взорваны, как только немцы войдут в Москву. Гражданское население вооружается самыми невообразимыми видами импровизированного оружия. Женщины и университетские профессора формируются в отряды так называемого «народного ополчения». Во многих районах города процветают вооруженный разбой и мародерство.

Однако Сталин прекрасно осознавал важность Москвы и для себя, и для своего народа, и как символа коммунизма для всего остального мира. Готовясь отстаивать город со всем возможным ожесточением, он приказал направить туда значительные военные силы из Сибири. В финальную битву за Москву должен был быть брошен практически каждый годный к военной службе мужчина. Вдобавок к этому восточные рубежи России оставались практически незащищенными, и в случае нападения Японии на Россию они не встретили бы там ни малейшего сопротивления. Усугубляя всеобщее замешательство и растущую панику, толпы поспешно покидавшего город гражданского населения практически парализовали работу городских железнодорожных вокзалов и, по сути, заблокировали собой все выходящие из города в восточном направлении железнодорожные линии. По этой же причине почти полностью оказалось парализованным все железнодорожное движение от Москвы до Урала — вплоть до того, что оказывалось невозможным обеспечивать следование военных эшелонов с войсками и всем остальным, необходимым фронту.

— Поверьте мне, дорогой доктор, когда Москва падет, вся остальная Россия будет вскоре выведена из боевых действий в результате собственной внутренней революции, — закончил майор.

Некоторое время я сидел и пытался обдумать все эти слишком уж приободряющие новости, а затем осторожно заметил:

— Но ведь если все обстоит именно так, как вы излагаете, то вряд ли нас ожидают впереди какие-либо неприятности...

— Именно так! Хватит неприятностей! Их уже просто не может быть. Когда закончилась двойная битва за Вязьму и Брянск, потери русских убитыми или захваченными в плен составили около восьмидесяти процентов от общего числа сил, предназначенных для

обороны Москвы. Нам не повезло лишь в том, что против нас оказалась погода, и наше наступление погрязло в осенней распутице. Но, говорю вам, как только прекратятся дожди или установятся первые морозы, три наши армии сойдутся воедино и Москва должна стать нашей. Это будет означать конец всей России и заставит трепетать весь мир!

Было уже довольно поздно, и, поразмыслив еще немало над услышанным, я сказал:

— Позвольте мне, герр майор, принести вам то лекарство прямо сейчас. Лазарет тут не очень далеко, и это не займет слишком много времени.

— Но не удобнее ли будет, если я зайду за ним сам завтра?

— Лучше начать лечение безотлагательно, прямо сегодня, перед тем как укладываться спать — тем быстрее вы избавитесь от этих маленьких паразитов.

Когда я вышел, пошатываясь, на улицу, дождь, как обычно, с шумом барабанил по крышам. Не успев сделать и нескольких торопливых шагов, я поскользнулся и, не удержав равновесие, плюхнулся в грязь всеми четырьмя точками! В тот момент это показалось мне не имеющим решительно никакого значения и, приняв вертикальное положение, я не слишком уверенной походкой направился к лазарету. Пока Генрих пытался стряхнуть грязь с моих колен и рукавов, я велел Мюллеру немедленно приготовить пузырек специфического снадобья для милейшего герра майора. Уже через несколько минут Мюллер протягивал мне пузырек с широченной улыбкой на лице.

— Что смешного?! — строго спросил я.

— Ничего. Просто от герра ассистензарцта очень мило пахнет.

— Чем? Коньяком?

— От герра ассистензарцта пахнет Францией.

— Возможно, мы скоро снова окажемся во Франции, мой дорогой Мюллер, — смягчившись, весело проговорил я, вспоминая полные радужного оптимизма прогнозы майора. — Это вполне, вполне вероятно.

С этими словами я вывалился на улицу, категорически отказавшись от предложений проводить меня.

— Это применяется только наружно, герр майор, — сказал я, вручая ему пузырек. — Дайте-ка я лучше на всякий случай напишу это сам сверху.

Крупными печатными буквами я написал на ярлычке: «ЯД: ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!»

Майор с благодарной улыбкой взял у меня пузырек и, доставая из кармана свою авторучку, скрылся в доме, велев подождать его минутку. Вернулся он с точно такой же бутылкой коньяка, что мы пили, но несколько большего объема. На этикетке было аккуратно выведено крупными четкими буквами: «ЯД: ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ!!!»

* * *

2 ноября, ровно через месяц после того, как началась битва за Москву, нашим частям было приказано окопаться.

В течение нескольких следовавших за этим дней мы выкапывали траншеи и сооружали блиндажи перед деревней Князево, рядом с которой нашему батальону был выделен оборонительный сектор длиной примерно три километра. Земля была пока еще довольно мягкой и податливой, поэтому мы без особых затруднений выкопали еще и несколько ловушек для танков. Специально для «Т-34» мы подготовили особые сверхмощные минные заграждения на обоих подступах к деревне. Каждое из них представляло собой противотанковую мину, от взрыва которой должно было сдетонировать более тонны (!) заложенной под ней дополнительной взрывчатки. Кроме этого, каждый взвод запасся связками противотанковых мин и ручных гранат, готовых к немедленному применению против «Т-34». На опушке леса рядом с деревней были организованы посты сторожевого охранения, а система траншей была вырыта таким образом, что связывала нас с

соседним батальоном. Мой перевязочный пункт, расположенный прямо по соседству с батальонным постом боевого управления, обладал таким мощным защитным бронированным покрытием — в особенности с наиболее вероятного направления нападения, — что мог защитить нас даже от огня вражеских танковых орудий.

С тактической точки зрения наши минные заграждения были установлены очень по-хитрому, а артиллерийские расчеты были рассредоточены таким образом, что могли захватить своим огнем в вилку любую вероятную цель на всей эффективной дальности своей стрельбы, а также немедленно переносить огонь на любой требуемый и предварительно пристрелянный сектор. 2-го же ноября состоялось обсуждение всех этих вопросов на дивизионном уровне. В результате было принято решение провести в четырехнедельный срок возведение *зимней* и максимально укрепленной линии оборонительных сооружений, которые не только сделали бы нас почти неуязвимыми, но и послужили бы достаточной защитой от грядущих морозов. И все же мы с неослабевающим нетерпением ожидали прибытия обещанного нам зимнего обмундирования.

Ходили слухи, что эта линия укреплений должна быть построена с привлечением значительных сил резервных подразделений, сил организации Тодта и русских добровольцев, тогда как наши действующие дивизии продолжили бы свое продвижение к Москве. На случай самого неудачного развития нашего наступления мы имели бы возможность отступить на заранее подготовленные и хорошо укрепленные рубежи, провести там остаток зимы и собраться с силами для второго решительного штурма столицы России уже весной. Все считали этот план вполне разумным.

Все эти меры предосторожности были, по сути, следствием рекомендаций опытных боевых офицеров, приписанных к Верховному Командованию, но Гитлер относился к ним негативно, как к стратегически-ошибочным. Фюрер полагал, что если солдаты будут знать, что за спиной у них имеется оборонительный рубеж, куда они могут в случае чего отступить, то от этого пострадает их моральный и боевой дух.

— Гитлер одержим Нибелунгами, — прокомментировал это Кагенек. — Он, скорее, прикажет пожечь все мосты у нас за спиной.

Но пока мы окапывались здесь, другие наши дивизии — те, что были южнее, — все еще очень тяжело и медленно тащились к Москве, а некоторые и оттеснялись в обратном направлении. Они терпели огромные потери в живой силе и технике от ударов, наносившихся по беспомощно барахтавшимся в грязи колоннам со стороны не слишком уже многочисленных остатков оборонявшейся Красной Армии. Нам еще, можно сказать, очень повезло, что мы сумели вовремя достичь нашей цели — Калинина и железнодорожного сообщения Москва — Ленинград. Мы были северо-восточным краеугольным камнем Группы армий «Центр», и когда русские поняли, что наступление со стороны нашего фланга застопорилось, они принялись спешно усиливать противостоящие нам войска дополнительными танковыми, артиллерийскими и пехотными подразделениями. 3 и 4 ноября были легкие ночные заморозки, сковавшие льдом дороги и облегчившие доставку нам боеприпасов и продовольствия, но в то же время и упростившие русским задачу усиления своих частей.

Нойхофф, Беккер и я были — от нечего делать — заняты тщательным осмотром отпущенных нами недавно бородок, когда вдруг в комнату ворвался бегом посыльный из 10-й роты.

— Русские атакуют сектор 10-й роты и соседний батальон значительными силами пехоты и танками! — не переводя дыхания, выпалил он.

Невзирая на интенсивный заградительный огонь нашей артиллерии и противотанковых подразделений, восемь русских «Т-34» все же прорвались на наши позиции в том месте, где линия наших оборонительных укреплений соединялась с аналогичной линией следующего батальона. К счастью, все следовавшие за ними и под их прикрытием пехотинцы были быстро положены на землю плотным огнем наших пулеметчиков. Для начала «Т-34»-е опрокинули, искорежили и вдавили в землю два наших 37-миллиметровых орудия, наглядно

продемонстрировав нам, что против них эти орудия — действительно лишь «противотанковые хлопущки». Шесть из восьми этих чудовищ лихо развернулись на месте и устремились к деревне, расположенной по правую руку от нас, а оставшиеся два, сделав широкий полукруг в объезд, ворвались на главную улицу занимаемой нами деревни с тыла.

Пока эти два стальных монстра с устрашающим ревом и лязганьем катили вдоль улицы, вся деревня как будто вымерла — не было видно ни единой живой души. Буквально каждый солдат затаился в своем укрытии. Я осторожно выглянул сквозь щели закрытых ставен на окнах лазарета и, полный самых дурных опасений, наблюдал, как эти бронированные гиганты проезжают мимо меня на расстоянии всего каких-нибудь трех-четырех метров! Про себя я молился, чтобы русским танкистам не взбрело в голову пальнуть хотя бы один раз по этому нашему маленькому и никому не мешающему домику, иначе быть бы нам всем погребенными под его обломками. Вдруг из-за следующего дома наперерез танкам стрелой метнулся немецкий солдат и швырнул под гусеницы одного из них огромную связку из противотанковой мины и ручных гранат. Громыкнул жуткий взрыв, и танк, будто споткнувшись, замер, охваченный языками разгоравшегося из-под днища пламени. Его экипаж проворно, один за одним, повыпрыгивал наружу и попытался догнать неповрежденный танк, но был сразу же перестрелян нашими. Попытка подорвать подобным же образом и второй танк оказалась неудачной. Связка гранат угодила ему не под днище, а по кузову и, соскользнув с него, упала на дорогу, где разворотила своим взрывом огромную воронку. «Т-34» произвел несколько явно не прицельных выстрелов, не причинивших нам почти никакого ущерба, затем медленно развернулся и рванул вдоль улицы в обратном направлении — вслед за другими, в соседнюю деревню.

Отовсюду — из домов, траншей и прочих укрытий — на улицу хлынули солдаты и все как один кинулись осматривать горевший «Т-34», который на тот момент был самым современным и грозным танком в мире. Он находился в массовом производстве в Сталинграде и Магнитогорске, а также на целом ряде заводов на Урале и в Сибири. Он был ниже, чем все существовавшие до него типы танков, и имел чрезвычайно мощную бронезащиту, а обводы корпуса были спроектированы таким образом, чтобы попадавшие по нему снаряды отскакивали рикошетом, не причиняя практически никаких повреждений. Танк имел сильно бронированную башню, 76-миллиметровую пушку, пулеметы и мог развивать при этом значительно большую скорость, чем любой другой из известных нам танков. Стальное чудовище разгоралось все сильнее, и люди благоразумно расступились подальше. Эта предосторожность, впрочем, оказалась излишней: даже когда внутри него с жутким утробным гулом рванул боекомплект, это не причинило никому никакого вреда, так как, казалось, никакая сила на свете была не в состоянии пробить броню «Т-34» ни снаружи, ни изнутри.

Эпицентр боя продолжал смещаться вправо от нас — туда, где соседний батальон с огромным трудом, но все же справлялся с натиском семи «Т-34»-х, сопровождаемых значительными силами пехоты красных. Однако по завершении боя ко мне на перевязочный пункт было доставлено всего шестеро наших раненых. Одним из них был Земмельмайер — помощник нашего повара. Он навещал своего приятеля из 10-й роты, когда вдруг шальная русская пуля угодила ему прямо в шею. Теперь он лежал в полубессознательном состоянии на полу перевязочного пункта. Земмельмайер был очень бледен и еле дышал. Было ясно, что он потерял очень много крови и к тому же страдал от жестокого болевого шока. Пульс был очень слабым и редким. Пуля вошла в шею тремя сантиметрами ниже левого уха, но по внешнему виду сама эта рана казалась гораздо менее серьезной, чем его общее состояние. Пуля, должно быть, была совсем уже на излете, поскольку, когда я прозондировал рану, я нащупал ее всего в пяти сантиметрах от входного отверстия. Пуля застряла в тканях, чуть-чуть не дойдя до шейных позвонков. Сонная артерия, к счастью, оказалась не задета, иначе Земмельмайер наверняка истек бы кровью насмерть, еще когда его несли на перевязочный пункт.

Состояние раненого позволяло предположить, скорее, чрезвычайно сильное нервное

потрясение, нежели коллапс (резкий упадок сил, изнеможение) вследствие большой потери крови. Вероятно, пуля повредила некоторые жизненно важные вегетативные нервные волокна и, возможно, оказывала критическое давление на какой-нибудь важный кровеносный сосуд или нервный узел. Я очень осторожно ввел в рану пинцет, надежно захватил им заднюю часть пули и, почти не прилагая усилий, сумел извлечь ее наружу. Кровотечение из раны несколько усилилось, но было чисто венозным. Мы немного приподняли пациента, чтобы наложить ему повязку, но при этом его общее состояние вдруг резко ухудшилось. Я велел Мюллеру немедленно приготовить шприц с «Кардиозолом», который стимулировал бы работу сердца и общее кровообращение.

Мы наложили повязку на рану и осторожно опустили Земмельмайера на соломенную подстилку, как вдруг он несколько раз судорожно, но очень слабо хватанул воздух ртом и неожиданно, как-то сразу перестал дышать совсем. Я быстро схватил шприц с «Кардиозолом», ввел иглу в вену на руке и произвел энергичную инъекцию. Мюллер автоматически подал мне стетоскоп, и я стал внимательно прислушиваться к сердцебиению.

— Остановка сердца! — в отчаянии воскликнул я.

Мюллер и Генрих уставились на меня широко распахнутыми от недоумения глазами.

— Умер? — прошептал Генрих одними губами.

— Острый паралич сердца. Придется делать прямую внутрисердечную инъекцию.

От изумления у Мюллера прямо-таки, что называется, отвисла челюсть.

— Да, мы сделаем укол прямо в сердце. Быстрее, Мюллер, десятисантиметровую иглу и один кубик «Супраренина»... Генрих! Тампон с йодом. Живее!

Я обработал йодом область сердца, и как только отбросил тампон, Мюллер подал мне шприц с длинной тонкой иглой. Я осторожно ввел ее в четвертое межреберное пространство грудной клетки. От моей способности попасть с первой попытки точно в предсердие зависела жизнь человека. Я направил иглу вниз, к задней поверхности грудной кости, и на глубине трех сантиметров ощутил легкое сопротивление. Это была сердечная мышца. Значит, пока все шло хорошо. Я быстро прошел сквозь нее, и в этот момент сердце вздрогнуло и сжалось в результате реакции на постороннее механическое воздействие. Игла продолжала свое движение вниз. Теперь она была на глубине примерно пяти сантиметров в правом предсердии. Втянув в шприц немного темной венозной крови, смешавшейся в нем с «Супраренином», я убедился в том, что игла попала точно туда, куда следовало. Медленно произведя инъекцию «Супраренина», я плавно вытаскил иглу обратно. Стимулятор попал точно по адресу; вопрос теперь был лишь в том, достаточной ли окажется введенная доза, чтобы преодолеть паралич.

— Генрих, искусственное дыхание! — резко бросил я и, убедившись, что он все делает правильно, сам принялся за прямой массаж сердца. Прервавшись на несколько секунд, я решил проверить результаты наших усилий с помощью стетоскопа. И услышал то, о чем так молился про себя, — тихие, едва различимые на слух толчки сердцебиения! Сердце снова заработало.

— Мюллер, поднеси зеркало к его губам, — приказал я.

Стекло вначале было чистым, но меньше чем через минуту вначале слегка затуманилось, а потом запотело целиком. Земмельмайер снова начал дышать. Его грудная клетка вначале потихоньку, а затем все энергичнее вздымалась и опадала, вздымалась и опадала — в такт его первым вдохам-выдохам в этой новой жизни после смерти. В качестве дополнительного стимулятора я ввел ему в вену «Лоболин», и дыхание стало заметно глубже и ритмичнее.

Примерно через пять минут Земмельмайер медленно приоткрыл глаза и постепенно сфокусировал взгляд на окружавшей его обстановке, как будто плавно и отнюдь не сразу возвращался к нам очень, очень издалека...

— Где я? — неуверенно спросил он, медленно, одно за другим, обводя взглядом все три наши лица. — Торговцы пилюлями. Клистирные трубки! Значит, я, наверное, ранен. Странно. Это, черт побери, даже как-то забавно.

Мюллер и Генрих рассмеялись.

В довершение — для того, чтобы восполнить значительную потерю крови и поддержать работу сердца, — мы сделали Земмельмайеру переливание 300 миллилитров заменителя крови «Перистон», а затем наконец занялись другими ранеными. К тому времени, как мы закончили с ними, Земмельмайер — как ни удивительно — оправился уже в достаточной степени для того, чтобы быть отправленным вместе с четырьмя другими тяжело ранеными в тыловую госпиталь.

Бой в соседней деревне все еще продолжался, и санитарные машины нужны были там в самую первую очередь — поэтому я решил отправить пять своих тяжелых случаев в тыл колонной из пяти конных повозок. Раненые были тепло укутаны в дорогу шерстяными одеялами и уложены на толстые мягкие соломенные подстилки.

Земмельмайер совсем уже почти ожил и позвал других кухонных буйволов, которые собрались у повозки, чтобы проводить его.

— Так не забудьте же, суп я уже посолил! — в который уже раз крикнул он им из уже двинувшейся повозки.

Генрих, проникшийся благоговейным ужасом, все никак не мог оторвать округленных глаз от этого живучего великана из Кельна.

— Вернувшийся из царства мертвых!.. — тоже уже в который раз зачарованно бормотал он себе под нос.

Повалил снег. Земля была уже достаточно промерзшей и твердой, снег постепенно покрывал ее все больше и больше и, можно сказать, почти на глазах укутал все окрестности пушистой белой мантией. В течение одного дня мы впервые встретились сразу с двумя главными видами оружия, которыми должны были действовать против нас в ходе русской кампании, — с «Т-34» и с «Генералом Зима». По нашему тогдашнему разумению, «Т-34» представлял для нас гораздо большую угрозу; но не прошло и нескольких недель, как мы в корне пересмотрели это наше мнение.

Моя маленькая колонна из пяти конных повозок, каждой из которых правил русский кучер, решительно тронулась в путь прямо по свежеевыпавшему снегу. Кроме пятерых санитаров-носильщиков с ней отправились Кунцль и, за старшего, унтер-офицер Тульпин. Маленький Мориц Мюллера бодро вышагивал во главе этой вереницы, а Макс со своей повозкой замыкал ее. Макса, однако, не устраивало быть разлученным со своим другом Морицем, вместе с которым они прошли по России уже более чем полторы тысячи километров, и кучеру Макса приходилось постоянно сдерживать его. Тульпину я велел после доставки наших раненых в госпиталь заехать на обратном пути вместе с повозками в соседнюю деревню и предложить соседнему батальону нашу помощь в транспортировке их раненых. Я предоставил Тульпину действовать по обстоятельствам, но предупредил его, чтобы он не подвергал колонну излишнему риску. Такое важное «назначение» польстило самолюбивой натуре Тульпина, и он не без гордости и удовольствия ответил мне на него: «*Jawohl, herr assistenzarzt!*» Я прикинул в уме, что к тому времени, когда Тульпин доберется до той деревни, бой там уже закончится и медицинская служба соседнего батальона будет как раз очень остро нуждаться во вспомогательном транспорте.

Я очень гордился своей отважной маленькой колонной и с умилением наблюдал, как они удаляются от нас по деревянному мосту через реку, вьющуюся, подобно длинной темной артерии, по заснеженному ландшафту. Столь мобильного, автономного и надежного транспортного отряда, как мои пять повозок, сказал я тогда самому себе, не имел больше ни один врач во всей дивизии. Они делали меня независимым от санитарных машин и избавляли от необходимости упрашивать выделить мне какой-нибудь транспорт, когда не было ни одной свободной санитарной машины. Я вернулся на перевязочный пункт. Мюллер и Генрих приводили его в порядок, смывая кровь с пола. Мюллер выглядел очень удрученным.

— В чем дело? — спросил я его.

— Все в порядке, herr assistenzarzt.

— И все же что-то не так, — продолжал настаивать я.

— Мюллер беспокоится за нашу колонну, — ответил за него Генрих. — Особенно за Макса и Морица. Он боится, герр ассистензарцт, что унтер-офицер Тульпин может не уберечь их — он слишком много рискует, да и относится к лошадям совсем не так, как мы.

— Они могут запросто сломать ногу на каком-нибудь из этих расшатанных рахитичных мостов, или их могут просто украсть! — не выдержав, взорвался наконец и Мюллер.

— Но ведь все то же самое могло бы случиться, даже если бы с ними был кто-нибудь из нас, — попытался успокоить его я.

— Со мной бы не случилось, — как-то очень убедительно возразил Мюллер. — А кроме того, герр ассистензарцт ведь знает, что в каждой части лошади в дефиците. За ними охотятся даже кухонные буйволы — и воруют их как заправские конокрады. Для их котлов любое мясо сойдет.

— Но ведь, Мюллер, раненые — прежде всего, а Тульпин — достаточно хорошо подготовленный унтер-офицер, разве не так?

— *Jawohl*, герр ассистензарцт, — только и оставалось, что ответить бедному Мюллеру.

Было бы вряд ли уместным говорить тогда Мюллеру, что я приказал Тульпину еще и оказать товарищескую помощь соседнему батальону.

Уже ближе к вечеру зазвонил телефон. Из штаба полка запрашивали информацию по нашему сектору и сообщили о том, что пять «Т-34» прорвались неповрежденными через наши оборонительные линии и благополучно догнали другие части красных; еще двух монстров мы все-таки одолели. Нам предписывалось пребывать всю ночь в боевой готовности.

Чтобы чем-нибудь заполнить тягостное ожидание, я решил навестить Кагенека. Как я и думал, я сразу же нашел его вместе с несколькими его людьми на его ротном посту боевого управления. Все уютно восседали вокруг огромной растопленной русской печи.

— Прямо как зажиточные русские крестьяне, — прокомментировал я эту компанию, стряхивая снег с ботинок.

— Заходи, заходи! Выпей с нами чаю! — весело отозвался Кагенек. — Я тебе вот что скажу: я обнаружил единственно правильный способ заваривать чай — с помощью самовара. Вообще, Россия, должно быть, прекрасная страна — в мирное время! Тройки, бубенцы, поющий самовар и добрая чарка водки... — драматически вздохнул он, подавая мне полную кружку дымящегося чая.

— Да, жаль, что сейчас все не так романтично, — многозначительно кивнул я. — Солдаты снаружи сидят в траншеях без зимнего обмундирования, если не считать, конечно, шерстяных кепок с опускающимися наушниками. А холодный ветер нещадно продувает их потрепанную и изношенную форму.

— Во всяком случае, благодаря морозу значительно упростилось снабжение, — заметил Кагенек. — Да и не так уж на самом деле и холодно — всего-то чуть-чуть ниже нуля, подумаешь!

— Это сейчас. А что, ты думаешь, будет дальше? — не без пессимизма спросил я.

В моей памяти снова само собой всплыло невеселое пророчество старого дровосека: «Жуки откладывают свои личинки очень глубоко в земле — зима, стало быть, будет ранней, долгой и суровой».

— А кстати, у меня есть свежие, прямо сегодняшние новости от Штольца! — резко сменив тему, воскликнул Кагенек. — Он умудрился передать нам весточку с колонной снабжения. Он, представляете, избежал отправки в Германию. Находится сейчас в тыловом госпитале в какой-то русской деревне и надеется, что вскоре снова будет вместе со всеми нами.

— Ох уж этот Штолец! Другие на его месте небо с землей перемешали бы, лишь бы оказаться обратно в Германии.

— Штолец очень понадобится нам этой зимой. Штолец и хотя бы еще несколько таких

же, как он, — задумчиво проговорил Кагенек.

К тому времени, когда я распрощался с теплой компанией Кагенека «у камелька», уже стемнело, и я очень беспокоился из-за того, что до сих пор не было никаких новостей о моей санитарной колонне. Метель снаружи прекратилась, и над горизонтом как раз только что начала подниматься луна, заливая весь окрестный пейзаж своим мертвенным серо-серебряным светом. Время от времени где-то на передовой в воздух взметывались разноцветные сигнальные и осветительные ракеты, как будто напоминая, что временно воцарившиеся вокруг мир и покой — не более чем иллюзия. Подняв воротник мундира, я направился к перевязочному пункту. Снег под ногами был настолько мягким, что я почти не слышал собственных шагов.

Мюллер сосредоточенно листал какой-то армейский журнал; Генрих сидел по другую сторону от керосиновой лампы и писал письмо.

— Никаких новостей насчет Тульпина?

— Совершенно никаких, — мрачно отозвался Мюллер.

Я присел к столу рядом с ними.

— Домой? — спросил я у Генриха.

— Да, моей жене, герр ассистензарцт.

— Где она живет?

— В Хёрсте, недалеко от Детмольда, — ответил он. — У нас там маленькая ферма, и она живет на ней с нашей маленькой дочкой и моим тестем.

— Так ты, значит, воинственный тевтонец! — улыбнулся я.

— Так же, как и Мюллер, — как бы не принимая моего шутливого тона, с достоинством ответил Генрих. — И таких, кстати, в нашем батальоне — большинство.

— Вот и прекрасно! Значит, нам нечего бояться русских. С вашей стороны — как воинственных тевтонцев — было очень любезно принять в ваш батальон и меня.

Но сколько бы я ни старался увести мысли моих товарищей куда-нибудь в сторону от мрачных раздумий о Тульпине и нашей санитарной колонне, у меня ничего не получалось. Да и меня самого терзала совсем уже не шуточная тревога.

— Почему, интересно, Тульпин так задерживается? — не выдержал в конце концов Мюллер, после того как мы примерно с полчаса старательно пытались скрывать друг от друга одолевавшие нас страхи и самые ужасные опасения.

— Не волнуйся, Мюллер. Сегодня ясная лунная ночь.

Мне показалось вдруг, что я услышал скрип конской упряжи. Я рывком открыл дверь и выскочил наружу. По дороге прямо ко мне медленно шла и тянула за собой повозку одна из наших маленьких лошадок. Кучера в повозке, однако, видно не было. Не было на повозке и тента, а внутри нее лежало что-то, напоминающее своей формой завернутого в одеяло человека. Лошадка подошла прямо к двери и остановилась. Это был Мориц. При свете луны я убедился в том, что в повозке лежал раненый немецкий солдат. К счастью, живой и не замерзший, поскольку был хорошо укутан одеялами.

— Тульпин! — позвал я.

Ни слова в ответ.

Следом за мной вышли Генрих и Мюллер с керосиновой лампой. Мюллер поднес лампу поближе к раненому. Это был фельдфебель, причем не из нашего батальона. Пульс у него был нормальный, да и общее состояние вроде бы вполне удовлетворительное. Я спросил у него, что случилось с нашей маленькой колонной.

— Я не знаю, — ответил он. — Насколько я могу вспомнить, мы, как мне кажется, угодили в засаду к русским. Была перестрелка — я слышал взрывы гранат и автоматные очереди. Наша колонна как раз только что выехала из деревни. Не из этой — я не знаю, насколько далеко или насколько близко это было отсюда. Я даже не знаю точно, что произошло. Я ничего не видел и даже пошевелиться не мог, поскольку у меня ранение в живот. Я знаю только, что повозка вдруг рванулась с места и какое-то время ехала довольно быстро. Я этого не видел, но чувствовал и слышал, что лошадь несла ее галопом, а потом

перешла на рысь. Я не знаю, куда мы ехали. Я звал санитаря, кучера, но никого уже не было...

— Мориц ранен! — вскрикнул вдруг Мюллер. — Вот, здесь, посмотрите скорее! Он ранен!

На боку Морица даже в темноте можно было рассмотреть огромную рваную рану в районе почек.

— Посмотрим через минуту, что мы можем с этим сделать, — сказал я и вернулся к фельдфебелю, который действительно оказался из соседнего батальона.

— А как вы очутились здесь? — спросил я его.

— Честное слово, не знаю. Должно быть, мы проделали длинный путь. По-моему, переехали через два моста. Но я это только слышал, а видеть мог лишь небо и звезды. И вот мы ехали и ехали, пока лошадь не остановилась, а сразу вслед за этим появились вы и начали говорить со мной.

— Что ж, Мориц доставил вас по правильному адресу, — покачал головой я. — Позвольте-ка мне осмотреть ваши раны.

Не снимая раненого с повозки, я быстро осмотрел его. Главным и по-настоящему серьезным было ранение мочевого пузыря. Как можно более безотлагательная операция могла бы стать для него хорошим шансом остаться в живых. Я приказал Мюллеру выпрячь Морица и заменить его какой-нибудь лошадейю из штабной конюшни, а Генриху — подготовиться доставить раненого в тыловой госпиталь. И тут фельдфебель совершенно неожиданно разрыдался — видимо, сказалоь вдруг накопившееся нервное напряжение, ранение, да еще и это суровое испытание с бесконечно долгой — в его восприятии — поездкой под зимним звездным небом на никем не управляемой повозке. Успокоившись и взяв себя в руки, он проговорил, обращаясь ко мне, сквозь все еще душившие его спазмы:

— То, что я здесь, герр ассистензарцт, — это всецело милость Господня. Я хочу кое-что сказать вам. Выслушайте меня, прошу вас.

Он рассказал мне, что до того, как оказаться в армии, он изучал богословие в Боннском университете, но терзался тогда мучительными сомнениями по поводу правильности избранного поприща.

— Но во время этой поездки я молил Бога помочь мне, если на то будет Его воля, — продолжал он. — И я всерьез поклялся, что если Он услышит мою молитву, то я посвящу Ему всю свою оставшуюся жизнь. И, герр ассистензарцт, я убежден, что Он ее услышал и произошло чудо. Он привел лошадь прямо к вашей двери.

— Но почему вы рассказываете мне все это? — спросил я.

— Потому, что вы — первый человек, которого я встретил и которому могу *поверить* это. После войны я снова вернусь к своей учебе и никогда больше не устыжусь того, что избрал делом своей жизни богословие. Я не сумасшедший, герр ассистензарцт, просто мое сердце сейчас слишком переполнено!

Появился Генрих в теплой куртке и без лишних рассуждений сразу уселся на козлы повозки и тронулся в путь. Я смотрел, как фельдфебель машет мне рукой на прощание, и знал, что он все еще благодарит Бога за свое маленькое, но глубоко личное чудо.

Мюллер по-прежнему понуро стоял около Морица, ласково и успокаивающе похлопывая его по морде.

— Бедняга, — проговорил он дрожащим голосом. — Кажется, ранение очень тяжелое. Не знаю даже, есть ли какая-нибудь надежда.

Я тщательно обследовал ужасную рваную рану и убедился в том, что она была проникающей в полость желудка, куда уже, вне всякого сомнения, проникла серьезная инфекция. Сделать тут можно было только одно — пристрелить бедное животное, чтобы прекратить его страдания. Не слишком, конечно, щедрая благодарность за героизм маленького храброго Морица.

— Давай сюда коня, — только и сказал я Мюллеру, смотревшему на меня глазами, полными слез.

Он в последний раз похлопал Морица по шее, и тот в ответ вскинул голову, как бы тоже прощаясь. Мы пошли вниз по улице, и я ласково обнимал маленькое чуткое животное за шею, точь-в-точь как это часто бывало раньше, когда мы заканчивали очередной дневной форсированный переход. Я остановился перед домом, в котором размещалась наша кухня, и позвал кого-нибудь из кухонных буйволов.

— Привел вот вам хорошего молодого коня, — сказал я одному из помощников повара. — Он смертельно ранен и все равно умрет, но вообще он идеально здоров.

Буйвол был очень удивлен тем, что коня им привел именно я.

— Пообещайте мне только одно — что его смерть будет мгновенной и безболезненной. Я настаиваю на этом. Вы меня понимаете?

Буйвол изобразил на лице подобие понимающей сострадательной улыбки. Мориц для него абсолютно ничем не отличался от дюжины забитых им за последнее время коней. Взяв у меня поводья, он еще раз кивнул головой и на всякий случай сказал:

— Герр ассистензарцт может быть уверен в том, что все произойдет быстро и наверняка.

Чувствуя себя крайне отвратительно, просто ужасно, я резко повернулся и ушел, оставив Морица, терпеливо и безропотно дожидавшегося у дверей кухни, когда его прикончат. Не успел я отойти слишком далеко, как у меня за спиной раздался выстрел — выстрел, означавший для Морица окончательное завершение длинного пути через Польшу, по Наполеоновской дороге, через Белоруссию, через мост у Полоцка, через озеро Щучье, через Волгу в эту маленькую деревеньку, пути, приведшего его в конце концов к клубящейся паром задней двери батальонной кухни.

Входя в наш перевязочный пункт, я пребывал в чрезвычайно мрачном расположении духа. Погруженный в свою печаль Мюллер неподвижно сидел на ящике с перевязочными материалами, оцепенело уставившись на мерцавший язычок пламени свечи. Никаких вестей о Тульпине так до сих пор не и было. Возможно, Мориц оказался единственным уцелевшим из всей колонны. То, что всех остальных перебили, а ему одному удалось как-то удрать, представлялось вполне вероятным. Чем больше я об этом думал, тем больше уверялся в том, что наша колонна была атакована и уничтожена превосходившими их числом русскими. Картина этой расправы рисовалась мне в самых мрачных тонах. Свеча постепенно оплывала, а медленно сменявшие друг друга минуты текли еще более неторопливой чередой. Ни словом не нарушая тягостную тишину, мы просто ждали, ждали и ждали... В конце концов сидеть на перевязочном пункте мне надоело, и я отправился на батальонный пост боевого управления. Там я рассказал Нойхоффу о возвращении Морица и на всякий случай спросил, не имеется ли каких-нибудь сведений об оставшейся части колонны из штаба полка.

— Нет, никаких сведений, — коротко ответил он мне.

Остальные офицеры, находившиеся на посту, готовились ложиться спать.

— А как вы, доктор, не собираетесь отдохнуть? — спросил Нойхофф. — В конце концов вы ведь ничего не можете предпринять в данной ситуации. Возможно, завтра будет еще большее *Schweinerei* (свинство) — вам следует поберечь себя и хотя бы немного поспать.

— Ну, я по крайней мере дождусь возвращения Генриха, — ответил я. — У меня там в лазарете есть кое-какие дела — так что будет чем занять время. Спокойной ночи!

Мюллер до сих пор восседал на ящике с бинтами все в том же окаменелом безмолвии и неподвижности. Я попросил его дать мне наш батальонный список убитых, раненых и пропавших без вести. В нем было сто восемнадцать имен. В общей сложности сто восемнадцать человек убитых и раненых за период начиная с 22 июня. Много ли это? Нет, на самом деле не так уж и много — чуть менее пятнадцати процентов от общей численности личного состава.

В самом начале списка стояли имена лейтенанта Штока и унтер-офицера Шафера. Далее, но тоже в начале, были Дехорн и Якоби. Потом Крюгер и Шепански, Штольц и Хиллеманнс, Макс Штайнбринк... Для меня все эти имена выделялись на фоне остальных,

будто пропечатанные более жирным шрифтом. Я понимал, однако, что в эту обычную с виду конторскую книгу будет вписано в дальнейшем еще больше имен и что многие из них будут помечены сбоку крестом, означавшим смерть. Это вообще была Книга Смерти, Страданий и Боли. К счастью, я тогда не мог даже предположительно догадываться, насколько длинным получится этот список, сколькими именами он пополнится — в том числе многими очень дорогими для меня — при подведении итогов года.

Голоса снаружи! Мы с Мюллером, сталкиваясь друг с другом, бросились на улицу. К нам приближалась вереница конных повозок и сопровождавших их людей. Я быстро подсчитал: пять повозок, четыре лошади, Тульпин, Генрих, Кунцль и четверо русских добровольцев.

Тульпин подошел ко мне и доложил:

— Все раненые доставлены в госпиталь. Один санитар-носильщик оставлен там тоже, будучи раненым; один доброволец убит; один конь убит и один ранен; повозки-медицинское оборудование в сохранности.

Как же все это отличалось от тех ужасных картин, что я представлял в своем воображении! Я приветствовал их возвращение с такой радостью, как будто сам загробный мир сжалился и решил сделать всем нам бесценный подарок, отпустив их обратно. Меня просто распирало от радости!

— Спасибо, Тульпин, — сказал я. — Очень рад, что вам удалось вернуться обратно.

Я осмотрел колонну более пристально. Маленький Макс тащил сразу две повозки — вторую повозку подцепили к первой, когда был убит тот, другой конь. Мюллер уже тщательно осмотрел маленького Макса с головы до самых копыт.

— Все в порядке, Мюллер? — спросил я его.

— Да, герр ассистензарцт. Он не ранен.

Повозки были выстроены в ряд сбоку от лазарета, а все оборудование и одеяла внесли внутрь. Тем временем Кунцль и другие русские добровольцы отвели коней в конюшню. Когда все мы собрались на перевязочном пункте, я попросил Тульпина рассказать нам, что там у них произошло.

Он благополучно доставил всех наших раненых в тыловой госпиталь, а затем, как я и велел ему, направился в соседнюю деревню. Там им пришлось спрятаться и затаиться, пока не уйдут русские танки. Раненых было как раз пятеро, по числу повозок, — один в живот, другой в легкое и еще трое в бедро. К тому времени, когда они разместили всех их в повозках, уже совсем стемнело. Почти сразу после выезда из деревни они угодили в засаду, но защищались настолько отчаянно, что русские махнули на них рукой и оставили в покое. Вокруг было настолько темно, что отстреливаться приходилось, ориентируясь только на вспышки от выстрелов врага. В самом начале перестрелки русский доброволец, правивший Морицом, был убит прямым попаданием пули в голову. Как только он упал с козел, Мориц припустил галопом и скрылся. Еще один конь был застрелен насмерть, а санитар-носильщик — ранен в руку.

Отбившись от засады, Тульпин и его люди вернулись обратно в деревню, где от соседнего батальона, раненых из которого они везли, им было выделено сопровождение вплоть до самого госпиталя. Всю дорогу Тульпин напряженно вглядывался, как он рассказал мне, в темноту, стараясь высмотреть где-нибудь Морица и увезенного им раненого в живот, но все тщетно. Доехав до места стычки с красными, они подцепили повозку убитого коня к повозке Макса, и дальше колонна уже добралась до госпиталя без дополнительных приключений.

— Генрих к тому времени был уже там, а раненный в живот — на операционном столе. Вот так оно все и было. Это все, — закончил Тульпин.

Когда я добрался до штаба батальона, все там уже спали. Однако Нойхофф, страдавший вот уже много последних недель расстройством сна, бодрствовал.

— Вернулись? — спросил он меня шепотом.

— Да, герр майор, — прошептал я в ответ.

— Все?

— Почти. Все раненные были доставлены в госпиталь. Тульпин угодил в засаду, но проявил себя весьма похвальным образом, герр майор. Я считаю, что его следует рекомендовать для награждения Железным Крестом 2-го класса.

— Подайте мне подробное донесение об этом завтра утром, доктор. Я подключу его к другим ходатайствам о награждениях.

С этими словами Нойхофф пожелал мне спокойной ночи и повернулся на другой бок. Через пару минут, задув свечу, заснул и я, надеясь на то, что в эту ночь русские уже больше не побеспокоят нас.

Они действительно вели себя тихо не только всю оставшуюся ночь, но и значительную часть следующего дня, пока не потеплело и не начал подтаивать снег. Ближе к полудню на батальонном посту боевого управления появился Больски. Отсалютовав, он доложил Нойхоффу:

— Герр майор, я приказал арестовать унтер-офицера Шмидта по обвинению в трусости перед лицом врага, а также в неподчинении приказу.

Маниакальная депрессия, лихорадка и обморожения

Повисла неуютная тишина; Нойхофф выглядел раздосадованным и выведенным из душевного равновесия. Это означало, что рапорт должен был быть отправлен в штаб полка, а за этим последовал бы трибунал и расстрельная команда — если Больски был прав. Все то время, пока Нойхофф ознакомился с содержанием рапорта, Больски с самым решительным и непреклонным видом стоял по стойке смирно. Нойхофф бросил рапорт на свой стол и ничего не сказал.

— Это какой Шмидт? — спросил я. — Шмидт-юрист?

— Да, он самый, — резко ответил Больски.

— Но он же славный парень! — протестующе воскликнул я.

— Если вы полагаете, что он славный, то я тогда уже даже и не знаю, что же такое трус, — грубо перебил меня Больски.

— Не могу понять, — озадаченно проговорил Нойхофф. — Он всегда был хорошим солдатом. Железный Крест 1-го класса, Железный Крест 2-го класса...

После небольшой паузы он обратился прямо к Больски:

— Не желаете ли провести тщательное дополнительное дознание по этому случаю?

— Если данный случай трусости оставить безнаказанным, герр майор, это обязательно скажется самым отрицательным образом на дисциплине во вверенном мне подразделении. Сожалею, но я вынужден настаивать на правильных ответных мерах по моему рапорту, — непреклонно ответил Больски.

— В таком случае пусть все происходит в установленном порядке. Благодарю вас, — отрывисто-грубо проговорил Нойхофф.

Больски отдал честь и вышел.

— Вечно с ним какие-нибудь неприятности, — устало проговорил Нойхофф вслед ушедшему Больски. — Теперь мне придется представить *это* на рассмотрение в штаб полка. Для Шмидта это конец. Этот рапорт будет означать для него расстрел!

Он кинул мне бумаги через стол. Вот что мне удалось из них выяснить.

Русские атаквали правый фланг 10-й роты; все схватились за оружие и кинулись к своим боевым постам. Все, кроме Шмидта, который остался сидеть в блиндаже, ничего не предпринимая. Больски проходил вдоль траншеи и увидел его. Шмидт выглядел неестественно возбужденным, дико вращал глазами, но было件件но, что он скован ужасом. Больски сразу же приказал ему отправляться к своему месту по общему распорядку. Шмидт нерешительно проследовал за ним к находившемуся под его командованием пулеметному отделению, но продолжал оставаться совершенно неактивным и не отдавал никаких приказаний своим подчиненным. Больски вторично — на этот раз уже в присутствии

подчиненных перепуганного Шмидта — приказал ему исполнять свои обязанности, но ответа, подтверждающего получение приказа, опять не последовало. Будучи занят организацией противодействия нападению красных, Больски вынужден был оставить Шмидта, но вернулся к пулеметному расчету позже и обнаружил, что Шмидта там уже нет. Он нашел его опять прячущимся в блиндаже. После завершения отражения атаки Больски арестовал Шмидта и собрал подробные показания свидетелей, которые и присовокупил к своему рапорту.

В свете вышеизложенных подобным образом фактов налицо был явный случай проявления трусости и неподчинения приказу перед лицом врага. И все же поверить во все это было решительно невозможно, особенно когда я вспоминал, как отважно Шмидт защищал ферму с нашими ранеными в первый день войны, какую храбрость проявил у озера Щучье, какую несгибаемую волю проявил при выполнении своего долга 2 октября, за что был награжден Железным Крестом 1-го класса. Вариантов тут было всего два: либо рапорт Больски — фальшивка, либо Шмидт был серьезно болен. Я понял, что мне необходимо переговорить со Шмидтом лично.

Он находился под строгим арестом и под охраной двух вооруженных солдат в комнате, примыкавшей к дежурному помещению. У самого него оружие, конечно, было изъято. Шмидт сидел, съежившись всем телом на стуле, и когда я вошел в комнату, взглянул на меня в высшей степени испуганно и беспомощно. То, как он выглядел, потрясло меня. Совершенно ничего общего с тем энергичным и нагло-шумливым человеком, которого я знал. Прежде чем приступить к беседе, я приказал охранникам выйти на несколько минут из комнаты.

Много времени для того, чтобы прийти к выводу о диагнозе, мне не потребовалось: острая депрессия, хотя я пока еще и не определил, под какую именно категорию подпадает это депрессивное состояние. Несомненно было одно — человек был серьезно болен, болен психически.

— Не волнуйтесь, мой друг. Вы больны, и я помогу вам. Можете совершенно ни о чем не беспокоиться, — сказал я Шмидту. Он взглянул на меня глазами, полными ужаса и отчаяния, но не произнес ни слова. Я позвал охранников и направился к траншеям 10-й роты, чтобы поговорить с кем-нибудь из его друзей.

— Восемь последних дней, — рассказали мне они, — он ходил в каком-то странном меланхолическом состоянии, не проявляя практически никакого интереса ни к чему происходящему вокруг. Его как будто неожиданно подменили совершенно другим человеком, похожим на Шмидта только разве что внешне.

— А как у него было все это время с аппетитом? — поинтересовался я.

По их словам, он почти ничего не ел и просиживал целыми днями напролет один, апатично уставившись в пространство прямо перед собой.

Выбираясь из траншей, я столкнулся нос к носу с Больски.

— Чем обязаны чести столь лестного посещения, доктор? — язвительно осведомился он. — Не часто мы видим вас в наших траншеях.

— Я побеседовал со Шмидтом, а теперь наводил о нем кое-какие справки, — откровенно ответил я.

Лицо Больски мгновенно налилось кровью, а глаза сузились.

— Справки? Не хотите ли вы сказать мне, что пытаетесь признать этого человека невменяемым? Или что еще вы там намерены делать, а, доктор?! Надеюсь, ради вашего же блага, что ничего вредного.

Я ничего не ответил и попытался пройти мимо этого бесноватого, но он и не думал униматься, а, напротив, распалялся все больше и больше.

— Каждое слово в моем рапорте — чистейшая правда, и это подтверждается показаниями свидетелей! — надрывался он, стараясь привлечь всеобщее внимание. — Это случай прямого неповиновения и трусости перед лицом врага. Я настаиваю на этом! — бойко сыпал он явно затверженными заранее фразами. — Это мое и только мое дело, так что

будьте любезны, герр ассистензарцт, не соваться куда вас не просят!

— Будьте добры предоставить мне самому решать, что я должен, а что не должен делать, герр лейтенант, — с трудом сдерживая себя, ответил я. — А вам я могу сказать прямо: этот человек болен и *не предстанет* перед трибуналом.

— Ну, это уже сверх всякой меры! — взорвался Больски. — Вы хотите сказать, что имеете наглость вмешиваться со своими сомнительными идеями и понятиями в вопросы, касающиеся моих полномочий и дисциплины во вверенном мне подразделении?! Этот человек должен предстать перед трибуналом!

— Если ваши полномочия направлены только на то, чтобы засадить этого человека на скамью подсудимых, — мне вас искренне жаль. А что касается лично меня — то смею вас заверить, что выполню свой врачебный долг, чего бы это мне ни стоило. И боюсь, что ваше мнение меня совершенно не интересует.

С этими словами я повернулся спиной к брызжущему слюной и готовому лопнуть недоумку Больски и направился напрямиком к Нойхоффу для доклада по существу вопроса.

Больски уже опередил меня телефонным звонком и наябедничал, что я вмешиваюсь в дела его роты. Это лишь еще больше утвердило меня в моей решимости сделать все так, как я считал нужным. Увы, Нойхофф к тому времени, как того требовали правила, уже отправил рапорт Больски и предъявленные им Шмидту обвинения по инстанции в штаб полка. Он вовсе не был уверен в том, что именно ему делать дальше — в особенности после того, как я сообщил ему о поставленном мной диагнозе и о результатах проведенного мной личного дознания. Никакие уставы и своды правил не предусматривали подобного специфического случая, и Нойхофф оказался в затруднении.

— Так значит, вы требуете, доктор, чтобы унтер-офицер Шмидт был освобожден из-под ареста и доставлен к вам в лазарет для лечения и наблюдения?

— Именно так, герр майор.

— И вы признаете при этом всю ответственность, которую взваливаете себе на плечи?

— Да, герр майор.

— Я, со своей стороны, уже ничего не могу со всем этим поделать — дело теперь находится на рассмотрении в штабе полка.

— Герр майор, вопрос ведь тут совсем не в том, готов я или не готов взять на себя подобную ответственность. Тут дело в моем врачебном долге, в профессиональной этике, в моей совести в конце концов, если уж на то пошло.

— Хорошо. Надеюсь, вы хорошо знаете, что делаете. Это несколько вне пределов моего понимания, так что я умываю руки.

— Герр майор, у Шмидта серьезное психическое заболевание. Это в своем роде практически то же самое, как если бы у кого-нибудь другого случилось воспаление легких или, скажем, сердечный приступ. В подобных случаях пациента отправляют в госпиталь, где ему оказывается особый уход, наблюдение, питание и так далее. И при этом вопрос о том, способен ли он выполнять свои служебные обязанности, до некоторых пор просто даже не рассматривается. Больной всецело переходит на попечение лечащего врача.

— Действуйте, как считаете нужным, доктор, — прервал мою тираду Нойхофф.

Мне было ясно, что он испытывает облегчение от того, что так или иначе, но отвечать ему за все это не придется.

Уже через десять минут Шмидт был пациентом моего лазарета. Я постарался устроить его как можно удобнее и строго проинструктировал весь свой персонал, чтобы они ни при каких обстоятельствах не позволяли ему выходить из помещения на улицу, а также чтобы они ни на минуту не оставляли его одного без присмотра. Вероятность самоубийства, рассудил я, могла быть слишком велика. Я дал Шмидту успокаивающее и уговорил его поспать. Позже — для того, чтобы помочь ему справиться с его страхами и растерянностью, — я назначил еще и опиум в постепенно повышающейся дозировке. В результате его состояние улучшилось, и уже на следующий день наблюдались периоды прояснения сознания, чередовавшиеся, однако, с состояниями глубокой подавленности и

страха. Но мне уже было проще соединить воедино все составляющие общей картины заболевания.

Оказалось, что Шмидт всю жизнь страдал в течение длительных промежутков времени от перемежающихся маниакальных и депрессивных состояний. Один из постоянно преследовавших его в жизни страхов он обнаружил передо мной, когда сказал:

— Вы, конечно, знаете, герр ассистензарцт, что по закону мое состояние подпадает под параграф «Превентивные меры против наследственных заболеваний»?

Шмидт устало замолчал, а затем продолжил:

— И конечно, вы знаете, что если о моей болезни станет известно, то по закону я должен буду оказаться подверженным стерилизации. Но ведь я неплохой юрист, у меня есть собственное дело, есть жена и двое маленьких ребятишек. Стерилизация будет означать для меня полную, окончательную и непоправимую катастрофу, крушение всей моей жизни. О, если бы только моя жена была настолько предана мне, чтобы не бросить меня при этом! — воскликнул он в отчаянии.

— Послушайте меня, Шмидт. Я сделаю так, что вас комиссуют и отправят домой. Депрессивные состояния могут проявляться и как реакция на что-то — как психопатологическое проявление вследствие интенсивного и продолжительного действия внешних раздражителей, особенно в результате сильных стрессов и напряжения. В любом случае это будет диагноз, с которым я отправлю вас домой, но который не будет подпадать под закон о наследственных заболеваниях.

Он ничего не ответил мне на это.

— Вы поняли, что я только что сказал вам, Шмидт? — медленно и с расстановкой спросил я.

— Да, — будто через силу выдавил он из себя после продолжительного молчания, но все тем же усталым тоном и без какого бы то ни было проблеска надежды в затуманенных глазах.

Мое сердце сжималось от боли и сострадания при одном только взгляде на Шмидта. Состояние его было просто отчаянным, даже без учета перспективы оказаться на скамье подсудимых. Он был всецело под властью охватившего его чрезвычайно сильного депрессивного состояния. Шмидт совершенно ясно и полностью осознавал, что должен предстать перед трибуналом по обвинениям, которые, будучи доказанными, означали бы для него только один приговор. Возможная альтернатива этому была не многим утешительнее: он, уважаемый адвокат, будет признан невменяемым и не способным нести ответственность за свои действия, а также почти наверняка будет стерилизован, его случай и его имя станут достоянием гласности, и всю оставшуюся жизнь ему придется прожить под ужасным гнетом бесчестия. Его карьера погибнет, а семья наверняка бросит его. Несмотря на любой удобообтекаемый диагноз, с которым я отправлю его домой, врачи в Германии неизбежно подвергнут его переосвидетельствованию и, вне всякого сомнения, приговорят к смерти при жизни. Положение представлялось совершенно безвыходным. Но самое печальное состояло в том, что Шмидт сам был слишком уж твердо убежден в своей обреченности.

Когда я вернулся в штаб батальона, рапорт Больски уже находился на столе у оберста Беккера. Зная, насколько не по душе была вся эта история Нойхоффу, я попросил его разрешить мне побывать в штабе полка с тем, чтобы лично представить оберсту Беккеру мое медицинское заключение о психическом состоянии Шмидта.

— Да, доктор, я думаю, что так будет лучше всего, — с готовностью согласился Нойхофф.

Оберст Беккер приветствовал меня как старого доброго приятеля:

— Добрый день, Хальтепункт! Как поживаете?

— Как всегда прекрасно, герр оберст. Разрешите мне обратиться к вам, герр оберст, по одному конкретному вопросу.

— Слушаю вас, Хальтепункт. Что за вопрос? Проходите и садитесь.

— Я хотел бы доложить вам, герр оберст, — продолжал говорить я, оставаясь стоять по

стойке «смирно», — что унтер-офицер Шмидт был освобожден из-под строгого ареста по причине его серьезного психического заболевания, в результате которого он не в состоянии нести ответственность за свои действия.

— Ну, во-первых, Хальтепункт, сядьте, а во-вторых, расскажите мне по порядку, в чем там дело. Вам должно быть прекрасно известно, что арест есть арест и он не может быть отменен без достаточно веского на то основания.

— Унтер-офицер Шмидт страдает от маниакальной депрессии.

— Что означают эти термины, доктор? Мне они совершенно непонятны.

— Это очень серьезное психическое расстройство, опасное для жизни нарушение психики, требующее особого лечения.

— Это мне понятно, Хальтепункт, но давайте все же ближе к делу, отбросив ненужную лирику и слишком уж растяжимые понятия. Постарайтесь выражаться так, чтобы вас мог понять даже совершенно несведущий в данном вопросе человек. Вы имеете в виду, что Шмидт сумасшедший, я правильно понимаю?

— Да, герр оберст, в настоящее время он совершенно безумен, но в дальнейшем ему еще можно будет помочь вернуться в нормальное состояние.

— Один вопрос, доктор, если можно. Вы должны уже достаточно хорошо знать меня, так что давайте перейдем к главному. Поставленный вами диагноз будет иметь вес лишь в том случае, если будет принят трибуналом как несомненное доказательство невменяемости Шмидта. Вы уверены в том, что все произойдет именно так?

— Мой диагноз абсолютно верен, герр оберст, — без малейших колебаний ответил я. — И я не сомневаюсь в том, что он будет иметь вполне достаточный вес.

— Что ж, очень хорошо, Хальтепункт.

Беккер неожиданно протянулся за рапортом Больски и, к моему изумлению, преспокойно порвал его пополам, а затем, не читая моего рапорта, проделал то же самое и с ним.

— Вот и все, насколько это зависит от меня, — только и сказал он.

— Я искренне благодарен вам, герр оберст.

— Теперь дело за вами, доктор. Что касается лично меня, то я очень рад тому, что этот неприятный инцидент исчерпан.

* * *

Едва мне удалось справиться с одной проблемой в лице скудоумного скандалиста Больски, как батальон постигла следующая напасть — на этот раз в виде лихорадки, причем по причудливой иронии судьбы первой же ее жертвой оказался я сам. Первые три дня приступов прошли для меня в почти полном беспамятстве, при невероятно высокой температуре и чудовищных болях практически всех членов тела, в особенности рук и ног. Поздним вечером третьего дня эти почти не отпускавшие боли все еще немилосердно терзали мои конечности, и к тому же я почувствовал приближение очередного приступа сильной дрожи, больше походившей — особенно местами — на конвульсивную тряску всем телом. Мюллер заметил проявляемое мной беспокойство и принес мне чашку свежесваренного чая. Я сделал несколько маленьких глотков, но поскольку вкусовое восприятие было сильно искаженным, почувствовал во рту лишь отвратительный привкус какого-то вонючего меха. Остатками чая я запил еще несколько таблеток «Пирамидона». Снаружи опять загрохотал где-то в отдалении пулемет.

— Посмотри-ка, Мюллер, не русские ли это нас атакуют?

Мюллер выглянул в окно и ответил:

— Не беспокойтесь, герр ассистензарцт, там не происходит ничего особенного.

Я снова тщательно проверил свой пистолет и попросил Мюллера передать мне еще патронов. Мой мундир висел рядом со мной на стуле так, чтобы можно было быстро надеть его, а ботинки — для той же цели — стояли тут же, у трех составленных вместе ящиков,

служивших мне кроватю. Мюллер устроился поспать, а я прислушивался к тиканью своих наручных часов и все думал о Марте, о доме, о моих братьях и сестре, и опять, и опять — обо всем том же самом по кругу, всю ночь напролет. С некоторым усилием я заставил себя осознать, что если облегчение в моем состоянии наступит раньше следующего полудня, то мой случай можно будет считать более легкой разновидностью лихорадки — «Волховской лихорадкой», только нужно постараться отнестись с юмором ко всем моим мрачным размышлениям о вечном. Ранним утром сон все же сморил меня, а к полудню температура действительно заметно спала, и я почувствовал себя значительно лучше.

В тот день нам доставили первый экземпляр новейшей 88-миллиметровой зенитной пушки, и Кагенек незамедлительно приступил к ее опробованию. Это было огромным облегчением для всего нашего батальона — наконец-то мы имели в своих руках оружие, способное реально противостоять «Т-34». Теперь мы могли открывать эффективный огонь по этому чудовищу с расстояния в тысячу метров и даже более. Мы были уже наслышаны, что это исключительно высокоточное оружие, не терявшее к тому же своей убойной силы даже при ведении прицельного огня со значительного удаления от цели. Душевный подъем, охвативший в этой связи весь батальон, распространился даже на наш лазарет. Люди уже почти мечтали вступить в следующую схватку с «Т-34». Мы с нетерпением ждали их появления весь тот день, однако со стороны противника не наблюдалось абсолютно никакой активности.

Как я и ожидал, мое самочувствие в течение дня значительно улучшилось, температура снизилась почти до нормальной, а боли в конечностях я продолжал заглушать громадными дозами «Пирамидона». Я почувствовал себя настолько лучше, что даже попытался переделать самые неотложные работы по лазарету. Выходить на улицу, где температура воздуха колебалась около нуля, я пока все же не отважился.

В ожидании возможного рецидива болезни, 10 ноября, т. е. через четыре дня после первого приступа, я принял основательную дозу «Сульфонамида». Мои опасения оказались не беспочвенными — ближе к вечеру ожидаемый приступ лихорадки навалился на меня с немилосердной жестокостью. Он казался даже намного сильнее самого первого. К счастью, русские нас в тот день не беспокоили — с обеих сторон наблюдались лишь вялые эпизодические постреливания между патрулями. Ночь снова тянулась бесконечно, и меня опять одолевало ощущение невыносимого одиночества и тоски по дому. Я был просто не в силах противиться всем этим роящимся в мозгу мрачным раздумьям. Но даже эта ночь подошла к концу, и к следующему полудню лихорадка отступила. Оказалось, что это был последний приступ. Я стремительно, буквально на глазах приходил в себя и уже к вечеру почувствовал, насколько все-таки хорошо быть живым и здоровым!

* * *

13 ноября мы проснулись от непривычно сильного холода. Сильные порывы пронизывающего насквозь ледяного северо-восточного ветра вспарывали наметенный снег будто ножами. Небо было безоблачным и сочно-голубым, но солнце как будто утратило всю свою силу, и вместо потепления к полудню, как это было в предыдущие дни, к вечеру столбик термометра упал до минус двенадцати по Цельсию.

Солдаты, которые не придавали до этого слишком серьезного значения легким заморозкам, стали наконец поеживаться. Одному из них, проведенному не так уж и много времени на улице без шерстяной *Kopfschutze* г на голове, пришлось даже явиться к нам в лазарет. Оба его уха были мертвенно белыми и твердыми на ощупь, как замороженное мясо.

Это был самый первый случай обморожения в нашем батальоне.

Мы осторожно массировали уши солдата, стараясь не повредить кожу, и они постепенно начали оттаивать. Присыпав уши тальком, мы прикрыли их утепляющими ватно-марлевыми тампонами и зафиксировали их повязкой на голове. Возможно, нам и удалось спасти ему уши полностью — оставалось только ждать и наблюдать.

Столь незначительный, можно сказать, случай обморожения был все же серьезным предупреждением всем нам. По степям со стороны Сибири в нашу сторону дули настолько ледяные ветры, что мы называли их «дыханием смерти».

Это были ветры оттуда, где невозможна сама жизнь как таковая — с самой арктической ледяной шапки нашей планеты. Если бы мы не разместились заблаговременно на подготовленных к зиме позициях и в отапливаемых домах, наше положение могло оказаться еще хуже. Мне даже думать было страшно о тех наших частях, которые в тот самый момент продвигались к Москве по открытому незащищенному пространству. Единственным более-менее теплым предметом форменной одежды, который мы имели, были шерстяные *Kopfschutzers* ; зимнего обмундирования мы так до тех пор и не получили. Можете себе представить, что творилось с ногами людей, если очень значительная часть их была обута в обычные летние армейские ботинки, почти не удерживавшие никакого тепла!

И ведь тогда термометр показывал пока лишь двенадцать градусов ниже нуля... А ведь температуре еще предстояло упасть до минус двадцати четырех градусов... — до минус тридцати шести градусов... — и даже до минус сорока восьми градусов! Я почти не удивился бы, если бы она опустилась еще ниже. Высовываться на улицу без теплой одежды было в таких условиях равносильно самоубийству. Как же были правы наши генералы более старой школы, когда советовали нам после битвы за Вязьму и Брянск «окапываться на зиму»! Они знали, о чем говорили, — ведь многие из них имели опыт пребывания в России во время Великой войны 1914–1918 годов. Самое большее, на что мы реально способны в ходе зимней кампании, говорили они, — это продолжать боевые действия лишь несколькими тщательно экипированными и хорошо снабжаемыми дивизиями, а главный удар отложить до весны. К превеликому сожалению, к подобным мнениям, конечно, очень мало кто тогда прислушивался.

Если бы только битва за Москву началась на четырнадцать дней раньше — город теперь был бы в наших руках. Или если бы дожди хлынули попозже на четырнадцать дней.

Если бы... если бы... если бы... Если бы Гитлер приступил к выполнению плана «Барбаросса» на шесть недель раньше запланированного; если бы он предоставил Муссолини действовать на Балканах самостоятельно, а с высвободившимися таким образом дополнительными силами напал бы на Россию в мае; если бы мы продолжили наше стремительное и победоносное наступление на Москву вместо того, чтобы застрять у озера Щучье; если бы Гитлер обеспечил нас зимним обмундированием... Если бы... если бы... если бы... — теперь, увы, было уже слишком поздно.

А эти арктические ветра, заставшие нас почти врасплох на наших более-менее защищенных позициях и выкашивавшие в несметных количествах наши войска, двигавшиеся не защищенным ничем походным порядком! Через пару дней у нас насчитывалось уже около сотни тысяч случаев обморожения; сто тысяч первоклассных, опытных солдат были выведены из строя по глупейшей причине — лишь из-за того, что ударившие морозы оказались для них слишком суровой «неожиданностью».

Нойхофф и я даже обсуждали наиболее эффективные из имевшихся способов защиты наших людей от обморожений. Было, в частности, приказано обязательное ношение *Kopfschutzers* и перчаток, а в особенно холодные дни — всего имевшегося в наличии нательного белья. Особым приказом предписывалось постоянное ношение сухих шерстяных носков. Рекомендовано было также не обуваться в излишне тесные ботинки, а при необходимости — растягивать их специально предназначенными для этого приспособлениями.

Однако самым главным моим оружием против русских морозов были... газеты — по крайней мере, до тех пор, пока не прибыло наконец зимнее обмундирование. Скомканные куски газеты занимали в ботинках не слишком много места, и их можно было легко и часто менять. Пара листов газеты на спине, между мундиром и нательной рубашкой, помогали сохранять тепло тела и не продувались ветром. По газете на грудь и на живот, газету в штаны, по газете-другой вокруг ног, т. е. везде, где тело нуждалось в недостающей защите от

мороза.

Теперь главный вопрос: где взять столько газет? Я отправился за ними на своей машине в тыл, где интендантские подразделения уже вовсю готовились к статичной зимовке. В тыловых подразделениях даже и не помышляли о возможности подобных отчаянных мер защиты от зимних морозов. Газета была для них просто газетой. Мы нашли старые немецкие газеты, русские газеты, журналы, тысячи пропагандистских брошюр и листовок. Некоторые из них были с нашей собственной пропагандой, на других красовались портреты Ленина и Сталина. Для начала мы запаслись более-менее достаточным количеством этой макулатуры, и нас еще развеселила тогда мысль о применении листовок с русской пропагандой для согревания немецких солдат. Вслед за первым рейдом на машине я еще не раз посылал по уже разведанным местам наши конные повозки, и вскоре в подразделениях второй линии стали ходить анекдоты о бородатом докторе и его охотниках за макулатурой. Таким вот образом я стал еще и нарицательным комическим персонажем.

Вскоре мы научились еще и очень ценить дома и избы русской постройки, а также узнали о том, что даже самые неимущие из русских бедняков умели защитить себя от самых лютых морозов. Во-первых, каждый дом был выстроен вокруг огромной печи с внушительных размеров очагом с одной из ее сторон. Вся жизнь в доме концентрировалась вокруг этой печи. Внешние стены домов были выложены из толстых бревен, а щели между ними плотно заделывались мхом, чем обеспечивалась вполне надежная защита от ветра и непогоды. Многие дома имели еще и внутренние стены, сложенные из массивных камней и глины, которые вбирали в себя и могли довольно долго сохранять тепло от печи. Весь дом, таким образом, еще несколько часов мог излучать собой уютное тепло уже после того, как погасал огонь в печи. Печи никогда не бывали слишком горячими и, уж конечно, никогда не бывали холодными. Самая бедная крестьянская семья — если испытывала проблемы с дровами для протопки всего дома — могла устраиваться на ночлег прямо на печи, для чего там имелось достаточно широкое и специально предназначенное для этого место. Каждый дом имел деревянные потолки, соломенную кровлю на крыше и двойные окна, которые никогда не открывались в течение всей зимы. В Князево почти все дома были одноэтажными и имели только две комнаты: жилая комната с кухней, отделенной деревянной перегородкой, и вторая комната, в которой иногда встречалась такая роскошь, как пара простых кроватей.

Сзади к дому пристраивался сарай для коров, свиней и прочей скотины, и это пространство отделялось от дома лишь деревянной стеной — для того, чтобы быть в зимнее время поближе к главному для всех источнику тепла — печи.

В течение всей зимы русский деревенский житель мылся крайне редко, если вообще мылся. Пригоршни холодной воды по утрам было вполне достаточно для того, чтобы смыть сон из глаз. Но зато летом они отыгрывались за грязную, но теплую зиму в десятикратном размере. Метрах в пятидесяти позади каждого дома имела парная *баня*. Баня была тоже бревенчатой, но окон не имела. В центре небольшого, но, как правило, высокого помещения бани располагалось несколько плоских камней, на которых выкладывался очаг для разведения огня. Вдоль одной из стен имелось несколько широких деревянных полок, располагавшихся одна над другой. У противоположной стены стояли бочки с водой.

Процесс посещения бани совершается коллективно — всей семьей, а порой еще и с одним-двумя соседями за компанию, — и это, своего рода, целое искусство. Огонь разводится до такой степени, что камни раскаляются докрасна; затем ковшом из бочек на них плещется вода, в результате чего образуется облако пара, заполняющее собой весь объем парной комнаты. Парящиеся рассаживаются по полкам — чем выше, тем горячее. Когда поры тела раскрываются и пот устремляется наружу, мужчины и женщины начинают хлестать тела друг друга вениками из свежесорванных березовых веток с густой листвой — для того, чтобы дополнительно усилить циркуляцию крови. При этом распаренные веники источают вокруг себя непередаваемо дивный аромат, сравнимый разве что с самой весной. Парятся и хлещут друг друга вениками обычно пятнадцать-двадцать минут, в зависимости от того, кто сколько может выдержать — ведь подобная процедура оказывает весьма сильную

нагрузку на сердце. Затем все тело окатывается холодной водой и энергично растирается грубым полотенцем. Некоторые любят сразу после парной окунуться абсолютно голыми в снег и даже в прорубь с ледяной водой или же просто весело порезвиться всем семейством на свежем воздухе.

Если делать все грамотно, с умом, то баня — прекрасное общетонизирующее и повышающее настроение средство. Первый же опыт посещения бани понравился мне настолько, что я немного увлекся, а потом и не на шутку встревожился, так как в течение целых двух часов после нее никак не мог унять учатившееся сердцебиение, частота которого составляла сто двадцать ударов в минуту.

За банями располагаются огромные общественные амбары, где хранятся запасы зерна и овощей. Как и в домах, в которых находится только самое необходимое, вся жизнь русского крестьянина подчинена лишь конкретным, практическим целям и задачам. На полях выращиваются только культуры самой первой необходимости: различные виды репы, капуста, пшеница и подсолнечник. Практически каждый деревенский житель имеет свой собственный участок земли умеренных размеров, так называемый *огород*, а также одну-двух коров или, если он не слишком богат, только коз или овец. Конечно, практически у каждой семьи обязательно имеется хоть какая-то лошадь, которая запрягается летом в телегу, а зимой в сани. Обычно по двору разгуливает еще и некоторое количество домашней птицы, в основном куры.

Разведением породистого скота и выращиванием зерновых культур в больших масштабах занимались только *колхозы* — крупные коммунальные фермерские хозяйства. Каждый — мужчина, женщина, ребенок — обязан был выполнять в колхозе определенную урочную работу, и свободного времени от этой обязательной для всех работы оставалось очень мало. Исходя из этого, право на владение собственным скотом и индивидуально обрабатываемой землей ограничивалось для каждой семьи вполне определенным минимумом. Крошечный процент от прибылей колхозов — да и то в зависимости от размера урожая — получали только те, кто работал в них особенно активно. Выплачивались эти проценты зерном или деньгами и составляли примерно от ста до ста пятидесяти килограммов зерна в год на каждого колхозника. Эти действительно впечатлявшие своими масштабами колхозы, систематически организовывавшиеся по всей стране, имели от 80 000 до 240 000 гектаров посевных площадей каждый и абсолютно доминировали во всей сельскохозяйственной экономике России. Руководство каждым из них возлагалось на председателя из числа членов Коммунистической партии и на его большевистских помощников.

Установленная Сталиным тактика выжженной земли очень сильно ударила в первую очередь по самому гражданскому населению России. Отступавшие солдаты и специально организованные для этого группы гражданских лиц неукоснительно выполняли сталинский приказ: «Не оставлять врагу ни килограмма зерна, ни литра горючего. Колхозникам — эвакуировать все запасы продовольствия. Все, что может быть использовано врагом, должно быть уничтожено». Тот факт, что на занимаемых германской армией территориях вынуждены были остаться миллионы местных гражданских жителей, попросту как бы даже и не принимался во внимание.

Когда установилась холодная погода, к нам стали подходить отдельные русские крестьяне с вопросами о том, что станет с ними этой зимой — ведь у них не было достаточных запасов продовольствия, чтобы дотянуть хотя бы до весны. Мы только и могли ответить им, что нам самим не хватает еды, упирая на то, что это именно их Сталин, а не мы, приказал применять тактику выжженной земли. Немного успокаивали их лишь наши заверения в том, что мы сможем помочь им продовольствием не ранее, чем падет Москва. Нам еще повезло, что благодаря исключительно высокому темпу нашего наступления русские просто не успели реализовать сталинскую тактику в Калинин, и в результате нам в руки попали огромные зернохранилища и склады с продовольствием.

Для расквартирования нашего личного состава мы экспроприировали в Князево

половину всех домов: их жители были временно переселены в дома другой половины. Однако для обеспечения максимальной защищенности наших людей от морозов нами рассматривалась даже желательность и возможность полной эвакуации из Князево всего русского населения.

На батальонном пункте боевого управления зазвонил полевой телефон. Ответивший на звонок Ламмердинг повернулся к нам и произнес лишь одно слово:

— Почта!

Долгожданное слово мгновенно разнеслось по всему батальону подобно молнии. Это была первая почта, полученная нами с конца сентября, и всего третья по счету с начала кампании почти пять месяцев назад.

Для того чтобы ускорить процесс, я спешно отправил на наше почтовое отделение Фишера на моем «Опеле», а все мы, в приподнятом настроении, немедленно стали готовиться к тому, чтобы отметить вечером это радостное событие небольшим праздничным застольем. В и без того громадных русских печах был разведен щедрый огонь, откуда ни возмись возникли дополнительные пайки чая, а все мы, прямо как дети, ожидающие начала праздника, с нетерпением слонялись вокруг, пока почтовые служащие рассортировывали письма по ротам.

Снег

Увы, не каждое письмо принесло с собой радостные известия. Некоторые демонстрировали всем вокруг фотографии жен, детей, любимых девушек, другие же сидели, уставившись в одну точку и окаменев от свалившегося на них горя — для них в этот момент перестал существовать весь мир.

Среди последних был, например, Зеельбах, у которого во время воздушного налета на Дюссельдорф погибла вся семья: отец, мать и трое младших сестер. Они были похоронены уже два месяца назад, а узнал он об этом только сейчас. Длинное письмо, написанное им матери буквально накануне, не имело теперь своего адресата. Он порвал его. Деревянную лошадку, кораблик и забавную дергающуюся фигурку на ниточке, которые он столь старательно вырезал из дерева для своих маленьких сестреноч, он раздал теперь своим товарищам. Фельдфебель Штеммер из 10-й роты, долгое время не имевший никаких известий от своей жены, получил теперь письмо от соседа, в котором тот подробно живописал поведение, а затем и исчезновение фрау Штеммер. Штеммер был ошеломлен и жаждал теперь только одного — оказаться в Германии, разыскать жену и убить того, другого. Однако все мы были далеко, за Волгой, и не имели возможности сделать хоть что-то, что могло бы повлиять на ход событий в Германии. Даже письма шли отсюда до дома неделями. Из-за ощущения собственного бессилия многие чувствовали себя очень подавленно.

От Марты было где-то тридцать с лишним писем. Все они были ею пронумерованы, и таким образом выяснилось, что в пути затерялось лишь четыре из них. Она отказалась от ангажемента в Венской Народной Опере и была снова в Дуйсбурге. Она делилась со мной своими планами по поводу празднования нашей помолвки: это должно было быть узкосемейным событием, всего с несколькими приглашенными друзьями, в доме моего брата в Крефельде. Все уже были заняты приготовлениями, делали запасы; Марта писала, что в наших погребах уже заготовлены и ждут своего часа шампанское, вина и ликеры из Франции, рейнвейн и мозельвейн. Главное, что у нее не было никаких сомнений по поводу даты нашей помолвки: самое позднее — в январе. Газетные вырезки, вложенные ею в письма, рисовали положение на фронтах в самых розовых тонах. Шеф германской прессы Дитрих предсказывал мирное и многообещающее Рождество; по его заверениям, кампания на востоке к тому времени завершится, поскольку уже сейчас она, со всей очевидностью, почти выиграна. Красная Армия потерпела смертельное поражение и больше никогда уже не воспрянет, а все, что останется сделать, — это лишь «полицейские зачистки». Пропаганда —

коварное оружие; ее битва за умы может считаться уже выигранной, если у людей присутствует желание верить в нее. Даже мы — вопреки всему тому, что видели собственными глазами, — наполовину верили Дитриху в том, что война будет выиграна нами уже к Рождеству.

Настал подходящий момент для того, чтобы откупорить припасенную мной бутылку коньяка. Генрих принес ее мне, и я ненадолго оторвался от чтения писем для того, чтобы провозгласить тост за Марту.

— Боже все милостивый! Посмотрите-ка на это! — воскликнул Нойхофф. — Этот хитрец тащил с собой бутылку коньяка всю дорогу от Франции до Москвы и только сейчас решил рассекретить ее!

— Просто это Марта только что разрешила ему открыть ее, герр майор, — вставил Ламмердинг.

— Где вы ее взяли? — с изумлением поинтересовался Беккер. — А еще интереснее, где вы ее все время прятали?

— Извините, но этого я вам сказать не могу. Врачебная тайна. Я связан клятвой Гиппократ.

Входная дверь вдруг с шумом распахнулась, и посыльный из 9-й роты взволнованно доложил:

— Русские только что захватили в плен унтер-офицера Бирманна, герр майор!

— Как это случилось?

— Он был в наряде на выносном наблюдательном посту, герр майор, и незадолго до того, как его должны были сменить там, на него неожиданно напали русские лазутчики и силой утащили в расположение своих частей.

— Откуда вам известно, что его утащили живьем?

— Солдаты в траншеях позади него услышали его вскрик, — объяснил посыльный, — и бросились ему на помощь, но когда оказались на месте, то обнаружили там лишь его винтовку и каску. А следы на снегу указывали на то, что, когда его тащили, он сопротивлялся. При этом не было произведено ни одного выстрела, герр майор.

— Благодарю вас, — хмуро кивнул Нойхофф.

Посыльный отдал честь и вышел.

— Ну, с этим теперь уже ничего не поделать... Русские постараются вытянуть все, что ему известно, о наших позициях, а затем, вероятно, расстреляют. Проклятие! Проклятие! Проклятие!

Повернувшись к Ламмердингу, он распорядился:

— Проследите за тем, чтобы все командиры рот были предупреждены. Наблюдателям на выносных постах: при малейших признаках проявления активности врагом немедленно возвращаться в траншеи и поднимать тревогу.

На том все в тот раз и закончилось. Бирманн — первый человек из нашего батальона, угодивший в плен к красным, — был затем вычеркнут из списков личного состава, Титжен отправил письмо о случившемся его родным, а четырнадцать нераспечатанных и неп прочитанных писем, пришедших тогда с почтой, были отправлены обратно его молодой жене.

Больше мы никогда ничего о нем не слышали.

* * *

Пару дней спустя прибыло наше зимнее обмундирование... Каждой роте причиталось всего по четыре шинели с теплой меховой подкладкой и по четыре пары подбитых изнутри войлоком ботинок. Четыре «комплекта» зимнего обмундирования каждой роте! Шестнадцать шинелей и шестнадцать пар зимних ботинок на весь батальон численностью восьмьсот человек! В довершение ко всему эта скудная поставка совпала с внезапным и резким похолоданием до минус двадцати двух градусов.

До нас стали доходить сведения о том, что вопрос об обеспечении зимним обмундированием частей, непосредственно наступающих на Москву, больше вообще не входит в общий план снабжения. Так, кое-что, да и то чисто случайно. В штабы корпусов и армий поступало все больше и больше рапортов с вполне разумной рекомендацией отложить наступление на Москву армией, имеющей лишь летнюю форму одежды, а вместо этого обратить большее внимание на подготовку зимних позиций. Некоторые из этих рапортов были отправлены штабом Группы армий «Центр» прямиком в ставку Гитлера, но оттуда на это так и не поступило ни одного ответа или хотя бы подтверждения получения этих рапортов. Звучал лишь один настойчивый приказ: «Атаковать!» И наши солдаты атаковали...

На юге пал Ростов, а на нашем участке фронта стальное кольцо вокруг Москвы сжалось еще на немного. Однако в дежурной комнате нашего штаба ни у кого не было ни малейших сомнений по поводу того, что трогательные масштабы поставок нам зимнего обмундирования могут означать только одно — что нам прикажут окопаться здесь на всю зиму.

— Там ведь не дураки сидят, в ставке фюрера, — услышал я однажды мнение по этому поводу одного дежурного унтер-офицера. — Если бы нам не предстояло окапываться — они послали бы нам больше зимней одежды. Вполне логично.

Унтер-офицер Штефани, являвшийся общепризнанным «мозгом» в нашей дежурке, снял однажды со стены карту России и отчетливо обвел кружочками самые важные занятые нами города, которые, по его мнению, должны были составить главные центры поддержки головных подразделений, расположенные непосредственно позади нашей зимней линии фронта: Таганрог, Сталино, Харьков, Орел, Вязьма, Ржев, Калинин, Старая Русса и Нарва. В течение всех зимних месяцев, сказал он, через эти города будет обеспечиваться снабжение всей линии фронта. Затем он взял красный карандаш и последовательно соединил все эти кружочки четкой толстой линией, а вдоль этой линии аккуратно подписал: «Зимние позиции — 1941/42».

К несчастью, «знатоки» из нашей дежурки оказались не лучшими провидцами, чем и все мы. Не ошиблись они лишь в одном: шестнадцать пар ботинок и шестнадцать шинелей так и остались единственным дошедшим до нас зимним обмундированием.

На несколько последующих дней только было установилась немного более теплая погода, как сразу же последовала и «компенсация» в виде сильного снегопада, в результате которого все окрестности оказались покрытыми сугробами в метр глубиной. На нашем участке фронта не происходило ничего особенного, за исключением разве что ежедневных, но совершенно беспорядочных и неприцельных постреливаний артиллерии красных. Даже нашу замечательную 88-миллиметровую пушку от нас и то забрали.

Однако далеко в тылу от нас кое-что все-таки происходило: почти каждый день обнаруживали себя отряды русских парашютистов-диверсантов — в тридцати, в восьмидесяти и даже в ста шестидесяти километрах позади нас. В результате проведенных расследований и допросов гражданских жителей выяснилось, что помимо диверсионно-десантных отрядов красные систематически забрасывали к нам в тыл еще и молодых фанатичных коммунистов, которые рекрутировали местных жителей, беглых уголовников и прячущихся красноармейских диверсантов и различными посулами формировали из них банды настоящих головорезов, которых мы называли *гориллами*. Эти банды являли собой очевидную и печальную иллюстрацию того, что мы так и не снискали слишком больших симпатий среди русского гражданского населения. Если бы мы, например, просто упразднили колхозы и по справедливости распределяли землю между крестьянами, то тогда была бы надежда на то, что сейчас они выдавали бы нам вожаков этих горилл. Вместо этого следом за нами в Россию вошли колонны Розенберга в коричневых рубашках. Вошли с конкретной задачей — стать новыми политическими хозяевами. Они явились не для того, чтобы даровать свободу, но для того, чтобы подавлять и господствовать. Система колхозов уцелела, только теперь над ними властвовали не красные, а коричневые.

В один прекрасный день на стол дежурной комнаты штаба нашего батальона лег лист бумаги с приказом из штаба дивизии, гласившим: «3-му батальону 18-го пехотного полка приказывается немедленно выделить одну роту в целях противодействия активности диверсионно-десантных отрядов противника, действующих в наших тыловых областях. Рота должна быть полностью экипирована и готова к немедленному покиданию боевого порядка в составе батальона. Предполагается, что вышеозначенные операции займут от шести до восьми недель».

Какую выделить роту? Вот какой непростой вопрос возник перед рассеянными в раздумье вокруг стола Нойхоффом, Ламмердингом, Беккером и Кагенексом. Штольц еще не вернулся в свою 10-ю роту, а Больски вряд ли можно было назвать офицером, достаточно опытным, надежным и готовым к тому, чтобы командовать ротой, которой предстояло действовать автономно в условиях неизвестности и повышенной опасности. Обер-лейтенант Крамер, командовавший 11-й ротой, не отличался достаточно крепким здоровьем, да и к тому же для подобной работы у него было туговато с воображением. Выбора больше не было, оставалось только отрядить для выполнения этого задания Титжена и его 9-ю роту. Обер-лейтенанту Титжену было приказано явиться в штаб батальона, где ему были разъяснены его новые обязанности.

— *Jawohl*, герр майор, — только и ответил он на это, не выказав ни тени удивления, но в его глазах при этом все же просматривались смешанные ощущения радости и гордости от того, что это задание поручено именно ему, и сожаления по поводу того, что приходится расставаться с батальоном.

На следующее утро в девять часов 9-я рота прошла парадным маршем с полной боевой выкладкой перед проверявшими их майором Нойхоффом и оберстом Беккером. Был относительно теплый денек — всего несколько градусов мороза, но на летнюю униформу уходившей от нас 9-й роты медленно опускались крупные и пушистые хлопья снега.

Мы больше никогда не видели ни обер-лейтенанта Титжена, ни кого-либо из ста шести человек его роты. Храбро и эффективно действуя против «горилл», они сражались до последнего человека и так и не вернулись обратно в батальон. Они были совершенно автономным подразделением и, выполняя свое исключительно опасное задание, могли полагаться только на свою собственную инициативу. Постепенно к Титжену примыкало все больше и больше русских добровольцев, рота усиливалась и обновлялась и вскоре приобрела довольно широкую известность как «группа Титжена». Русские добровольцы были отважными бойцами, и в тех условиях ведения войны, которые складывались тогда, — чаще всего им приходилось действовать в огромных дремучих лесах — группа Титжена жила подобно шайке настоящих лесных разбойников. Уже в скором времени мы узнали о том, что русскими назначена награда за голову Титжена. Много раз им почти удавалось поймать его, но он всякий раз неизменно исчезал как неуловимый блуждающий огонек, хотя многие его люди, угодив в лапы «горилл», встретили чрезвычайно жестокую смерть.

* * *

На следующий же день после отбытия в тыл роты Титжена русские атаковали наш сектор. Они как будто точно знали, что мы стали слабее на одну роту. Возможно, именно так и было, поскольку им вполне могли сообщить об этом их женщины-шпионки, которых они стали систематически засылать в последнее время в расположение наших частей.

Чаще всего это были довольно привлекательные молодые девицы, вполне сносно изъяснявшиеся по-немецки. Когда их подвергали более пристрастным расспросам, они довольно искусно разыгрывали из себя беженок от большевистского режима. Нашим солдатам было чрезвычайно сложно определить, действительно ли они говорят правду, поскольку в то время многие русские действительно старались сбежать от большевиков, применявших к ним бесчеловечные по своей жестокости репрессивные меры. Особенно это проявлялось в те дни в Москве, которую красные пытались спасти всеми доступными им

способами. Так, в течение нескольких недель большевики физически уничтожили всех москвичей, замеченных в проявлении хотя бы малейшей степени не восторженного, а уж тем более неприязненного отношения к коммунистам. Была проведена зловещая по своим масштабам *чистка*, обернувшаяся для многих, очень и очень многих тысяч простых русских людей пулей в затылок.

Эти политические беженцы рассказывали нам ужасающие истории о том, что творится на территории красных, и подтвердили то, что было уже известно мне со слов того майора с красными лампасами: Москва оказалась спасенной благодаря лишь одному — бесконечным проливным дождям.

Однако с этим потоком беженцев к нам проникали и миловидные фанатичные девушки-шпионки. Во имя коммунизма они готовы были жертвовать не только своим телом в объятиях наших изголодавшихся по женскому теплу солдат, но и самой жизнью — ведь для пойманных шпионов был лишь один приговор: виселица. Многие немецкие солдаты, да и, несомненно, многие офицеры, оказавшись в компании этих прелестниц на теплой русской печи, непреднамеренно выдавали им массу секретной информации. Как и комиссары, эти девушки были подготовлены к тому, чтобы безропотно и с пылающим сердцем умереть за свои идеалы.

Буквально накануне в Васильевском были повешены две молоденькие русские студентки. Оказавшись под интенсивным перекрестным допросом, они выдали себя, и их приговорили к смертной казни через повешение. Бесстрашно улыбаясь и сияя глазами, они гордо признали, что принадлежат к великому коммунистическому движению, которое спасет мир. Со словами «Да здравствует Россия!» они сами накинута себе на шею петлю и прыгнули с подставленной под них скамьи, не дожидаясь, пока ее выбьет из-под их ног палач. Подобным мужеством трудно было не восхититься, и история о двух юных *комсомолках* и их казни быстро распространилась между нашими солдатами, в среде которых они были известны под их христианскими именами.

Атаки русских на наши позиции исчерпали себя после двух дней нашего, тоже постепенно ослабевавшего, оборонительного огня. Затем наши штурмовые отряды перешли к контратаке отступавшего врага и захватили значительное количество пленных. Среди них был огромный русский великан из Сибири, к которому я сразу же стал пристально присматриваться. Через Кунцля я сумел выяснить, что он никогда не был в особой дружбе с коммунистами, а также то, что комиссары стояли за спиной наступавших и без промедления расстреливали каждого, кто проявлял малейшие признаки малодушия перед лицом контратакующего врага. Он и еще группа других солдат решили позволить взять себя в плен. В подтверждение своей истории он извлек из кармана аккуратно сложенную листовку — одну из тысяч, разбрасывавшихся Люфтваффе над позициями русских, — которая являлась для любого предъявившего ее красноармейца своего рода пропуском для безопасного пребывания на нашей территории.

— Думаю, что вы попали по правильному адресу, — сказал я ему через Кунцля. — Вам будет выдана немецкая униформа без знаков различия. Вы больше не будете принимать участия в боях как солдат, а будете вместо этого помогать транспортировать раненых и присматривать за лошадьми. Кунцль ознакомит вас со всеми деталями. Вы согласны остаться и помогать нам? — медленно, с расстановкой спросил я, пристально всматриваясь прямо в глаза великану.

— Да, — с готовностью ответил он.

Я прозвал его Хансом. Он рассказал Кунцлю о том, что в Красной Армии их постоянно предупреждали о том, что немцы расстреливают каждого попавшего к ним в руки русского, но когда он собственными глазами увидел, как один из его лучших друзей был застрелен комиссаром, Ганс отказался продолжать верить в это и дальше. Я захотел повнимательнее рассмотреть листовку, которую он дал мне. На одной ее стороне были две картинки: первая изображала комиссара, с пистолетом в руке поднимавшего русских солдат на отражение немецкой атаки. За его спиной на земле уже лежало трое застреленных им из этого пистолета

— они проявили нерешительность. Вторая картинка была логическим развитием первой и со всей наглядностью показывала, что следует делать русским солдатам: двое из них нападали на комиссара, который уже беспомощно лежал на земле, а тем временем остальные красноармейцы сдавались немцам. На оборотной стороне листовки на русском и немецком языках была напечатана следующая инструкция: *«Предъявитель настоящего пропуска больше не желает продолжать бессмысленное кровопролитие в интересах евреев и комиссаров. Он выходит из состава потерпевшей поражение Красной Армии и переходит на сторону германского Вермахта. Германские офицеры и солдаты будут обращаться с ним хорошо, будут обеспечивать его едой и действительно полезной работой. Данный пропуск может быть использован неограниченным количеством офицеров и солдат Красной Армии»*. Для того чтобы успокоить перебежчиков и дополнительно заверить их в правильности сделанного выбора, было добавлено следующее примечание: *«Угроза Сталина подвергнуть преследованиям семьи солдат, перешедших на сторону Германии, в действительности неосуществима и не возымеет своего запугивающего действия. Германское Верховное командование не публикует списки захваченных в плен»*.

Оказалось, что за несколько последующих дней число русских перебежчиков действительно значительно возросло. Создавалось впечатление, что дурные опасения по поводу наступавшей зимы беспокоили не только нас, но и русских солдат тоже.

В ответ на эти листовки русские стали разбрасывать свои. Проснувшись однажды утром, мы обнаружили, что вся округа щедро усыпана белыми листовками с неуклюжим большевистским приглашением, напечатанным на немецком и русском языках: *«Инструкция: Имея на руках данный пропуск, немецкий солдат имеет право пересечь линию фронта и оказаться на территории Советской России. Пропуск должен быть вручен первому же встреченному гражданину России, комиссару или солдату, который с того момента будет обязан сопроводить немецкого солдата до ближайшего штаба Красной Армии»*.

Всех нас очень позабавило это топорно сработанное приглашение посетить большевистскую «землю обетованную», и по батальону даже некоторое время ходили шуточки по поводу того, что если бы данный «пропуск» обеспечивал свободный проезд до, например, Франции, то, несомненно, многие солдаты мгновенно расхватили бы все эти бумажки, чтобы потом вручить их не «комиссару или солдату», а очаровательным парижанкам или не менее обольстительным Ивоннам и Иветтам из Литтри, чтобы те как следует позаботились о них.

В тот же день в штаб батальона прибыли и другие бумажки, представлявшие для меня гораздо больший интерес, — официальные бланки отпускных удостоверений. Нам было недвусмысленно дано понять, что первые партии отпускников отправятся домой уже буквально «вот-вот», а самым первым отпускником из числа офицеров должен был стать я, поскольку не был в отпуске уже четырнадцать месяцев. Никаких сомнений в том, что я вскоре отправлюсь домой, уже почти не было, тем более что одновременно с прибытием этих бланков приехали и два новых врача — *оберштабсарцт* Вольпиус и его молодой помощник, *унтерарцт* Фризе. Оба были приписаны к нашему батальону, и им оставалось только войти в курс дела и заменить меня на моем месте на время моего отсутствия.

Я был несколько удивлен тем, что к нам прислали оберштабсарцта — человека в уже довольно почтенном шестидесятилетнем возрасте, успевшего послужить еще во время Первой мировой. Нойхофф высказал приватное предположение, что его отправили на фронт в наказание за что-то, и впоследствии нам стало известно, что так оно и было, однако мы так никогда и не узнали, в чем же именно он так провинился. Появление сразу двух новых врачей не повлекло за собой никаких изменений в распорядке моей службы. Вольпиус так *просто* ничего не делал, а празднично околачивался целыми днями в штабе, путался у всех под ногами и сумел в кратчайшее время стать чрезвычайно непопулярным в батальоне. Когда он попытался разнообразить свое ничегонеделание посещениями штаба полка, к нему отнеслись там весьма неприветливо. В противоположность своему старшему товарищу унтерарцт —

двадцатичетырехлетний парень — старательно помогал мне в лазарете и с интересом присматривался ко всему, чем бы я ни занимался.

Неожиданные странности стали вдруг проявляться в поведении Тульпина. Однажды он без разрешения пропал куда-то на целый день, а когда я спросил, не заболел ли он, он как-то чрезмерно рьяно стал уверять меня в том, что его абсолютно ничего не беспокоит. От моего внимания, однако, не ускользнула его бледность и совершенно нехарактерная для него беспокойность, а также то, что зрачки его глаз были неестественно суженными. У меня возникло подозрение, что он, возможно, становится наркозависимым от морфия, но, проверив наши запасы наркотических обезболивающих средств, я убедился, что там все было в порядке. Мне не в чем было обвинить Тульпина — он был надежным работником и не раз доказал свою храбрость, однако я все же решил понаблюдать за ним.

Обер-лейтенант Крамер прислал мне записку, в которой сообщалось, что его самочувствие очень далеко от хорошего и что он очень хотел бы, чтобы я навестил его. Оказалось, что вот уже несколько дней он почти ничего не ел и очень страдал от непонятного расстройства желудка и болей в кишечнике. Как только я взглянул на него, мне сразу же стало совершенно ясно, что тут за диагноз.

— Ну что, Крамер, — далеким от оптимистичного тоном проговорил я, — достукался наконец? Хуже всего то, что ты тощ как привидение и у тебя совершенно не осталось сил на то, чтобы сопротивляться болезни.

— Я действительно крайне обессилен, доктор, поэтому и позвал вас.

— Вот так всегда с вами, с умниками, чтоб вас... Когда вы чувствуете себя нормально, то все вам шуточки по поводу предостережений врачей, а зовете нас уже только тогда, когда дело доходит до того, чтобы срочно отправлять вас в госпиталь. У тебя, Крамер, инфекционная желтуха.

— Что это такое, доктор?

— Вирусное заражение печени. А поразило оно тебя потому, что осенью в продолжение целых недель у вас были приступы дизентерии, с которыми вы не обращались ко мне, а наивно и высокомерно полагали, что справитесь с ними сами.

Я тщательно осмотрел его; дальнейшие признаки заболевания лишь дополнительно утвердили меня в и без того очевидном диагнозе. Печень была увеличена, пульс довольно редкий, прощупывалось также небольшое увеличение селезенки.

— Ну, и что же со мной теперь будет, доктор? — спросил Крамер.

— Ты очень болен, Крамер. Для того чтобы восстановить силы, необходим продолжительный отдых. На несколько дней я обеспечу тебе абсолютный покой и уход в моем лазарете, а сам тем временем постараюсь организовать твою переправку в Германию самолетом из Старицы. Если повезет — будешь дома уже в тот же день.

Крамер разинул рот от изумления и едва выдохнул:

— Господи! Как такое возможно, доктор? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой — домой в Германию за один день! Не могу поверить!

Нойхофф доложил о случившемся с Крамером в штаб полка, и уже через несколько часов вместо него на должность командира 11-й роты был переведен только что получивший это звание обер-лейтенант Бёмер из 1-го батальона.

Прибыл Бёмер — облаченный в идеально подогнанную, как с иголки, форму, безупречно выбритый, высокий, стройный и подтянутый. Ему едва исполнился двадцать один год, и до совсем недавнего времени он был самым молодым лейтенантом во всей дивизии, а теперь — самым молодым обер-лейтенантом. Это было подчеркнуто элегантно, хоть и слегка самонадеянный юнец — полная противоположность Крамеру, дослужившемуся до офицеров из рядовых и никогда не проявлявшему особенных талантов к тому, чтобы жить собственным умом. У Бёмера, кстати сказать, тоже имелся небольшой комплекс неполноценности, имевший свое происхождение, по-видимому, от того факта, что он всегда был самым молодым офицером среди окружавших его сослуживцев. Из-за этого его даже прозвали прилипшим намертво прозвищем «*Bubi*» (малыш). Свою молодость и

недостаток опыта он пытался компенсировать несколько вызывающей манерой поведения, а порой и просто чисто мальчишеской хвастливостью.

Буби вдруг решил навестить Крамера, пока тот был еще в лазарете, и в результате оба мгновенно невзлюбили друг друга. Крамер был уже как бы подготовлен к тому, чтобы отнестись с антипатией к любому, кто будет командовать вместо него его ротой. К тому же один из его обер-фельдфебелей успел уже рассказать ему, что первыми словами Бёмера, когда он увидел 11-ю роту, были: «Вроде бы не такая уж безнадёжная рота. Думаю, из нее еще можно что-нибудь сделать».

— Наглый молокосос! — взорвался Крамер после того, как я дипломатично удалил Бёмера из лазарета. — Для начала это еще самой роте придется постараться, чтобы сделать из него хоть что-нибудь путное. Наглец! Щенок!

В разговоре с Кагенекком я обмолвился о том, что намереваюсь в один из ближайших трех дней доставить Крамера на аэродром в Старице в надежде пристроить его на какой-нибудь из отправляющихся на запад самолетов.

— Я думаю, что отвезу его туда сам на машине, — добавил я. — Хочу немного отдохнуть от внезапного нашествия докторов.

— Я тоже поеду с вами! — заявил мне на это Кагенек. — И возможно, я смогу оказаться очень полезным вам там: мой брат служит летчиком-истребителем в северной Африке, и в Старице у него наверняка есть какие-нибудь друзья по Люфтваффе.

* * *

Я сказал унтерарцту Фризе, что на время моего отсутствия оставляю его за старшего по лазарету и что в случае чего, если в этом возникнет необходимость, ему должен, по идее, помочь старый оберштабсарцт. Для того чтобы удовлетворить его похвальное рвение, я позволил ему приступить к выполнению своих обязанностей прямо с того момента, и он сразу же принялся за работу с неподдельным интересом и с огромным усердием. Вечером того же дня мы сидели у разведенного огня в лазарете, и я терпеливо и обстоятельно отвечал на все имеющиеся у него ко мне вопросы. Он прибыл к нам прямиком из учебной части в Германии, где его буквально перепичкали теоретическими знаниями. По всей видимости, этот совершенно излишний материал преподавался им людьми, не имевшими никакого представления о реальных условиях на Восточном фронте. Его, например, совершенно всерьез волновала проблема с асептикой — мы не располагали во всякий момент стерильными инструментами, не имели возможности дезинфицировать руки спиртом всякий раз, когда следовало бы, у нас не было герметично запакованных, т. е. совершенно стерильных от микробов бинтов.

— Раны зачастую настолько серьезны, что требуют совершенно незамедлительного хирургического вмешательства прямо на месте, непосредственно в полевых условиях, — сказал я ему. — Остается только поражаться, что только способно вынести человеческое тело, и, несмотря на пыль и грязь, результаты в общем получаются не такими уж плохими. Я думаю, что в основном это потому, что мы имеем дело со здоровыми, крепкими молодыми людьми, имеющими сильные иммунные системы. Так что забудь об асептике — оставь эту прерогативу тыловым госпиталям. Ясно?

— Да, герр ассистензарцт. А что вы можете рассказать мне насчет хирургии? Надеюсь, моя хирургическая подготовка меня не подведет.

— Забудь и о своей хирургической подготовке! Здесь у нас бинты и пластырь, а скальпели и прочие блестящие штучки оставь тоже парням в полевом госпитале. Твоя задача — доставить туда раненых *живыми*. Иногда твоя хирургическая подготовка действительно может тебе пригодиться, но не часто. Скорость, Фризе, вот что главное! Если атака очень сильная и твой перевязочный пункт переполнен — решай, кто нуждается в твоей помощи в самую первую очередь. Ранения в голову занимают не много времени — тут важнее всего немедленно обеспечить максимально возможный покой и полную неподвижность. Ранения в

живот — вот что сложнее и опаснее всего. Отправляй всех своих раненых в живот в госпиталь как можно быстрее. Используй для этого сани и конные повозки, не дожидаясь по часу и больше санитарных машин. За этот час твой раненый в живот может умереть, а можно и успеть его спасти — тут очень многое зависит от твоей расторопности. Смертельно опасно при этом внутреннее кровотечение, а также внутренняя, так сказать «собственная», грязь организма, особенно при повреждении толстой кишки. Не теряй слишком много времени на закрытие, заклеивание, зашивание и т. д. входных и выходных пулевых и осколочных отверстий. Гораздо лучше потратить пару минут на то, чтобы связаться с госпиталем и сказать им, чтобы они были готовы к приему раненого в живот. Тут на счету каждая минута. Артериальное кровотечение: если оно окажется слишком сильным и ты не сумеешь с ним вовремя справиться, то дальше тебе докладывать будет уже просто не о чем. Что такое обморожения, ты уже видел, а к тому времени, как я вернусь из отпуска, будешь, наверное, знать о них больше, чем я. Запомни: твоя самая первая и самая главная задача — доставлять раненых в тыловой госпиталь живыми и подготовленными к операции.

— Все это как-то слишком уж просто, — с неожиданной легкомысленностью воскликнул Фризе.

Мне оставалось только грустно посмеяться над его мальчишеским энтузиазмом и запальчивым нежеланием признать, что жизнь далеко не так проста, как хотелось бы.

— Хорошо! Если ты полагаешь, что обработка ран простое занятие, то давай рассмотрим некоторые заболевания, с которыми тебе предстоит иметь дело. Возьмем, например, гепатит Крамера: я никогда не сталкивался со случаями гепатита дома, в Германии, здесь же он — вполне распространенное явление. Далее, у нас имеются здесь сыпной тиф и «Волховская лихорадка» — оба заболевания происходят от нечистоплотности, переносятся вшами и также практически не встречаются в мирной жизни. Еще мы имеем «Колодезную болезнь», причиной которой является обычно вода, загрязненная крысами. Встречается также туляремия, еще одно инфекционное заболевание, переносчиками которого являются слепни, но подцепить его можно просто в результате употребления в пищу мяса инфицированных животных или от укуса крысы. Да и вообще, Фризе, у нас здесь просто не существует достаточно эффективной защиты от главных переносчиков этих самых настоящих бедствий — от крыс, мышей, блох, клещей и прочей подобной пакости. Так или иначе, но никогда не знаешь, что может подкосить человека в следующий момент. Какое это все-таки приятное занятие — передача опыта, особенно в преддверии отпуска. Знаешь, как я провел бы его, если бы мне не предстояла церемония помолвки?

— Нет, расскажите.

— Я бы провел его в прекрасной белой, просто-таки сияющей стерильной чистотой больнице. Не вылезал бы первую часть дня из-под душа и из сауны, оттираясь всевозможными щетками и моющими средствами, а затем долго с благоговением перебирал бы завораживающе блестящие хирургические инструменты, беря их прямо из абсолютно стерильного автоклава, и каждую ночь спал бы в отдельной палате со всевозможными удобствами. А медицинские сестры в той волшебной больнице никогда бы даже не слышали о том, что такое сыпной тиф или что такое агонизирующий человек, чьи кишки валяются рядом с ним прямо в грязи...

— Это именно то, с чем я просто до смерти мечтаю сойтись в поединке! — запальчиво воскликнул Фризе.

— Разве о таком можно мечтать... — задумчиво отозвался я. — Впрочем, если это то, чего ты хотел, то считай, что ты получил это! Но знай, Фризе, что тебе предстоит до смерти намучиться от поединка с одними только вшами.

До конечной остановки московского трамвая¹

¹ Вероятно, за трамвай автор принял пригородную электричку. До конечной остановки московского трамвая,

В одной трамвайной остановке от Москвы по другую от нас сторону Волги раскинулась Старица. Это был старинный русский город, от которого даже на расстоянии веяло неувядающей славой и величием царской России. Над жилыми кварталами города возвышалось множество православных церквей с огромными припорошенными снегом куполами. Казалось, что окна колоколен взирают через реку мрачно и неприветливо.

Фишер вез нас троих — Крамера, Кагенека и меня — обратно по той же самой дороге, по которой мы двигались на Васильевское: через деревни, которые мы брали приступом, и через могилы наших товарищей, которых мы хоронили по обочинам. Поскольку в результате довольно интенсивного автомобильного движения снег на дороге оказался спрессованным и раскатанным до состояния очень скользкой поверхности, восьмидесятикилометровая поездка заняла у нас почти два часа.

«Опель» прогрохотал по бревнам деревянного моста, возведенного нашими саперами через Волгу перед Старицей. Над крутыми обрывистыми берегами реки, вот-вот готовые сорваться вниз, нависали массивные шапки снега, а вниз по ее зловещим черным водам медленно плыли, время от времени сталкиваясь друг с другом, пока еще отдельные глыбы льда. Уже совсем скоро они прекратят дрейфовать по течению и начнут сцепляться друг с другом — вначале в тихих заводях, а затем, постепенно, и по всей поверхности реки. По мере усиления морозов они будут утолщаться, расширяться, покрывать собой все большую часть фарватера, разделяющая их полоса воды будет становиться все уже и уже, и в конце концов зима покроет всю реку льдом от берега до берега. Волга будет продолжать нести свои воды, но в течение всех зимних месяцев они будут закованы сверху исполинским ледяным панцирем толщиной от метра до полутора. Затем замерзшую реку начнет заметать снегом, и он укутает ее настолько плотно, что постепенно Волга почти перестанет выделяться на фоне остального окружающего ландшафта.

Снег тускло поблескивал в лучах скудного зимнего солнца, дававшего только свет, но не тепло. Однако весь расстилавшийся перед нами пейзаж был пронизан какой-то настолько удивительной атмосферой мира и покоя, что это вдохновило даже не слишком сентиментального Крамера.

— Как странно, — замороженно проговорил он. — Я чувствую себя так, как будто уже нахожусь где-то очень-очень далеко от войны. Как будто и не было этих последних пяти месяцев и всего, через что пришлось пройти за это время. Я ощущаю себя дезертиром.

— И впервые за все это время говоришь как обычный человек, — добавил я.

— Что вы имеете в виду, доктор? — мгновенно стряхнув с себя абсолютно несвойственное ему лирическое настроение, резко вскинулся он. — Вы хотите сказать, что до этого я не был человеком?

— Да, Крамер, именно так, — быстро ответил я, решив вдруг, что настал как раз подходящий момент для того, чтобы высказать ему кое-что из давненько уже вертевшегося на языке. — До этого момента я никогда не знал тебя как человека, состоящего из плоти и крови, — ты был просто бездушной военной машиной. Твое мышление никогда не отклонялось ни на шаг в сторону от предначертанной ему линии, на которую оно было вымуштровано. Ты никогда не понимал и не ценил настоящего фронтового товарищества. Ты был настолько занят своей офицерской состоятельностью и успешностью, что у тебя уже не оставалось времени на то, чтобы быть просто человеком.

По его глазам было видно, что мои слова действуют на него как удары огромного молота, но железная самодисциплина не позволила ему дать волю нахлынувшим чувствам, и он лишь выдавил из себя:

— Благодарю вас, доктор. По крайней мере, вы были откровенны. Теперь я, во всяком случае, знаю, какого *вы* обо мне мнения.

Съехав с моста, мы с некоторым трудом взобрались по накатанной, как лед, дороге на

небольшой взгорок, свернули перед городом налево и покатали по равнине в сторону аэродрома.

Крамеровский самолет домой материализовался гораздо быстрее, чем мы ожидали. Это был старенький транспортный «Юнкерс-52», вылетающий на запад тем же утром. Удача была на нашей стороне: в самолете оказалось и свободное место. Мы коротко попрощались с Крамером, тепло укутанным для долгого полета в одеяла, старенький «Юнкерс» взревел моторами, разбежался по заснеженной полосе, неохотно оторвался от нее и, не набирая большой высоты, стал удаляться в сторону Германии.

* * *

Жизнь в Люфтваффе проходила как будто на другой планете: это был мир какой-то невероятной роскоши, в особенности по сравнению со скромненькой пехотой, в которой все удобства солдата определялись тем, что он может тащить на себе. На нас это произвело сильнейшее впечатление.

Все офицеры Люфтваффе имели сказочную возможность спать на настоящих кроватях; у них был французский коньяк и ликеры; им даже регулярно выдавали шоколад, входящий в состав нормированного рациона и содержащий настоящую колу для поддержания тонуса; а самое главное — каждый имел полный комплект зимнего обмундирования. Что же было удивляться тому, что эти небожители в солдатской униформе могли позволить себе смеяться над жизнью и шутить над войной! Они небезосновательно считали само собой разумеющимся, что занимают бесспорное преимущественное положение по отношению ко всем остальным родам войск. Но больше всего меня поразило другое. Как известно, мир тесен, но авиационный мир, как я смог убедиться, тесен особенно. Решив отобедать в их роскошной столовой, мы окончательно подпали под могучее обаяние этого удивительного братства отчаянных и жизнерадостных парней, которые, казалось, лично знают абсолютно каждого из находящихся на действительной службе в Люфтваффе.

Брат Кагенека! Конечно, они знают его! Прекрасный летчик и замечательный человек. До сих пор в северной Африке. Воюет по-джентльменски, как и подобает истинному рыцарю неба. У него все в полном порядке. С тех пор, как его перевели в Африку из Франции, сбил уже более семидесяти вражеских самолетов. Все это они радостно, наперебой выдали Кагенеку, и вслед за этим, естественно, был провозглашен еще один тост за летчиков, сражающихся над африканскими пустынями. А потом еще один — за этих бедолаг пехотинцев.

— Не взялся бы за вашу работу за все золото России, мой дорогой коллега, — откровенно признался мне врач одной из эскадрилий. — Лучше уж моя эскадрилья. Эти парни живут в таких прекрасных условиях, что даже никогда не болеют. А если — случается — их сбивают русские и им приходится выбрасываться с парашютом над их территорией, то это все равно что погибнуть — назад они уже не возвращаются. В любом случае ни мертвые, ни живые не доставляют мне почти никаких хлопот. Истинно джентльменская жизнь.

Я не слишком убедительно попытался высказаться в том смысле, что служба в пехоте тоже имеет кое-какие плюсы. Пожалуй, нигде больше не развиты так сильно, как у нас, крепчайшие узы фронтового товарищества и безусловная взаимовыручка.

— Лучше уж я останусь в живых здесь, приятель, так надежнее, — с очаровательно простодушной прямолинейностью улыбнулся мне авиационный медик, и я склонен был согласиться с ним.

Кагенок повернул разговор к положению вокруг Москвы — ведь эти ребята были самыми первыми, кто замечал любые перемещения всех сил внизу, как вражеских, так и наших. Они поведали нам, что в некоторых местах самые передовые части нашей армии были уже всего в пятнадцати километрах от Кремля — в буквальном смысле слова у ворот города. Ожидалось, что наша финальная наступательная операция будет предпринята в течение недели. Это было действительно сенсационной новостью.

Пилот самолета-разведчика, кареглазый весельчак с Рейна, добавил:

— Все выглядит как подготовка к очень мощному удару: к передовой подтягивается огромное количество наших транспортных колонн с боеприпасами и продовольствием, а германские войска к югу от Москвы — вообще пребывают в непрерывном наступательном движении.

— А что предпринимают русские? — спросил Кагенек.

— Вынужден огорчить вас, — ответил вместо рейнца коренастый летчик-истребитель из Франкфурта, — но с востока в Москву один за другим прибывают эшелоны с войсками. Конечно, нельзя знать наверняка, насколько хороши эти войска, но все же...

На следующее утро мы случайно столкнулись в Старице со знакомым Кагенеку обер-фельдфебелем из 86-й дивизии. Кагенек служил рядом с этой дивизией во Франции и был знаком со многими ее офицерами. Обер-фельдфебель рассказал нам, что 86-я дивизия оставила позади Клин, вышла к железнодорожной ветке Калинин — Москва и уже вплотную подбиралась к самой Москве.

— В каком состоянии дорога на Клин? — поинтересовался Кагенек.

— В хорошем, герр обер-лейтенант.

— По-моему, нам стоит вернуться обратно этой именно дорогой, — обернулся ко мне Кагенек. — К тому же я хотел бы повидаться кое с кем из моих старых друзей.

После завтрака в летной столовой Кагенек сообщил мне, что выпросил у летчиков канистру прекрасного авиационного бензина и таким образом мы могли бы через пару часов оказаться прямо на самой передовой, почти в самой Москве.

— Думаю, нам стоит предпринять этот молниеносный «налет» на столицу, — с озорной улыбкой добавил он.

— А откуда мне знать, что ты не захочешь побывать в каком-нибудь московском кинотеатре, раз уж мы там оказались?

— Взгляни на это по-другому, Хайнц, — с притворной серьезностью проговорил Кагенек. — Отсюда до Клина примерно восемьдесят километров; расстояние от Клина до нашего батальона намного меньше, чем от Клина до Старицы. Следовательно, если мы поедем в Клин, мы окажемся ближе к нашему батальону, чем если останемся здесь!

— Это та же самая «логика», из-за которой ты едва не оказался в весьма затруднительном положении, когда устроил нелегальный визит твоей жены в Восточную Пруссию...

— ...в результате которого она должна со дня на день родить!

— Да что ты говоришь! Вот не знал! Ну, поздравляю тебя, старина!

Я с радостью пожал ему руку и расхохотался.

— Сдается мне, что всегда, когда ты нарушаешь какие-нибудь правила, твой бутерброд падает маслом кверху. Что ж, думаю, нам действительно стоит нанести этот неофициальный визит в Клин!

* * *

До Клина мы добрались уже к десяти утра. В багажнике нашего автомобиля весело погромыхивали прощальные гостинцы от Люфтваффе: дюжина бутылок коньяка, пятнадцать плиток шоколада с колой, сигары, сигареты и целый мешок разнообразных дефицитных медикаментов. Летчики проявили себя по отношению к бедной и намучившейся пехоте как настоящие крестные отцы, а так как нам было совершенно нечем ответить на эти бесценные дары неба, мы чувствовали себя несколько неловко. Правда, недолго. Ощущение это прошло после первых же нескольких глотков бренди, которым щедро напоили нас летчики на дороге.

В Клину царствовал всеобщий, прямо-таки какой-то повальный оптимизм. Нам сразу же с ликованием сообщили о том, что главная, и она же финальная, атака на Москву будет предпринята в течение ближайших нескольких дней. Моральный дух в войсках был на самом

высоком уровне, каждый солдат казался вполне уверенным в том, что город падет еще до того, как закончится календарный год. Повсюду были организованы пункты выдачи боеприпасов и продовольствия. Некоторые наиболее выгодные исходные плацдармы для наступления при необходимости просто отбивались у русских. Многие подразделения понесли очень тяжелые потери от обморожений, однако бронетанковые и пехотные части продолжали сохранять в целом вполне достойный уровень боеготовности.

Наши солдаты доказали, что дожди, грязь, снег и морозы так и не смогли остановить их; невзирая ни на какие трудности, они все же дошли до Москвы, и теперь Москве предстояло пасть к их ногам.

Оказалось, что 86-я дивизия, которую мы, собственно, и приехали посетить, располагалась не так уж далеко от нашего собственного подразделения — назад по железнодорожной линии, на полпути к Калинин. Вместо нее мы встретились с подразделениями 1-й бронетанковой дивизии, которым мы расчищали путь 2 октября у озера Щучье. И, как нам сказали, другие части нашей 9-й армии — 106-я дивизия, а также 5-я и 11-я бронетанковые дивизии танковой группы Гота — были именно теми частями, которые находились уже в пятнадцати километрах от Москвы. Они являлись самыми вплотную подобравшимися к столице России частями германской армии. 106-я дивизия занимала позиции вдоль главной дороги от Клина на Москву, поэтому мы решили сделать еще один «небольшой» шестидесятикилометровый крюк, чтобы посетить их.

Когда мы тронулись в путь, повалил густой снег. Небо было свинцово-серого цвета, а видимость — крайне ограниченной. Все звуки вокруг замерли, как будто все существующие в природе его источники оказались вдруг обиты войлоком; даже звук мотора нашей машины стал как будто бы ниже и слабее тоном. Казалось, будто весь воздух вокруг наполнен почти неслышной, но чрезвычайно странной музыкой, таким зловещим, заунывным и полным тревожного ожидания атмосферным гудением. И Кагенек и я испытывали не то чтобы странные, а какие-то прямо-таки мистические и очень гнетущие предчувствия грандиозных событий, которые потрясут вскорости наш маленький мир, но которые пока держатся от нас в секрете мрачными свинцовыми небесами.

Все в окружавшем нас ландшафте как бы настойчиво намекало нам на то, что мы все ближе и ближе к Москве — к городу, занимавшему многие наши помыслы во время казавшегося нескончаемым пути к нему, к городу-легенде, скрытому от нас за семью печатями, к городу, который теперь уже как бы сам надвигался на нас. Это было очень странным и даже пугающим, но у нас было такое чувство, что непроглядная пелена снега вдруг в любой момент окажется поднятой — и Москва раскинется прямо перед нами. Мы как будто приблизились предельно вплотную к мерно пульсировавшему сердцу гигантского Русского Медведя.

По обочинам дороги стали просматриваться отходившие в сторону от нее боковые улочки, на которых более или менее разрозненные до того дома выстраивались теперь небольшими вереницами; стали появляться крупные баракоподобные постройки с обычными для них огромными портретами Сталина и Ленина на фасадах; среди бревенчатых изб стали встречаться не вполне гармонировавшие с ними архитектурным стилем каменные двухэтажные здания школ. И — ни души вокруг. Многие здания были основательно разрушены прямыми попаданиями, на месте некоторых домов вообще зияли огромные воронки, окруженные лишь грудями обломков, — немые свидетельства либо массированного воздушного налета, либо сконцентрированного артиллерийского огня. С первого же взгляда сразу было понятно, что и все уцелевшие дома абсолютно необитаемы. Мужчины, женщины, дети, старики — ушли все, вплоть до дворовых кошек и бродячих собак. Снежными наносами было замечено все: двери, окна до самых подоконников, надворные постройки. Время от времени мы натыкались на наши армейские указатели с условными закодированными обозначениями, указывавшими на то, что мы пока движемся по правильной дороге. К тому же Фишер ехал прямо по свежееоставленным на снегу следам двух немецких тяжелых армейских грузовиков, которые должны были быть где-то совсем

недалеко впереди нас.

Все вроде бы было спокойно, даже как-то пугающе спокойно, но нас приводила в трепет одна лишь мысль о том, что если мы будем продолжать двигаться с той же скоростью еще минут пятнадцать, то можем оказаться уже в самой Москве, а еще минут через пятнадцать — на Красной площади или у стен Кремля! Мы проехали мимо нескольких немецких автомобилей, припаркованных у какого-то здания, оказавшегося при ближайшем рассмотрении полковым постом боевого управления. Подъехав к нему тоже, мы остановились перед входом.

Появились два германских офицера. Мы не могли определить их званий, поскольку поверх формы на них были надеты тяжелые армейские кожаные плащи без знаков различия. Они взглянули на эмблему нашей дивизии, изображенную на нашей машине, и когда Кагенек опустил стекло на своей дверце, маленький толстячок с веселыми прищуренными глазками спросил:

— Ну, и куда это вы, интересно, направляетесь?

— В Москву, — без колебаний ответил Кагенек.

— Ха, и мы тоже! Может быть, вы все-таки лучше подождете нас? — ехидно поинтересовался низким глухим голосом другой — высокий и сухопарый.

— Судя по всему, мы в правильном месте и с правильными людьми! — не меняя своего шутовского тона, воскликнул Кагенек. — Только не подскажите ли, где именно мы находимся? Мы, кажется, потеряли след, по которому ехали.

— Все очень просто, — с готовностью отозвался толстячок, показывая нам, куда смотреть, рукой в теплой кожаной перчатке. — Вон там и вон там, немного справа и немного слева от дороги — русские, а прямо перед нами — вон там — трамвайная остановка на Москву. Если бы наши солдаты не сломали по неосторожности трамвай — вы могли бы бесплатно прокатиться прямо до Москвы. Она всего в шестнадцати километрах отсюда. Но если бы я был на вашем месте, я бы не пытался поехать вдоль трамвайной линии на вашей машине. Во-первых, вы все равно не увидите ни рельсы, ни даже провода из-за снега, а во-вторых, можете повстречать гораздо больше русских, чем ожидаете. Но если вы имеете возможность вернуться обратно не позже чем, скажем, через недельку, то вы могли бы доехать вдоль этих путей прямо до Красной площади.

— Вы так вот прямо уверены в этом? — переспросил Кагенек.

— Более или менее. Гитлер заключил соглашение со Святым Петром. Как видите, с каждым днем становится все теплее, а не все холоднее. Если так пойдет и дальше, то для финального удара мы будем иметь как раз подходящие погодные условия.

Я извлек из-под сиденья уже приготовленную на всякий дорожный случай бутылку коньяка.

— Поскольку сами мы не сможем присутствовать при вашем вхождении в Москву, — как можно учтивее проговорил я, — позвольте преподнести вам вот эту бутылку, чтобы вы могли выпить за наше здоровье, когда будете на Красной площади.

На какие-то несколько мгновений оба офицера просто утратили дар речи. Затем длинный проговорил своим низким и глухим голосом:

— Дорогие господа, мы вряд ли можем принять от вас столь бесценный дар! Мы — несчастные фронтовые свиньи и не привыкли к коньяку, у нас желудок слишком слаб для таких напитков.

— Так же, как и у нас, — отозвался я. — Но когда нас угостили этим коньяком парни из наших славных Люфтваффе, мы так и не смогли отказаться. Может быть, присядете в машину, пока разговариваем?

Фишер вышел из машины и поспешил укрыться от непогоды в дежурной комнате, а двое наших новых знакомых с видимым удовольствием залезли внутрь.

Беседа потекла в гораздо более непринужденном ключе, и мы стали обмениваться самой интересной для нас информацией. Они были несказанно удивлены тем, что у нас был один-единственный случай обморожения на весь батальон: у них различные степени

обморожений имели двадцать пять процентов личного состава, а зимнего обмундирования тоже так до сих пор и не получили.

— Это просто свинство! — воскликнул длинный. — О нашем продвижении вперед, о нашем успехе или неудаче можно судить теперь по термометру! Это хорошо еще, что у нас такие прекрасные, выносливые и некапризные солдаты, но, говорю вам, сейчас они думают только об одном — взять как можно быстрее Москву и занять теплые квартиры! Для них — насколько они это сейчас понимают — падение Москвы будет означать и окончание войны.

Беззаботный шутливый тон разговора совершенно исчез — теперь мы обсуждали вещи, которые занимали все наши помыслы.

— А теперь, — продолжал длинный, — еще это неожиданное, но, говорю вам, недолгое потепление. Да... Войну просто необходимо закончить до Рождества... Только представьте себе! — взволнованно заговорил он с прорвавшимся вдруг отчаянием в голосе. — Москва — вот она, прямо перед нами! Камнем можно докинуть. Еще один рывок — и мы там. И все кончено. Мы просто не можем позволить себе сейчас никакого промедления, никакой нерешительности! Это будет все равно что самому добровольно отказаться от своей победы!

— Да ладно тебе, Вальтер, — успокаивающе проговорил толстяк. — Ты слишком уж драматизируешь. Москва должна быть взята нами совершенно хладнокровно.

— Да, но пока не ударили настоящие морозы, — не унимался Вальтер, — иначе мы очень рискуем навсегда оказаться слишком уж хладнокровными в прямом смысле слова! Вот видите? — порывисто повернулся он к нам. — Опять все возвращается к тому, о чем я уже говорил, — к температуре, к зиме. О наших успехах можно судить по показаниям термометра!

— Ну ладно, — проговорил толстяк. — Пока мы все тут не разрыдались — пора возвращаться.

Он нехотя вылез из машины, не забыв прихватить с собой без излишних напоминаний презентованный нами коньяк.

— Не забудьте заглянуть к нам в Москве. Мы с огромным удовольствием покажем вам местные достопримечательности. К тому времени, когда вы доберетесь туда, мы станем уже заправскими гидами.

Попрощавшись, длинный и толстый направились к дежурной комнате. Хлопья падавшего снега мгновенно облепили гладкую кожу их пообтаивших немного в тепле машины плащей. Прежде чем они исчезли из вида, я успел заметить, как толстяк радостно и гордо помахал кому-то бутылкой коньяка на фоне свинцово-серого русского неба.

Густо падавший снег заполнял следы их шагов и делал их невидимыми прямо на глазах.

Вокруг висела все та же мертвая, давящая на психику тишина. Прямо перед нами различимо просматривался навес трамвайной остановки, а столбы с проводами безмолвно указывали направление на великий город, скрытый от нас сейчас плотной завесой снега.

— Давай сходим посмотрим на эту остановку, — предложил Кагенек. — Тогда, когда вернемся, мы сможем сказать Нойхоффу, что были на расстоянии всего одной трамвайной остановки от Москвы.

Мы осторожно двинулись по дороге к каменному навесу остановки. Вокруг нас — ни единого движения. Зайдя под навес, мы остановились и молча устались на деревянные скамьи, на которых сидели тысячи москвичей, дожидавшихся лязгающего металлического позвякивания едущего за ними из центра Москвы трамвая.

К одной из стен был прикреплен какой-то старый деревянный короб. Я пошарил рукой внутри и вытащил наружу пригоршню использованных трамвайных билетиков. Разглядывая их, мы разобрали напечатанное кириллицей слово «МОСКВА», которое теперь уже могли прочесть по-русски.

Мы медленно, с неослабевающей осторожностью дошли обратно до нашей машины. Лишь один раз Кагенек нарушил тишину, тихо проговорив за обоих нас:

— Мне, наверное, все это снится... Ну и ну...

Фишер развернул машину, и мы покатали обратно по основательно заснеженной уже дороге.

Снег посыпал теперь еще немного сильнее.

Обреченный батальон и сибиряки

Торопливо пробираясь по заметенной снегом дороге к нашей столовой, я опустил «уши» моей *Kopfschutzer* и даже застегнул их спереди, прикрыв нос и подбородок, так что осталась лишь щель для глаз. Однако ледяной северо-восточный ветер все равно обжигал лицо и продувал насквозь одежду.

Канун дня Святого Николаса — 5 декабря. У нас намечался первый специально организованный праздничный ужин с самого начала «Барбароссы». А у меня имелась еще и особая причина для радости: всего несколько часов назад прибыло официальное разрешение на мой отпуск. Я должен был отправиться домой уже через три дня.

Потребуется четырнадцать дней для того, чтобы добраться до Дуйсбурга, а потом еще две недели, чтобы вернуться обратно в часть, но у меня будет полных три недели, которые я проведу дома с семьей и с Мартой. К счастью, в моем распоряжении имелся автомобиль, иначе первые двадцать километров до Васильевского пришлось бы ехать на санях. От Васильевского нас должны были доставить до Ржева транспортерами для перевозки личного состава, а оттуда уже поездом через Вязму, Смоленск, Оршу, Минск, Брест-Литовск и Варшаву — до Берлина. Переполняемый радостью, я написал Марте, чтобы она готовилась к нашей помолвке и ее празднованию на 4 января. Оставалось только надеяться, что письмо дойдет до нее раньше, чем приеду я сам.

Так что, направляясь широкими шагами в столовую на празднование кануна дня Святого Николаса, я пребывал в исключительно приподнятом настроении и не обращал особого внимания на резкий пронизывающий ветер. Термометр между тем замер на отметке в тридцать градусов мороза. С тех пор, как мы стояли у конечной остановки трамвайной линии на Москву, его столбик неуклонно опускался все ниже и ниже. Пока стояла такая погода, о финальном ударе по городу не могло быть и речи.

Однако тем праздничным вечером мы не позволяли тревожить себя подобным мыслям. У нас было что отпраздновать, и к тому же у нас имелось *чем* это отпраздновать.

Я вошел в столовую и сразу же стряхнул снег с ботинок, гулко потопав ими по полу. В дальнем конце зала уже весело потрескивал огромный огонь в открытом камине. Там же, неподалеку, был накрыт банкетный стол. Мы с Кагенекком пожертвовали ради такого случая шестью бутылками коньяка с приветом от Люфтваффе. Кроме того, был приготовлен впечатляющий арсенал холодных закусок: целый поднос наваленных горкой котлет из конского мяса, холодное жаркое из конского мяса, соленое и вяленое конское мясо, а также комиссарский хлеб, нарезанный аппетитными кусочками. Ко всему этому фронтовому роскошеству подавался холодный желеобразный соус из гуляша, который можно было намазывать на хлеб или на мясо как масло. Довершал картину предстоящего пира изрядный запас сигар и сигарет.

Как раз к празднику вернулся из «этих треклятых тыловых госпиталей», как он сам называл их, наш всеми горячо любимый Штольд. Он решительно отказался от комиссования по состоянию здоровья, сулившего ему возвращение домой, для того чтобы вернуться в наш батальон, и радостная встреча, устроенная ему солдатами *его* 10-й роты, вполне стоила того. Пожалуй, их радость по поводу возвращения Штольца имела еще и некоторый оттенок облегчения оттого, что они увидят наконец спину уходящего от них Больски, которого действительно перевели в 11-ю роту под начало юного Бёмера.

Открывая праздничное застолье, Нойхофф торжественно поприветствовал возвращение Штольца в лоно единомышленников и боевых товарищей, а также провозгласил тост за отсутствующего Титжена. По окончании этой коротенькой речи нашего командира лейтенант Олиг, как самый молодой из присутствующих офицеров, восторженно

воскликнул:

— Да здравствует наш герр майор!

— Хайль Нойхофф! — громко и с энтузиазмом откликнулись все мы, за исключением Большки, который полагал, что подобное приветствие святотатственно.

И без того крупный Штольц взгромоздился вдруг с ногами на соседний стол и громко запел басом озорную задиристую песню, припев которой мы снова и снова подхватывали все вместе:

Никогда, никогда больше не возьмем мы в руки оружие,
Никогда, никогда больше не будем воевать!
Пусть другие ублюдки стреляют друг в друга —
Нам на них просто наплевать!

Штольц, отбивая ритм своими огромными ладонями, подпевал припев вместе со всеми, и перекричать его зычный голос мы не могли даже хором.

Когда всеобщее веселье, связанное с исполнением этой задорной солдатской песни, немного поутихло, оказавшийся рядом со мной у буфетной стойки Нойхофф совершенно серьезно спросил меня:

— Вы отдаете себе отчет, доктор, насколько холодно будет сегодня вечером и особенно ночью?

— Дьявольски холодно — одно только могу сказать, — ответил я.

— Уже сейчас минус тридцать пять. Вы понимаете, что это означает? О концентрической атаке на Москву не заикаются пока даже в директивах из Верховного командования.

— О том, как развивается наступление на Москву, можно судить по показаниям термометра. Вы это имеете в виду, Франц?

— Именно.

Если бы могли знать, что именно в тот момент принималось решение о прекращении великого наступления на русскую столицу! Армейские командиры наконец сумели убедить Гитлера в том, что, даже вопреки его личным желаниям, германским армиям необходимо дать приказ о переходе к оборонительной тактике.

Последнее и решающее слово осталось все же за «Генералом Зимой». Самой дальней точкой, до которой сжалось наше стальное кольцо, возможно, и была та самая трамвайная остановка на дороге из Клина.

В нашем секторе не происходило ничего необычного, но в штабе полка меня все же предупредили о том, что отъезд всех отпускников пока откладывается на несколько дней, но, конечно, не отменяется совсем. Что ж, этого следовало ожидать, пока наши передовые части не закрепились на новых оборонительных позициях.

8 декабря как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Япония оказалась в состоянии войны с Америкой! В состоянии войны с Америкой, а не с Россией! Это было непостижимо. Все наши надежды на то, что красные будут воевать на два фронта, в одночасье рухнули.

Дополнительно наша озадаченность усугубилась 11 декабря, когда Адольф Гитлер объявил войну Америке. Это воспринималось как акт какой-то бессмысленной бравады. Неужели нам не хватало врагов и без этого? Неужели положение на русском фронте и без того не было достаточно серьезным — армия без зимнего обмундирования против врага, у которого с каждым днем становилось все больше союзников? Неужели нам предстояло воевать со всем становящимся враждебным по отношению к нам миром?

Затем стали поступать сообщения о том, что с обеих сторон от Калинина наши позиции атакуются свежеприбывшими частями из Сибири, имевшими к тому же великолепное зимнее обмундирование. Должно быть, в не слишком уж отдаленном прошлом Сталин предусмотрительно заключил с Японией секретное соглашение о ненападении, иначе как бы

он осмелился перебросить сюда с востока все эти части...

Сибирские войска появились из-за Волги и сразу же были брошены против наших 127-й и 162-й дивизий. Волга уже не являлась непреодолимым барьером, поскольку основательно промерзла от берега до берега; армия могла пересекать ее по этому льду совершенно без каких-либо проблем. Остро ощущая всю отчаянность положения, я уже втайне начал молиться про себя о том, чтобы русские не устроили крупного прорыва, а следом за ним — грандиозной бойни по всему нашему фронту. Конечно, это была довольно эгоистичная молитва — ведь я с ужасом ожидал, что в любой момент может быть объявлен приказ «Отменить все отпуска». Я *очень* хотел успеть уехать до того, как этот приказ прозвучит официально.

На наш батальон пришла разнарядка, в соответствии с которой мы должны были представить двух наших самых отважных воинов к награждению их новым орденом — Германским Крестом в Золоте. Это была особенно высокая награда, которой могли быть удостоены только фронтовики, причем уже имевшие Железные Кресты 1-го и 2-го классов, и с тех пор геройски проявившие себя в боях от семи до двенадцати раз. Крест надлежало носить на правой стороне груди. Если бы этот вопрос был поставлен на голосование в батальоне, то — вне всяких сомнений — все единодушно проголосовали бы за Нойхоффа. На деле же первым представленным к этой награде оказался обер-фельдфебель Шниттгер из 10-й роты — за выдающуюся и неизменную храбрость перед лицом врага, а вторым Кагенек, за выдающиеся командирские качества, за неизменно проявляемое бесстрашие и за способность принимать верные решения в критические моменты. Представления к награде были подготовлены и отправлены в штаб дивизии для дальнейшей пересылки в Берлин.

К счастью, о том, что отпуска отменяются, не было слышно пока никаких разговоров. Утро 13 декабря должно было стать для меня началом нового времяисчисления. 12-го я получил все мои отпускные документы и подробные напутственные инструкции. Из 3-го батальона в отпуск ехало всего пять человек, и я был среди них единственным офицером.

Мне были вручены дюжины писем для того, чтобы я бросил их в почтовый ящик в Германии, и деньги — для того, чтобы я отправил на них цветы с приложенными к ним записками женам и возлюбленным. Я уже официально передал свои обязанности по лазарету унтерарцту Фризе и старому оберштабсарцту, а Фишеру приказал быть готовым к утру вместе с машиной, чтобы доставить меня в Васильевское, откуда мы поедем дальше на транспортерах для перевозки личного состава.

Но пока мы сидели и распивали бутылку коньяка на маленькой прощальной вечеринке в ночь с 12-го на 13-е, со стороны Азии по степям задул пронзительный ледяной ветер, наметая огромные наносы снега, а столбик термометра категорически отказался подниматься выше отметки минус 35 градусов.

— Вот так-так, старик, а ну-ка встряхнись и гляди веселей! — решил подбодрить меня Ламмердинг. — Ты же завтра едешь домой! Так какого же дьявола ты столь печально взираешь на окружающий мир?

— Я просто боюсь, что моя удача не выдержит всего этого и отвернется от меня, — довольно хмуро ответил я.

— А ну-ка, отставить малевать чертей по стенам! — скомандовал Нойхофф тоном, не допускавшим никаких возражений. — Да не забудь там ни в коем случае отправить цветы моей жене.

Пока я не уехал, я презентовал своим боевым друзьям одну из двух оставшихся бутылок коньяка, чтобы они распили ее на Рождество или Новый год, а также щедро одарил их всех шоколадом и сигаретами. Последнюю бутылку отправил со специальным посыльным на квартиру Кагенеку.

* * *

На следующее утро русские все же чуть не сорвали мой отъезд. Когда я сбивал свою

прилично уже отросшую бороду, раздался вдруг сигнал тревоги, возвещавший о том, что при поддержке артиллерии к нашим позициям массированно прорываются русские танки. Однако после двух часов свирепого сопротивления с нашей стороны напор русских иссяк. На наш перевязочный пункт стали прибывать первые раненые. Среди них оказался и один из тех, кто должен был ехать в отпуск вместе со мной. Он был буквально наспигован со спины тридцатью мелкими осколками шрапнели — затылок, спина, ягодицы, бедра... Он должен был вот-вот отправиться в Германию в долгожданный отпуск, а теперь лежал на животе с карточкой ранения, привязанной к шее.

Еще некоторое время я помогал Фризе и оберштабсарццу с несколькими тяжело ранеными, а потом торопливо попрощался со всеми, и ровно в час дня Фишер, я и еще трое отпускников пунктуально покинули расположение батальона на нашем «Опеле». Эти трое на заднем сиденье, еще не успев остыть после боя, возбужденно и в довольно крепких выражениях обсуждали, как они «хладнокровно» расправлялись с Иванами. Особенно сильное впечатление произвел на них не столько сам бой, сколько то, как были одеты красноармейцы.

— Вы видели, во что одеты эти Иваны? — возмущенно вопрошал солдат из 10-й роты. — Все эти зимние одежды?

— Полный комплект! — мрачно подтвердил второй. — меховые шапки с опускающимися «ушами» и «затылком», стеганные телогрейки, набитые ватой, теплые шерстяные штаны и перчатки... А чего стоят одни только эти войлочные сапоги!

— Валенки.

— Да, валенки!

— Я такие валенки не уступил бы и за две пары наших ботинок! — послышался голос третьего. — После всего двух часов на улице я уже почти не чувствую своих ног, вот только сейчас начинают чуть-чуть оттаивать.

— Я думаю, что Иван мог бы вырыть себе в снегу нору, как кролик, и совершенно запросто хорошенько поспать там во всех этих одежках, — вставил солдат из 10-й роты.

— Сомневаюсь. Этот проклятый мороз проберется через любые одежды, — отозвался второй. — Но к дьяволу все это! Скоро будем греться дома у каминов. И лично мне будет плевать на все, что случится дальше.

Добравшись до Васильевского, мы разместились на ночлег вместе с другими отпускниками в чьей-то пустовавшей казарме барачного типа, и Фишер укатил на «Опеле» обратно в наш батальон. Из 6-й дивизии в отпуск в общей сложности ехало около сотни человек. В семь часов следующего утра должны были приехать транспортеры, чтобы доставить нас дальше, до Ржева.

На следующее утро в условленное время все в приподнятом дорожно-отпускном настроении ждали их уже на улице, однако ни в семь, ни в восемь транспортеров почему-то все не было. Было, как обычно, очень холодно, и поэтому мы то и дело заскакивали обратно в бревенчатый барак, чтобы погреться. К половине девятого к нам подъехал бронеавтомобиль, из него вылез офицер из штаба дивизии, мы быстро построились, и он сообщил нам то самое ужасное, чего каждый из нас так не хотел услышать:

— Друзья, мне очень жаль сообщать вам эту новость, но из ставки фюрера только что получено указание отменить все отпуска. Каждый должен немедленно вернуться в свое подразделение и приступить к выполнению своих служебных обязанностей.

По строю прокатилась волна недоуменно-возмущенного ропота. Терпеливо дождавшись, пока он утихнет, офицер добавил:

— Если вы хотите знать причину, то она состоит в том, что русские прорвали линии наших укреплений у Калинина. Положение сложное и не поддающееся прогнозированию. Это все.

После этих слов мгновенно повисла каменная тишина. Ситуация была действительно слишком серьезной, чтобы роптать по этому поводу.

«Немедленно вернуться в свое подразделение» оказалось весьма непросто, пришлось

добираться на перекладных. Ближе к полудню я увидел вдруг сразу несколько грузовиков из нашего батальона. Стараясь не растерять друг друга, они все вместе, одной сплошной группой двигались в сторону Калинина.

— Вы можете объяснить мне, что происходит? — спросил я у старшего по колонне фельдфебеля.

— Там, в Калинине, какая-то дьявольская заваруха, герр ассистензарцт. Весь наш батальон направлен туда для контратаки и сейчас как раз находится в пути.

— А кто же тогда будет удерживать наши старые позиции?

— Соседние подразделения — сегодня ночью они сменили на них 3-й батальон.

— Ничего не понимаю. Какие-то замены, передислокации, да еще в бой в такую погоду!

— Не извольте беспокоиться, герр ассистензарцт! — браво оттарабанил фельдфебель. — Вы ведь вообще, насколько мне известно, в отпуске, так что...

— Все отпуска отменены, — досадливо оборвал его я.

Лицо фельдфебеля вытянулось.

— Тогда, наверное, положение и вправду очень серьезное, — совсем уже другим голосом проговорил он.

— Наверное, Петерманн и моя лошадь тоже где-то здесь, вместе со всеми, — подумал я вслух.

— Да, он с нами. Насколько я помню, где-то не так уж далеко сзади.

— Тогда я думаю, что дождусь его, раз уж он действительно недалеко.

По прошествии действительно не слишком долгого времени я увидел Петерманна, приближавшегося ко мне верхом на своей лошади и ведшего под уздцы мою Сигрид, чей зимний «отпуск» оборвался так же внезапно, как и мой, не успев даже начаться. Но у Сигрид по крайней мере было ее «зимнее обмундирование». К зиме она основательно обросла довольно плотной шерстью и, в отличие от многих, выглядела просто превосходно. Первым же делом она деловито потыкалась носом в мои карманы в надежде получить обычный в таких случаях кусок сахара или хлеба, но, ничего на этот раз не унюхав, разочарованно фыркнула. Увидев меня, Петерманн от удивления даже начал заикаться, как если бы семь недель моего законного отпуска пролетели всего за сутки.

Я узнал от него еще раз о том, что 3-му батальону было приказано оставить свои оборонительные позиции и двигаться на Калинин. Приказ был получен всего два часа спустя после того, как я отбыл вчера в Васильевское, чувствуя себя наконец вполне состоявшимся счастливым отпускником. Наверняка Нойхофф и другие пошучивали вчера по поводу того, что вот, мол, как своевременно повезло улизнуть счастливицу...

Но все это было вчера, а сейчас было настолько холодно, что я не мог ехать верхом на Сигрид дольше, чем по полчаса за один раз. Ноги от мороза немели настолько, что я прямо-таки физически ощущал, как стынет в них кровь. Приходилось слезать и некоторое время идти пешком, чтобы восстановить кровообращение, так что основную часть пути мы с Петерманном шагали по снегу самостоятельно, ведя наших лошадей под уздцы. В полдень мы устроили небольшую остановку для того, чтобы подкрепиться, толкаясь вокруг полевой кухни, нашим неизменным гуляшом. Привалом это назвать вряд ли было можно, поэтому мы без особых проволок вскоре снова продолжили наш путь.

После полудня разыгралась сильная вьюга; ветер дул с северо-востока прямо нам в лицо, и нам приходилось идти, сильно наклонившись вперед и, по возможности, отвернув лицо в сторону. Но несмотря на то, что мы изо всех сил щурились, чтобы уберечь глаза от мелких частичек льда, они все равно били нам по щекам, а мороз причинял уже в буквальном смысле слова физическую боль.

К счастью, собираясь в отпуск, я собрал довольно основательный запас более-менее теплой одежды. Сейчас я благодарил судьбу за то, что обут в довольно просторные новые полевые ботинки, которые берег для долгого пути в Германию. Ботинки были велики мне ровно настолько, чтобы можно было обувать их не только на две пары толстых шерстяных

носок, но еще и обернуть каждую ногу куском фланели, да к тому же использовать в качестве стелек по нескольку слоев газеты. Еще на мне были две пары длинных шерстяных кальсон, две теплых нательных рубахи, вязаная шерстяная безрукавка, летняя форма, летняя шинель, и поверх всего этого — очень важный элемент: огромного размера кожаный армейский плащ из «пуленепробиваемой», как мы ее называли, толстой кожи с теплой зимней подкладкой — такой же, как у тех двух офицеров, которых мы повстречали у «ворот» Москвы. Довершали мой наряд пара шерстяных перчаток, пара теплых зимних кожаных перчаток, вязаная шерстяная шапочка, и поверх нее — форменная, шерстяная же, *Kopfschutzer* с опускающимися «ушами», которые к тому же можно было застегнуть спереди на лице подобно забралу рыцарского шлема. А чтобы ветер не задувал в рукава, я обвязал их на запястьях двумя бечевками.

Это была довольно странно выглядевшая процессия людей, пробиравшихся, пошатываясь и падая, неуверенными шагами сквозь неистовствовавшую вьюгу для того, чтобы отразить нападение русских. Прибавьте к этому еще то, что каждый человек для того, чтобы максимально утеплиться, пускался зачастую на самые немыслимые ухищрения. В ход шли любые более или менее теплые предметы одежды. Солдаты использовали любое попавшее им в руки шерстяное или хотя бы просто байковое одеяло, а в бой шли обложенные со всех сторон под одеждой толстым и порой довольно плотным «панцирем» из газет.

Вьюга, разыгравшаяся после полудня, ближе к вечеру превратилась в самую настоящую снежную бурю, неистовую, безжалостную и казавшуюся бесконечной. С каждым часом ветер становился все сильнее и сильнее, снег и крупинки льда яростно хлестали нас по лицам. И мы знали, что все это — только начало того, что еще ожидает нас впереди. Мы шли в неизвестность, навстречу не только войне, но и зиме, поединка с которой могли и не выдержать.

Навстречу нам проезжало в тыл множество санитарных машин с ранеными и обмороженными. Среди этой вереницы машин я разглядел вдруг грузовик, приписанный к госпиталю Шульца. Я был немного знаком с шофером и поэтому решил остановить его на пару минут.

— Что там происходит на передовой?

— *Alles kaputt*, — ответил он. — По-моему, там практически полностью уничтожены две немецкие дивизии.

— А ничего не знаешь насчет 18-го полка?

— Батальону Нойхоффа приказано атаковать врага в полдень. Возможно, прямо сейчас они как раз этим и заняты.

— В каком месте они атакуют? — спросил я его, даже схватив при этом за рукав свешивавшейся из окна руки.

— Я не знаю, герр ассистензарцт.

— А где русские?

— Везде! По-моему, никто не знает точно, где именно.

Грузовик покатиł дальше в тыл, а мы с Петерманном снова устремились навстречу неистово бившему в лицо ветру. На этот раз мы взобрались верхом на наших лошадях, обогнали грузовики и настигли того фельдфебеля, что возглавлял продиравшуюся сквозь бурю колонну. Ехать приходилось молча. Когда мы пытались что-то сказать друг другу, ветер как будто целенаправленно выхватывал наши слова и с силой отбрасывал их в сторону, чтобы они не достигли ушей того, кому адресованы. Я с ужасом попытался представить себе, как могли атаковать врага в таких адских погодных условиях наши солдаты и как могли надеяться на спасение раненые и обмороженные. Даже если мы сможем остановить Красную Армию и восстановить нашу главную линию обороны, потери будут просто ужасающими.

Сзади, постепенно обгоняя конные повозки и грузовики, к нам приближалась какая-то санитарная машина. Когда она поравнялась с нами, я громко спросил у шофера, куда он направляется.

— В Горки, — ответил он.

— А не в тех ли краях находится полк оберста Беккера?

— Да, справа от Горок.

— Тогда я еду с вами! — решительно сказал я и вскарабкался на сиденье рядом с шофером, велев Петерманну следовать за нами вместе с лошадьми.

Напряженно вглядываясь в дорогу, шофер изо всех сил нагибался вперед, едва не ударяясь лицом о ветровое стекло. Стеклоочистители просто не справлялись с плотной массой заметавшего их снега. Мы продвигались вперед очень медленно, поскольку шофер изо всех сил старался не потерять накатанную колею и не завязнуть в сугробах по обеим сторонам дороги.

Когда мы добрались до Горок и остановились у наскоро организованного перевязочного пункта, было уже почти четыре часа дня. К своему немалому удивлению, я не обнаружил внутри ни одного врача — лишь только нескольких санитаров-носильщиков из разных подразделений, и при этом ни одного — из 6-й дивизии. Но зато там было огромное множество раненых и обмороженных. Очевидно, этот перевязочный пункт был единственным на всю ближайшую округу, и к нему подтягивались все уцелевшие остатки всех подразделений, сражавшихся неподалеку.

— Где ваши врачи? — спросил я.

— Двое убиты, — ответил мне фельдфебель медицинской службы с огромным шрамом на лбу, — а что случилось с четырьмя остальными, мы не знаем — возможно, они попали в плен к русским. Мы, собственно, вообще ничего не знаем: может быть, русские прямо перед нами, а может, уже и позади нас. В этом случае все мы — все равно что покойники...

— Радужная картинка, ничего не скажешь, — резко оборвал его я. — А теперь отключите-ка на минутку ваше разгулявшееся воображение и доложите мне четко, какова фактическая диспозиция впереди.

— Этим утром там уже практически никого не оставалось, за исключением незначительных остатков двух наших дивизий, так что много наших людей впереди быть не может. Примерно в одиннадцать утра мимо нас туда проследовал батальон с приказом контратаковать врага, а еще через час здесь проезжал штаб полка, принадлежащего к 6-й дивизии. Это все, что мне известно. Но в любом случае, что может поделать всего один батальон против этих орд русских?

— Ну, теперь наконец-то я имею хоть какое-то представление о картине происходящего, хоть это и не слишком веселая картина. Кто здесь старший? Вы?

Фельдфебель вдруг как-то странно замаялся с ответом, и я только сейчас вспомнил, что по моей импровизированной зимней экипировке невозможно было определить ни моего звания, ни рода войск, к которому я принадлежу.

— Я ассистензарцт прошедшего здесь полка, о котором вы говорили, — быстро пришел я ему на помощь.

— *Jawohl*, герр ассистензарцт, — отдал он мне честь.

— В сложившихся обстоятельствах я временно принимаю на себя обязанности старшего по этому перевязочному пункту, а вы будете моим главным помощником как следующий старший по званию. Сколько в нашем распоряжении санитаров-носильщиков?

— Я думаю, семь или восемь.

— Что значит «я думаю»? Вы что же, не знаете, сколько их у вас?

— Точно не знаю, герр ассистензарцт. Люди все время приходят, спрашивают о чем-нибудь и уходят. И никто не знает на самом деле, куда ему идти — то ли в тыл, то ли на запад.

Санитарная машина, что привезла меня сюда, уже загрузилась ранеными, и шофер собирался ехать обратно в госпиталь. Из раненых перевязанными были лишь некоторые, но далеко не все. Ни у одного при этом не было и карточки с пояснительными сведениями о ранении. Я написал несколько строчек оберштабсарцту Шульцу, в которых точно объяснил ему, где мы находимся, и попросил его послать сюда как можно больше санитарных машин,

чтобы вывезти в тыл бесчисленное множество раненых и обмороженных. Положив записку в карман, шофер уехал.

Мы приступили к работе. Прежде всего необходимо было отделить уже умерших от еще живых, а среди живых выделить тяжело раненных и легко раненных. Примерно двадцать человек были еще способны, в случае необходимости, вступить в бой с врагом; оставшиеся же тридцать были в слишком тяжелом состоянии — либо в результате ранений, либо из-за обморожений — для того, чтобы можно было оказать им существенную помощь в этих полевых, по сути, условиях; пятнадцать умерших мы отнесли в конюшню, пристроенную к дому, где их тела уже совсем вскоре заоченели до твердости льда. Я осмотрел тех раненых, кому реально мог помочь, велел санитарам-носильщикам набрать дров для огня, а из самых легко раненных сформировал импровизированный караул для охраны перевязочного пункта от возможного нападения неприятеля. Часовые в этом карауле должны были сменять друг друга в течение всей ночи через каждые полчаса. Раненые все продолжали и продолжали прибывать нескончаемой чередой, но как раз перед наступлением темноты приехали несколько санитарных машин и вывезли в тыл самых тяжелых из них.

Прусская выучка дала знать себя: все панические настроения были рассеяны, а перевязочный пункт стал напоминать маленькую, но стойкую крепость.

Немного освободившись с ранеными, я вышел на дорогу, чтобы еще раз взглянуть на окружающие нас окрестности. Снежная буря улеглась, и даже вроде бы стало немного теплее, хотя, пожалуй, так казалось только потому, что утих и пронизывавший до самых костей ветер. К востоку и к северу от нас продолжало гроыхать сражение, и ночное небо то и дело озарялось яркими вспышками артиллерийских залпов. На уходящей в ту сторону дороге я разглядел в темноте две приближавшихся ко мне фигуры. Когда они подошли поближе, я неожиданно осветил их лица мощным карманным фонариком. К счастью, это оказались Фризе и санитар-носильщик из нашего батальона.

— Привет, Фризе! Откуда это тебя черти несут? — придав как можно больше бодрости своему голосу, спросил я.

Фризе замер где стоял с широко распахнутыми глазами и некоторое время не мог вымолвить ни слова.

— Как бы то ни было, но ты появился в самое подходящее время, — неподдельно улыбнувшись от радости, продолжил я. — Ради бога, расскажи мне скорее, что там происходит на передовой!

— А что вы здесь делаете? — совладав наконец с собой, очень удивленно спросил он. — Я думал, что вы в отпуске.

— Все отпуска отменены, — в который уже раз повторил я вызывавшую лишь досаду и раздражение фразу. — Поверь мне, я не меньше твоего удивлен тем, что нахожусь сейчас здесь.

— Значит, фортуна повернулась спиной не только к нам одним, — печально констатировал Фризе. — Должно быть, все так же паршиво и по всему остальному фронту.

— Что произошло с 3-м батальоном? — обеспокоенно повторил я.

— Насколько я понимаю, положение там не слишком радостное, — ответил он. — Когда мы уходили оттуда в пять вечера, батальон как раз был брошен в очередную атаку на врага. У нас уже очень много раненых и обмороженных. Но хуже всего то, что мы практически лишились всех наших пулеметов. От мороза в них замерзла вся смазка, и из-за этого они не могут стрелять.

— А кто послал тебя сюда?

— В штабе полка стало известно о том, что на этом перевязочном пункте нет ни одного офицера медицинской службы — вот меня и отправили сюда за старшего.

— Ну, Фризе, значит, так тому и быть — остаешься здесь за старшего, пока я побываю на передовой. Только строго следи за тем, чтобы выполнялись все мои распоряжения.

— Какие распоряжения?

— Более подробно тебе расскажет обо всем обер-фельдфебель со шрамом на лбу.

Пошли, я сам представлю тебя как своего заместителя всем, кто там находится, иначе там все развалится к чертовой матери. Многие и так уже готовы в любой момент удариться в панику.

Санитар-носильщик, сопровождавший Фризе, отвел меня и обратно к штабу полка. Соскользнув, как в детстве с крутой горки, с обрывистого заснеженного берега Волги, мы с огромным трудом переправились на другой ее берег через глубокие, почти по пояс сугробы, покрывавшие лед. Десять минут вдоль опушки леса на той стороне, и вот мы уже у полкового поста боевого управления в деревне Красново.

Внутри нас встретил полковой адъютант, барон фон Калкройт. Он рассказал мне, что русские атакуют нас справа и слева от Калинина свежеприбывшими на фронт сибирскими дивизиями, прекрасно подготовленными и экипированными для ведения войны в суровых зимних условиях. В численном отношении они превосходили нас просто несопоставимо. Волга уже не являлась труднопреодолимым препятствием, составлявшим часть нашей оборонительной линии, к тому же русские сполна использовали эффект неожиданности своего нападения. В ближайшее время Калинин угрожал окружение. Был издан приказ о спешной эвакуации из него наших частей. Но они могли покинуть город только при условии, что путь к их отступлению будет удерживаться свободным хотя бы до следующего полудня. Именно для выполнения этой задачи и был задействован 3-й батальон. Наши люди были брошены на врага, невзирая ни на жестокую снежную бурю, ни на страшный мороз, ни даже на подавляющее численное превосходство русских. Один батальон численностью менее семисот человек против четырех сибирских дивизий!

— И что же, была наша контратака успешной? — спросил я.

— И да и нет, — ответил фон Калкройт, пожав плечами. — Главное, что остановлено продвижение русских к Калинин, и в результате путь к отступлению из города до сих пор открыт, а это уже немало. Но наши контратаки только задерживают наступление врага и, уж конечно, не заставляют его отступать. Они просто разбиваются о его оборону. А этот ужасный мороз еще и держит нас фактически привязанными к деревням позади, заставляя в конце концов возвращаться в тепло. Какой окажется наша участь завтра — предсказать просто невозможно. А что будет через неделю-другую со всем фронтом — известно одному только Богу.

— А каковы наши потери?

— Очень тяжелые, особенно в результате обморожений. Точные цифры пока не известны.

Он замолчал, а потом тихо и спокойно, как будто уже со всем смирившись, продолжил:

— Реально можно рассчитывать на то, что 3-й батальон удержит эти орды русских еще лишь несколько часов. В конце концов их всех до одного перебьют. Ну что ж, видимо, так надо. Один батальон должен был быть принесен в жертву. Но это все равно что посылать людей на смертную казнь. Я буду очень удивлен, если живыми оттуда выберутся более чем полдюжины человек.

Я решил немедленно вернуться к своему батальону. Взяв с собой санитар-носильщика, я поспешил в том направлении с очень тяжелым сердцем. Густые снежные тучи раскидало по небу ветром, и снег пока прекратился. Над головой кристально чисто сияли звезды. Одна из них — особенно сильно. Это был Марс — планета, названная в честь бога войны. Казалось, что Марс охвачен кроваво-красным пламенем и пристально всматривается с небес в жуткую батальную постановку, развернувшуюся вокруг Калинина. Но вдруг, как будто уже вдоволь насмотревшись, яркий огонек в ночи оказался стремительно затянутым огромной снежной тучей, а со стороны Сибири вновь стал набирать силу пронизывающий до костей ледяной ветер. Снова стало темно и повалил густой снег. Мы с санитаром-носильщиком могли в ответ на это лишь посильнее вжать головы в плечи и поплотнее прижать к ушам поднятые воротники.

На пункте боевого управления 3-го батальона в маленькой комнатке у копящей керосиновой лампы сидел лишь один человек. Это был майор Нойхофф. Когда я вошел, он лишь устало поднял на меня глаза. Отдав честь и вытянувшись по стойке смирно, я доложил:

— Прибыл для дальнейшего прохождения службы, герр майор!

— Значит, ты вернулся, — рассеянно проговорил он и повернулся обратно к расстеленной перед ним на столе карте фронта, по которой безнадежно водил пальцем. — С нами все кончено, доктор. И мы не в силах изменить это.

Его взгляд снова поднялся на меня. Глаза были красными и воспаленными, а пальцы нервно барабанили по столу.

— Это конец, доктор. Такая вот диспозиция. Теперь ты все знаешь. Мой батальон принесен в жертву. Осознанно, преднамеренно принесен в жертву для того, чтобы спасти наших людей в Калининне.

— Каковы наши потери? — только и нашелся что сказать я — лишь бы только сказать хоть что-то.

— Теперь уже и не знаю. Да и вообще не знаю. Но главный перевязочный пункт просто забит ранеными и обмороженными. А все этот проклятый, дьявольский мороз, который убивает нас! — чуть не сорвался на крик Нойхофф, но тут же снова взял себя в руки и продолжил: — Кагенек и Больски не вернулись — вероятно, оба убиты. Беккер и Ламмердинг пытаются сомкнуться с людьми Штольца и Бёмера. 10-я и 11-я роты, или, вернее, то, что от них осталось, готовятся закрепиться в двух захваченных впереди деревнях. Вот и все, что тут можно сказать.

— Где находится наш перевязочный пункт, герр майор?

— Через два дома отсюда в сторону реки, — с заметным оттенком безнадежности в голосе ответил Нойхофф.

Перевязочный пункт был действительно переполнен сверх всякой меры, в воздухе висела сизая пелена табачного дыма, но внутри него было все же лучше, чем снаружи, потому как там было тепло. Старый оберштабсарцт сидел — будто бы в крайней степени изнурения от работы — на ящике из-под бинтов и, как обычно, ровным счетом ничего не делал, в то время как Тульпин, Мюллер и Генрих действительно лихорадочно работали.

Я расслышал, как Мюллер, завидев меня, наклонился к Тульпину и прошептал ему на ухо:

— *Himmel!* (О, небеса!) Здесь наш доктор!

— Смирно! — машинально выкрикнул Тульпин, позабыв, что в помещении находится еще и старый Вольпиус.

— Не глупи, Тульпин, — досадливо поморщился я. — Да, это был, конечно, слишком короткий отпуск, но зато я рад, что снова с вами.

Я повернулся к старому оберштабсарцту, отдал честь и как можно учтивее произнес:

— Разрешите принять перевязочный пункт, герр оберштабсарцт.

— Пожалуйста, прошу вас, не обременяйте себя ненужными формальностями, — манерно проговорил Вольпиус, лениво коснувшись козырька рукой в приветствии и даже не подумав хотя бы привстать при этом с ящика. — Можете сами видеть, доктор, в каком состоянии мы находимся, — проговорил он далее, обводя рукой переполненную комнату. — Я всегда говорил, что мы хлебнем горя в России. Посмотрите, что случилось с Наполеоном. Помяните мое слово: никто из нас не выберется из всего этого подобру-поздорову.

Нытье старого бездельника не вызвало у меня ничего, кроме затаенного раздражения. Не говоря уже о том, что я считал совершенно недопустимым для старшего по званию офицера подавать солдатам, особенно раненым, подобный пример отношения к происходящему.

— Попадем мы домой или нет, герр оберштабсарцт, интересуется меня в настоящий момент далеко не в первую очередь, — едва сдерживая все нараставшее раздражение, довольно резко сказал я. — Сейчас важнее всего эвакуировать тяжело раненных и тяжелые случаи обморожения. Безотлагательно. Давайте-ка займемся пока этим.

— А разве мы не занимаемся этим, герр ассистензарцт? — тоном уязвленного самолюбия протянул он, продолжая восседать на ящике.

— Я знаю, что занимаетесь, герр оберштабсарцт, — более миролюбиво проговорил я,

осознавая, что зашел слишком далеко, особенно в присутствии подчиненных и рядовых. — Просто я хочу поскорее принять участие в этой тяжелой для всех работе. С вашего разрешения я переоденусь.

— Пожалуйста, прошу вас без формальностей, — ответил он тоже более дружелюбно. — Они совершенно ни к чему, поскольку все мы здесь, без оглядки на чины и различия, возмемся в одной и той же, одинаковой для всех грязи и мерзости.

Генрих достал мой чемодан, который я оставил ему на хранение, я снял мою новую, специально приготовленную для отпуска униформу и переоделся в každодневную полевую. Повесив себе на пояс мой тяжелый комиссарский пистолет, надев стальную каску, забив карманы кителя и брюк ручными гранатами и патронами, я почувствовал себя намного лучше и спокойнее. Уже через несколько минут я организовал мою маленькую колонну конных повозок и отправил с ней к Фризе в Горки самых тяжелых раненых и обмороженных. Посылать сюда санитарные машины было бессмысленно: они никогда не добрались бы до нас из-за сугробов и слишком крутых для них берегов Волги.

Оказывать помощь получившим сильные обморожения было занятием не для слабонервных. Во многих случаях пальцы ног и даже все ступни целиком замерзали до состояния камня внутри обуви, так что снять ее обычным образом не представлялось возможным — приходилось разрезать по голенищу до самого носка. Мы постепенно разминали заледеневшие пальцы и ступни с помощью снега и холодной воды — чтобы не было слишком резкого перепада температур, — пока они снова не становились мягкими и податливыми. Невозможно было сказать сразу, сколько из этих ступней удастся спасти, а в скольких омертвевшие ткани так никогда больше и не вернутся к жизни, превратившись в ужасного вида гангрены. Высушив ступни и присыпав их тальком, мы обкладывали их ватой и туго перевязывали. Всю ту ночь нам помогали в этом четыре русских женщины, имевшие опыт обращения с обморожениями. В самых тяжелых случаях, когда человек был уже просто не в силах выносить кошмарную боль, мы делали уколы морфия, однако с этим приходилось быть очень осторожным, поскольку действие морфия заметно понижает сопротивляемость человеческого организма холоду.

К несчастью, в большинстве случаев последствия обморожений оказались гораздо серьезнее, чем мы надеялись. Тыловым хирургам в госпиталях не оставалось ничего другого, кроме как ждать, чтобы определить, насколько омертвели ткани оттаявших ступней, а затем уже решить, какую часть их придется ампутировать.

В добавление ко всем нашим проблемам от обморожений в той или иной степени пострадал также почти каждый раненый. Наша работа была суровым испытанием не только для раненых и обмороженных, но и для нас самих. В конце концов мы закончили со всеми, и я немного поосвободился для того, чтобы побывать на пункте боевого управления и разузнать, как там обстоят дела на передовой.

Я встретил там Ламмердинга — как всегда спокойного, уравновешенного и ироничного. Увидев меня, он приветливо улыбнулся и сказал:

— Жаль, что твой отпуск полетел к чертям. Видимо, фортуна отвернулась на какое-то время и от тебя так же, как от всех нас. Остается только надеяться, что не навсегда. Советовал бы тебе, однако, воздерживаться пока от ковыряния в носу, поскольку имеется повышенный риск сломать палец.

Громко хлопнув дверью, появился маленький Беккер и тут же радостно закричал:

— Приветствую вас, доктор! Как там Германия? Надеюсь, вы не забыли отправить мое письмо! Рад видеть вас снова с нами! Тут как раз самый разгар веселья!

Он повернулся к Нойхоффу и доложил:

— Кагенек жив и здоров. Будет здесь минут через десять. В настоящий момент у них дискуссия с обер-лейтенантом Бёмером.

Нойхофф резко вскочил с места.

— Так что же случилось? Где он пропадал все это время?

— Он пытался спасти Больски до наступления темноты.

— И что же, удалось ему это?

— Нет, герр майор. Больски и его двадцать восемь человек обнаружены мертвыми в овраге перед удерживаемой русскими деревней. Кагенеку удалось спасти только двоих притворившихся мертвыми, когда русские добивали всех проявлявших признаки жизни.

— Боже праведный! — воскликнул Нойхофф. — Когда же все это закончится?!

Тяжело опустившись обратно к столу, он уронил голову на руки.

Воспользовавшись возникшей паузой, я доложил ему о том, что эвакуировал всех тяжело раненных и обмороженных на перевязочный пункт в Горках, которым командовал Фризе.

— Сколько у нас раненых, доктор?

— Я пока точно не знаю, герр майор, но очень много.

Все мы сидели в мрачном молчании вокруг стола. Снаружи слышались приближавшиеся голоса, дверь рывком распахнулась, и вошли Кагенек и Олиг. С появлением Кагенека обстановка мгновенно разрядилась. Он просто-таки излучал положительную, жизнеутверждающую энергию.

— Давайте сделаем выводы из полученных сегодня уроков, — как ни в чем не бывало с порога предложил Кагенек, как будто речь шла о плановых тактических учениях. — У русских те же самые проблемы, что и у нас. И очень важно, что мы понимаем это. От захваченных в плен мне удалось узнать, что они тоже понесли очень серьезные потери в результате обморожений.

— Но эти их стеганные ватники, валенки!.. — воскликнул Нойхофф.

— Выяснилось также, что не все русские экипированы так же хорошо, как сибиряки. У многих из них, оказывается, тоже нет никакого зимнего обмундирования. Именно поэтому они так ожесточенно и бились за ту деревню сегодня вечером — просто не хотят оказаться на морозе. И все равно, если бы не замерзла смазка в пулеметах, мы бы точно выбили их оттуда!

— И что же нам теперь делать с пулеметами? — требовательно спросил Нойхофф. — Есть какие-нибудь предложения?

— Этим вечером я провел один эксперимент, — спокойно продолжал Кагенек. — Внес один из наших пулеметов в дом, хорошенько отогрел его у печи, разобрал и удалил с движущихся частей всю смазку до последней капли. Затем собрал его снова и опробовал. Стрелять можно.

— А как же заклинивания? Пулемет должен быть смазан.

— Заклинивания, конечно, будут. Должны быть. Но факт состоит в том, что пулеметы работают и без смазки. Вот что важно. И мы можем этим воспользоваться.

Через несколько минут выяснилось, что с группой из двадцати человек и с пятью такими вот несмазанными пулеметами Кагенек как раз и пытался сегодня спасти Больски, залегшего со своими людьми в овраге прямо перед удерживаемой русскими деревней. Путь к отступлению Больски был отрезан вражеским огнем. Под прикрытием плотного огня наших «адаптированных» пулеметов Кагенек с несколькими своими людьми сумел прорваться к оврагу, где к тому времени из тридцати одного человека двадцать девять, включая Больски, были, оказывается, уже перебиты русскими. В живых чудом остались лишь двое раненых, которых Кагенек со своими людьми дотащили до наших позиций — опять же под прикрытием огня несмазанных пулеметов, которые не подвели и на этот раз. Вывод был очевиден всем: лучше уж повышенный износ пулеметов и повышенный риск их заклинивания, чем перспектива остаться вообще без пулеметов, да к тому же при температуре минус сорок градусов по Цельсию, как это было сегодня.

— И вот еще что: я считаю, что в данных условиях нам пока следует позволять русским атаковать нас *первыми*, — продолжил Кагенек. — Благодаря этому мы, во-первых, сможем использовать деревенские дома как укрытия, а во-вторых, будем иметь возможность держать и людей, и пулеметы в тепле, но в любой момент готовыми к бою. А пулеметы в этом случае можно даже оставлять смазанными — при нападении врага мы будем вести из

них настолько интенсивный огонь, что смазка просто не будет успевать застывать. Да и в любом случае атаковать хорошо укрепленного и дожидającego тебя противника со стороны открытого пространства — в данном случае со стороны заметенных сугробами полей — это чертовски трудная задача.

— Ты говоришь обо всем этом с таким видом, будто уже решил все проблемы зимней кампании, — немного раздраженно перебил его Нойхофф.

— Нет, герр майор, — невозмутимо ответил Кагенек, — я их конечно, не решил. Во всяком случае, все. Предстоит столкнуться еще с множеством проблем — причем как нам, так и русским.

— Если у тебя это так хорошо получается, Кагенек, то реши-ка вот такую проблему: как нам воевать без теплой зимней формы против этих сибиряков?

— Надо заготовить их форму!

— То есть?

— То есть форму этих сибиряков. Если наше командование не обеспечило нас зимней одеждой — надо раздобыть ее самим. Я имею в виду пленных и убитых сибиряков — их меховые шапки, валенки и ватники. Если взяться за это поэнергичнее, то вскоре мы сможем предстать против них на равных, и тогда еще посмотрим, чьи солдаты лучше.

— По дороге сюда, — вставил я, — я видел многих наших солдат... Так вот, тебе пришлось бы приложить немало усилий, чтобы убедить их в том, что они могут противостоять красным на равных. Подавляющее большинство из них придерживается как раз совершенно обратного мнения.

— Распространение панических настроений в войсках — это, пожалуй, наша самая серьезная проблема, — с мрачной серьезностью согласился Кагенек. — Без глубочайшей уверенности в себе и в своей способности бить русских мы не можем надеяться на победу.

— Да, мы не можем позволить себе утратить уверенность в себе самих, — как эхо повторил Нойхофф, будто стараясь убедить в этом самого себя. — Мы не можем позволить этого себе ни при каких обстоятельствах.

— И последнее, — сказал Кагенек. — В условиях этого ужасного мороза наших людей должно находиться на открытом воздухе как можно меньшее количество и как можно менее продолжительное время. Все свободные от несения службы на улице должны находиться в теплых помещениях. Сторожевые посты расположить прямо перед деревней и менять заступающих на них солдат как можно чаще. Всем офицерам усилить бдительность и самим присматривать за этими постами.

Нойхофф выразил свое безоговорочное согласие и с этим. Как я стал замечать, он вообще все более и более склонялся к тому, чтобы все решения принимал Кагенек, а сам он лишь механически накладывал бы на них свое начальственное одобрение. Текущая ситуация вышла у Нойхоффа из-под контроля, а сам он — к всеобщему недоумению — просто на глазах терял свою командирскую хватку.

— Послушайте-ка, а неужели никто из вас здесь совсем не голоден? — спросил маленький Беккер, когда обсуждение главных вопросов подошло к концу.

— Голоден? Слово «голоден» больше не подходит. Я уже давным-давно съел бы собственные ботинки, если бы не такие морозы! — воскликнул Кагенек.

Беккер вышел, чтобы организовать ужин, а Нойхофф и Ламмердинг отправились подготавливать официальный доклад по текущей ситуации в соседний дом, служивший нам чем-то вроде временной батальонной канцелярии.

— Что на самом деле случилось с Больски? — спросил я у Кагенека, когда мы остались одни.

— Он был безмозглым фанатиком — вот и все, что тут можно сказать, — ответил Кагенек. — Офицер должен действовать сообразно развивающейся ситуации, а не слепо следовать лишь своим принципам. Сегодня его фанатизм завел его в безнадежное положение, выхода из которого на этот раз не оказалось.

— Его и его взвод, — поправил я.

— Совершенно верно. Он просто обрек двадцать восемь человек на смерть, хотя в этом не было совершенно никакой необходимости.

— Так что же все-таки с ними произошло?

— В их автоматах, как и в наших пулеметах, застыла смазка, и они перестали стрелять. Больски прекрасно знал, что враг намного сильнее, и в самом начале у него еще была возможность вывести своих людей из затруднительного положения, поскольку русские в тот момент сконцентрировали все свои силы на Штольце, который атаковал их с левого фланга. Больски отлично видел и то, что Штольц вынужден был прекратить атаку, поскольку у них тоже заклинило автоматы. Но Штольцу хватило благоразумия отступить.

— Штольц просто так отступить не будет.

— Вот именно, и Больски знал это. По рассказам тех двоих, что остались в живых, Больски как будто не слышал обращенных к нему советов его унтер-офицеров, а только и делал, что вопил: «Ни шагу назад! Мы солдаты фюрера!» и прочую подобную драматическую чушь. И, возможно, в определенный момент он даже был по-своему счастлив, когда до него дошло, что у них оказались отрезанными все пути к отступлению. Еще бы! Ведь в своем упрямом нежелании смотреть фактам в лицо он представлял собой тогда миниатюрное подобие не кого-нибудь, а самого Гитлера! Гитлер приказал атаковать Москву, хотя всем было ясно, что это совершенно безнадежно, и принес в жертву этой своей прихоти сотни тысяч человеческих жизней. Больски принес в жертву двадцать восемь человек и себя самого.

— Геройски умер за идею! Да не один, а еще и двадцать восемь человек к этому подвинул.

— Кто-то еще наверняка скажет, что это был беспримерный подвиг, достойный всяческого восхищения. А я считаю, что это было преступление, что он этих людей просто погубил — все равно что сам убил.

Вошел маленький Беккер в сопровождении солдата, несшего еду в закутанном одеялом и аппетитно дымящемся бачке. Как фокусник, Беккер мгновенно извлек откуда-то белоснежную скатерть, тарелки, вилки и даже столовые ножи.

— Доставка в номер! — торжественно объявил он.

«Меню» состояло, конечно, из нашего неизбывного гуляша из конины.

— Великолепно! — воскликнул Кагенек. — Самое время как следует подкрепиться, а то у меня уже сквозняки в кишках гуляют.

Мы послали за Нойхоффом и Ламмердингом, но пришел только Ламмердинг. Торопливо отряхнув снег с ботинок, он уселся за стол.

— Нойхофф разве не придет? — спросил я.

— Нет. Он сказал, что не голоден. В последние дни он что-то постоянно не голоден.

— Что это с ним такое? — встревоженно поинтересовался я. — Он выглядел как-то не очень здорово уже тогда, когда я приехал сегодня вечером.

— Мне кажется, у него дизентерия, — осторожно вставил Беккер. — Он каждые несколько минут выбегает на двор, и я думаю, что это его очень изматывает.

— Интересно, это у него инфекционное или на нервной почве? — задумчиво пробормотал я. — Надо посмотреть, чем я могу ему помочь.

Беккер тем временем не слишком успешно пытался нарезать хлеб. Острый нож едва справлялся с этой задачей, хоть Беккер и прилагал к этому все свои усилия.

— Это сверх всяких пределов! — воскликнул он. — Даже хлеб замерз.

— Разруби его топором, — то ли в шутку, то ли всерьез предложил Ламмердинг.

Кунцль и Ханс только что привезли в лазарет на наших конных повозках тех двух уцелевших солдат из взвода смертников Больски. У одного из них было ранение легких, у другого — раздробление таза. Но за то время, пока Кагенек вызволял их из оврага, эти и без того тяжелые ранения усугубились еще и столь же серьезными обморожениями. Ни один из этих двоих не догадывался пока, что, вероятнее всего, им придется ампутировать ноги до самых колен, а также по несколько пальцев рук. Пока они были просто благодарны судьбе за

то, что остались живы и находятся в надежных руках.

Краем уха я услышал, как Мюллер в разговоре с тем, у кого было раздробление таза, спросил:

— Может, я принесу тебе что-нибудь поесть, Пауль?

— Вы что, знакомы? — спросил я у Мюллера.

— Да, и очень хорошо, герр ассистензарцт. Пауль — почтальон из соседней с нашей деревни. Мы даже пели с ним вместе в мужском хоре.

Почтальон! Мне вдруг пришла идея. Если не случится ничего непредвиденного, то через день-два его отправят самолетом в Германию.

— Послушай, Пауль, — обратился я к нему. — Сделай мне, пожалуйста, одно одолжение, когда доберешься до дома — отправь мою телеграмму. Адрес, текст и деньги я тебе сейчас дам.

— Конечно, герр ассистензарцт. С удовольствием.

На оборотной стороне чистой карточки ранения я написал: «Фройляйн Марте Аразим, Дуйсбург, Бёрзенштрассе 18. — Отпуска отменены. Отложи празднование помолвки. Жив и здоров. С Рождеством. Хайнц».

* * *

Заполнение официального журнала потерь убитыми и ранеными в нашем батальоне оказало на меня в ту ночь весьма гнетущее действие. Никогда еще я не вписывал в него столько имен сразу. 14 декабря стало для 3-го батальона по-настоящему черным днем. Число потерь составило 182 человека убитыми, ранеными и пострадавшими от тяжелых обморожений. За один день мы потеряли больше людей, чем за всю русскую кампанию с самого ее начала до этого момента. Такой ценой «батальон смертников» продержался против орд сибиряков более двенадцати часов, оказавшихся поистине бесценными для наших частей, спешно эвакуировавшихся все это время из Калинина.

Закончив выполнение этой своей печальной обязанности уже почти в полночь, я смог вернуться обратно на пункт боевого управления и наконец уделить время тому, чтобы побеседовать с Нойхоффом о его недомогании. Он признался мне, что чувствует себя крайне изнуренно и подавленно. У него уже несколько дней как совершенно пропал аппетит, а сопротивляемость организма и без того была уже значительно ослаблена регулярно повторявшимися приступами дизентерии, которая, по всем признакам, и не думала отступать сама, без эффективного лечения. Мне было совершенно ясно, что Нойхофф очень болен, что он держится в преддверии окончательного упадка сил лишь невероятным усилием воли. От таблеток снотворного, которые я ему настоятельно порекомендовал, он категорически отказался, аргументировав это тем, что в сложившейся на сегодняшний день критической ситуации у него просто нет времени на сон. Но смягчающую полумеру против проблем с кишечником в виде запаса таблеток «Таналбина» принял охотно. Увы, это было все, что я мог сделать для него на тот момент времени.

Когда я вернулся в лазарет, старый оберштабсарцт как обычно изнуренно восседал на одном из ящиков. Я предложил ему пойти немного отдохнуть, и он, не заставляя уговаривать себя слишком долго, с усилием поднялся и вышел.

Часы показывали уже три ночи. Все тяжело раненные были эвакуированы в тыловые области. Наши конные повозки непрерывно сновали туда и обратно как челноки, а их возникшие — в особенности русские добровольцы, Кунцль и Ханс, — проявили в тот невыносимо морозный вечер и ночь настоящий героизм. Ближе к утру я решил, что необходимо немного вздремнуть, но перед самым рассветом был осторожно разбужен Мюллером.

— Там какие-то крики из леса, что перед нами. Как будто кто-то зовет на помощь, — извиняющимся шепотом сообщил он мне.

Я с трудом поднялся и вышел на улицу вслед за Мюллером. Действительно, из леса,

что находился метрах в четырехстах от нас, кто-то отчаянно взывал о помощи. Отдельные выкрики эти были по-настоящему жуткими, как будто издававший их уже агонизировал. Не вполне понятно было даже, на каком языке кричали. Я разбудил Тульпина и Генриха, а Мюллера отправил в штаб батальона, чтобы он поставил их в известность об этом происшествии и взял на всякий случай нам в подмогу еще нескольких солдат. Не дожидаясь, пока они нас догонят, мы двинулись в ту сторону, откуда раздавались крики.

С величайшей осторожностью, с автоматами наготове мы медленно пробирались по глубоким сугробам к лесу. Это могло быть и ловушкой. Крики становились все громче, отчаяннее и различимее: «Ради бога, помогите, кто-нибудь! Где же все?! Ради бога, помогите мне!»

На опушке леса мы разглядели наконец силуэт человека, который, едва держась на ногах и вытянув вперед обе руки, медленно шел нам навстречу. Он шел так, как будто совершенно не видел нас.

— В чем дело? Что с тобой? — подали мы голос.

— А-а-а! — взвыл он еще громче. — Помогите же мне! Я ничего не вижу! Они вырвали мне глаза!

В несколько прыжков мы оказались около несчастного и осветили ему лицо фонарем. Там, где должны были быть глаза, зияли лишь жуткие пустые окровавленные глазницы. На щеках виднелись свисавшие из глазниц кусочки тканей и сосудов, а кровь все еще струилась по лицу, но тут же превращалась в ужасную ледяную корку.

Тульпин схватил его за руку и быстро повел из леса в сторону деревни по той же борозде, что мы проделали в сугробах, а мы с Генрихом медленно шли вполоборота следом, не сводя дул наших автоматов с черневших в предрассветной мгле деревьев. Пока мы добрались до лазарета, спасенный успел поведать нам свою ужасную историю. Он был артиллеристом — одним из четверых, посланных протянуть телефонный кабель к наблюдательному пункту, расположенному на некотором расстоянии за нашими позициями.

— Было очень темно и холодно, и мы совершенно не ожидали встретить никаких русских, — рассказывал он, — вдруг раздалось несколько выстрелов, и все три моих товарища запертво упали на снег. Я побежал назад тем же путем, что мы шли, и угодил напрямик в руки русских. Они крепко схватили меня за руки и за ноги и потащили куда-то... Я пытался звать на помощь, но один из них злобно прошипел мне на ломаном немецком, чтобы я заткнулся... Но я все равно продолжал звать на помощь. И тогда они сказали друг другу что-то и бросили меня на снег. Один из них быстро приблизился ко мне с ножом в руке... Не успел я ничего понять, как увидел вначале ослепительную вспышку, а затем сразу же почувствовал ужасную боль в правом глазу... А затем то же самое произошло и с левым глазом... И больше я уже ничего не видел, только один сплошной мрак... Тот, что обращался ко мне на ломаном немецком, схватил меня за руку и снова зашипел на ухо: «Та-ак... Теперь иди прямо вперед, никуда не сворачивая, и тогда попадешь к своим братьям, таким же немецким собакам, как и ты сам. Передай им, что мы перебьем их всех. А оставшимся в живых вырвем глаза, как тебе, и отправим подыхать в сибирских рудниках. Это будет наш реванш!» С этими словами он толкнул меня в указанном направлении, и я услышал, как они побежали по снегу в другую сторону.

Несчастный закончил свою историю и разразился глухими рыданиями.

Дойдя до лазарета, мы сделали для него все, что могли, но сделать тут, увы, можно было не слишком много. Вернуть зрение ему был уже никто не в силах. Всю оставшуюся жизнь ему предстояло провести в абсолютной тьме.

Чуть только рассвело, русские атаквали нас снова, нацеленные на то, чтобы любой ценой захватить жизненно важный для наших войск путь отступления из Калинина. Мы этого, конечно, ждали в полной готовности и с хорошо прогретыми у печей пулеметами и автоматами. Когда из лесу хлынули сплошным потоком сотни красноармейцев, мы вначале подпустили их на оптимальное для прицельной стрельбы расстояние, а затем открыли неистовый огонь из всего, чем только можно было стрелять. Атака захлебнулась в снегу

прямо перед нашими наскоро подготовленными позициями, а когда красные бросились удирать, им еще хорошенько добавили вдогонку наши артиллеристы и минометчики.

Не успели они все скрыться в лесу, как наши солдаты уже были среди убитых русских, сдирая с них всю самую теплую одежду: меховые шапки, овчинные тулупы, стеганные ватники и эти поистине волшебные валенки. Валенки набралось таким образом около шестидесяти пар, и они были распределены в первую очередь среди тех, кто уже обморозил ноги, но еще мог ходить, а теперь — и принимать участие в боях. В ближайшее время нам нечего было и рассчитывать на пополнение, да если бы оно вдруг и пришло — проку в нем было бы не слишком много из-за полного отсутствия боевого опыта. На счету был буквально каждый человек, поскольку только от нас зависело, прорвется или не прорвется враг к спасительной для наших частей дороге из Калинина. Только мы могли спасти жизнь нашим солдатам, оказавшимся там в ловушке, а может быть, если очень повезет — то и свою жизнь тоже. В тыл отправлялись лишь полумертвые раненые да те, кто был совсем уж не в состоянии держать в руках оружие.

Пока нам удавалось удерживать наш небольшой участок фронта, оставшиеся части нашей 9-й армии спешно отходили по защищаемой нами дороге к Старице. Скоро эти солдаты снова вступят в бой. А если 3-й батальон 18-го пехотного полка и окажется ради этого уничтоженным полностью — то это будет не слишком большой потерей в масштабах общей стратегии, поскольку такой ценой будет обеспечен отход из Калинина целой 9-й армии. Вернее, того, что от нее осталось. Даже мы это понимали. Мы осознавали стратегическую необходимость этого умом, но сердце все же разрывалось на части при виде того, как прямо на глазах тает наш обреченный на смерть батальон.

Тем не менее после успешно отраженной на рассвете атаки русских батальоном овладел сильнейший всплеск уверенности в своих силах. Последовавшую через несколько часов за этим вторую атаку врага мы отбили с почти такой же легкостью, в результате чего к шестидесяти красноармейцам, уже извлеченным нами от их теплой одежды, прибавилось еще раза в два больше, правда, не таких тепло одетых. Прямо перед нашими позициями лежало теперь уже около двухсот окоченевших трупов неприятеля, являя собой наглядное подтверждение эффективности избранной нами оборонительной тактики.

Но особенно порадовала нас в лазарете, конечно, не груда русских трупов, а то, что был отмщен наш ослепленный артиллерист. А дело было так: в один из моментов Штольц расслышал отдельные выстрелы немного впереди от нашего сектора и отправил туда разведать обстановку Шниттгера с еще девятью солдатами. Они наткнулись, возможно, на тот самый патруль из пятнадцати русских, которые убили троих наших артиллеристов и совершенно бесчеловечным образом лишили зрения четвертого. Шниттгер и его люди, оставшись незамеченными, залегли в засаду под прикрытием заснеженных елей и буквально изрешетили с близкого расстояния всю эту группу из своих автоматов. Уйти от возмездия не удалось ни одному из них.

Нойхофф объявил об общем для всех офицеров батальона совещании для обсуждения текущей ситуации, и как раз к тому моменту, когда мы все собрались, раздался телефонный звонок из штаба полка и нам сообщили, что главная линия обороны сформирована к этому полудню позади Горок. Калинин удерживался достаточно долго для того, чтобы 9-я армия смогла благополучно оставить его и расположиться на новых позициях.

Итак, 9-я армия все же смогла выскользнуть из западни! Мы сумели удержать дорогу на Старицу достаточно долго для того, чтобы по ней ушло на юг 100 000 наших солдат.

Повесив трубку полевого телефона, Нойхофф впервые за все это время немного расслабился. Повернувшись к нам, он сказал:

— Похоже, наша работа закончена. Благодарю вас, господа.

* * *

Мы оставили деревню Красново и переправились по льду на ту сторону Волги, оставив

на поле битвы тела ста двадцати наших товарищей. Еще почти сто пятьдесят человек покинули наш батальон в результате ранений и обморожений.

За эту операцию личный состав нашего батальона был награжден в общей сложности шестьюдесятью четырьмя Железными Крестами, а германское радио даже посвятило специальную передачу маленькому батальону, удерживавшему бешеный натиск четырех сибирских дивизий, в результате чего был обеспечен благополучный отход из Калинина почти целой 9-й армии.

Передачи этой мы не слышали. Отступавшие армии вообще предпочитают не слушать радио, а радиоприемники порой просто выбрасывают за ненадобностью.

Степные ветра

Отступление от Москвы началось.

Это было отступление, под которым подразумевался отвод от столицы России всех находившихся там частей германской армии. Три наших армии откатывались назад от фантастического трофея, который они уже почти держали в руках, а при этом их еще и ощутимо подгонял маршал Жуков со своими многочисленными и хорошо утепленными подкреплениями.

Для наших скудно экипированных зимним обмундированием солдат это отступление во многих случаях было практически равнозначно смерти. Смерти от мороза, который, бывало, достигал пятидесяти градусов ниже нуля. Со стороны резко континентальных азиатских степей продолжали дуть свирепые ветры, неся с собой сильнейшие снежные и даже ледяные заряды. Из-за обилия снега шоссейные дороги можно было распознать лишь по накатанным по ним не слишком широким проездам с плотно утрамбованным снегом. Во время этих снежных бурь было холодно, отчаянно холодно, но когда тучи рассеивались и сквозь них проглядывало хмурое низкое солнце, теплее все равно не становилось. Как будто до состояния льда промерзло самое небо неприветливого свинцово-серого цвета. Смерть приходила с игольчатыми кристалликами льда, образовывавшимися прямо на глазах, и была совсем рядом, буквально повсюду. Но наши солдаты схватывались в поединке с морозом снова и снова — с такой же непреклонной решимостью, с какой они сражались и с русскими. Даже при отступлениях по снежным пустыням к врагу всегда были обращены их лица, а не спины.

Все эти дни повсюду абсолютно доминировала огромная фигура Штольца и его могучий голос. Одет он был в русский овчинный тулуп с огромным меховым воротником, закрывавшим почти всю его голову. Вся одежда, которой он располагал, была на нем, что увеличивало его и без того немалые габариты до размеров средней величины шкафа. Вообще все мы, казалось, раздулись до громадных размеров и чудовищной силищи. Все офицеры нашего батальона, за исключением Кагенека, маленького Беккера и меня, были и без того, как на подбор, не менее 180 сантиметров роста, но даже маленький коренастый Беккер вырос, казалось, до просто-таки гигантских размеров.

Перед тем как оставить Горки, я тщательно закрыл наш перевязочный пункт, как будто надеялся еще вернуться сюда. Лучшее всех, буквально не покладая рук, работал Фризе, да и фельдфебель со шрамом на лбу оказался очень ценным помощником. К отправке в тыловую госпиталь ими было подготовлено в Горках более трех сотен (!) раненых. Колоссальная нагрузка легла, конечно, на плечи и оберштабсарцта Штольца вместе со штабсарцтом Лоренцом, поскольку они не только сумели оказать всю посильную помощь сотням и сотням раненых, но также обеспечили их благополучную транспортировку дальше в тыл, невзирая на жесточайшие погодные условия.

Мы отступали по направлению к Старице и Ржеву, на подступах к которым должны были занять для наших зимних оборонительных позиций так называемую «Кёнигсбергскую линию». Одолеваемые сомнениями, мы бесконечно расспрашивали друг друга о том, существует ли такая линия в действительности или нет и кто должен подготовить эти самые

зимние позиции. «Отступать медленно, всемерно удерживая при этом врага, — гласил приказ, — чтобы дать вашим товарищам в тылу время на подготовку оборонительных укреплений». Мы очень надеялись на то, что эти наши товарищи в тылу действительно существовали и что они на самом деле сооружали для нас оборонительные укрепления.

Нашу часть «контракта» мы выполняли сполна. Мы отступали медленно и мы удерживали врага. День за днем, по несколько раз на день мы отчаянно противостояли следовавшим одна за другой атакам Красной Армии, а Жуков все бросал и бросал на нас дивизию за дивизией сибиряков, не считаясь при этом ни с какими потерями. Наши люди сражались и умирали. Не слишком помногу за раз, но после каждой атаки русских мы с болью в душе замечали новые освободившиеся пустоты в строю, а вечером у полевой кухни отмечали про себя отсутствие еще нескольких знакомых лиц. Совсем еще молодые парни сражались плечом к плечу со своими старшими и более опытными товарищами и испускали последнее дыхание, так и не успев еще толком пожить.

Хоронили их в «могилах», наскоро выкопанных прямо в глубоком снегу. В те дни не было времени даже на то, чтобы сколотить простенькие березовые кресты. Обычная похоронная церемония воспринималась в тех условиях как издевательский фарс: тела погибших было практически невозможно предать матери-земле. Уже через час после наступления смерти труп не просто коченел, но промерзал до твердости орудийного ствола. Примерно в таком же состоянии была и сама земля. Приходилось закапывать эти окаменевшие мумии просто в снег, а уж там им предстояло дожидаться, когда весенние оттепели растопят над ними этот ледяной погребальный склеп.

Каждый день был наполнен ожесточенными схватками. Временами мы отбрасывали русских назад, неся при этом огромные потери, и каждый вечер вырывались из мертвой хватки врага, чтобы хоть немного отогреть наши заочневшие тела в какой-нибудь заброшенной деревушке.

Мороз был просто чудовищный. Слезившиеся глаза покрывались коркой льда, из ноздрей свисали сосульки, дыхательные пути и даже сами легкие конвульсивно сжимались от боли при каждом вдохе. Усилие приходилось прикладывать даже к тому, чтобы просто думать... В этих нечеловеческих условиях немецкие солдаты продолжали сражаться — уже не за идеалы, не за идеологию и даже не за фатерлянд. Они просто слепо дрались с врагом, ни о чем не задумываясь, не задавая никаких вопросов и даже уже не проявляя интереса к тому, что ожидает их впереди. Ими двигали привычка, дисциплина и эпизодические проблески инстинкта самосохранения. А когда разум солдата начинал неметь от холода, подобно его телу, когда его сила, дисциплина и воля исчерпывали себя, он оседал в снег. Если этот момент оказывался замеченным товарищами, они поднимали солдата и приводили в сознание всяческими тычками, шлепками, а то и тумаками поощитимее (чем сильнее — тем лучше), чтобы напомнить, что его миссия на Земле еще не закончена. Тогда он снова с огромным трудом поднимался на ноги и, как слепой, продолжал, шатаясь и падая, идти дальше вместе со всеми. Но если никто не замечал падения, то он так и продолжал лежать там, на обочине дороги; силы оставляли его окончательно, и очень скоро становилось слишком поздно... Ветер быстро заметал тело снегом, и совсем скоро человека под ним невозможно было уже и разглядеть.

Но были и другие — не слишком многочисленная группа людей, которые несли ответственность за остальных, чью решимость и самообладание не могли пошатнуть ни самая лютая снежная буря, ни самый свирепый натиск русских. Они снова и снова собирали в упругий комок всю остававшуюся у них силу и отказывались воспринимать убаюкивающую музыку Природы, приглашавшую к отдохновению и вечному покою. Но такое чрезвычайное напряжение воли забирало слишком много жизненной энергии, а нервы в конце концов натягивались до такой степени, когда что-то неминуемо должно было сломаться. Немало по-настоящему достойных мужчин сорвались таким образом в более или менее тяжелые формы безумия.

Самым первым сломался старый оберштабсарцт. Его нервная система достигла крайней

степени истощения, и для начала его ночи превратились в мучительные кошмары, населенные многочисленными призраками русских. Для нас он стал совсем уж бессмысленной обузой, и его пришлось отправить обратно в Германию.

Нойхофф тоже уже был совсем недалек от полного нервного и физического истощения, но он снова и снова собирал в кулак свою железную волю и как-то держался. Следует признать, что границы его природных способностей и возможностей всегда немного не дотягивали до той планки, которая соответствовала должности командира батальона, а в совокупности с мучительными приступами дизентерии это вымотало его настолько, что он стал напоминать ходячего покойника. В конце концов его увезла в тыл санитарная машина. Командование истаявшим и обескровленным 3-м батальоном принял на себя Граф фон Кагенек.

Так мы и отходили с боями на юг в направлении Старицы, пока 22 декабря не оказались снова в Васильевском. Когда мы вошли сюда с запада уже под конец нашего стремительного и победоносного марша через Польшу по России, батальон был почти в полном составе и насчитывал ровно восемьсот человек. Теперь же его численность составляла сто восемьдесят девять человек вместе с офицерами и унтер-офицерами, однако этот жалкий остаток все же сохранял свою боеспособность. Из трех батальонов, составлявших 18-й пехотный полк, наш понес самые тяжелые потери, но и он же нанес самый сильный урон русским. Мы могли по праву гордиться тем, что ни разу не повернулись спиной к врагу и ни разу врагу не удалось прорваться через удерживаемые нами позиции.

Критически уменьшилось и количество фронтовых врачей, поскольку большинство из них просто погибло в ходе боевых действий. Фризе был затребован обратно штабом дивизии для дальнейшего перевода к новому месту службы, и я снова остался практически совершенно один.

У каждого, без исключения, человека в батальоне были вши, но на фоне интенсивных боев и свирепого мороза и связанной с этим повышенной занятости всей медицинской службы это уже не воспринималось как первостепенная проблема. Все, что я мог предпринимать в той обстановке, — это как можно оперативнее эвакуировать случаи сыпного тифа, надеясь, что они не примут характера эпидемии.

Необычайную интенсивность приобретали в сложившихся условиях даже болезни, которые обычно не доставляли столько хлопот. Страдавшие от дизентерии удерживались в действующих фронтовых подразделениях как можно дольше, до самого последнего возможного предела. Да и в любом случае отправлять раненых в тыловые госпитали становилось все труднее и труднее, поскольку все они были безмерно перегружены тяжело ранеными и пострадавшими от сильных обморожений. В результате бедолаги, страдавшие от дизентерии и очень ослабленные ею, старались держаться в строю до последнего, сколько у них хватало на это сил. Если приступы дизентерии случались более чем три-четыре раза за день, то их тела теряли при этом больше тепла, чем это было допустимо в их и без того чрезвычайно ослабленном состоянии, — так что смерть подстерегала их буквально каждый раз, когда им приходилось спускать штаны, чтобы справить эту свою участвующую естественную нужду. Бывали и случаи, когда расстегнуться просто не успевали — и тогда испачканное таким образом нательное белье означало неминуемое обморожение, причем в самое ближайшее время. А обморожение в таком ослабленном состоянии, когда смертельно опасным было даже простое переохлаждение, практически наверняка гарантировало летальный исход.

Поэтому, отбросив неуместное в данном случае изящество манер, мы изобрели для страдавших от дизентерии следующее ухищрение: сзади на штанах и подштанниках проделывался продольный разрез сантиметров пятнадцати в длину — для того, чтобы они могли оправляться, не оголяя при этом заднюю часть тела полностью. Затем, по завершении сего процесса, санитары или просто находившиеся рядом товарищи оттягивали заднюю часть штанов и плотно завязывали ее бечевкой или куском проволоки — до следующего раза, когда все эти манипуляции приходилось повторять снова. Страдавшие от дизентерии

были сильно исхудавшими, так что штаны болтались на них достаточно свободно для того, чтобы плотно завязывать задний дополнительный «клапан» — чтобы мороз не проникал через него под одежду. Смех смехом, но эта нехитрая мера помогла спасти много жизней. Благодаря ей многие солдаты, которые в противном случае были бы потеряны, оставались в строю в более или менее боеспособном состоянии.

По мере возможностей я всегда старался оказывать раненым помощь в теплом помещении, а когда перевязки приходилось производить на открытом воздухе, то, опять же по возможности, мы делали это так, чтобы не снимать с них при этом верхней одежды. У меня был один простой, но, я считаю, исключительно важный *идефикс* : никогда не оставлять без своего личного внимания и заботы *каждого* попавшегося мне на глаза раненого или упавшего от изнурения солдата. Я возвел это себе в неукоснительно выполняемый принцип. Пока я его выполнял, мне всегда было к чему прилагать свои усилия. Оставить любого раненого было в любом случае равносильно совершению убийства. К тому же до нас доходили отдельные сведения о том, какому бесчеловечному обращению подвергались раненые германские солдаты со стороны русских. Некоторые из оказавшихся у нас в плену красноармейцев поведали нам просто шокирующие истории о последних часах эвакуации наших частей из Калинина.

К тому моменту, когда в город снова вошла Красная Армия, в нашем госпитале все еще находилось довольно значительное количество тяжело раненных немецких солдат и офицеров. Они умоляли не оставлять их на милость русских — ведь у них не было даже оружия, чтобы в крайнем случае хотя бы застрелиться, но санитарных машин на всех так и не хватило, и их пришлось оставить. Вместе с ними решили остаться и несколько врачей — ведь должен же был кто-то обеспечивать их необходимым уходом... И вот появились русские... Первым делом они перебили всех врачей, а затем в течение нескольких минут освободили все помещения госпиталя от наших раненых, просто повышвыривав их на улицу через окна. Те, кто не умер сразу, распластавшись на промерзшей земле, через минуту-другую получили по пуле в затылок, а затем их всех вместе свалили, не закапывая, в большую общую яму, ставшую их последним земным пристанищем.

Как рассказывали нам пленные — причем не один, не два, а многие, — приказ Сталина по этому поводу был краток и прост: «Все немцы — преступники. Убивайте их всех». Не было никаких сомнений в том, что они говорили правду — так что ничего удивительного или героического в том, что я твердо придерживался принципа никогда не оставлять ни одного раненого, не было.

И все же однажды это решение чуть не привело меня к гибели. Как-то, уже после полудня, я немного отстал от батальона с группой из примерно двадцати легко раненных и просто больных. Я не был слишком обеспокоен нашим отставанием, поскольку как раз незадолго до этого мы отбросили русских назад нашей контратакой. Дело постепенно близилось к вечеру, и, взойдя на опушку леса, мы вдруг увидели в сгущавшихся сумерках группу каких-то фигур, двигавшихся прямо на нас со стороны Волги. Распознав наконец в приближавшихся русских, мы были очень неприятно удивлены. Те, к счастью, нас не заметили, и мы поспешили скрыться в лесу в надежде на то, что пройдем по нему в направлении к нашему удалявшемуся батальону, а русские тем временем обойдут нас стороной. Однако, с трудом преодолев не слишком большое расстояние по заснеженному лесу, мы оказались снова на открытом пространстве. Прямо на пути нашего следования вдогонку за батальоном оказались две расположенные по соседству друг с другом деревеньки. Пока мы, затаившись под какими-то кустами, всматривались в окрестности и оценивали наше положение, по дороге в направлении к этим деревенькам проследовали несколько небольших групп красноармейцев. Обстановка складывалась таким образом, что мы оказывались в окружении и путь к отступлению был нам теперь отрезан. Было совершенно ясно, что русские намерены разместиться в этих двух деревнях на ночлег. Мы были полностью отрезаны от своих.

— Нам придется сидеть здесь, пока не стемнеет, а затем, под покровом ночи,

попытаемся проскользнуть между деревьями, — прошептал я своим спутникам.

Ночь была ясной, звездной и очень морозной. Мы сбились поплотнее в одну кучу в какой-то ложбинке, чтобы не замерзнуть насмерть, и собирались с силами, чтобы попробовать прорваться к своим. Пытаться сделать это раньше, чем русские — хотя бы основная их часть — улягутся спать, было бы равносильно самоубийству. Время текло мучительно медленно. Вот наконец обе стрелки моих часов доползли до цифры 12. Полночь.

По одной или двум сигнальным ракетам, прочертившим небо впереди, мы определили, что линия нашей обороны расположена не так уж далеко за деревьями. Если удача будет на нашей стороне — мы доберемся туда менее чем за час.

В небе, являясь для нас надежным ориентиром, ярко сияла Полярная звезда. Наш путь пролегал точно между двумя деревьями. Вероятность наткнуться там на русских была наименьшей, поскольку в столь морозную ночь они наверняка должны были предпочесть не высовываться наружу из уютного тепла натопленных домов.

И вот наш маленький отряд больных и раненых осторожно выдвинулся из леса. Четверо или даже пятеро раненых могли перемещаться только с помощью своих товарищей. Мы выбрались на дорогу, по которой прошли вечером к деревьям русские. Соблазн пройти побыстрее по ее утопанному снегу вместо того, чтобы пробираться почти по пояс в сугробах, оказался непреодолимым.

— Постройтесь в колонну по два, — шепотом скомандовал я. — Идите уверенно, а не крадучись и, ради бога, изо всех сил постарайтесь, чтобы со стороны мы выглядели как всего лишь еще одно припозднившееся отделение русских!

Как можно непринужденнее размахивая руками, я выдвинулся во главу этого маленького отделения калек. Наши сердца гулко колотились, нервы были натянуты как струны, которые вот-вот лопнут, а винтовки и автоматы — сняты с предохранителей. Из-под низкого навеса по левую сторону от дороги послышался вдруг какой-то окрик по-русски.

— Не останавливаться... И не стрелять... — прошипел я сквозь зубы следовавшему за мной «отделению красноармейцев», а сам приветливо махнул рукой в ответ.

Со стороны сторожевого поста под навесом не послышалось больше ни звука. Видимо, там все же решили, что мы свои, поскольку действительно — кто еще мог идти в это время в этом направлении и в этом месте... Однако нам уже больше не казалось такой уж хорошей идеей идти строевым порядком по дороге. Как только мы отошли на расстояние, на котором ясно различимы не слишком громкие звуки, мы поспешили соскользнуть с дороги вправо, в сугробы, а затем взобрались на небольшой взгорок, с подветренной стороны которого снег был не таким глубоким. По этой линии мы и двинулись, затаив дыхание, дальше в спасительный проход между двумя деревьями.

Миновав наконец обе деревни и оставив их позади на безопасном, по нашему разумению, расстоянии, мы только было собрались поздравить друг друга с тем, что благополучно преодолели наиболее опасный участок нашего пути, как совершенно неожиданно разглядели в темноте невдалеке от нас четверых или пятерых русских, сгрудившихся вокруг крупнокалиберного пулемета, установленного в небольшой ложбинке с той же подветренной стороны взгорка, по которой шли и мы. Они были прямо перед нами и, о чем-то переговариваясь, пристально всматривались в направлении наших позиций, откуда и ждали опасности. Все четверо сидели или стояли к нам спинами. Нас они пока и не видели, и не слышали. На нашей стороне был эффект неожиданности, которым нужно было не упустить возможности воспользоваться. Я молча поднял руку, и все замерли.

— Тихонечко рассредоточьтесь, чтобы не попасть друг в друга, — едва слышно прошептал я, — и открывайте огонь все вместе сразу же вслед за тем, как выстрелю я.

К пулеметному расчету мы подбирались ползком, и вот, в свете звезд, я увидел, как один из русских повернулся к нам лицом и раскрыл рот от изумления. В следующее мгновение я вскочил на колени и вlepил автоматную очередь ему прямо в грудь. Как в замедленной съемке, его отбросило на ни о чем еще не подозревавших товарищей. Одновременно с этим один из моих людей метнул в них гранату, а остальные открыли

шквальный огонь из всего имевшегося у нас оружия. У русских не было ни единого шанса.

Мы ринулись, кто как мог, бегом в сторону наших позиций, но тут же вынуждены были упасть ничком в снег, так как расположенные не так уж далеко по обе стороны от нас еще два пулеметных расчета красных открыли по нам бешеный огонь. К счастью, они нас не видели и стреляли вслепую.

Следующей нашей проблемой было не угодить под огонь своих же. С не меньшей осторожностью мы стали подбираться ползком к нашим позициям, и, оказавшись где-то уже поблизости от них, я послал вперед одного из унтер-офицеров, у которого было не слишком тяжелое обморожение, — для того, чтобы он вначале установил контакт. Ему удалось это без приключений, и уже через десять минут Штольц радостно тряс мне руку, а солдаты из 10-й роты столпились вокруг нас, чтобы послушать подробности нашего приключения, несколько приукрашенного для пущего драматизма тем самым легко обмороженным унтер-офицером.

В результате той нашей ночной прогулки восемь из двадцати бывших со мной людей получили жестокие обморожения.

Наши ряды тают

Чем ближе было Рождество, тем свирепее становились атаки русских. Сугробы стали уже настолько глубокими, что мы проваливались в них глубже чем по колено, и это повлекло за собой увеличение числа обморожений даже среди тех, у кого были валенки. Оказываясь в сугробах, они не всегда сразу замечали, что все-таки зачерпнули высокими голенищами немного снега. Снег, попав внутрь, таял, постепенно остывавшая вода незаметно отнимала тепло от ступней, а затем и вовсе намерзала вокруг них кусками льда. Человек, утратив способность самостоятельно идти, беспомощно падал на снег, и его приходилось тащить на передвижной перевязочный пункт.

В ходе боев были потеряны многие санитары-носильщики, и, начиная уже не справляться с все возрастающим количеством обморожений, я был вынужден привлечь к этому дополнительно Генриха, Мюллера и других.

Перетаскивая как раз одного из обмороженных, Мюллер и получил ранение в кисть левой руки, в результате которого практически полностью лишился сразу трех пальцев. Перевязывая изуродованную руку, я с досадой подумал про себя, что лучше бы уж я потерял кого угодно, но только не Мюллера. Он был моей самой надежной опорой с первых же дней кампании.

«Нуждается в транспортировке. Место сидячее», — написал я на карточке ранения и вручил ее Мюллеру.

Он устремил на нее задумчивый и полный грусти взгляд. Для него эта карточка ранения означала освобождение от службы на передовой, возможно, даже отпуск по ранению и поездку домой к жене и детишкам, шанс остаться в живых вместо того, чтобы найти себе могилу в русских снегах. Мюллер перевел взгляд с карточки на меня и спокойно, без всякого напускного драматизма сказал:

— Всего три пальца, герр ассистензарцт. Я могу продолжать работать и правой рукой. Я хотел бы остаться.

Тульпин, Генрих и я посмотрели на него и все поняли. Это была странная просьба, но, возможно, мы все уже были на грани умопомешательства.

— Хорошо, Мюллер, — сказал я, — но ты останешься с нами только на то время, которое тебе понадобится, чтобы обучить Генриха твоей работе, и до тех пор, пока все не успокоится. Потом я отправлю тебя обратно.

— А разве состояние его руки не ухудшится без правильного лечения? — спросил Тульпин. — Я имею в виду, не потеряет ли он всю руку в результате того, что останется здесь?

— Нет, нет, Тульпин, — ответил я. — Я лично буду следить за этим. Завтра, когда я сниму эту повязку и удостоверюсь в том, что кровотечение прекратилось, я наложу особую

повязку с рыбьим жиром: поврежденные пальцы будут окружены особой мазью на основе рыбьего жира, что поможет восстановлению жизнеспособных клеток тканей и вместе с тем отторгнет отмершие клетки. Хирургу, таким образом, будет лучше видно, до какой границы проводить ампутацию.

— А вам не кажется, герр ассистензарцт, что ему по крайней мере следует побывать в госпитале? — продолжал настаивать Тульпин. — Я бы отвез его и туда и обратно.

— Нет. Госпиталь настолько перегружен, что у них нет времени заниматься ранениями пальцев, разве что если только дело касается операции. Из этого положения не делают секрета даже в официальных сводках: санитарные машины не могут вывезти даже одной десятой части раненых, нуждающихся в эвакуации. Так что, Тульпин, вам не о чем беспокоиться. С Мюллером все будет в порядке.

Тут вдруг меня осенило, что именно в поведении Тульпина мне показалось странным — он проявлял явные признаки нервозности: уголки рта подрагивали, взгляд был бегающим, а зрачки глаз — расширенными.

Санитары-носильщики втащили двух тяжело раненных из 10-й роты. Атака русских приближалась к самой своей кульминации — то есть ожидалось прибытие куда более значительного количества раненых, поэтому я отправил Тульпина и Генриха организовать их эвакуацию с поля боя и доставку на перевязочный пункт. Мюллер помог мне перевязывать двух принесенных раненых, и я, как никогда раньше, осознал, насколько он ценен для нас. Он делал свою работу спокойно и молчаливо, предупреждал все мои желания, никогда не заслонял свет и не путался под ногами. Он всегда вел себя скромно, но деловито, никогда не выискивал для себя никакой выгоды и никогда не делал ничего лишь для того, чтобы его похвалили или поощрили. Это был очень редкий тип исключительно трудолюбивого и бескорыстного человека. Насколько прекраснее стал бы мир, если бы в нем было больше Мюллеров!

Когда раненым была оказана вся необходимая помощь, мы присели с ним возле печи, чтобы немного передохнуть, но и тогда Мюллер не сидел просто так, сложа руки. Правой, здоровой рукой он подбросил в огонь еще несколько поленьев взамен прогоревшим, не выказывая при этом ни малейших признаков того, что его мучили сильные боли в левой кисти.

— Давай-ка, дорогой мой, я сделаю тебе укол морфия, — сказал я. — Он облегчит твою боль.

Мюллер взглянул на меня, как будто хотел что-то сказать, но, так и не ответив, снова усталился на огонь.

— В чем дело, Мюллер? Почему ты так странно смотришь на меня?

— Я бы предпочел обойтись без морфия, — ответил он. — Я боюсь его.

И вдруг я понял, почему он его боится. Загадка, запрятавшаяся в одном из закоулков моего мозга, наконец-то сама собой разрешилась. Мне даже стало удивительно, как я не догадался об этом раньше.

— Потому что Тульпин пристрастился к морфию и тебе известно об этом, — быстро проговорил я. — Не так ли, Мюллер?

— Да, герр ассистензарцт, — едва слышно ответил Мюллер.

— Тогда какого же дьявола ты не сказал мне, когда я прямо спрашивал тебя об этом?!

— Я боялся, герр ассистензарцт. Морфий — страшная штука. Когда человек начинает употреблять его — это хуже, чем смерть.

— То есть ты знал о том, что Тульпин регулярно делает себе уколы морфия, еще тогда, когда к нам прислали унтерарцта Фризе?

— Да, герр ассистензарцт, я знал об этом уже тогда.

Повисла долгая пауза. Мюллер, не сводя глаз с полыхавшего в печи огня, заговорил наконец снова:

— Я не рассказывал вам об этом потому, что Тульпин обещал мне, что прекратит колоться и избавится от этой привычки. Он обещал мне это по-честному, даже клялся.

— Но где он брал морфий? Мы несколько раз проверяли наши запасы, но ни разу не обнаружили недостачи.

— Он привез свой запас еще из Франции, когда его только прислали служить в наш батальон, — ответил Мюллер. — Но он твердо обещал мне, что, когда у него кончатся эти ампулы, он перестанет колоться. И я поверил ему. В конце концов, герр ассистензарцт, он образованный человек... он хочет продолжить свое образование и выучиться после войны на врача. У него ведь было все, для чего стоит жить, и всего этого он может лишиться, если не прекратит употреблять морфий.

Мюллер говорил так, будто испытывал огромное облегчение оттого, что поделился со мной этой тайной. Было похоже на то, что после ранения во Франции Тульпину делали обезболивающие уколы морфия. Возможно, при этом недостаточно благоразумно отнеслись к дозировкам, но, как бы то ни было, после этого он стал делать себе эти уколы уже самостоятельно и в тайне от других, а к моменту прибытия в Россию уже стал наркотически зависимым. Для того чтобы достичь желаемого эффекта, он все увеличивал и увеличивал дозы и постепенно стал рабом наркотика.

Затем началась уже самая настоящая драма. Мюллер — разумеется, в тайне от всех — взялся помочь Тульпину лечить абсцесс, возникший у того в результате многочисленных инъекций, и с этого момента с лихвой разделил все физические и моральные мучения наркомана. Он был единственным, кто знал о порочной приверженности Тульпина, и, будучи человеком чрезвычайно добросердечным, очень надеялся, что сможет помочь Тульпину избавиться от нее, не посвящая в это никого другого, то есть так и сохранив это в строгой тайне для всех остальных. Из своей сострадательности он даже сам пару раз доставал морфий для Тульпина, когда французские еще запасы того иссякли и он жутко мучился от абстиненции. Затем Мюллер категорически отказался потакать пороку Тульпина, и тот сам стал потихоньку приворовывать морфий из нашего лазаретного запаса болеутоляющих средств. Вдруг у Тульпина вроде бы снова появился откуда-то изрядный запас собственного морфия, но Мюллер так и не смог понять откуда. Тульпин аккуратно вернул на место весь «позаимствованный» в лазарете морфий, поэтому-то наши с Фризе проверки и не выявили никакой недостачи. Но Тульпин почему-то решил, что его воровство все-таки разоблачили, и исчез из лазарета (как я уже упоминал раньше), оставив прощальное письмо Мюллеру.

Мюллер нащупал в нагрудном кармане мундира порядком потрепанный уже конверт, извлек из него письмо и протянул его мне. Налезавшие друг на друга строчки были написаны сильно дрожащей рукой и очень неуверенным почерком:

«Все бесполезно. Ты единственный, кто знает, как тяжело я страдал, и я решил, что должен положить конец всему этому, пока не увяз в этой трясине еще глубже — и ты вместе со мной. Мне кажется, я окончательно утратил всю мою силу воли, и к тому времени, когда ты обнаружишь это письмо, я уже покончу с собой.

Мюллер, я прошу тебя как друга: пожалуйста, не рассказывай никогда и никому правды обо мне. Я стал рабом морфия и оказался не в состоянии выполнить данные тебе обещания. Когда у меня нет морфия, я чувствую себя ужасно, мне кажется, что я иссяк, что я ни на что не гоюсь. Все мое тело подчинено страстному желанию освободиться от этого кошмара — либо через морфий, либо через смерть. Это стало моей одержимостью, и я знаю, что все будет только еще хуже. Эта проблема не имеет решения.

Я знаю, что все мои усилия, направленные на то, чтобы избавиться от этой привычки, оказались, увы, ничтожно слабыми. Когда я пытаюсь обойтись без морфия, в душе я — на самом деле — страстно мечтаю об очередной дозе, которая сделает меня сильным и счастливым. Когда я сделаю себе укол, я чувствую, как по всему моему телу разносится с кровью его таинственное свечение, наполняющее меня тысячами странных и прекрасных фантазий; это настоящее волшебство. Оно придает мне силу и отвагу без страха смотреть в лицо всем жизненным проблемам. Но без морфия я — ничто. Я знаю, что многие меня уже подозревают. Когда все

выплывет — морфия мне уже не видать, и тогда я пропал. Есть только один выход. Я должен покончить с жизнью».

Разволновавшись, я даже уронил письмо на пол и взглянул на застывшего у огня Мюллера.

— И что же дальше? — спросил я.

— Ну, застрелиться он, конечно, не застрелился, — ответил Мюллер. — Вернулся поздно ночью в полном отчаянии. Но с этим состоянием он быстро справился — с помощью очередного укола. Теперь, когда я рассказал вам все, герр ассистензарцт, я чувствую себя намного лучше.

Я отдал письмо обратно Мюллеру, и он тут же бросил его в огонь, а затем, повернувшись ко мне, спросил:

— Что вы намерены теперь с этим делать, герр ассистензарцт?

— В настоящее время ничего не намерен, Мюллер. Все мы сражаемся за нашу жизнь, и на счету теперь каждый человек. Если Тульпин с морфием так же исправно несет службу, как другие без морфия, то так, значит, пока тому и быть.

— А разве вы не можете помочь ему избавиться от этого пристрастия? — настойчиво спросил Мюллер.

— Сейчас для этого просто нет времени. Если мы уцелеем в этом зимнем сражении, то, возможно, и сможем помочь ему, — ответил я.

Тут я вспомнил о ране самого Мюллера и дал ему три болеутоляющих таблетки как раз перед тем, как дверь рывком распахнулась и на пороге возник Тульпин, тащивший на себе раненого. Мы все втроем немедленно принялись за его раны. Тульпин был полон энергии и уверенности в себе — теперь я уже знал, за счет чего. Все шло своим чередом, как обычно, как будто ничего и не случилось, но я уже начинал очень остро ощущать всем своим существом, что теряю двоих своих самых верных помощников — Мюллера и Тульпина и что теперь это — лишь вопрос времени.

И мысль эта опечаливала меня как мало какая другая.

* * *

Ветер снаружи завывал свою заунывную песню о русском морозе и намет при этом с восточной стороны дома гигантский сугроб по самую крышу. Очередная послеполуденная атака русских была снова отбита. Главной нашей опорой в этом бою опять оказался Штольц, как всегда невозмутимо возглавлявший свою не знавшую ни страха, ни упрека роту. Обер-лейтенант Бёмер тоже уже добился некоторого признания в батальоне; он довольно успешно адаптировался и сумел преодолеть проявлявшийся поначалу недостаток уверенности в себе. Просто поразительно, насколько быстро война превратила этого юнца в зрелого мужчину. Лейтенант Олиг командовал тем, что осталось от старой 12-й роты Кагенек, а штаб — Кагенек, Ламмердинг и Беккер — реагировал на каждую ситуацию, как и подобает, с невозмутимым хладнокровием.

Сами собой разумеющимися считались в те дни две вещи: то, что русские по крайней мере один раз за день произведут атаку, и то, что эта атака будет нами отбита. Потери Красной Армии были очень тяжелыми, но уже спустя всего несколько часов русские могли массированно ринуться в следующую атаку, имея точно такую же — если даже не больше — численность, как и в предыдущий раз. Создавалось впечатление, что их резервы просто неисчислимы. Да и какими, впрочем, им и было быть, если маршал Булганин передал под командование Жукова двадцать дополнительных дивизий из Сибири — специально для того, чтобы отбросить нас от Москвы... Правда, мы тогда об этом пока еще не знали.

В следующую ночь был сочельник, и мы твердо вознамерились отпраздновать его. Мы даже хотели установить рождественскую елку, где бы мы ни оказались

«расквартированными» в ту ночь. В преддверии этого события я очень хотел эвакуировать в тыловой госпиталь как можно больше раненых, но в нашем распоряжении оказалась лишь одна санитарная машина, и ей можно было вывезти только самых тяжелых лежащих раненых. Конные повозки, само собой, отпадали из-за мороза. Как обычно в таких случаях, я предоставил свой «Опель» для эвакуации тех раненых, которых можно было транспортировать и в положении сидя. Я сам попросил Фишера отвозить их весь тот вечер, пока у него хватит сил.

Для того чтобы запустить двигатель, Фишер наливал в пустой радиатор горячую воду и разогревал блок цилиндров паяльной лампой. Обе эти манипуляции необходимо было производить практически одновременно, иначе машина в тех арктических условиях просто не заводилась. В тот раз двигатель капризничать не стал, и Фишер укатил в тыл с очередной партией раненых. Я предупредил его, чтобы он не гнал слишком сильно и избегал попадать в снежные наносы по обочинам дороги, в которых можно было запросто застрять.

— Не беспокойтесь, герр ассистензарцт, — уверенно ответил мне он. — Я знаком лично с каждым сугробом вдоль этой дороги.

Я проводил взглядом тусклый свет затемненных фар, пока он не растаял в отдалении, и поспешил обратно в тепло лазарета.

Но Фишер так и не вернулся в ту ночь. Не вернулся он и на следующий день, 24 декабря, к 11 часам утра, когда русские предприняли очередную атаку. Атака была, как обычно, отбита с тяжелыми для них потерями, и те раненые, которых русские не успели утащить с собой при отступлении, так и остались на поле боя. Оказавшись брошенными в ледяных сугробах, они все, конечно, умерли. К тому времени, когда мы смогли, не слишком рискуя, подобраться к ним, все они были уже настолько окоченевшими, что мы не смогли снять с них не только верхнюю теплую одежду, но даже валенки.

После полудня из штаба полка поступил приказ к отступлению, поскольку русские все же прорвали нашу оборону в соседнем секторе и это грозило нам теперь окружением.

Вернувшись в лазарет для подготовки к отступлению, я увидел возле него санитарную машину из госпиталя, в который уехал накануне Фишер. Оказалось, что он ранен и находится сейчас в госпитале с переломом правого предплечья и осколочными ранениями от авиабомбы. Легкий русский ночной бомбардировщик «У-2», который мы пренебрежительно называли «усталой уткой» или «старой швейной машинкой», угодил своей бомбой почти в самый «Опель». Очевидно, летчик разглядел сверху ползущие по земле огоньки автомобильных фар — хоть они и были приглушены светомаскировочными насадками, — а дальше, как говорится, дело техники. Автомобиль был раскурочен взрывом настолько, что восстановлению не подлежал и его пришлось бросить в сугробе на обочине дороги. Жизнь самого Фишера была вне опасности, но теперь его наверняка должны были отправить домой — по крайней мере, в отпуск по ранению. В любом случае как шофер теперь он был для нас потерян, скорее всего, навсегда. Потеря людей и материальной части со столь печальной регулярностью начинала уже влиять на меня слишком удручающе... В некоторые моменты мне даже начинало казаться, что над нами довлеет какой-то злобный и неумолимый рок, что мы обречены на поражение.

Кроваво-красное, как гигантский китайский фонарик, и дающее столь же мало тепла солнце медленно опускалось за горизонт на западе, освещая своими затухающими лучами бесконечные снежные равнины. Сосульки, свисавшие с накрытых массивными снежными шапками елей, причудливо преломляли эти блеклые лучи, как бы иронично напоминая нам о том, что сегодня сочельник. Несмотря ни на что, рождественский дух все же витал повсюду, и многие пребывали почему-то в твердой, но довольно наивной уверенности в том, что на ближайшие двадцать четыре часа русские оставят нас в покое.

В одной из конных повозок уже лежала небольшая аккуратно увязанная елочка, приготовленная специально для Рождества, которую мы намеревались установить и нарядить во время привала в следующей деревне. Генрих уже украсил еловыми веточками упряжь Макса и его нового товарища — маленького Passel-я ржаво-коричневой масти.

Однако наши маленькие лошадки оказались практичнее нас и сразу же объели эти веточки друг у друга с упряжи. В пищу им годилось, кажется, вообще все подряд: старая сухая солома с кровли сараев, древесная кора, не слишком толстые ветви деревьев и, конечно, кухонные отбросы, а когда не было воды — они преспокойно хрумкали снегом. И хотя они заметно похудели в последнее время, оба выглядели вполне довольными своим странным и беспорядочным рационом.

Четыре конных повозки были оставлены с Тульпином, который должен был отступать с основной частью батальона. В этих повозках предполагалось везти оружие и боеприпасы, если не будет раненых. Мой маленький отряд состоял из Генриха, Мюллера и шестерых легко раненных, а также Петерманна с двумя верховыми лошадьми. Я сказал Кагенеку, что хотел бы выйти немного впереди батальона — для того, чтобы не попасть снова в такое же положение, как в прошлый раз, когда мы отстали и оказались отрезанными от остальных настигавшими нас русскими.

— Прекрасно, — сказал Кагенек. — Как раз нарядите к нашему приходу рождественскую елку. Чем вы, кстати, собираетесь ее наряжать?

— Ватой, — ответил я.

Не успели мы еще отойти слишком далеко от деревни, как слева от нас загрохотал вражеский пулемет, которому тут же отозвался наш, из-за спины, а еще через несколько секунд их «диалог» потонул в грохоте наших пушек. Не прошло и полминуты, как весь наш сектор оказался под плотным огнем.

Русские подготовили для нас особый рождественский подарок — первую с их стороны ночную атаку!

Как будто им точно были известны все сентиментальные мысли и настроения, наполнявшие в сочельник сердце каждого германского солдата! Я знал, что Кагенек останется в деревне до тех пор, пока атака русских не будет отбита и пока мы не произведем ответную контратаку. Только я успел решить, что мне с Генрихом будет лучше вернуться прямо сейчас обратно к батальону, а Мюллера с остальной частью колонны отправить вперед, как прямо перед нами в сугроб ударил русский противотанковый снаряд — к счастью, не детонировав при этом. За первым снарядом последовал второй, третий, четвертый... Нам стало ясно, что нас обнаружили и теперь по нам лупили прямой наводкой сразу два или три русских противотанковых орудия.

Мюллер схватил здоровой рукой Макса под уздцы и побежал с ним вперед. Легко раненные — кто как мог быстро — побежали за ними следом. За ними поспешал Петерманн, тащивший за поводья свою лошадь и мою Сигрид. Замыкали эту вереницу мы с Генрихом. Вдруг раздался сильный взрыв, и Сигрид замертво рухнула в снег. Я не успел разглядеть, чем и как, но у нее начисто вырвало весь живот сразу. Петерманн лежал на снегу рядом с ней, но вроде бы был жив. Другая лошадь умчалась диким галопом в неизвестном направлении. Один из раненых катался от боли по снегу с шрапнелью в бедре. Мы с Генрихом бросились вперед, скинули руки солдата себе на плечи и как можно быстрее, почти бегом потащили его вперед — туда, где Мюллер и остальная часть нашей колонны укрылись в какой-то поросшей кустарником ложбине. Сильно шатаясь и спотыкаясь, следом за нами бежал Петерманн.

Как будто почуяв кровь, русские продолжали палить по нам с каким-то лютым остервенением, но, к счастью, довольно беспорядочно и неприцельно. Особенно занятно это получалось у артиллеристов: они стреляли практически точно горизонтально, в сторону открытого пространства, и снаряды неслись, едва касаясь время от времени подернутого коркой наста снега, будто пущенные с берега вдоль поверхности воды плоские камушки. Проносясь с жутким гулом не так уж далеко от нас, снаряды взметали таким образом безобидные и даже красивые брызги снега, но — опять же, к нашему счастью — ни один из них так и не детонировал. Это было весьма необычное зрелище, но, к сожалению, у нас не было времени наслаждаться им.

К тому времени, когда мы с Генрихом дотащили раненого до укрытия в кустах, мы

совсем выбились из сил и задыхались. Своей неповрежденной рукой Мюллер помог ему забраться в повозку. Воздух был настолько холодным, что вдохнуть его полной грудью без непереносимой боли в дыхательных путях и даже в самих легких не было никакой возможности. Постепенно дыхание восстановилось, и в мозгу прояснилось. Следом за нами в ложбину скатился Петерманн. Он был цел и невредим — разрывом снаряда его просто слегка оглушило и швырнуло оземь.

— Сигрид убита, а моя лошадь убежала, — извиняющимся тоном и, как обычно, заикаясь сообщил он.

— Знаю. Я все видел. Сейчас это не важно, — ответил я. — В данный момент важны только конные повозки. В конце концов в последнее время мы не так уж и часто ездили верхом на наших лошадях, а значение сейчас имеют только вещи самой первостепенной важности.

То, что потеряно сегодня, уже не может быть потерянным завтра — одной заботой меньше, подумал я тогда, отметив про себя каким-то краешком сознания, что данная мысль похожа на афоризм. И тут вдруг на меня навалилась нестерпимая жалость к себе самому, как будто во мне сломалось какое-то сдерживавшее меня до того устройство. Я был измотан до такой крайней степени, за которой следует уже резкий и полный упадок сил. Я был уже больше не в состоянии выносить бесконечные ежедневные страдания, нечеловеческий холод, снег, боль, кровь, потерю друзей. Но больше всего я устал притворяться отважным и невозмутимым, устал делать вид, что мне нипочем любые невзгоды. Это была ложь, а ложь я ненавидел. Если бы я только имел возможность расслабиться, просто лечь и, отбросив все страхи, проспать всю ночь целиком — это было бы таким облегчением! Но я знал, что нам не остается ничего, кроме как двигаться вперед или умереть.

— Ну что ж, ребята, пора двигаться дальше! — сказал я, встряхнувшись и собравшись с духом. — Отдохнули немного — и вперед, а то мы уже тут начинаем замерзать.

До следующей деревни мы добрались без приключений и в первой же избе обработали и перевязали раны пострадавшего от шрапнели.

Вытащив свою карту, я показал Мюллеру, где находится село Терпилово.

— Там наш госпиталь, — сказал я ему. — Как только отогреетесь — двигайтесь туда, а о прибытии доложишь оберштабсарццу Шульцу.

Мы же с Генрихом устало поковыляли по дороге, ведущей к штабу полка. Найдя нужный дом, мы сразу же вошли внутрь. Оставив Генриха в *сенях* — как это называется у русских, — я, не мешкая, миновал часового и бодрым шагом направился во внутреннее помещение для доклада.

Около жарко растопленной печи, рядом с рождественской елкой сидели оберст Беккер и обер-лейтенант фон Калкройт. Это выглядело как сценка из давно забытой мирной жизни: два опрятно одетых и гладко выбритых господина, попивающие кофе перед камином на фоне нарядной рождественской елки, на которой маленькими сказочными язычками голубого пламени мерцает дюжина или около того свечей... На какое-то мгновение я даже замер от изумления, но тут же постарался взять себя в руки и довольно рассеянно доложил о том, что колонна раненых отправлена мной дальше в Терпилово, а сам я намерен вернуться в батальон, где мое присутствие в данный момент более целесообразно.

— Так. Хорошо, Хальтепункт, — кивнул Беккер. — Теперь садитесь и выпейте чашку горячего кофе. Это поможет вам прийти немного в себя, а то на вас прямо лица нет.

Все те грустные мысли, которые я в последнее время старался заталкивать куда-нибудь подальше по задворкам своего сознания, хлынули вдруг наружу, переполняя все мое существо. И для того, чтобы эта дамба, сдерживавшая мои чувства, рухнула, оказалось достаточно всего лишь двух незначительных пустячков — рождественской елочки со свечами и обращенных ко мне добрых слов оберста Беккера.

— Герр оберст, — услышал я себя как бы со стороны, — сейчас Рождество, и я не знаю, что сказать... Я совершенно обессилен — никакого отдыха ни днем, ни ночью... Не знаю даже, чем все это может закончиться.

Одним словом, в тот момент я каким-то неведомым образом утратил все свое самообладание и почувствовал, что из глаз вот-вот хлынут слезы. Это был какой-то почти неконтролируемый импульс расплакаться как маленький ребенок. Я поспешно схватил чашку горячего кофе, отвернулся и сделал большой глоток, обжегший мне рот и горло. Я поперхнулся и закашлялся, и эта неловкость как бы немного извиняла меня за неподобающие солдату слезы, выступившие на моих глазах. Мне с трудом удалось утихомирить этот неожиданный всплеск переполнивших меня эмоций, и я осознал наконец, что выставил себя в довольно глупом виде.

Беккер и фон Калкройт сделали вид, что не заметили моей минутной слабости, и мы как ни в чем не бывало непринужденно поболтали еще с полчаса у огня, пока я отогревался. Затем я забрал Генриха и мы отправились обратно в наш батальон. Ночь стояла, как обычно в последнее время, довольно морозная. По пути назад мы прошли мимо Сигрид и остановились на минутку, чтобы воздать последнюю дань уважения и благодарности этому прекрасному животному, окоченевшему теперь до состояния упавшей с постамента каменной статуи. Глядя на нее теперь, было трудно даже вообразить себе, что когда-то она могла дышать.

Небо над расположением нашего батальона было — как-то по-праздничному даже — расцвечено сигнальными ракетами, трассирующими очередями, вспышками артиллерийских выстрелов и следующими за ними разрывами снарядов, а также заревом пожаров.

— А у нас тут рождественский фейерверк, — кивнул на весь этот разгул света и красок Кагенек, приняв мой доклад. — Первая ночная атака в условиях экстремально низких зимних температур — еще один новый опыт в нашу копилку боевых применений!

Тюльпин трудился на перевязочном пункте не покладая рук, а раненые все прибывали и прибывали — так что дел с лихвой хватило и нам с Генрихом. К двум часам ночи атака русских была отбита, а еще через пару часов мы оказали первую помощь всем раненым и подготовили их к эвакуации. Закончив с самыми главными делами, я прилег на свободный стол и мгновенно забылся мертвым сном. Когда Кагенек прислал солдата, чтобы позвать меня принять участие в праздновании Рождества в штабе батальона, Тюльпин решил, что лучше меня не будить.

Когда я наконец проснулся и сам дошел до штаба, на небольшой рождественской елочке все еще горели четыре свечи. Больше никаких украшений на ней не имелось.

— Вы немного подзадержались со своей ватой, доктор! — весело поприветствовал меня Кагенек. — Но Всевышний не оставил нас своим вниманием: хоть у нас и нет ваты на елке, зато у нас полно снега на улице!

Я потерял свои воспаленные от хронического недосыпания глаза и глупо рассмеялся, не вполне даже понимая смысла всего происходящего вокруг. Проснуться-то я проснулся, но пробудиться до конца все же не пробудился.

— А если русские полагают, что могут помешать нам праздновать старый добрый германский сочельник, то, скажу я вам, ничто не может помешать нам начать праздновать уже хоть даже и само рождество — как старые добрые англичане! — продолжал тем временем Кагенек, доставая припасенную бутылку коньяка.

Наполнив стаканы, он провозгласил краткий, но емкий тост:

— *Prosit!*

Спустя всего пару минут появился посыльный из штаба полка. В своем импровизированном зимнем одеянии, да еще и щедро припорошенном снегом, он очень походил на эскимоса.

— Закрывай поскорее дверь! — не слишком приветливо рявкнул на него Ламмердинг, уже предвкушая, видимо, недобрые вести. — Весь снег с улицы летит!

— Ну что ж, давай посмотрим, что за рождественский пудинг ты нам принес! — все с той же праздничной веселостью в голосе воскликнул Кагенек, протягивая руку за доставленным донесением.

— Рождественский пудинг? — переспросил посыльный в замешательстве. — Я принес

вам только донесение от оберста Беккера, герр обер-лейтенант.

— Ну и отправляйся тогда обратно к своему оберсту Беккеру, раз пудинга не принес! Выпей только на дорогу, чтобы согреться, да передай от нас вот это!

С этими словами Кагенек, все еще не желая менять шутливого тона, вначале щедро плеснул посыльному коньяка, а затем вручил ему еще одну точно такую же бутылку для Беккера. По моим подсчетам, вероятнее всего, самую последнюю из тех еще наших запасов от Люфтваффе...

— По левую сторону от нас, господа, положение складывается гибельным образом, — объявил вслух Кагенек, читая донесение. — Нам приказано немедленно оторваться от противника, иначе мы будем окружены. 37-му пехотному полку, дислоцированному слева от нас, *уже* не удастся удержать красных. Времени у нас крайне мало, и терять его нельзя.

Уже через пять минут посыльные спешили уведомить об изменении оперативной обстановки всех командиров рот нашего батальона. Затушив две недогоревшие свечи на рождественской елке, мы взяли их с собой — чтобы не оставить врагу *ничего*. Менее чем через полчаса весь батальон был уже на марше; сзади остался лишь небольшой арьергард для прикрытия нашего отхода.

37-й пехотный полк тоже спешно отступал, но был он при этом просто в ужасающе разбитом состоянии. После двух дней и одной ночи, проведенных под открытым небом без какой-либо крыши над головой, его подразделения были неожиданно и свирепо атакованы значительными силами русских, стремительно прорвавшими все линии их обороны. Деморализованные за предшествовавшие этому тридцать шесть часов не менее свирепых морозов, наши солдаты оказались совершенно неспособными противостоять бешеному натиску красных.

В некоторых случаях мороз оказался даже причиной исключительно неадекватных эмоциональных реакций, проявленных немецкими солдатами. Некоторые из них, как замороженные, демонстрировали полное безразличие к совершенно очевидной для них опасности. Так, например, они продолжали как ни в чем не бывало стоять группами вокруг ярко пылавшего амбара, а вокруг них при этом, все ближе и ближе, один за другим рвались русские же снаряды — это русские артиллеристы пристреливались поточнее к бушевавшей ярким пламенем цели. Немецкие солдаты, однако, совершенно никак не реагировали на происходящее, не обращая внимания даже на то, что некоторые из них уже начинали падать, скошенные шрапнелью. Они продолжали задорно горланить рождественские гимны, шуметь и веселиться, не предпринимая ни малейшей попытки избежать смерти, которая рвалась снарядами уже в самой их гуще. Все они пребывали в каком-то необъяснимом, неистовом, совершенно безумном экстазе, как будто нескончаемый холод, нечеловеческое напряжение последнего времени, постоянная подверженность опасности толкнули их на массовое неосознанное самоубийство. Они пели и умирали, совершенно не ведая, что творят. Наконец в этой толпе безумцев появился один (!) офицер и сумел прекратить это всеобщее умопомешательство. Как будто находясь в трансе, они тут же безропотно подчинились ему и, взяв в руки свое оружие, смиренно отправились за ним прочь из этого ада.

За последние несколько дней многие из нас и сами уже побывали на опасной грани между здравомыслием и безумием. Смех очень часто соседствовал со слезами, оптимизм уживался с черной безысходностью, а Смерть маршировала с нами в одном строю бок о бок с Жизнью. Не осталось уже ничего безусловно нормального. Практический опыт учил нас тому, что слишком продолжительное пребывание на морозе может порождать разнообразные обманы чувств, миражи и даже галлюцинации, противостоять которым можно было лишь сильной волей, четким здравомыслием. Но по-настоящему серьезно эту проблему — пожалуй, одну из наиболее серьезных и смертельно опасных — осознавали лишь некоторые врачи и еще более редкие офицеры, понимая, что не считаться с ней при ведении боевых действий в зимних условиях, которые еще с лихвой предстояли нам впереди, попросту преступно.

* * *

В тот печальный рождественский день мы маршировали остатками нашего батальона по направлению к Кознаково. Нависавшие над нами свинцово-серые тучи предвещали обильный снегопад. Мы пробивались на юг практически по нехоженной снежной пустыне. От острого физического, да и зачастую нервного истощения многие спотыкались и падали, не находя в себе больше сил подняться. В усиление к нам были приданы взвод саперов и два артиллерийских расчета со своими легкими орудиями. Если считать вместе с ними, то наша численность составляла около двухсот человек. Таковы были измотанные и обескровленные остатки 3-го батальона, растянувшиеся в снегах маленькими серыми группками, прекрасно различимыми на белом фоне с довольно значительного расстояния. За неимением хоть какого-то подобия белого зимнего камуфляжа поделаться с этим мы ничего не могли.

В один из немногочисленных переходов по более-менее утоптаным дорогам рядом с нами откуда ни возьмись возник из почти непроглядной снежной метели «Кубельваген» (армейский легковой автомобиль с откидной брезентовой крышей). В нем, плотно укутанные по самые глаза шерстяными одеялами, сидели оберст Беккер и фон Калкройт. Посадив к себе Кагенека и Ламмердинга, они укатили по направлению к ближайшей деревушке для проведения срочного оперативно-тактического совещания.

После минутной заминки, связанной с этим немного разнообразившим наше унылое шествие событием, мы продолжили наше движение. Рядом со мной, погруженный в сосредоточенное молчание, шагал — обычно очень общительный — маленький Беккер. Говорить ни о чем не хотелось, да и не о чем было особенно говорить, но все мысли напряженно вращались вокруг возможных неприятных новостей, с которыми, несомненно, было связано не вполне обычное появление среди нас Беккера. Ветер усилился настолько, что понес мимо нас тучи снега и мельчайших колючих льдинок практически горизонтально. К счастью, на этот раз он дул нам в спину. Примерно через час мы оказались в маленькой заброшенной деревушке. Из ближайшей к дороге избы вышли и, ни слова пока не говоря, снова присоединились к нам Кагенек и Ламмердинг. Почти сразу же следом за ними появились Беккер и фон Калкройт, упаковались в свои одеяла, и дожидавшийся их уже прогретый «Кубельваген» мгновенно растворился вместе с ними в разгулявшейся снежной пурге.

Нас догнал Штольц и сразу же прямо спросил у Кагенека:

— Что происходит?

— Чертовски многое. Проклятье! — с ожесточением воскликнул Кагенек. — Русские уже прорвались через Васильевское, и никто не знает, где в настоящий момент их голова, а где задница! Враг может быть где угодно — сзади нас, с флангов, даже прямо перед нами! Придется разослать патрули во все стороны.

— По таким-то сугробам и при такой видимости? — с сомнением спросил Штольц.

— А что делать? Придется... — хмуро ответил Кагенек.

— А что там насчет остального фронта? — не отставал Штольц. — Ведь не может быть, чтобы и везде было так же скверно!

— Мы отступаем от Москвы по всему фронту Группы армий «Центр». Три германских армии — и все повернуты спиной к Москве!

— Положение ухудшилось до самой критической степени, — вставил зачем-то Ламмердинг в той же минорной тональности.

— А самое гнусное в том, — взорвался наконец Кагенек, — что почти все наши генералы смещены со своих должностей...

— Как?! — удивленно вскинул брови Штольц. — И Браушиц?

— Да.

— И Гудериан? — Да.

— А фон Бок?

— Тоже.

— А Ключе?

— Фельдмаршал Ключе — чуть ли не единственный, кто остался от всей этой старой гвардии. Он уже принял у фон Бока командование Группой армий «Центр». Штраус освобожден от командования 9-й армией, Рунштедта больше нет, Хота — тоже, даже у Аулеба забрали его 6-ю дивизию...

— Тогда кто же, черт возьми, нами теперь командует, если не осталось ни одного генерала?! — недоуменно воскликнул Штольц и даже схватил при этом Кагенека за руку, а все мы остановились от этого вопроса как вкопанные, не замечая, что вокруг нас разыгралась тем временем уже целая снежная буря.

— Это рождественский подарок, господа, — как никогда серьезно проговорил Кагенек. — Теперь у нас новый командир.

— Кто же?! — нетерпеливо воскликнул Штольц.

Кагенек натянул потуже на уши свою *Kopfschutzer* и, строго глянув на Штольца, четко и внятно произнес:

— Единоличное командование всем германским Вермахтом принял на себя ефрейтор Адольф Гитлер.

Наташа Петрова

На какую-то минуту — если не считать завывания ветра — повисла гробовая тишина, нарушенная в конце концов Штольцем:

— Что ж, с этим придется смириться. А каковы же приказы нашего нового командира?

— Прекратить наше отступление, невзирая на атаки русских, — без всяких эмоций произнес Кагенек. — Шестой и еще какой-то одной дивизии надлежит немедленно занять линию обороны перед Старицей. Это будет называться «линией Старицы». И с этого рубежа — ни шагу назад.

— А где именно находится эта «линия Старицы»? — спросил Штольц. — Я что-то никогда не слышал о такой. И в любом случае как мы можем сформировать непрерывную линию обороны в такой беспорядочной ситуации? Я бы сказал, что это попросту невозможно.

— Ты, как всегда, наблюдателен, Штольц! — саркастически заметил Ламмердинг.

— Заткнись, глупец! — гневно рявкнул вдруг Штольц. — Положение и так достаточно скверное, без твоих дурацких шуточек!

— Положение воняет как канализация, и все мы по уши в дерьме, — отозвался Ламмердинг. — Я достаточно понятно изъясняюсь, Штольц?

Штольц недовольно пробурчал что-то сквозь застегнутую на лице, заledenевшую *Kopfschuster* и пошагал обратно к своей роте, раскачиваясь как огромный пингвин.

Ламмердинг и Беккер немного поотстали от нас, и, пользуясь случаем, пока мы одни, я спросил у Кагенека:

— Что ты думаешь по поводу этой «линии Старицы»?

— Тут и думать особенно нечего. Насколько я понимаю, «линия Старицы» — это всего лишь линия, нанесенная недавно на карту в ставке фюрера в далекой Восточной Пруссии. Она соединяет собой ряд деревень, которые для них там, в ставке, не более чем названия на карте. По словам оберста Беккера, линия эта нанесена даже без какого бы то ни было соотнесения с физическими особенностями местности.

— Как вообще может кто-то, сидя в Восточной Пруссии, знать, каковы здесь реальные условия?! — риторически воскликнул я.

— А теперь Гитлер еще и пытается подражать Сталину, — продолжил Кагенек. — Он издал прямой приказ — по некоторым причинам я пока просто еще не упомянул о нем, — чтобы мы сжигали каждую русскую деревню перед тем, как оставить ее.

— А как же русские гражданские жители?

— О них ничего не сказано.

В моей памяти возникли русские женщины и девушки, энергично помогавшие нам управляться с ранеными в лазарете. Воображение услужливо напомнило мне, как они бережно массировали отмороженные ступни наших солдат, и тут же я представил их стоящими на снегу, в то время как мы сжигаем их дома.

— И что же ты теперь собираешься делать? — спросил я Кагенека.

— Не знаю пока, но приказ есть приказ. Видимо, придется вначале сгонять всех жителей деревни в несколько домов — для того, чтобы у них по крайней мере оставалась хоть какая-то крыша над головой, а затем уже поджигать все остальные дома. Одного я не сделаю точно — я никогда не оставлю женщин и детей без защиты от этого ужасного холода.

После полудня, уже ближе к вечеру, мы заняли Кознаково. За десять последних дней мы отступили с боями на пятьдесят километров, и русские ожесточенно преследовали и атаковали нас на каждом километре этого пути. В эту ночь в соприкосновение с врагом мы не вступали. А на следующий день, 26 декабря, нам было приказано занять Шитинково — большую деревню на так называемой «линии Старицы», в которой — в соответствии с приказом Гитлера — нам предстояло обороняться до последнего человека.

* * *

Шитинково было большой деревней примерно в сотню домов, выстроенных, как и практически в каждой русской деревне, по обе стороны от дороги. От одного конца деревни до другого было около полутора километров вдоль этой дороги, тянувшейся точно в направлении с востока на запад. На заднем дворе почти каждого дома, метрах в двадцати-тридцати от него, имелась баня. Русские должны были атаковать нас с севера, это представлялось несомненным — так что нам предстояло держать оборону по довольно протяженному фронту. К югу от Шитинково, примерно в двух с половиной километрах по дороге, отходившей под прямым углом от главной улицы деревни, находилось Терпилово, где был расположен госпиталь Шульца. Дальше, за Терпилово, простиралась Волга. Штаб полка оберста Беккера располагался в небольшой заброшенной деревушке недалеко от Терпилово. Оттуда Беккер руководил также действиями 1-го батальона, занимавшего еще одну небольшую деревушку по правому флангу.

Возглавлявшаяся маленьким Беккером разведывательная группа, высланная вперед, определила, что врага в Шитинково нет и что там находятся всего около сорока наших людей из 2-го батальона 37-го пехотного полка. Нашему чрезвычайно ослабленному батальону, численность которого составляла теперь уже менее четверти от первоначальной, был придан в усиление взвод из 13-й роты с двумя легкими артиллерийскими орудиями, а также взвод с противотанковыми ружьями из 14-й роты. Вместе с ними, а также вместе с теми сорока человеками из 37-го пехотного полка, имевшими в своем арсенале несколько крупнокалиберных пулеметов, наша общая численность составила теперь около трехсот человек. Все руководство подготовительными мероприятиями и собственно самой обороной было возложено на Кагенека.

Он располагал едва достаточным количеством людей для того, чтобы обеспечить эффективную оборону деревни вдоль всей полуторакилометровой линии. Дополнительное осложнение состояло в том, что со стороны предполагаемого удара русских имелось значительное количество естественных укрытий, позволявших врагу скрывать свои намерения до самой последней минуты. Главным из них являлась подступавшая к Шитинково с севера широкая и густая лесополоса, примыкавшая к тому же с восточной части деревни почти к самым нашим позициям.

Мы получили донесение о том, что русские, прорвавшись значительными силами у Васильевского, закрепились в Тащадово, Горках и Ушаково — то есть именно в тех трех деревнях, откуда удобнее всего было осуществить удар по Шитинково. Теперь уже ни у кого не оставалось никаких сомнений в том, что в самое ближайшее время всем нам предстоит

отчаянное и жестокое сражение.

К 7.30 вечера мы расположились в домах Шитинково, и Кагенек разместил перед нашими позициями наблюдательные сторожевые посты вдоль кромки леса. Каждый час вдоль линии этих постов должен был проходить патруль, главной задачей которого было не столько слежение за оперативной обстановкой, сколько регулярная смена караулов. Еще одной проблемой, возникшей перед Кагеном в данных условиях, было то, что с таким не слишком значительным количеством людей, которым располагал, он был просто не в состоянии обеспечить достаточно эффективного заградительного огня с наших опорных пунктов.

Чтобы хоть как-то решить этот вопрос, саперам было приказано вырубить в лесу хотя бы небольшие просеки для упрощения ведения огня, а также заминировать основные подступы к деревне. На восточной окраине деревни — немного в стороне от нее — был выстроен бревенчатый сруб для размещения в нем пулеметчика, а также организованы еще два пулеметных гнезда неподалеку. Офицер-артиллерист разработал систему координат и рассчитал все прицелы по ключевым огненным зонам. Таким образом, к вечеру 26 декабря мы подготовились к наступлению врага настолько тщательно, насколько это было вообще возможно в сложившихся условиях и при имеющейся диспозиции.

На следующее утро, в 5.00, русские ударили с обоих концов деревни, бросив на нас по батальону с каждой стороны. Наши наблюдательные посты подали сигнал тревоги вовремя, и мы смогли обеспечить достаточно плотный огонь для того, чтобы отбросить красных назад. А в результате стремительно проведенной нами контратаки они вообще беспорядочно бросились обратно к Ушаково. Потери русских составили 73 человека убитыми. Восемь человек мы взяли в плен, а также захватили значительное количество оружия. Наш батальон не понес при этом ни единой потери.

А в самый разгар всего этого Кагенеку каким-то совершенно невероятным образом удалось связаться с Германией, и он узнал, что его жена, княгиня Байернская, родила ему двоих здоровых сыновей-близнецов.

У нас появилась еще одна хорошая возможность обеспечить наших людей теплой зимней одеждой. Кагенек приказал перетащить всех убитых русских в деревню и снять с них валенки и всю верхнюю теплую одежду.

Однако тела уже успели окоченеть до состояния камня, и бесценные для нас валенки просто примерзли к их ногам.

— Отпилить ноги, — коротко приказал Кагенек.

Мы отрубили мертвецам ноги топорами ниже колен, внесли эти обутые обрубки в тепло, поближе к печам, и уже через десять-пятнадцать минут они оттаяли настолько, что мы смогли почти без труда снять с них столь жизненно необходимые нам валенки.

Штольц захватил свой маленький персональный трофей. В рукопашной схватке он убил русского комиссара, и теперь, сияя от счастья, подошел ко мне, чтобы похвалиться великолепной шапкой из лисьего меха, снятой им с мертвого комиссара. Я щедро выразил ему свое неподдельное, впрочем, восхищение. Тогда Штольц обернулся, отыскал глазами своего ординарца и сказал ему:

— Если со мной что-нибудь случится — проследи за тем, чтобы эта шапка досталась доктору. Понял?

— *Jawohl*, герр обер-лейтенант, — усмехнулся тот.

Больше враг в тот день активности не проявлял — очевидно, зализывал раны и перегруппировывал силы. Воспользовавшись временным затишьем, я отпросился с позиций, чтобы побывать в Терпилово и забрать оттуда нашу санитарную конную повозку и Петерманна. Там же был и Мюллер, а вот оберштабсарцт Шульц, организовав сборный пункт для раненых в Терпилово, уже отбыл вместе с другими отступавшими частями за Волгу.

Там я и попрощался с моим верным Мюллером.

— Раны тебе уже немного подлечили, — сказал я ему, — так что со следующей

санитарной машиной поедешь в тыл и, если все будет удачно, через неделю или даже раньше будешь в Германии.

— Но, герр ассистензарцт... — начал было он.

— Никаких «но», друг мой. Ты, считай, уже в пути, — отрезал я, с очень, очень тяжелым сердцем пожимая ему руку на прощание. — Мы вполне можем выиграть эту войну и без тебя. Увидимся дома, в Биельфельде.

Для моего перевязочного пункта в Шитинково я реквизировал дом, соседний с домом, в котором разместился батальонный пункт боевого управления. Особенно мне понравилось в этом то, что с той стороны, откуда нас должны были атаковать русские, к нему была пристроена здоровенная конюшня. Во время боя она должна была послужить нам прекрасной защитой от огня противника.

В лазарете все было подготовлено к предстоявшей атаке, и в шесть часов вечера мы уселись ужинать. Вдруг в дверь постучал наш коллега — штабсарцт Лиров из соседнего, 37-го пехотного полка. Это был высокий жилистый человек средних лет. Управившись со своими подготовительными хлопотами, он зашел специально для того, чтобы убедиться в том, что и у нас тоже все в порядке, поскольку его полк занимал позиции по левому флангу от нас, всего в полутора-двух или около того километрах к западу. Мы пригласили его отужинать с нами. Когда он услышал наши веселые и добродушные подшучивания друг над другом, тусклое и какое-то даже безжизненное выражение в его глазах уступило место озорному огоньку, выдававшему в нем очень милого и жизнерадостного, но просто очень уставшего человека. Приглашение наше он, без всяких ужимок, охотно принял, а перед тем, как он ушел обратно в свой полк, мы с ним заключили пакт о взаимной помощи.

Каждый офицер и каждый солдат был готов к бою на своем посту. Мы ждали атаки русских. Мы знали, что они атакуют нас. И мы даже хотели, чтобы это произошло поскорее.

Наша разведка выведала у пленных красноармейцев, что Сталин приказал Жукову атаковать нас теперь только по ночам, поскольку «немцы не позаботились о подготовке к ночным боям и не любят вступать в рукопашные схватки». Тут он был, конечно, в значительной степени прав. Ни один солдат не любит рукопашные, и, конечно, мы совсем уж ненавидели воевать по ночам на лютom морозе вместо того, чтобы спокойно посапывать в тепле у огромной русской печи. Но это, однако, не отменяло того факта, что по ночам мы обычно наносили русским даже гораздо больший урон, чем в ходе дневных боев, — по крайней мере наш 3-й батальон, — так что и в ведении ночной войны мы тоже уже заметно поднаторели и вполне могли постоять за себя. Даже более того.

Этой ночью нам все же повезло. Температура ощутимо повысилась, т. е. на улице было заметно теплее, чем в последнее время. Вплоть до того, что мы даже надеялись на то, что у нас не возникнет серьезных проблем, связанных с замерзанием смазки в оружии. Тем не менее в ожидании сигналов тревоги от наших наблюдательных постов мы на всякий случай все же держали его в тепле, у жарко натопленных печей.

Итак, мы ждали появления русских. Патрули регулярно меняли часовых на сторожевых постах, а те, в свою очередь, исправно вели наблюдение за обстановкой. В двухстах метрах за восточной околлицей деревни, недалеко от заснеженной дороги, ведущей к позициям 1-го батальона, терпеливо ждали своего часа наши пулеметчики, а еще два пулеметных расчета притаились замаскированными в сугробах. Их задача состояла в том, чтобы сметать своим огнем всех русских, которые могли появиться из леса, вплотную примыкавшего к деревне с севера в ее восточной части. Специально для этого значительная часть деревьев в этой части леса была повалена нашими саперами. Любой русский, оказавшийся в секторе обстрела пулеметчиков, был попросту обречен.

В безоблачном небе повисла полная луна, заливая всю округу своим ярким таинственным светом. В 8.30 вечера русские атаковали нас силами батальона с севера в восточной части деревни — именно там, где мы и ожидали их с наибольшей вероятностью. Наблюдательные посты предупредили нас об их появлении своевременно, и основная часть наших солдат ринулась к восточной окраине деревни. Для обороны центральной ее части

была оставлена лишь незначительная группа, а западную окраину Шитинково защищали сорок человек из 2-го батальона 37-го полка.

Русских было примерно под тысячу, нас — две сотни.

Пулеметы вдоль дороги обрушили свой огонь на прореженный лес, откуда на нас накатывалась эта жуткая волна неприятеля. Многие русские упали, скошенные этими очередями, но еще большее их количество все же прорвалось и угодило прямо под огонь наших автоматов и винтовок. В ярком лунном сиянии, да еще плюс осветительные ракеты, шквал нашего прицельного огня олицетворял собой саму смерть, и в результате русские дрогнули и стали отступать. Наш прекрасно обученный и подготовленный корректировщик артиллерийского огня направил этот огонь точно в тот сектор леса, куда отступали русские, а Штольц с группой своих самых отчаянных сорвиголов из 10-й роты завершили все стремительной контратакой.

Обратно они вернулись уже с безжизненным телом своего командира.

Штольц увлекся преследованием русских и углубился слишком далеко в лес. Вражеский пулеметчик, притаившийся в пулеметном гнезде в густых заснеженных кустах, успел выпустить очередь по огромной фигуре. Но это было последнее, что он успел сделать в своей жизни. В следующее мгновение один из унтер-офицеров Штольца швырнул в эти кусты гранату, и пулеметчик вместе со своим пулеметом были отправлены ее взрывом в мир иной. Когда солдаты приподняли рухнувшее в снег грузное тело Штольца, еще надеясь на какое-то чудо, было уже слишком поздно. Наш великан был мертв, а в его груди зияли четыре огромных дыры, проделанные крупнокалиберными пулями.

Весь остаток ночи солдаты 10-й роты дрались как люди, в которых вселился сам Сатана. Они все никак не могли поверить в то, что их веселый и горячо любимый всеми командир убит, но зато твердо знали, что если это и так, то уж они постараются, чтобы русские составили ему как можно более многочисленную компанию по пути на небеса. Перегруппировывая свои силы, русские атаковали нас снова и снова, но каждый раз останавливались и отбрасывались назад плотным заградительным огнем наших пулеметов, автоматов и винтовок. Не последнюю роль тут сыграли, конечно, и наши легкие артиллерийские орудия с минометами.

Бойня эта длилась пять с половиной часов, пока русским это наконец не надоело и они не отступили, пытаясь оттащить назад некоторых своих раненых.

Но более сотни их все же так и осталось на окровавленном снегу прямо перед домами, которые мы обороняли. Наши потери составили четверо убитых и шестеро раненых.

На следующее утро мы обнаружили значительное количество мертвых русских солдат еще и в лесу. В основном это были раненые, брошенные при отступлении своими товарищами. Более сотни их, будучи из-за своих ран не в состоянии поползти обратно до своих позиций, так и замерзли насмерть.

Утро 28 декабря было все таким же умеренно холодным, и у нас выдалось время на то, чтобы очистить от трупов все поле битвы. Теплого зимнего обмундирования, снятого с более чем двух сотен мертвых русских, хватило на то, чтобы обеспечить им каждого солдата батальона, а главное — тех, кто до сих пор его не имел.

Смерзшиеся в гротескные глыбы тела были перетащены в *бани*, где за них принялись «работники пилы и топора». Это было, конечно, не самым приятным занятием, чтобы не сказать больше, но привередливость и щепетильность пришлось отбросить — ведь речь шла о жизни наших людей. Смерть подстерегала на каждом шагу любого, кто не умел сберечь тепло своего тела.

В лесу были проделаны дополнительные просеки для ведения огня, смены караулов продолжали регулярно обходить внешнее кольцо нашей линии обороны, а группы лазутчиков пробирались как можно дальше ползком в поля, чтобы разведать намерения русских. У некоторых из них произошли даже короткие перестрелки с такими же мелкими отрядами русских. В течение всего дня артиллерия обеих сторон время от времени разражалась беспорядочным огнем. Поступили сообщения о значительных перемещениях

вражеских войск между Васильевском и Горками. Всему нашему личному составу было приказано тщательно вычистить свое оружие с дальнейшим нанесением на его движущиеся части минимального количества смазки. Кроме того, солдаты проверили и опробовали значительное количество вражеского трофейного оружия и боеприпасов, оставленных русскими при отступлении. Замерзшие тела всех убитых русских были перетасаны и набросаны огромными кучами в амбарах. Мы не могли оставить их на снегу перед нашими позициями, поскольку — помимо всего прочего — они представляли бы собой ложные цели в ходе следующего боя.

Присматривая за ходом подготовки к следующей схватке, Кагенек, казалось, был повсюду одновременно. Он, в частности, внимательно проследил за тем, чтобы снятое с русских теплое зимнее обмундирование было как можно равномернее распределено между всеми нашими солдатами, и к полудню каждому из них мороз был практически уже не страшен — во всяком случае, не сравнить с тем, что было раньше. С ношением русской форменной одежды было связано, правда, и одно неудобство: в горячке рукопашного боя или, скажем, при плохой видимости наших солдат легко можно было принять, особенно издали, за красноармейцев — причем как одной, так и другой из сторон, и это могло повлечь за собой некоторую неразбериху. Но это воспринималось нами как сущая чепуха по сравнению с тем теплом, которое давали толстые овчинные тулупы, меховые шапки и поистине волшебные валенки!

И вот наконец все основные мероприятия по подготовке к очередному бою закончены. Я почувствовал, что наступил самый подходящий момент для того, чтобы немного отдохнуть и набраться сил перед следующей атакой русских, и вышел на минутку на улицу, чтобы глотнуть свежего бодрящего воздуха. Повсюду царствовал фантастический лунный свет, даже еще более яркий, чем в предыдущую ночь. Термометр снова показывал похолодание — на этот раз уже тридцать пять градусов мороза, а его столбик все продолжал и продолжал опускаться. В штабе батальона Кагенек склонился в глубокой задумчивости над изучением карты боевых действий; Ламмердинг был где-то снаружи, проверяя линию связи с ротой Бёмера и с отделением из 37-го полка; маленький Беккер был занят тем же, но касаясь связи с 10-й ротой и с восточными пулеметными расчетами.

— Как думаешь, Хайнц, в какое время они появятся на этот раз? — спросил меня Кагенек.

— Я думаю, они подождут, пока не скроется луна, — ответил я. — В прошлый раз им досталось так сильно именно благодаря яркому лунному свету.

— Согласен, — кивнул Кагенек. — В таком случае у нас есть еще несколько часов до их появления. Какое блаженство...

Он с облегчением вздохнул и сложил карту.

— Ну что же, я сделал все, о чем только мог подумать... — немного помолчав, в раздумчивости проговорил он. — Но этот лес у восточной окраины деревни... Это наше самое слабое место, и с этим ничего не поделать — оно таковым и останется.

Мы присели прямо напротив открытого огня печи и с наслаждением вытянули ноги поближе к весело потрескивавшим поленьям. Бруно, ординарец Кагенека, вошел с двумя чашками горячего дымящегося кофе. Взглянув на Кагенека, он озабоченно проговорил:

— Осмелюсь заметить, что герру обер-лейтенанту следовало бы лечь и хотя бы немного поспать: каждая минута сна сейчас просто бесценна.

— Не беспокойся за меня, Бруно, — отозвался Кагенек. — Час такого отдыха, как сейчас, оказывает более тонизирующий эффект, нежели час сна, после которого не хочется просыпаться.

На стене тикали старые часы с маятником. Для простой русской избы это был весьма необычный элемент интерьера.

— Тиканье часов, — проговорил Кагенек после довольно продолжительного молчания, — приносит в любой дом умиротворение и покой. У нас дома тоже были старинные часы с маятником. По сути, это одно из моих самых ранних воспоминаний

детства. Мне тогда было, наверное, лет шесть. Я потихоньку выздоравливал после долгой и тяжелой простуды, и моя мать проводила большую часть своего времени со мной, а не с моими братьями.

Видимо, окунувшись с головой в детские воспоминания, Кагенек опять на некоторое время ушел в себя.

— А эти старинные часы все тикали и тикали, — продолжил он наконец, — а моя мама сидела около моей кровати и читала мне сказки. А часы отсчитывали уходившее время. Я очень хотел, чтобы эти сказки никогда не кончались, и думал, что если бы я остановил часы, то и сказки стали бы бесконечными. Но часы все тикали и тикали и в конце концов стали олицетворять для меня некое могущественное зло. Ведь они лишали меня не только бесконечных сказок — они безвозвратно уносили бесценные минуты жизни моей мамы...

— ...знаменуя этим рождение мыслящей личности, — подхватил я. — Это момент, начиная с которого мальчик начинает становиться мужчиной и уже не может жить, как ребенок, одним лишь настоящим.

— Должно быть, ты прав, Хайнц, — мечтательно проговорил Кагенек. — А последняя минута в жизни каждого мыслящего, как ты говоришь, существа ознаменовывается, возможно, остановкой каких-то особых, высших, относящихся лишь к нему одному часов. Сейчас половина десятого. Сутки назад в это время часы остановились для Штольца... Знаешь, порой я просто не могу поверить в то, что мы выберемся из этого ада, — если, конечно, не произойдет какого-нибудь чуда.

— Ради бога, гони от себя подобные размышления — они никогда не приводят ни к чему хорошему, — встревоженно проговорил я.

— Не пойми меня неправильно, Хайнц. Я не впадаю в отчаяние. Я лишь стараюсь смотреть прямо в лицо фактам. Когда я наблюдаю за тем, как нас медленно, но верно сводят на нет — несколько человек сегодня, еще несколько завтра, и никакой надежды на пополнение или усиление, — я, сказать по правде, не вижу особой надежды. Если сегодняшней ночью мы убьем пятьсот русских, а сами потеряем лишь двадцать человек, то даже в таком соотношении эта потеря будет слишком ощутимой для нас. Прикинь-ка сам для себя, сколько еще сможет продержаться наш и без того не такой уж многочисленный отряд, если все будет продолжаться в таком же ключе и дальше...

— Но ведь положение может в любой момент и измениться. Русские могут отступить; нам тоже могут приказать отойти на другие позиции; произойти может все что угодно. Тут, на мой взгляд, существует лишь один способ остаться в живых — действовать так, как если бы ты собирался жить вечно.

— Не волнуйся, Хайнц. Все эти мысли просто навеяло мне ностальгическим тиканьем старинных часов. Будем считать, что это и было тиканье часов, или, скажем, давай представим себе, что ты частнопрактикующий психотерапевт, а я твой пациент, был у тебя на приеме, — криво усмехнулся он и успокаивающе похлопал меня по плечу. — Я был с вами так откровенен, доктор, потому, что вы связаны клятвой Гиппократата. Вы ведь меня не выдадите?

В дверь послышался стук, вслед за которым появились трое: два солдата из 11-й роты и стоящая между ними девушка. Солдаты доложили, что девушка была задержана из-за того, что находилась с невыясненной целью на нашем боевом плацдарме, и Бёмер приказал доставить ее в штаб батальона как возможную шпионку.

Девушка стояла перед нами не шелохнувшись, и в ее широко распахнутых темно-карих глазах читался неподдельный ужас. Мы олицетворяли для нее людей, которые, в хаосе войны, обладали над ней абсолютной властью. Ей очень повезло на самом деле, что она попала в руки такого человека, как Кагенек, для которого власть означала справедливость и правосудие, а не самодурство и деспотизм. Кагенек предложил ей снять с себя тяжелый меховой тулуп. Девушка сняла тулуп и аккуратно повесила его на гвоздь, вбитый в стену. Затем, подумав секунду-другую, решительными движениями не совсем послушных с мороза рук расстегнула и сняла с себя шерстяной офицерский китель без погон и знаков различия,

под которым, впрочем, оказалась еще и хлопчатобумажная блузка, и повесила его рядом с тулупом. Медленно размотав на голове огромный шерстяной же платок, она сняла и его, высвободив таким образом длинные черные волосы, волной упавшие ей на плечи. Нашим глазам предстала прелестная, стройная и совсем еще юная девушка, почти девочка. Ее грубая юбка из черного сукна была подпоясана ремнем на тонкой талии, а несколько тесноватая гимнастерка красноречиво подчеркивала ее хорошо развитые формы. Изяществом фигуры она совершенно не походила на большинство крестьянских женщин, помогавших мне время от времени на моих перевязочных пунктах. Она имела, можно даже сказать, какое-то утонченно-изящное телосложение. Таких худеньких и хрупких русских женщин я еще не видел. Постепенно она стала отогреваться с мороза, и на ее щеках засиял яркий здоровый румянец. Кажется, она уже начинала понимать, что ей посчастливилось иметь дело с вполне цивилизованными людьми, а не со звероподобными злодеями. Страх из ее глаз исчез, и теперь она смотрела на нас прямо и даже с интересом.

Кагенек приступил к допросу, и все мы были просто поражены ее свободным и уверенным владением немецким языком, на котором она говорила, впрочем, с заметным русским акцентом.

— Ваше имя?

— Наташа Петрова.

— Возраст?

— Девятнадцать лет.

— Род занятий?

— Школьный учитель.

— Где и какие предметы вы преподавали?

— Моя школа была в Калинин. Преподавала немецкий язык, географию и физкультуру.

— А что привело вас сюда?

— Я бегу от коммунистов. Они хотят расстрелять меня за то, что я работала переводчицей у немцев.

— В какой дивизии?

— Я не знаю, что за дивизия, но я помогала немцам в Калинин.

— Имя командира подразделения, которому вы помогали?

— Не помню. Я работала переводчицей у многих немецких офицеров, не могу же я помнить всех их по именам.

— Назовите хотя бы одного из них.

— Это были все какие-то странные и трудно запоминающиеся фамилии. Русские охотятся за мной и идут по пятам с тех самых пор, как взяли Калинин. Я столько пережила! И такие вещи, как фамилии мало знакомых мне немецких офицеров, просто вылетели у меня из головы.

Все с тем же неослабевающим пристрастием Кагенек приступил к перекрестному допросу, держа ее все это время перед собой в положении стоя. Постепенно в ответах стало обнаруживаться все больше и больше несообразностей. Не меняя интонации, Кагенек молча отмечал их про себя. В какой-то момент девушка чуть не сломалась — она расплакалась, стала умолять прекратить терзать ее этим «бесчеловечным допросом» и успокоилась только тогда, когда поток вопросов неожиданно оборвался. Кагенек приказал солдатам обыскать тулуп и китель, но они, конечно, не обнаружили там ничего подозрительного.

Повернувшись ко мне, он сказал:

— Теперь твоя очередь, Хайнц. Тебе, как доктору, придется обыскать ее более тщательно. Посмотри, не прячет ли она что-нибудь на своем теле.

Я даже вздрогнул от этого приказа. До этого момента я воспринимал ее не только как предполагаемую шпионку, но и как первую по-настоящему привлекательную женщину, которую я видел так близко за несколько последних месяцев. Я поспешил всем своим поведением выразить лишь свое чисто профессиональное отношение к предстоящей

процедуре.

— Подойдите сюда, — как можно бесстрастнее велел я ей, указывая приглашающим жестом на небольшой и, главное, скрытый от всех остальных глаз кухонный закуток за огромной печью. Я уже воочию представлял себе ее гибкое юное тело и был поражен тем разительным контрастом, которое оно представляло собой на фоне грубых мужских солдатских тел, с которым я имел дело ежедневно.

— Боюсь, мне придется сейчас обыскать вас, — пробормотал я, намереваясь лишь тщательно прощупать все предметы ее одежды, чтобы убедиться в том, что она не прячет в них оружие или какие-нибудь бумаги.

— Да, герр доктор, — спокойно ответила мне она.

Я вышел обратно в комнату, чтобы принести со стола керосиновую лампу.

Когда я вернулся за печь, ее юбка была уже на полу, а девушка стягивала с плеч свою блузку. Под блузкой, как и у большинства русских женщин, на ней больше ничего не было. Я был просто ослеплен красотой ее юной девичьей груди.

— Этого будет вполне достаточно, — поспешил остановить ее я, видя, что она намеревается обнажиться полностью.

Пока я ощупывал ее валенки, юбку и блузку, она продолжала стоять прямо передо мной с совершенно безучастным видом. Я снова взглянул на нее, и она подняла руки над головой, демонстрируя мне, что она нигде ничего не прячет.

— Одевайтесь, — коротко бросил я.

— Ничего не обнаружено, — доложил я Кагенеку, выйдя обратно в комнату.

— Как ничего? Ты уверен? — озорно усмехнулся он. — Ты действительно ничего не обнаружил? Ты разочаровываешь меня, Хайнц.

— О да, я, конечно, обнаружил очень многое, но, однако, так и не нашел ничего, что изобличало бы в ней шпионку.

Одевшись, Наташа вышла обратно в комнату и взглянула на меня с благодарностью. Застегивая на себе китель, она присела на скамью подле печного огня.

— Ну что ж, очень хорошо, если так, — сказал Кагенек, поворачиваясь к солдатам, которые все это время не могли оторвать глаз от необычной гостьи. — Доложите обер-лейтенанту Бёмеру, что установить со всей определенностью, что данная девушка является шпионкой, не представляется возможным.

Солдаты отдали честь и удалились.

Затем Кагенек повернулся к Наташе и сказал ей следующее:

— Вы совсем еще юная девушка, и я хотел бы предоставить вам еще один шанс. Я отправлю вас под конвоем обратно за наши позиции, и там они отпустят вас. Можете идти, куда хотите, где вы думаете, что сможете избежать преследований ваших соотечественников, которые, как вы утверждаете, хотят расстрелять вас. Но я совершенно серьезно предупреждаю вас: никогда больше не попадайтесь в зонах боевых действий. Я обязан отправить в штаб нашей дивизии ваше точное и подробное описание, в котором будет указано, что вы подозреваетесь в шпионской деятельности. Так что обходите как можно дальше все те места, где возможна встреча как с русскими, так и с немецкими солдатами.

Наташа выслушала все это спокойно и молча.

— Здесь ее оставлять нельзя, — обратился уже ко мне Кагенек. — Можешь устроить ее под надежной охраной в лазарете?

Я вызвал Генриха и приказал ему отвести девушку в лазарет, разместив ее там под вооруженной охраной.

— Мы не можем отпустить ее до окончания сегодняшнего боя, — добавил Кагенек после того как они ушли. — Избавимся от нее завтра.

Вошел Ламмердинг и, стягивая перчатки, доложил прямо с порога:

— В 11-й роте все в порядке. А что вы сделали с этой маленькой сорокой? Когда я ее увидел, она была закутана в миллион всяких одежек, и все равно было понятно, что под ними у нее там все в порядке.

— Не могу судить, — сказал Кагенек. — Спроси у доктора.

— Полегче, Ламмердинг, — отозвался я. — Теперь она в моих надежных руках. Но могу сообщить тебе по секрету, что все, что тебя интересует, — выше всяких похвал.

Появился маленький Беккер, и Ламмердинг в красках живописал ему все, что было связано с нашей недавней гостьей.

— Теперь это преинтереснейшее создание препровождено под охраной в лазарет, — многозначительно закончил он.

— Прощу извинить меня, — чуть ли не заплетающимся языком проговорил Беккер, — но сегодня меня не интересуют даже самые преинтереснейшие создания. Я смертельно устал.

— Да, кстати, всем нам пора отдохнуть, — объявил Кагенек. — Сегодня мы больше все равно уже ничего не сделаем. Вся подготовка проведена. После полуночи луна скроется, и — можете мне верить — сразу вслед за этим последует атака русских.

Он повернулся к маленькому Беккеру и еще раз уточнил:

— Ты уверен, что все на своих постах?

— Гарантирую, — ответил тот.

— Хорошо, тогда всем отбой, — скомандовал Кагенек. — *Gute Nacht, meine Herren* (Спокойной ночи, господа).

Сопроводив Наташу в лазарет, Генрих отнесся к полученному приказу со всей возможной серьезностью: девушка сидела у огня, а Генрих — напротив нее, с винтовкой на коленях. Я улегся на свою соломенную кровать, устало потянулся и мгновенно провалился в крепкий глубокий сон без сновидений.

Битва за Шитинково

Планы русских были предугаданы нами правильно. Они дождались захода луны и вслед за этим атаковали. Мы, однако, были к этому готовы; наши люди расхватили свои прогретые у печей пулеметы, и бой начался. Не вдаваясь в излишние живописания, привожу ниже официальный доклад батальона, описывающий ход битвы за Шитинково.

В ночь с 28 на 29 декабря, в 2.30, после захода луны русские атаковали нас под прикрытием темноты силами примерно двух батальонов и с беспрецедентной свирепостью.

Воспользовавшись преимуществом плохой видимости и массированности своего удара, враг двинулся в наступление с северо-востока и востока и, несмотря на максимально возможный оборонительный огонь с нашей стороны, вскоре достиг окраин деревни. Атака оказалась неожиданно мощной и выполнялась чрезвычайно стремительными темпами.

Наши посты сторожевого наблюдения подали сигнал тревоги и, отстреливаясь, отступили. Пулеметные расчеты к востоку от деревни оказались быстро выведенными из действия нахлынувшей массой врага, а все пулеметчики — убиты или тяжело ранены.

Несмотря на яростную атаку и значительные трудности, возникшие в ходе развития ситуации, обер-лейтенанту Графу фон Кагенеку удалось методично сконцентрировать его главные оборонительные силы на восточной окраине деревни.

Из-за исключительно низкой температуры пулеметы стали отказывать, имели место многочисленные заклинения. Телефонный кабель, проложенный к артиллеристам, оказался почти сразу же поврежденным в результате массированного минометного обстрела русскими, что повлекло за собой крайне несвоевременное ослабление оборонительного огня нашей артиллерии.

В результате решительной атаки русские овладели несколькими домами по северо-восточному периметру Шитинково. Решительные контрмеры, предпринятые командиром батальона, приостановили развитие атаки и нанесли врагу тяжелый урон от винтовочного огня и ручных гранат.

Постепенно наступление врага было остановлено полностью. Благодаря применению средств радиосвязи было восстановлено эффективное действие нашей артиллерии.

Однако в то время, когда наши главные силы (превосходимые силами противника в соотношении десять к одному) были заняты сопротивлением атаке врага с северо-востока, им была неожиданно предпринята еще одна энергичная атака с северо-запада на западную оконечность деревни — силами примерно двух полных рот. Для отражения этой второй атаки были немедленно брошены части 2-го батальона и прикомандированные подразделения из 37-го полка.

Остановить развитие второй атаки оказалось возможным лишь благодаря яростным и отчаянным усилиям каждого боеспособного солдата в бое за каждый дом с применением ручных гранат и автоматов, а также в рукопашных схватках.

Тем временем в ходе контратаки на восточном секторе деревни оказался ранен и по этой причине выбыл из дальнейшего боя обер-лейтенант Бёмер. В то же самое время небольшая группа наших солдат в западном секторе совершила обходной маневр и, предприняв решительную контратаку, отбросила русских за пределы деревни.

Контрнаступление с юга, предпринятое ротой, сформированной из остатков 329-го пехотного полка и возглавляемой лейтенантом Шеелем, встретила решительное сопротивление противника, которого приходилось выбивать последовательно из каждого дома на восточной оконечности деревни. В ходе этого удара вышеупомянутая группа из 329-го полка потеряла половину своих людей, и в том числе лейтенанта Шееля; два командира взводов были ранены.

Разъяренный враг предпринял новую атаку с севера (в 3.30), а также фронтальный удар по центральной части деревни. В это же время силы русских в восточной части деревни прорвались через улицу и ринулись по направлению к дороге из Шитинково в Терпилово. Они захватили скрещивание этих двух дорог, а затем смогли окружить и изолировать наши части, ведущие бой в центральной части деревни.

Центральная часть деревни удерживалась далее лишь очень незначительными нашими силами. Противнику удалось захватить ряд домов, расположенных уже совсем недалеко от батальонного пункта боевого управления и от перевязочного пункта. В то же время в руках врага оказалось и большинство домов в восточном секторе.

Чуть более чем за час, прошедший с момента захода луны, русские, задействовав для этого около 2500 человек, подавили наш маленький гарнизон из трехсот человек и захватили большую часть Шитинково. Первый удар, как мы и предполагали, последовал из леса, расположенного в слишком опасной близости к восточной оконечности деревни. Наши силы оказались все же слишком малы для того, чтобы противостоять этому слишком массированному наступлению, поддержанному к тому же через пятнадцать минут еще одним энергичным ударом по западной оконечности деревни, находившейся в полутора километрах в стороне. Финальный удар по центру деревни оказался последней каплей.

Маленький Беккер и Шниттгер с остатками старой штольцевской роты и отделением артиллеристов сформировали собой небольшой очаг яростного сопротивления на ответвлении дороги на Терпилово. Окружавшие красные несопоставимо превосходили их в численном отношении, но они все равно не уступали им ни метра обороняемого пространства. В западной части деревни так же ожесточенно старалась остановить продвижение врага на своем участке, т. е. с запада, еще одна небольшая группа, состоявшая преимущественно из людей 37-го полка. В центре деревни, и опять же с небольшой группой, действовал Ламмердинг, отчаянно защищая наш перевязочный пункт и штаб батальона.

Перевязочный пункт был забит ранеными. Все мы были слишком заняты ими, чтобы следить еще и за тем, что происходит снаружи, пока в переполненное помещение не ввалился, хромая и шатаясь, солдат, раненный в бедро. С перекошенным от боли и страха лицом он выкрикнул: «Русские здесь! Они уже идут!»

Среди раненых мгновенно распространилась паника. Охваченные ужасом, не вполне отдавая себе отчет в своих действиях, пытались подняться даже тяжело раненные — и снова беспомощно падали на свои соломенные подстилки. Никто из них не питал никаких иллюзий по поводу того, что с ними станет, если наш перевязочный пункт окажется в руках красных.

Я мельком взглянул на девушку, непринужденно прислонившуюся плечом к углу печи и скрестившую руки на груди. В ее ответном взгляде сквозила почти не скрываемая усмешка. В выражении лица не осталось ни тени от вчерашнего страха или благодарности за то, что мы не повесили ее как шпионку. В тот момент я мог совершенно хладнокровно и без сожалений пристрелить ее.

Все мы понимали, что смертельная опасность уже слишком близка. Шум боя становился все отчетливее: винтовочные выстрелы, взрывы гранат и неистовая трескотня автоматных очередей доносились уже всего метров с пятидесяти — со стороны амбара, пристроенного к дому с заднего двора.

В комнате повисла мертвая тишина. Я прямо чувствовал, что Наташа Петрова не спускает с меня своих красивых, но насмешливых и холодных глаз. Оглянувшись, я увидел, что на меня пристально смотрят и все раненые.

В это мгновение прямо перед домом взорвалась граната, и несколько стекол из оконного переплета со звоном влетели внутрь. Русские были уже почти на пороге.

Я вдруг осознал, что сейчас все зависит от меня одного. В обращенных ко мне взглядах раненых читалось ожидание от меня какого-то действия — среди присутствовавших я был единственный офицер, и к тому же один из всего лишь нескольких боеспособных мужчин. Каким-то неведомым образом это осознание придало мне не только отвагу, но и способность ясно и четко мыслить и, главное, быстро действовать. Сейчас мне не оставалось ничего другого, кроме как быть просто солдатом.

— Давайте-ка посмотрим, что там на самом деле происходит, — как можно спокойнее, как будто о самом обычном деле, сказал я, взяв свой автомат и надевая каску.

В карманах у меня было еще и несколько гранат.

— Генрих, давай на конюшню и следи за тем, что происходит с той стороны дома. Обо всех подозрительных перемещениях немедленно докладывать. Пропускать только наших раненых, да и то предельно осмотрительно. Тульпин, быстро распределить все имеющееся оружие среди тех, кто еще способен держать его в руках. Будем защищаться. Мы должны любой ценой не позволить врагу забросать нас гранатами через окна, иначе всем нам конец.

Все, кто еще мог двигаться, включились в оживленную подготовку к обороне перевязочного пункта. Я прошел из комнаты в сени, снял автомат с плеча, осторожно приоткрыл входную дверь и сделал первые три шага со ступеней крыльца на улицу, сразу же оказавшись во власти свирепого мороза и непроглядной тьмы. Первое время, пока мои глаза привыкали к темноте, я не мог разглядеть вообще ничего, даже во время вспышек взрывов, то и дело ухавших в разных концах деревни. Затем в небо взвилась осветительная ракета, и в ее ярком свете я как-то даже нереально отчетливо разглядел здание штаба и наш перевязочный пункт.

Вон там! На другой стороне улицы, примерно метрах в тридцати от меня! Русский! Он увидел меня первым, и в следующий миг его пуля вцепилась в стену за моей спиной. Прежде чем он успел прицелиться в меня из своей винтовки во второй раз — «Спокойно!» — промелькнуло у меня в мозгу, — моя автоматная очередь опрокинула его в сугроб — должно быть, за мгновение до того, как он нажал на курок. В несколько прыжков я оказался за саями, стоявшими за углом у боковой стены дома. На заднем дворе я разглядел две наших маленьких конных повозки, запряженных нашими милыми лошадками. Если бы здесь сейчас был Мюллер, успел с досадой подумать я, он обязательно увел бы их в конюшню. А так к ним сейчас крадучись подбиралась какая-то тень явно негерманского происхождения. Я на всякий случай выпустил еще одну очередь в ту сторону. Движение вроде бы прекратилось.

Тот русский, которого я застрелил на улице, — первый человек, которого я убил со всей несомненностью, — подбирался к нам с другой, противоположной стороны. То есть мы были уже частично окружены, и совершенно ясно, что эти двое — не единственные русские, находящиеся где-то поблизости. Из всех сил напрягая зрение, я вглядывался из-за своего укрытия в темноту и при свете вспышек отдаленных взрывов сумел разглядеть, что следующий за нами дом, примерно метрах в двадцати к востоку, был все еще в наших руках.

Адом, следующий за ним, был уже штабом батальона, и уж он-то наверняка тоже пока за нами. Это успокаивало и вселяло уверенность в собственных силах.

Целая цепочка домов вдоль улицы, уходившей на запад, выглядела как брошенные; по крайней мере, в них не просматривалось никаких признаков жизни и поблизости от них не было слышно никакой стрельбы. Звуки перестрелки доносились только с самой дальней западной оконечности деревни — оттуда, где продолжали держать оборону солдаты 37-го полка. В настоящий момент самая серьезная опасность грозила нам с востока деревни, где русские, по всей видимости, интенсивно форсировали свой прорыв. Но между нашим перевязочным пунктом и наступающими русскими был еще Ламмердинг со своими людьми. Небо над головой мерцало причудливыми отблесками немецких и русских взрывов, а воздух вокруг все больше и больше наполнялся немецкими и русскими криками. Я вдруг отчетливо различил в этой мешанине голос Ламмердинга, крикнувшего своим людям: «Всем приготовиться!» Каждая очередная взметнувшаяся в воздух осветительная ракета была своеобразным сигналом к началу следующего поединка между жизнью и смертью. То, что Ламмердинг жив и до сих пор в бою, очень обрадовало и успокоило меня. Я знал, что ничто на свете не в силах поколебать его невозмутимого спокойствия.

— Русские по другую сторону улицы! — услышал я крик Генриха откуда-то из-за спины и в тот же момент разглядел еще одного красноармейца через дорогу от себя. В мерцании осветительной ракеты он представлял собой прекрасную мишень — так же, как и первый русский, которого я уже убил при практически аналогичных обстоятельствах. Меня осенило вдруг, что он и его товарищи пытаются зайти Ламмердингу и его людям с тыла. Когда и этот русский рухнул, подкошенный моей очередью, стали раздаваться выстрелы и из перевязочного пункта. Это вступили в бой возглавляемые Тульпином раненые. Осветительная ракета потухла, и все снова накрыло тьмой.

Вспышки взрывов и мелькание трассирующих очередей озаряли то там, то сям всю дорогу к востоку от нас, отмечая собой очаги нашего сопротивления. Больше всего этих всполохов было у поворота на Терпилово, где продолжали держать героическую оборону маленький Беккер и остатки 10-й роты. С запада я различил вдруг приближение к нам немецких голосов. При свете пущенной где-то в стороне ракеты я различил Кагенека и следовавшую за ним примерно дюжину наших людей.

— Эй, Франц! — позвал я. — Осторожнее... Давай сюда!

Через несколько секунд Кагенек беззвучно возник из темноты и, припав к земле рядом со мной, спросил:

— Что там происходит? Новый прорыв?

Я обрисовал ему несколькими словами известное мне положение вещей и сообщил о новой атаке русских с севера.

— Вот значит как! Фронтальная атака по центру деревни... Это уже совсем никуда не годится!

— Ламмердинг во-он там, — указал я рукой. — По-моему, он пытается прорвать кольцо окружения на востоке. Но вон там, через дорогу, какие-то русские пытаются подобраться к нему с тыла.

— Если мы не помешаем этому, мы потеряем не только Ламмердинга, но также пункт боевого управления и перевязочный пункт. Ламмердинг должен продержаться хотя бы еще немного, а мы тем временем разделимся с этими ублюдками.

— А что там, с другой стороны? — заодно успел спросить я Кагенека, пока он собирал своих людей.

— Атака русских более или менее заглохла. Парни из 37-го полка очистили от русских все дома, а теперь отстреливают тех из них, кто опять пытается атаковать их с полей.

Кагенек вскинул пулемет на изготовку и приглушенно скомандовал: «Приготовиться!»

Тщательно прицелившись, Кагенек выпустил осветительную ракету, но не вверх, как это чаще всего бывает, а прямо на ту сторону улицы. Ее ослепительная вспышка вырвала из тьмы около пятнадцати русских, в которых он чуть не попал самой ракетой.

Воспользовавшись их замешательством, Кагенек всадил в них длинную пулеметную очередь, а его люди стали яростно палить из своих автоматов и винтовок по всему, что могло только лишь показаться им русскими. Большая часть красноармейцев рухнула сразу, как подкошенная, остальные еще пытались отстреливаться. Но к тому моменту, когда шипевшая в снегу ракета наконец потухла, отстреливаться было уже некому. Все вокруг опять окутала плотная непроглядная тьма, слабо нарушаемая лишь огненными всполохами продолжавшегося в стороне боя.

Сопровождаемый ни на шаг не отстававшими от него солдатами, Кагенек бегом пересек улицу. Почти сразу же вслед за этим послышались взрывы гранат и бешеная трескотня винтовочных и автоматных выстрелов, перекрываемая тем не менее оглушительным грохотом крупнокалиберного пулемета Кагенека. Я знал, что теперь с этого направления нам не угрожает никакая опасность. Кагенек вместе с Ламмердингом представляли собой страшную силу. Этот плацдарм можно уже было считать нашим. К тому же не в характере Ламмердинга было отступить перед русскими хотя бы на шаг по собственной инициативе.

Добежав под покровом темноты до перевязочного пункта и предварительно проверив на всякий случай, не дрожит ли у меня голос от пережитого напряжения, я бодро сообщил раненым, что в западной части деревни русские отброшены обратно в поля, что в восточной ее части их наступление остановлено и надежно удерживается и что вообще скоро будет предпринята общая контратака, в результате которой русские будут выбиты из деревни полностью. Все как один с видимым облегчением вздохнули, натянутые до предела нервы немного расслабились — ведь когда человек оказывается неспособным защитить даже себя самого, он часто становится легкой добычей непреодолимого, всепоглощающего страха. Для того чтобы воодушевить солдат, я, конечно, немного упростил и приукрасил общую картину, но сражение было в любом случае решительное. Говоря, я снова явственно ощущал на себе взгляд двух холодных черных глаз. Кто окажется победителем, для Наташи Петровой в конце концов имело не слишком большое значение. Она полагала, что останется в живых и в том и в другом случае.

С западной окраины деревни принесли еще нескольких раненых, что, при всей своей драматичности, было все-таки хорошим знаком. С восточной же ее части никаких раненых не поступило, и это со всей несомненностью свидетельствовало о том, что там продолжается свирепая бойня и что группа маленького Беккера до сих пор окружена.

Не тратя время на лишние разговоры, мы принялись перевязывать раненых. Тут вдруг я услышал стрельбу, доносившуюся до нас со стороны пристроенной к дому конюшни, где я оставил Генриха наблюдать за «подозрительными перемещениями». Я перепоручил перевязываемого раненого Тульпину, а сам, схватив автомат, кинулся в конюшню. Используя для укрытия полузакрытые ворота конюшни, Генрих тщательно целился в кого-то, находящегося на улице.

— В чем дело, Генрих? — подбежав, спросил я.

— Русские!

— Почему же ты не сказал мне?

— Я подумал, что справлюсь с ними сам, герр ассистензарцт.

На заднем дворе, за конюшней, на снегу лежало уже восемь мертвых красноармейцев. Генрих хладнокровно перестрелял их одного за другим при попытках подкрасться к конюшне. На заднем дворе не оказалось практически никаких укрытий, и им приходилось перемещаться по открытому пространству, а остальное, как говорится, дело техники: своевременная вспышка осветительной ракеты, и меткий выстрел. Генрих, хладнокровный как сам лед, был, по всей видимости, совершенно готов перестрелять в одиночку из своего укрытия хоть целую роту русских. Это вызывало невольное восхищение. И все же я сделал ему довольно строгий выговор за то, что он не сообщил мне с самого начала о возникшей опасности, и послал ему в подмогу шестерых легко раненных.

Дверь в перевязочный пункт с треском распахнулась, заставив всех невольно

вздрыгнуть, и, дико вращая глазами, объятый клубами пара, к нам, как ураган, ворвался разгоряченный боем Бруно, ординарец Кагенека.

— Дайте мне скорее каску и винтовку! — требовательно выкрикнул он. — Мои утащили эти красные свиньи! И меня тоже хотели прихватить с собой!

Не вдаваясь в расспросы, Тульпин молча протянул ему винтовку и стальную каску.

— В чем дело, Бруно, что случилось? — все же нашелся нужным спросить я.

— Мы гнали Иванов вдоль другой стороны улицы. Я решил забежать за баню, чтобы проверить, нет ли там еще кого-нибудь, а их там — целая толпа! А я один! Я закричал что было сил, и через несколько секунд появились герр обер-лейтенант и наши люди и спасли меня. Но один из этих мерзавцев все же ускользнул вместе с моей винтовкой и каской.

Я наполнил карманы Бруно патронами и гранатами, и он умчался обратно к Кагенеку, который дожидался его на улице, у входа в перевязочный пункт, возбужденно объясняя что-то артиллерийскому офицеру. Не тратя времени на одевание, я подбежал к ним и стал с интересом прислушиваться.

— Если не очень уверен в целях — бей просто по деревне, везде, где тебе кажется, что могут быть русские! — очень-очень быстро говорил Кагенек.

— А если я попаду по нашим же людям? — нерешительно переспросил артиллерист.

— На этот риск придется пойти. Все мы в опасности, так что бей и бей, пока хватает сил и снарядов. Нашими людьми придется рискнуть, — решительно ответил Кагенек и отступил в дверной проем одновременно с раздавшейся выше по улице очередью русского пулемета.

Кагенек отправил посыльного к людям из 37-го полка с приказом оставить для обороны западной окраины деревни необходимый минимум солдат, а всех остальных срочно отправить к перевязочному пункту. Артиллерист устроил тем временем наблюдательный пункт на чердаке пункта боевого управления.

— Сколько раненых? — повернувшись ко мне, спросил Кагенек.

— Более сорока. Еще немного — и перевязочный пункт просто лопнет.

Нам было хорошо слышно, как методично, снаряд за снарядом лупил прямой наводкой по русским артиллерийский расчет обер-фельдфебеля Шайтера. Значит, маленький Беккер и горстка его людей еще живы и продолжают защищаться.

— Будем надеяться, что мы успеем добраться до группы Беккера, — сказал мне Кагенек. — Как только прибудет подкрепление от 37-го полка, мы атакуем русских всеми силами, что имеем, и будем последовательно выбивать их из каждого дома, пока не доберемся до Беккера. А когда мы снова соединимся с нашими героями из 10-й роты, у нас будет хороший шанс очистить от русских всю деревню.

И вдруг наших ушей — и даже не ушей, а чего-то такого внутри груди — коснулось какое-то низкое утробное гудение в воздухе, происхождения которого я поначалу даже не понял. Звук быстро нарастал, приближался, и в какое-то мгновение у меня возникло ощущение, что прямо по небу над нашими головами с чудовищной скоростью проносится какой-то фантастический железнодорожный состав. Вслед за этим раздалось сразу несколько мощных взрывов за деревней на опушке леса, откуда нас первоначально атаквали русские. И только несколько секунд спустя до нас докатился рокошущий грохот нашей артиллерии, расположенной за Терпилово, в восьми километрах за Волгой. Следующий залп принес несколько снарядов, рванувших уже поближе к домам по северному периметру деревни. Затем снаряды стали с оглушительным ревом рваться между нами и отрезанной от нас группой Беккера. Стоит заметить, что это была довольно точная прицельная стрельба, немалая заслуга в чем принадлежала артиллерийскому корректировщику на чердаке, в адрес которого раздались одобрительные возгласы и даже аплодисменты.

У перевязочного пункта собралось около сорока человек из 37-го полка. Их разбили на две группы. Двадцать человек были отправлены на усиление к Ламмердингу вдоль северной стороны улицы, а остальные примкнули к группе Кагенека, которой предстояло дом за домом добраться до маленького Беккера по южной стороне улицы.

Десять минут спустя мы предприняли контратаку. Кагенек и Ламмердинг с боем пробирались вдоль по улице на восток, последовательно освобождая от русских дом за домом. В этот момент я услышал интенсивный винтовочный огонь с заднего двора перевязочного пункта. Это был Генрих и приданные ему в помощь шестеро легко раненных. Что бы это могло означать? В ярком сиянии осветительной ракеты я разглядел вдруг тридцать или сорок русских, торопливо пробиравшихся по сугробам от леса по направлению прямо к нам. Тут уж пора было защищаться и нам самим — на помощь Ламмердинга или Кагенека рассчитывать теперь уже не приходилось.

Раненные отстреливались изо всех сил, как только могли. Один из них, раненный в левую руку, безжизненно повисшую теперь, поднимал винтовку и целился одной правой рукой, а перезаряжал ее зажав между колен. Другой раненый — с раздробленным правым коленом — вел стрельбу, невзирая на ужасную боль, которую испытывал, из положения лежа, прислонившись для устойчивости плечом к бревенчатому столбу, на который была навешена одна из створок ворот в конюшню.

При том что мы находились в более выгодном положении и могли вести по русским огонь из укрытия, в то время как они находились на незащищенном открытом пространстве, у нас все же не получалось обеспечить желаемую силу и плотность огня. К тому же у нас не было и своей ракетницы для запуска осветительных ракет, и поэтому мы имели возможность стрелять по врагу прицельно только при отсветах тех ракет, которые пускал в стороне от нас Ламмердинг. Все остальное время царила почти непроглядная тьма, и враг под ее покровом подбирался к нам все ближе.

Глухие удары его пуль о бревенчатые стены конюшни становились все чаще. Поэтому я отобрал еще восьмерых легко раненных, способных хоть как-то держать в руках оружие, и усилил ими нашу слишком маленькую команду. Эту восьмерку я разместил под прикрытием невысокой ограды между двумя крестьянскими хозяйствами. Она представляла собой довольно толстые бревенчатые сваи, врытые вертикально в землю на открытом пространстве между нашим и соседним домами. Бревна служили отличной защитой от пуль противника, и в то же время на них было удобно опираться при прицеливании.

Я тоже схватил винтовку, и при каждой вспышке осветительных ракет группы Ламмердинга, находившейся по правую сторону от нас, все шестнадцать наших винтовок разражались почти одновременным залпом довольно плотного и прицельного огня. Дополнительные восемь защитников расширили собой линию нашей обороны, и теперь уже было очевидно, что врагам не добраться до перевязочного пункта, пока они не справятся с ними. Но даже если бы это и произошло, мы без колебаний вступили бы с ними в рукопашную схватку. Я был уверен в своих людях: они сражались за собственную жизнь и понимали это.

Внезапно на меня нахлынула волна гордого ликования. Мой перевязочный пункт показал себя настоящей маленькой крепостью, с которой оказалось не так-то легко справиться. Через два с половиной часа уже наступал рассвет следующего дня, и к этому времени мы должны были снова стать полными хозяевами положения.

Прибыла следующая партия раненых — на этот раз из числа наших людей, двинувшихся контратакой на восток. Они принесли с собой воодушевляющие новости о наших успехах. Размещать раненых было уже просто негде. Мы, как могли, уплотняли их по углам комнаты, чтобы в ее центре оставалось хотя бы небольшое пространство для оказания первой помощи и перевязок.

Все это время Наташа не спускала с моего лица своих черных глаз.

Снова ураганом ворвался Бруно.

— Мой обер-лейтенант ранен! В голову!

— Мертв? — прямо и настойчиво спросил я.

— Нет, просто лежит на земле. Но он все еще дышит.

— Тульпин! — крикнул я. — Быстро собери все необходимое, пойдешь со мной.

Уже через пару минут Тульпин вскинул на плечо лямку санитарной сумки с

перевязочными материалами и всем остальным, и мы с ним побежали следом за Бруно, не обращая никакого внимания на вражеский огонь. Кагенек лежал на спине за домом, под укрытие которого его перетащили двое солдат. Он был в сознании, но из его виска сильно струилась кровь.

— По-моему, все не так уж плохо, — не слишком уверенно пробормотал он.

На первый взгляд казалось, что висок лишь сильно оцарапан, но все же нужно было срочно доставить Кагенека в более безопасное и освещенное место для более тщательного осмотра — к тому же русские, судя по всему, были всего лишь в нескольких дворах от нас. Я быстро наложил тугую повязку для замедления кровотечения, и мы с Тульпином наполовину понесли, наполовину потащили нашего командира обратно к перевязочному пункту, стараясь держаться по возможности поближе к стенам домов.

Когда мы добрались наконец до перевязочного пункта и оказались внутри, я снял временную повязку, и из раны хлынула свежая кровь. Я прозондировал височную кость и убедился в том, что она была гладкой и неповрежденной. Жизни Кагенека, к счастью, не угрожало ничего серьезного.

— Это всего лишь царапина, Франц, — поспешил я успокоить его. — Видимо, это был осколок, ударивший тебе в висок по касательной и оглушивший тебя. А такое сильное кровотечение — просто из-за повреждения височных тканей и сосудов. Сама височная кость цела. Счастлив сообщить, что через несколько дней ты будешь в полном порядке.

Кагенек улыбнулся с огромным видимым облегчением.

— Такое ощущение, скажу я тебе, как будто меня лягнула в голову лошадь, — сияя от радости, проговорил он. — В первый момент меня просто даже немного вырубил, а потом я почувствовал, что лицо заливают кровью, и я подумал уж было, что вот и мое время пришло...

Перевязка была закончена, и Кагенек ощупал голову руками.

— Прекрасно, — сказал он. — Повязка получилась довольно твердой. Знаешь, со мной, вообще-то, практически все в порядке. Так, только кое-какие шумы в голове, да и то не слишком сильные.

Он замолчал на несколько секунд, а потом задумчиво проговорил:

— А выкуривать русских из занятых ими домов оказалось намного проще, чем я это себе представлял.

— Почему?

— Они все время совершают одну и ту же большую ошибку, — усмехнувшись, ответил он. — Слишком рьяно рвутся в тепло. Как ты мог заметить, сегодня дьявольски холодно, просто до костей пробирает, а русские в течение нескольких долгих часов находились на этом морозе. Когда они захватывают какой-нибудь дом — они не могут удержаться от искушения забраться поскорее внутрь и погреться там вместо того, чтобы продолжать бой дальше. В этой кутерьме комиссары, по-моему, полностью утратили контроль над ситуацией. Так что все, что нам остается делать, — это окружить дом, забросать его через окна гранатами, а затем преспокойно отстреливать одного за другим выбегающих из него красных.

Мои глаза скользнули по Наташе. Она внимательно вслушивалась в наш разговор.

— Она знает немецкий, Франц, — напомнил я.

— Не важно, — отмахнулся Кагенек. — Такая возможность все равно еще не известно когда представится, да и к тому же, в конце концов, — цинично улыбнулся он ей, — она должна быть благодарна нам за то, что мы так элегантно избавляем ее от ее преследователей.

Оглядевшись вокруг, Кагенек сказал, уже в который раз мгновенно переключившись с одной темы на другую:

— Твой перевязочный пункт слишком переполнен. Держать под одной крышей столько людей опасно. Две-три осколочные гранаты, неожиданно влетевшие в окна, и... А что это там за стрельба? — встревоженно спросил он, услышав вдруг, как Генрих и легко раненные дали особенно громкий залп из конюшни.

— Не беспокойся. Это так, наша личная маленькая локальная война. Несколько русских пытались подобраться к нам с тыла, но теперь ситуация полностью под контролем.

Произнося эту фразу, я постарался придать ей по-военному лаконическое звучание, а получилось совершенно не по-военному напыщенно.

— Как только эта стрельба за домом прекратится окончательно, я намереваюсь сразу же приступить к эвакуации раненых. Тяжело раненных я отправлю конными повозками к штабсарццу Лирову в ту деревню, что к западу от нас, а те, кто еще может идти или хотя бы ползти, отправятся со мной через поля в Терпилово, на сборный пункт, а потом далее по госпиталям, как только мы освободим наши тылы от врага.

— Это довольно дальний путь, — заметил Кагенек.

— Да, около трех километров, но уж лучше им двигаться по направлению к госпиталю, чем оставаться здесь — идти- то ведь все равно придется, раньше или позже. И было бы очень хорошо, Франц, если бы ты отправился вместе с нами — отдохнул бы хоть несколько дней.

— И как только может такой вздор лезть тебе в голову?! — гневно воскликнул Кагенек. — Это даже не подлежит обсуждению. Я должен собрать своих людей и как можно быстрее прорваться с ними к группе Беккера.

— Но ведь ты...

— Я чувствую себя на сто процентов нормально теперь, благодарю тебя, Хайнц. Прекрати нянчиться со мной и займись-ка лучше людьми, которые действительно ранены.

Он подчеркнуто энергично поднялся на ноги и с некоторой натугой натянул на повязку свою *Kopfschutzer* — стальная каска на нее теперь уже просто не налезала.

— Пойду посмотрю, что там с артподготовкой, — сказал он на прощание. — Им давно уже пора перенести огонь на восток, иначе наша контратака рискует угодить под наши же снаряды.

Я проводил Кагенека до двери и некоторое время еще наблюдал за его удалявшимся силуэтом, пока белая повязка на его голове не исчезла во мраке дороги по направлению к батальонному посту боевого управления.

Бой продолжался уже более двух часов, и мы отбили у врага уже значительную часть деревни. Но шум и грохот при этом стояли невообразимые: дикая мешанина выстрелов артиллерийских орудий различных калибров, минометов, пулеметов, автоматов, винтовок, пистолетов — вперемежку с уханьем гранат и выкриками на русском и немецком языках. Как же все-таки хорошо, подумал я тогда, что не каждая из всех этих пуль нашла свою цель. В спазматически подергивавшемся сиянии осветительных ракет я разглядел тела нескольких русских, разбросанных в разных местах дороги и по ее обочинам. Двоих из них убил я. Затем перевел взгляд на снежную пустыню, отделявшую нас от Терпилово. Осторожно приблизившись к дороге, я сошел с нее в сугроб, чтобы проверить его глубину. Оказалось, гораздо выше колен. Однако если идти с моими легко ранеными по таким сугробам в колонну по одному, то по-настоящему трудно будет лишь первым трем-четырем человекам.

Сражение за перевязочным пунктом наконец завершилось. Нескольким русским, которым посчастливилось избежать наших пуль, пришлось отползти обратно в лес. С нашей стороны была только одна потеря — один из солдат, ведших огонь из-за бревенчатой ограды, был убит пулей в грудь. По лицу Генриха, переполненного гордостью за успех его маленького отряда, блуждала скромная улыбка. Впоследствии он был награжден за свои действия Железным Крестом 2-го класса.

Тульпину теперь — сразу же, как только он убедится, что дорога свободна от врага, — предстояло сопроводить две конные повозки с тяжело ранеными до штабсарцца Лирова. Генрих должен был остаться за старшего на перевязочном пункте и оказывать помощь всем новым возможным раненым. Я же двинулся в сторону Терпилово вместе с примерно двадцатью легко ранеными, решившимися попробовать рискнуть вместе со мной добраться туда по нехоженой снежной целине. Я шел самым первым, сразу же следом за мной — Наташа. Наша колонна пробивала свой проход в глубоких сугробах медленно и в

абсолютном безмолвии. Поскольку мы были далеко не уверены в том, что по пути нам не встретятся русские, все мы — кроме Наташи — были при оружии. Некоторые из раненых, уж я-то знал об этом, были едва в силах доковылять без всяких приключений до сборного пункта в Терпилово, так что всю дорогу я молился о том, чтобы не встретить никакого сопротивления.

При взгляде на все еще продолжавшийся бой в Шитинково с расстояния примерно в километр или около того казалось, что это просто батальная сцена из какого-то кинофильма о войне. Наблюдаемая со стороны, эта драма казалась какой-то нереальной. Два дома в деревне полыхали особенно ярким и бушующим пламенем, а на востоке, предвещая приближавшийся рассвет, забрезжили едва заметные первые розовые проблески наступающего дня. Судя по осветительным ракетам, взмывавшим над деревней, наша контратака развивалась успешно: теперь Кагенек и героическую осажденную группу Беккера разделяло, по моим прикидкам, не более пятидесяти метров.

Полтора часа спустя мы выбрались из сугробов на плотно укатанную дорогу между Шитинково и Терпилово и встретили на ней двигавшиеся нам навстречу двое запряженных лошадьми сани. Это были сани из терпиловского сборного пункта для раненых, но следовали они, к сожалению, не за нами, а за ранеными из жестоко разбитой группы лейтенанта Шееля. Я бы, конечно, с радостью реквизировал эти сани для транспортировки самых тяжелых случаев из моей партии, но, видимо, люди Шееля нуждались в них еще более отчаянно, чем мы. Некоторые из моих раненых уже приближались к крайней степени изнеможения, за которой следовал обычно полный и окончательный упадок сил. Так было трогательно наблюдать, как они помогают друг другу... Раненые со здоровыми ногами практически тащили на себе раненых в ноги, хотя уже сами то и дело валились от нечеловеческой усталости. Один солдат, например, испытывал жуткую боль при каждом шаге, даже несмотря на сделанные ему мной уколы морфия. Мышцы его правого бедра были разорваны осколком буквально в клочья. Я приказал Наташе, чтобы она помогала мне поддерживать его. Это была очень медленная и в буквальном смысле слова агонизировавшая процессия, едва перемещавшаяся по направлению к Терпилово. Когда мы уже совсем почти дошли до деревни, я обернулся назад на Шитинково, и мне показалось, что бой теперь идет только на восточной его окраине. Должно быть, Кагенек и маленький Беккер уже объединили свои силы. Артиллерия перенесла свой огонь на кромку леса, из чего я сделал вывод, что русские из деревни выбиты и вынуждены теперь ретироваться тем же путем, откуда и появились первоначально, с заходом луны.

Едва держась на ногах, мы добрались до сборного пункта, и я разместил всех раненых в теплой комнате, откуда их вскоре должны были отправить в тыл санитарными машинами. Осознав, что самое тяжелое позади, люди попадали в изнеможении на солому, и большинство из них немедленно уснули.

— Ну а что же мне теперь делать с тобой? — спросил я стоявшую сбоку от меня Наташу Петрову.

— Я не знаю, — ответила она мне с улыбкой, которую при других обстоятельствах я счел бы очаровательной.

Мы молча вышли на улицу. На востоке наливался силой рассвет.

— Интересно, русские обращаются с немецкими шпионами так же любезно, как обошлись с тобой мы? — спросил вдруг я.

— Я же говорила вам. Я не шпионка, я, наоборот, бегу от большевиков. Почему вы мне не верите? — воскликнула, повернувшись ко мне и сделав шаг навстречу.

Я взял ее за плечи и остановил на расстоянии вытянутых рук, а затем, пристально заглянув в ее черные глаза, с расстановкой проговорил:

— Я очень рад, девочка, что судьба избавила меня от необходимости быть твоим судьей. Но послушай моего маленького доброго совета. Возвращайся назад, но если дорожишь жизнью, то, пересекая линию фронта, держись подальше от зон боевых действий. Если доберешься до своих — можешь рассказать им, если, конечно, у тебя достанет на это

смелости, о том, как мы обращались с тобой.

Наташа так и не сказала мне на это ни слова.

— Ну, давай иди, Наташа, да не забывай о том, что сказал тебе обер-лейтенант.

Она медленно пошла вдоль дороги, ведущей к Волге, и вскоре я забыл о ней, поглощенный организацией второго перевязочного пункта для размещения всех раненых из группы Шееля, которых уже скоро должны были привезти.

Спустя четыре дня Наташа была схвачена вместе с группой русских солдат и перед лицом своих товарищей гордо признала, что является советской шпионкой. Повесили ее на ближайшем дереве.

Когда я устало зашагал в одиночестве обратно в Шитинково, грохот сражения там уже затих, и по окружавшим меня снегам начал разливаться хмурый серый свет наступающего дня. Над деревней все еще висел дым, когда я приближался к ней, и эта меланхолическая картина стала как-то незаметно наполнять меня ощущением полной безысходности. Я очень остро почувствовал, что еще немного такого уныния — и я совсем упаду духом. Навстречу мне, запряженные лошадью и сопровождаемые одним шедшим рядом с ними человеком, из Шитинково показались какие-то одинокие и исключительно печально выглядевшие на фоне серых снегов сани. Сани везли раненого. Когда солдат, правивший санями, отдав мне честь, уже хотел проехать своей дорогой мимо, я остановил его. Присмотревшись к нему, я вспомнил, что это солдат, присматривавший за лошадьми 37-го полка.

— Как там обстановка в Шитинково? — спросил я.

— Русских больше нет. Все в порядке.

— А откуда ты едешь?

— Штабсарцт Лиров поручил мне доставить этого раненого прямо до госпиталя.

— Так значит, штабсарцт Лиров в Шитинково?

— *Jawohl*, герр ассистензарцт. Он оказывает там помощь вашему батальону и специально выделил эти сани для транспортировки раненых.

— А кто твой раненый? — спросил я.

— Я не знаю. Он не из нашего полка.

Я обогнул сани и осторожно отогнул угол одеяла, прикрывавший лицо лежавшего в них человека.

Это было лицо Кагенека.

* * *

— Франц! — потрясенно вскрикнул я. — Франц! — позвал я еще громче и настойчивее.

Дыхание Кагенека было неровным, очень затрудненным, и он больше не мог слышать моего голоса.

Я опустился возле саней на колени и внимательно осмотрел повязку на его голове. Оказалось, что после того, первого, он получил еще одно ранение в голову. Пуля ударила ему в левый висок и, пробив голову насквозь, вышла через правый висок. Я вдруг с болью и ужасом осознал, что белая повязка, собственноручно обмотанная мной вокруг его головы, вполне могла послужить прекрасной мишенью для какого-нибудь русского во время того боя, который последовал почти сразу же за первым ранением. Его погубила или, по крайней мере, могла погубить моя же повязка. Я осторожно осмотрел раны, и все мои надежды на благополучный исход рухнули. Кагенек был ранен смертельно. И все же я продолжал цепляться за призрачную надежду на то, что может произойти какое-то чудо.

— Мы должны быстро доставить его в госпиталь, — борясь с наступавшим отчаянием, сказал я солдату. — Как можно быстрее. И как можно осторожнее... тряска ему сейчас совершенно ни к чему.

Когда я прикрывал одеялом голову Кагенека, мои руки сильно тряслись, и я совершенно ничего не мог с этим поделать. Моя психика не позволяла моему сознанию

постичь во всей полноте весь трагизм случившегося. Я надеялся на лучшее, как ребенок, который бессознательно обманывает себя, хотя было совершенно очевидно, что теперь моему другу не может помочь уже ничто.

— Мы должны как можно быстрее доставить его в госпиталь! — снова повторил я.

— Да, герр ассистензарцт, я его туда и вез, — пробормотал солдат, таращась на меня с все возрастающим удивлением. «С каких это пор доктора стал извозчиками?» — ясно читалось в его глазах.

— Так поторопимся же!

— Но я могу довести его туда и сам, герр ассистензарцт, — улыбнувшись, сказал солдат.

— Отставить пререкания! Поехали! — крикнул я, теряя терпение, и схватил лошадь под уздцы.

Мы — точнее, сани — ехали действительно очень быстро, а нам с солдатом пришлось довольно энергично шагать пешком по бокам, поскольку в санях места больше не было. В Терпилово мы заворачивать не стали, поскольку там все равно не было врача, а направились сразу же в передвижной полевой госпиталь к Шульцу, располагавшийся где-то на той стороне Волги. Пока мы шли, я не обмолвился с солдатом больше ни словом, но в моей голове постоянно прокручивались самые причудливые и фантастические варианты того, как можно спасти Кагенека: нейрохирургические операции мозга, специалисты, экстренный самолет с аэродрома в Старице...

Мы подошли к Волге и, придерживая сани и лошадь, осторожно спустились по обрывистой дороге вдоль ее крутого берега. Перебравшись по льду на другую сторону реки, мы с трудом взобрались на ее противоположный берег. И тут вдруг я осознал, насколько тщетными были все наши усилия. Я взял карточку ранения и написал на ней несколько строк для оберштабсарцта Шульца, умоляя его сделать все возможное для моего лучшего друга. Я понимал, что моя записка бессмысленна, поскольку Шулец в любом случае сделал бы все возможное, — к тому же он и сам знал Кагенека. Но я все равно привязал карточку к верхней пуговице мундира Кагенека и постоял над ним минуту-другую, вглядываясь в его лицо в последний раз. Его дыхание было глубоким и ровным, но тем не менее Россия, 3-й батальон, его боевые товарищи — все это закончилось для него теперь уже навсегда.

Сани тронулись, а я еще долго стоял, провожая их глазами, пока они не исчезли вдали, а затем повернулся и медленно поплелся через Волгу обратно в Шитинково.

Очень мало что запечатлелось в моем мозгу из этого обратного путешествия. Мне было очень не по себе. Мой отсутствовавший взгляд автоматически отмечал попадавших мне по дороге людей, но они меня совершенно не интересовали. Кто-то сообщил мне, что убит Петерманн, но это произвело на меня лишь какое-то мимолетное впечатление. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что все мы до последнего человека будем вскоре убиты, то я и к этому остался бы совершенно равнодушен.

По всей главной обледенелой улице Шитинково валялось множество мертвых русских и немцев. Их тела были повсюду: на обочинах дороги, у домов, они свисали из разбитых окон, были разбросаны, наполовину заметенные снегом, по полям вокруг деревни... Но внимание я обратил почему-то только на одно из них — на тело Бруно. Он лежал на спине, обратив к небу свой давно уже остановившийся взгляд. Как мне потом рассказали, Бруно был убит прямо на глазах у еще живого и почти невредимого Кагенека, когда главное сражение было уже практически закончено и из восточной окраины Шитинково выбивали уже самых последних русских. Через полчаса после этого деревня была снова в наших руках.

Все еще не в силах оправиться от потрясения, вызванного видом моего смертельно раненного друга, я зашел на наш перевязочный пункт и обнаружил, что все раненые из него уже эвакуированы. Зато я встретил там Лирова. Он сдержал свое слово и помог нам всем чем только мог.

— Что с вами? — озабоченно спросил он, увидев меня. — Вы не больны?

— Нет, герр штабсарцт, не болен, просто немного устал. Эта бойня ударила меня по

нервам немного ошутимее, чем я ожидал.

— Да-а... Многое произошло с тех пор, как я заглянул к вам пару дней назад.

— Да, герр штабсарфт, это было когда-то очень-очень давно.

Командование батальоном принял на себя Ламмердинг. Я встретил его и маленького Беккера, зайдя еще и на батальонный пункт боевого управления. Несмотря на ужасное испытание, через которое они только что прошли, оба были полны энергии и были заняты реорганизацией нашей обороны для того, чтобы суметь оставшимися силами отразить возможную повторную атаку противника. Весь личный состав нашего батальона был представлен теперь четырьмя офицерами, тридцатью одним унтер-офицером и ста шестью солдатами — всего 141 человеком от первоначальных восьмисот.

В ходе битвы за Шитинково потери нашего 3-го батальона — вместе с приданными ему в усиление подразделениями 37-го пехотного полка и отделением лейтенанта Шееля — составили пятьдесят два человека убитыми и сорок ранеными. Русские же потеряли более трехсот человек только убитыми в деревне и лесах. Может быть, даже больше — просто мы с нашими истаявшими силами не рискнули углубляться, преследуя русских, слишком далеко в лес из-за опасения попасть в засаду, а затем в окружение. По крайней мере еще около двухсот раненых русские утащили с собой при отступлении. Еще двадцать восемь красноармейцев мы захватили в плен, и в их числе одного русского офицера. Тут следует заметить, что вследствие значительных ужесточений в характере ведения боевых действий пленные в последнее время стали большой редкостью.

Ламмердинг и маленький Беккер с нетерпением ждали хоть каких-нибудь новостей о Кагенеке. Я не стал рассказывать им о моей (если так можно выразиться) встрече с ним по дороге из Терпилово и о том, что я теперь точно знал, что он больше никогда не придет в сознание, — у них без этого было предостаточно пищи для мрачных размышлений. Но я пообещал им в ближайшее время побывать в госпитале и узнать, что с ним стало, а заодно справиться о состоянии не слишком тяжело раненного Бёмера.

Когда я в очередной раз зашагал дорогой по направлению к Терпилово, солдаты стаскивали мертвых в довольно внушительные кучи, но главным образом были заняты подготовкой к следующей атаке красных. На этот раз дорога показалась мне намного длиннее; ноги налились от усталости свинцом, и я почувствовал, что идти мне стало по-настоящему трудно. Слишком продолжительное пребывание на морозе привело к тому, что мое тело потеряло слишком много тепла. Моя туго натянутая на голову *Kopfschutzer* промерзла настолько, что стала почти как деревянная. Переставляя из последних сил ноги и уже почти теряя сознание от усталости и переохлаждения, я со всей остротой почувствовал, что погибаю, и осознал наконец, что мне отчаянно, просто жизненно необходимо как можно быстрее попасть в тепло, хорошенько отогреться и хотя бы немного отдохнуть и только потом продолжать свой путь в госпиталь.

Над всей округой висела какая-то зловещая, мертвая тишина, что в сочетании со свинцово-хмурым небом повергло меня в самые безрадостные размышления. Два последних дня вообще очень значительно изменили мое мировосприятие. До Шитинково все трудности, лишения и жестокости войны хоть как-то смягчались для меня тем близким фронтовым товариществом, которое мне посчастливилось встретить в нашем батальоне. Лишения можно было разделить с моими друзьями, а жестокость компенсировалась близким общением с такими исключительно добрыми по своей природе людьми, как Кагенек или Штольц. Теперь их и многих других, кого я считал своими друзьями, больше не было, и пустоту, возникшую в моей душе с их исчезновением, было невозможно заполнить ничем. Я твердо решил в тот момент, что больше никогда не позволю себе столь близких взаимоотношений, пока не кончится война. Это было мерой самозащиты.

В таком полубредовом состоянии, почти не помня себя, я добрался наконец до Терпилово. Как во сне, я с трудом отметил про себя, что оказавшийся там унтер-офицер медицинской службы в ответ на мой вопрос о Кагенеке сообщил мне, что его больше нет в госпитале, поскольку его сразу же отправили в Старицу. Эта моя последняя пешая прогулка

до Терпилово, едва не стоившая мне жизни, оказалась напрасной. Стремясь поскорее оказаться в тепле, я с огромным трудом поднялся по ступеням крыльца в дом. Несколько незнакомых мне солдат, увидев меня, немедленно потеснились, уступив мне самое теплое место у печи. Найдя в себе силы лишь на то, чтобы поблагодарить их кивком головы, я сел и уже через несколько секунд провалился в крепкий и, слава богу, здоровый сон. Солдаты уложили меня поудобнее и накрыли одеялом.

Когда тот унтер-офицер, что встретился мне на пороге, осторожно потряс меня за плечо, был уже, наверное, полдень.

— Что случилось? — сразу же спросил я.

— Терпилово эвакуируется, герр ассистензарцт, — ответил он.

— Что? Вы сошли с ума? Терпилово эвакуируется? — ничего не понимая, переспросил я.

— Собственно, оно уже эвакуировано. Мы с вами последние.

— Как долго я спал?

— Около трех часов, герр ассистензарцт. Приказ об эвакуации поступил примерно полтора часа назад. Мы все отступаем.

С этими словами унтер-офицер улыбнулся и вышел из комнаты.

Для того чтобы собрать после сна воедино все свои мысли и чувства, мне понадобилось несколько долгих минут. Я отметил про себя, что прекрасно согрелся и набрался сил за три часа сна, а также что зверски голоден. Пройдясь вдоль всей деревни в поисках полевой кухни, я не обнаружил не только ее, но и вообще ничего и никого. Все Терпилово как будто вымерло. Штаб полка располагался примерно в двух с половиной километрах к северо-востоку. Для того чтобы разузнать как следует, что и как сейчас с моим 3-м батальоном, рассудил я про себя, мне будет лучше всего нанести визит оберсту Беккеру.

Когда я, предварительно постучавшись, вошел на полковой пункт боевого управления, Беккер беседовал о чем-то с фон Калкройтом. Он выразил мне свое сочувствие по поводу потери Кагенека, но меня неприятно поразило то спокойствие, с которым он это сделал. Мне стало ясно, что Кагенек был для Беккера лишь одним из нескольких хорошо подготовленных офицеров его полка, которого война, увы, не пощадила. Фон Калкройт выказал по этому поводу гораздо большую опечаленность — ведь они были с Кагенekom близкими друзьями.

— Как вы думаете, доктор, он сможет выжить после такого ранения головы? — прямо спросил он меня.

— Нет, герр обер-лейтенант, — так же прямо ответил я. — Насколько я понимаю, надежды тут никакой.

— А теперь, друзья мои, послушайте-ка минутку меня, — прервал нас Беккер. — Во время прошлой войны я переживал так же сильно, как и вы, Хальтепункт. Но солдат должен твердо усвоить, что Смерть всегда рядом. И если мы не хотим, чтобы Смерть овладела всеми нашими помыслами и волей, мы должны принять как само собой разумеющееся, что она может унести любого из нас в любой момент — как нас самих, так и наших товарищей. Каждый солдат должен принять это как аксиому, не требующую доказательств, или же он просто не достоин называться солдатом, — довольно резко закончил он.

Такое прямолинейное хладнокровие, помню, несколько покорило меня тогда, но в дальнейшем я все же пришел к выводу, что старик был прав.

Беккер подтвердил мне, что получен приказ к общему отступлению. Гитлер наконец великодушно согласился с тем, что эффективная оборона воображаемой по сути «линии Старицы» все-таки невозможна, и дал приказ на эвакуацию защищающих ее частей. Теперь им (то есть нам) надлежало отступить до «линии Кёнигсберг», расположенной на подступах к Ржеву. И хотя мы и знали, что никакой «линии Кёнигсберг» в действительности еще не возведено и не подготовлено, этот рубеж был выбран все-таки не кем-нибудь, а опытными командирами-фронтовиками — одним из которых был Бёзелагер — в соответствии с реальными тактическими и стратегическими требованиями. Его по крайней мере можно было действительно *отстаивать*.

В Шитинково, которое я не хотел видеть больше никогда в жизни, возвращаться не было никакого смысла, поэтому я решил дожидаться остатков своего батальона в Терпилово, мимо которого они должны были пройти вечером того дня. Поджидая их, я, кстати, сумел основательно подкрепиться и отдохнуть.

По злосчастной иронии, мы бились насмерть за Шитинково, как будто от этого зависела судьба всей Германии, а теперь покидали его без какого бы то ни было давления со стороны врага. Еще меньше смысла виделось мне в потере Штольца, Кагенека и многих других беспримерно отважных людей нашего батальона.

С наступлением сумерек мы пересекли Волгу и направили наше движение к Старице, находившейся в девяноста километрах от нас к северо-западу. В пятидесяти километрах далее за ней простиралась «линия Кёнигсберг», которой предстояло стать незаживающим рубцом в памяти тех немногих из нас, кому удалось выжить в двух жестоких зимах и одном иссушающем лете, проведенных на этой земле.

И снова по всей Германии транслировалась специально подготовленная радиопередача, воспевавшая отвагу и мужество немецких солдат, проявленные ими при отступлении с боями в районе Калинина. Значительная часть передачи была посвящена нашему 3-му батальону и его кульминационному арьергардному бою у Шитинково. Этой передачи мы тоже не слышали.

Тактика выжженной земли и паника

Отступавшая армия сжигала на своем пути все. Для выполнения гитлеровского приказа, изданного им в подражание применявшейся ранее сталинской тактике выжженной земли, были организованы даже особые «отряды поджигателей». Но наши солдаты проводили в жизнь эту тактику даже еще более основательно, чем сами русские. Каждая ночь озарялась заревами пожаров бесчисленных домов, целых деревень, сломанных транспортных средств — все, что могло представлять для врага хоть какую-то ценность, предавалось всепожирающему огню. Ничто не должно было быть оставлено Красной Армией — ничего и не оставлялось. Мы шли безостановочно день и ночь, и языки пламени этих пожаров едва не лизали нам пятки. Поскольку нам было прекрасно известно, что мы представляем собой самый арьергард армии, откатывавшейся от Калинина, то мы устраивали лишь короткие привалы, да и то не слишком часто; между нами и неотступно следовавшими за нами русскими не было больше никого.

Вечером 29 декабря мы переправились через Волгу у Терпилово, затем шли без остановки всю ночь, весь следующий день и следующую за ним ночь. И все это время русские шли за нами почти по пятам. Но даже если бы не они, нас лучше всякого кнута подгонял совершенно немилосердный мороз. Закутанные всевозможным тряпьем по самые глаза, мы упорно ковыляли на северо-запад как толпа оживших мумий, но мороз все равно неотступно и неумолимо проникал к нашим телам, в нашу кровь, в наш мозг. Даже солнце, казалось, излучало не свет, а стальной холод, а ночью кроваво-красные небеса над пылающими деревьями воспринимались нами как издевательский намек на тепло.

Когда никаких деревень, а следовательно, и пожаров вокруг не было — вокруг нашей безостановочно марширующей к Старице колонны сгущалась настолько непроницаемая тьма, что каждый мог отчетливо различать лишь спину впереди идущего.

И все это время вместе с нашей безмолвной колонной следовали сани с телом Штольца. Солдаты 10-й роты захватили у красных лошадей с единственной целью — чтобы она тащила сани с телом их командира.

В полдень 30 декабря с юга появилась и пролетела над нами шестерка «Хейнкелей-111». Затем они развернулись и стали заходить на нас в пологом пикировании. Мы бросились врассыпную от дороги, ныряя с разбегу кто в сугробы, кто в кювет. Некоторые вскакивали и, размахивая руками, кричали: «Мы немцы! Мы немцы!», другие же, изрыгая проклятия, пытались закопаться поглубже в снег. Но «Хейнкели» все равно

подлетели и сбросили свои бомбы. Учитывая наше зимнее обмундирование — в основном русского производства — и то, что мы находились в самом арьергарде основной массы наших войск, ошибка летчиков была вполне понятна. Бомбы взорвались, взметнув в небо огромные фонтаны снега и мерзлой земли, но, к счастью, никто из наших людей не пострадал. Правда, одна из бомб все же убила лошадь и вдребезги разбила сани, везшие тело Штольца. 10-я рота отправилась на поиски трупа, отброшенного взрывной волной куда-то в сугробы. Тело было промерзшим до твердости пушечного ствола и совершенно не пострадало, а на лице нашего великана все еще, казалось, играла кривая ухмылка. Поскольку реквизировать другие сани с лошадью было негде и не у кого, люди из штольцевской роты принялись расширять и углублять с помощью саперных лопаток одну из образовавшихся в результате взрывов воронок, которая должна была теперь стать могилой для их погибшего командира.

«Хейнкели» тем временем, перегруппировавшись, появились снова и стали заходить на нас во второй раз. Увидев это, шестеро из похоронной команды немедленно нырнули в свежевырытую могилу к уже размещенному в ней Штольцу. На снегу возле дороги возникло еще несколько воронок, и «Хейнкели», развернувшись на юг, улетели. Из обломков разбитых саней солдаты соорудили крест на могилу Штольца, и таким образом этот доблестный воин обрел свое последнее пристанище рядом с дорогой, по которой мы отступали от Москвы.

Едва за нашими спинами стал пробиваться рассвет последнего утра уходящего года, как мы услышали, что нас догоняет какой-то грузовик. Расступившись по обочинам дороги, чтобы пропустить его, и почти не оборачиваясь на шум приближавшегося мотора, мы продолжали шагать дальше, поскольку дувший по равнине прямо нам в спину сильный восточный ветер тащил с собой огромные облака ледяного снега. Проехав еще с полкилометра, грузовик вдруг остановился, и из него высыпало с полдюжины людей, которые энергично ринулись через сугробы под прикрытие небольшого лесочка. Это были русские.

У нас не было ни малейшего намерения преследовать их, но грузовик представлял для нас несомненный интерес — им можно было отправить в Старицу наиболее обессиленных дорогой. Мы поспешили к машине и столпились вокруг нее, однако она не заводилась: ее шофер, прежде чем удрать в лес, каким-то образом обесточил ее. Времени возиться с этим у нас совершенно не было — русские дышали нам уже прямо в затылок, и ценный трофей пришлось бросить. С помощью нескольких метко навешенных издали ручных гранат солдаты с видимым удовольствием привели грузовик в окончательную негодность, и в конце концов, к всеобщему удовлетворению, он вспыхнул ярким чадающим пламенем.

Незадолго до захода солнца 31 декабря мы достигли Старицы. Целые районы старого города были охвачены пожарами, свидетельствующими о том, что там уже вовсю работали наши «отряды поджигателей». Город эвакуировался.

По сравнению с тем временем, когда мы почти беспечно колесили с Кагенеком вокруг Старицы на «Опеле», она выглядела теперь совершенно по-другому. Все армейские подразделения, квартировавшие здесь, эскадрильи Люфтваффе, штабы и множество разнообразных тыловых частей, уже покинули город.

Но оберштабсарцт Шульц и его госпиталь были все еще здесь: я обнаружил их, как и раньше, неподалеку от сборного пункта для раненых рядом с Волгой. Когда я появился, Шульц пребывал в почти крайней степени отчаяния. Когда все самые последние тыловые подразделения уже оставили город, на него и его не слишком многочисленный штат помощников вдруг, без всякого предупреждения, свалилось откуда ни возьмись более пяти сотен раненых и больных, оказавшихся таким образом на его попечении и ответственности. Он осыпал суровыми проклятиями те части, которые в буквальном смысле слова бросили своих раненых, даже не попытавшись эвакуировать их, когда у них еще было для этого время. Для того чтобы прикрыть свое разгильдяйство и трусость, они просто спихнули ответственность за них на бедного Шульца, приказав ему к тому же — на тот случай, если он не сможет организовать их эвакуацию из Старицы, — сдать вместе с ними русским, когда

те войдут в город, в соответствии с правилами Женевской конвенции. Шульцу было сказано еще, что для передачи раненых Красной Армии вместе с ними должны остаться два офицера медицинской службы.

Это был какой-то совершенно безумный приказ. Правила Женевской конвенции были здесь пустым звуком — в Калининe мы уже имели однажды возможность убедиться в том, какое отношение проявляют русские к раненым и их врачам!

— Как я могу приказать хоть кому-нибудь из врачей остаться с ранеными, когда я точно знаю, что всех их перебьют?! — возмущенно восклицал Шульц. — Мы должны — одному Богу известно, каким образом, — либо эвакуировать всех раненых, либо мне придется остаться с ними в ожидании русских самому.

— Как вы думаете, сколько у нас осталось времени, герр оберштабсарцт? — спросил я.

— Не слишком много. Русские уже почти здесь. Но мне удалось упротить оберста Беккера задержаться, насколько это окажется возможным, в городе и попытаться сдерживать русских. Большинство других частей уже удрали, — с горечью вздохнул он.

На подобную просьбу Шульца Беккер отреагировал немедленно. Несмотря на то, что он имел в своем распоряжении лишь призрачную часть своего полка, да еще не слишком многочисленные прикомандированные к нам остатки других подразделений, он оперативно распределил их на самых главных подступах к Старице. Наш батальон он отправил занять позиции в трех километрах к северу от города — для того, чтобы прикрыть отступление левого фланга наших частей, остававшегося до этого момента незащищенным. Я договорился с Ламмердингом, что присоединюсь к ним немного позже, поскольку сейчас Шульц отчаянно нуждался в моей помощи.

При свете пылавших зданий Старицы мы реквизируем все подряд транспортные средства, которые только попадались нам в обреченном городе. Когда некоторые из считанных по пальцам подразделений, которые по каким-то причинам еще оставались в городе, отказывались уступить их нам — мы их все равно забирали под угрозой немедленного расстрела. В ту ночь повсюду царила паника, и эти тыловые части, впервые ощутив на себе разгоряченное дыхание Красной Армии, обращались в поспешное бегство. Раненые плотно рассаживались нами по всем добытым грузовикам, саням и даже артиллерийским лафетам. Тяжело раненные, которых в обычных условиях мы боялись даже пошевелить, были согласны и готовы ехать теперь хоть на трясущихся передках артиллерийских орудий — их нужно было только обмотать поплотнее одеялами от мороза. Раненые с переломами рассаживались по конным повозкам или даже ехали верхом на неоседланных ломовых лошадях. В самых тяжелых случаях мы делали уколы морфия, наскоро устраивали сидячие и лежащие места, но раненые были счастливы любой возможности — всему, чему угодно, лишь бы только не оказаться в руках красных. К одиннадцати вечера на сборном пункте оставалось уже лишь около двухсот легко раненных; все остальные были уже на пути ко Ржеву. В случае неожиданной атаки русских мы могли взять этих двести человек с собой, а в самом крайнем случае многие из них могли передвигаться вместе с нами и самостоятельно. Русским нельзя было оставлять ни одного человека.

Между тем спокойствие оберста Беккера превозобладало над паникой в городе, и тыловые подразделения стали эвакуироваться из Старицы более-менее упорядоченно, успокоенные знанием о том, что между ними и надвигавшимися русскими имеется еще и некоторая прослойка немецких войск, прикрывающая их отход. Если бы они узнали, насколько тонка была та прослойка, их паника, наверное, удесятирилась бы.

Подтвердилось, что Кагенек умер от своего ранения именно в Старице, а не где-то еще. Пока еще оставалось немного времени, я дошел до временного немецкого военного кладбища на берегу Волги и отыскал его могилу, почти ничем не отличающуюся от многих и многих других. Прямо передо мной простиралась замерзшая Волга, через которую мы столь беззаботно переправлялись с ним всего лишь месяц назад. В тот раз поездка на аэродром в Старицу была для нас приятным приключением, сейчас же почти весь город был охвачен

огнем, среди которого немим укором величественно возвышались старинные церкви. Вероятнее всего, этой скромной могиле так и предстояло остаться для Кагенека его самым последним земным пристанищем — вдали от его княгини Байернской и сыновей-близнецов, которых он так никогда и не увидел. Я произнес короткое прощальное слово и поспешил вернуться к Ламмердингу и батальону.

Когда я появился за пятнадцать минут до полуночи в небольшой бревенчатой избушке, служившей нам постом боевого управления, у Ламмердинга оказался для меня сюрприз.

Стараясь придать лицу как можно более праздничное выражение, он раскрыл свой дорожный саквояж и торжественно произнес:

— Хотите верить, хотите нет, но я тащил это с собой от самого Литтри.

И извлек наружу бутылку шампанского.

— Теперь нас осталось только трое, чтобы распить ее за Новый год, — добавил он.

Беккер появился за пять минут до полуночи, и Ламмердинг, открывая шампанское, звонко выстрелил пробкой.

— Прощу прощения, что не поставил бутылку на лед, — ухмыльнулся он.

Мы молча выпили за наступивший 1942 год. Застолье получалось не особенно праздничным. Мы с грустью помянули друзей, лица которых больше никогда не увидим, да и сам Новый год пришел к нам при обстоятельствах, которые вряд ли можно было назвать добрыми предзнаменованиями.

* * *

Нас разбудил громкий крик: «Тревога!» Было 5 часов утра, и, как обычно, в первые секунды у меня от этого сигнала прямо кишки судорогой свело. Но на этот раз нам повезло: красные сумели добраться по сугробам только до края нашего сектора, и их атака так и захлебнулась в снегу.

К девяти часам того утра наше формирование завершило эвакуацию старого города через Волгу, и практически сразу же вслед за этим в Старицу вошли русские. Нам пора было уносить ноги.

Но никакого официального приказа к отступлению нам в то утро так и не поступило. Время близилось к полудню, а штаб дивизии все продолжал молчать. Хуже того — мы даже не знали, где расположен теперь штаб дивизии, а где штаб полка, а дорога, по которой мы намеревались отступать, уже к 11 часам утра была в руках русских. Соседний с нами полк, входивший в состав 26-й Колонской дивизии, уже проинформировал нас по радиосвязи, что начиная с полудня они будут отрываться от противника по направлению ко Ржеву.

Маленький Беккер умудрился пробраться к Хиршу — офицеру, командовавшему в дивизии особым головным подразделением велосипедистов-посыльных, но и он знал не более, чем мы. Положение начало приобретать критический характер.

— Что вы намерены делать? — спросил я у Ламмердинга.

— Пока ничего, — отрезал он. — Просто ждать. И передать Хиршу, что нам пора выбираться из этого проклятого места, пока нас не превратили в кровавое месиво.

Наша передвижная радиостанция продолжала отправлять в эфир условные сигналы, но не получала на них никаких ответов. И Ламмердинг, и я испытывали пренеприятнейшую подавленность и нервозность, и я решил пока побывать в своей медицинской части. Тульпин, Генрих и только что появившийся у нас в штате зубной врач пребывали во вполне беззаботном настроении: они пока просто даже не догадывались о том, насколько опасная сложилась вокруг нас ситуация. Хорошим для них было уже одно то, что за три последних дня у нас не было ни одного нового раненого или случая обморожения, несмотря даже на нечеловеческий холод. Наше зимнее обмундирование теперь вроде бы более-менее соответствовало этим экстремально низким температурам, а чрезвычайная напряженность последних дней в сочетании с усиленным движением маршевым порядком оказали на многих подобие некоего притупляющего наркотического воздействия — люди впадали в

заторможенное и какое-то благодушное состояние, похожее на летаргию, при котором совершенно не хотелось ни о чем задумываться. Подобный фальшивый оптимизм, равно как и чрезмерная подавленность некоторых, в частности Ламмердинга, были нам совершенно ни к чему; меня по крайней мере чрезвычайно нервировало как одно, так и другое. Однако не оставалось ничего другого, кроме как ждать. Нервы, однако, у меня были натянуты до такой степени, что я не мог ждать просто так, в праздном бездействии. Я понял, что мне нужно обязательно чем-нибудь занять себя.

Тут вдруг мое внимание привлек конь — довольно крупный немецкий ломовой мерин, одиноко стоявший в снегу. В основании передней левой ноги бедного и брошенного всеми животного зияла огромная рваная осколочная рана, и рана была уже безнадежно обморожена. Мерин был в любом случае обречен, и мне вдруг пришло в голову, что нам, вероятно, придется провести всю зиму на «линии Кёнигсберг» и что с мясом там наверняка будет туговато. Температура окружающего воздуха обеспечивала прекрасную природную глубокую заморозку. Иметь собственный запас конины было бы для нашей медсанчасти совсем не лишним. Итак, я решил положить конец мучениям животного и одновременно извлечь из этого несомненную для всех нас выгоду, а к тому же, возможно, избавиться одним махом от этого отвратительного леденящего страха где-то внутри моего живота. Генрих был фермером, я — хирургом: объединив наши усилия и таланты, рассудил я, мы могли бы справиться с этой задачей на вполне профессиональном уровне.

Выслушав мое предложение, Генрих проявил поначалу нерешительность, но зато дельно подметил, что если мы убьем коня на улице, он немедленно превратится в огромную глыбу льда и его будет практически невозможно разделать.

— Тогда давай заведем его куда-нибудь в тепло и убьем там, — ответил я.

Мерин, будто чуя свою близившуюся кончину, не проявил никакого стремления к взаимодействию. Единственным местом, куда он согласился дать завести себя почти без проблем, оказалась жарко натопленная жилая комната, да и то пришлось изо всех сил тащить его спереди и подталкивать сзади. Когда наконец мы все втроем оказались внутри, я поспешно запер входную дверь на задвижку. В и без того не слишком большом помещении мерин казался раза в два огромнее, чем был на самом деле, — настоящий Троянский конь. А как только он опять почувствовал неладное и предпринял решительные попытки найти выход, от нашей решительности не осталось и следа. К тому же лично меня, честно признаться, никак не оставляло ощущение, что мы совершаем какое-то гнусное преступление; да, все было правильно, и то, что мы затеяли, сулило лишь одни сплошные выгоды и офицерам-ветеринарам, и поварам, и в конце концов нам самим, но все же Генрих и я...

— Герр ассистензарцт, а может быть... — начал было Генрих.

— Нет! Никуда не уходи! Мы должны закончить с этим!

Я взял в левую руку свой нож, а в правую пистолет и, тщательно прицелившись, выстрелил сбоку мерину в голову. Рухнув на пол, это гигантское животное, заполнившее собой, казалось, всю комнату, вдребезги разбило в агонии своими могучими копытами подвернувшиеся стол и скамью.

Генрих мгновенно запрыгнул на печь и трусливо забился там в угол. Мне тоже, можно сказать, повезло не попасть под эти жуткие копыта, так как мерин упорно не желал расставаться с жизнью. Мне потребовалась, наверное, целая минута для того, чтобы собраться с духом и подобраться к его голове, чтобы перерезать горло. Из горла хлынула неожиданно мощная струя крови, мгновенно залившая собой весь пол. Мне казалось в тот момент, что я совершил ужасное, бесчеловечное, кровавое злодеяние.

Генрих высказал с печи мысль, что разумнее всего будет взять лишь задние ноги, каждая из которых весила, наверное, килограммов по девятью. Я смог преодолеть в себе свою щепетильность, лишь постаравшись убедить себя, что вопрос о том, иметь или не иметь сто восемьдесят килограммов мяса, может оказаться для всех нас очень важным.

Освежевав заднюю часть туши, мы, хоть и с некоторым трудом, но все же отделили от нее ноги. Пробив подвернувшимся ломом сухожилия, чтобы было удобнее тащить, мы

постепенно переместили обе ноги в одну из наших конных повозок, и в дело вступила естественная природная заморозка.

Приказ к отступлению поступил лишь в шесть вечера — ко времени, когда русские уже вовсю начали вести по нам минометный огонь. Для прикрытия нашего отступления Шниттгеру и возглавляемым им двадцати солдатам было приказано связать врага арьергардным боем. Когда мы наконец добрались до дороги, по которой отходили части 26-й дивизии, для всех нас это было огромным облегчением.

Мы то и дело проходили мимо приткнувшихся у обочин немецких автомобилей, многие из которых были взорваны или сожжены. Некоторые из них были хоть и обездвиженными, но все еще целыми, и внутри у них находились бесценные для нас продовольствие и боеприпасы. Спешно перебрасывая хотя бы что-то из всего этого в наши кузова и повозки, мы в то же время холодели от одной только мысли о том, что все эти машины брошены совсем недавно под обстрелом врага и что нам, возможно, в любой момент придется продираться дальше с боем, в результате которого до «линии Кёнигсберг» можно и не добраться...

Мы шли так быстро, как только могли, но все же из-за самых ослабевших тащившихся сзади раненых наша колонна растягивалась все больше и больше. Пару раз мы даже останавливались, чтобы сомкнуть ряды, и я каждый раз просил Ламмердинга, возглавлявшего колонну, чтобы он не командовал там каждые несколько минут «Шире шаг!». Столбик термометра застыл на отметке минус 45 градусов по Цельсию. Каждый раз, когда мы вдыхали в себя этот ледяной воздух, наши тела теряли частицу своего тепла. Мороз пробирал до костей, до самого костного мозга, и постепенно каждый наш шаг, каждое движение становились все скованнее и неуклюжее. Не оказался в стороне, разумеется, и головной мозг — в результате далеко не каждый из нас ясно осознавал, что с ним происходит.

В результате того, что мы вынуждены были двигаться от Старицы к «линии Кёнигсберг» не по прямой, а окольными путями, общая протяженность этого демарша составила почти пятьдесят километров. Для измученных усталостью и морозом людей это было чрезвычайно суровым испытанием. Не зная почему, дважды упал даже сам Ламмердинг. Каждый раз он, конечно, бодро и со смехом вскакивал и озадаченно покачивал головой.

— Должно быть, я просто пьян, — с наигранной веселостью пробормотал он заплетаящимся языком после того, как во второй раз растянулся на совершенно ровном месте.

— Да нет, это просто мороз, — поправил я его, с усилием проталкивая слова сквозь застегнутую у меня на лице и задеревеневшую *Kopfschutzer*. — Он частично вывел из строя твой вестибулярный аппарат.

— Чепуха! — упрямо ответил Ламмердинг.

— Послушай, только, ради бога, не пытайся бежать всю дорогу до «линии Кёнигсберг»! — взмолился я. — Иначе мы прибудем туда одни, без наших людей. Посмотри-ка — они растягиваются все дальше и дальше.

Мы с Ламмердингом остановились и терпеливо пропустили мимо себя всю нашу колонну. Картина в хвосте ее оказалась даже печальнее, чем можно было себе представить, — ведь там постепенно скопились самые обессиленные. Шатаясь и падая почти на каждом шагу, они нащупывали своих таких же не державшихся на ногах товарищей, поднимались сами, помогали подниматься им... Они не шли, а мучительно перемещались в пространстве. Я приказал, чтобы самых ослабленных по очереди везли в конных повозках. Казалось, что от мороза замедлилось даже течение времени и что эта ночь, если когда-нибудь и кончится, то еще очень и очень не скоро. Достигнув самой крайней степени изнеможения, некоторые — уже ничего не соображая — прямо у нас на глазах падали пластом в снег и категорически отказывались идти дальше. Им уже пели сладкоголосые сирены снежных океанов. Мы хлестали их по щекам, ставили на ноги, снова поднимали их

пинками из снега, снова хлестали по лицу, осыпали самыми непечатными ругательствами — все что угодно, лишь бы только они не прекращали двигаться. В тех случаях, когда даже все это было бесполезно, мы заворачивали безнадежно обессиленных в одеяла и грузили их, почти как трупы, на повозки.

Эта кошмарная ночь все же закончилась, и на рассвете мы прошли мимо восьмерых русских солдат, валявшихся замерзшими прямо на дороге. Вероятно, это был русский патруль, с которым расправились люди из 26-й дивизии. После двенадцати часов непрерывного перехода, за которые мы покрыли почти сорок километров, мы оказались в Панино. Судя по карте, мы были теперь всего лишь в шести с половиной километрах от нашего сектора «линии Кёнигсберг».

В здании железнодорожной станции «Панино» стоял жуткий стон, издаваемый примерно сотней наших тяжело раненных солдат. Почти все они лежали на полу в неотапливаемом зале ожидания. Лишь под некоторыми была солома, и совсем уж немногие были укутаны одеялами. В поезде, стоявшем под парами у платформы, было еще несколько сотен раненых. Это был самый последний состав, отбывавший к югу. С остатками своей арьергардной группы нас догнал Шниттгер, сразу же сообщив о том, что русские следуют за ним почти по пятам. Погрузка остававшихся в зале ожидания раненых в поезд мгновенно ускорилась, и уже через несколько минут, обдав нас на прощание дымом и паром, состав тяжело тронулся с места. Мы поспешили возобновить походное движение, чтобы поскорее соединиться батальоном с остальными нашими частями на «линии Кёнигсберг», а уже через полчаса на станцию «Панино» вошли русские.

Встретивший нас через три километра на дороге фон Бёзелагер передал Ламмердингу все необходимые распоряжения, касавшиеся сектора обороны у Гридино, который и предстояло оборонять остаткам нашего 3-го батальона. Ламмердинг и весь остальной батальон спешно направились к этим позициям у Гридино, до которых оставалось еще четыре километра, а мы с Генрихом временно остались при poste боевого управления фон Бёзелагера. С характерной для него основательностью он устроил из него настоящую крепость.

Введя нас внутрь этого импровизированного бастиона, фон Бёзелагер критически осмотрел меня своими пронзительно голубыми, как закаленная сталь, глазами, отметил, что я крайне истощен, и добавил к этому:

— Давайте, доктор, и ты, Генрих, садитесь, я напою вас сейчас горячим бульоном.

Генрих попытался было помочь ему, но фон Бёзелагер мягко толкнул его обратно на скамью и сказал:

— На этот раз поварёнком побуду я.

Пока мы отогревались у огня и пили обжигающий бульон, фон Бёзелагер обрисовал нам в общих чертах, что нас ожидает на «линии Кёнигсберг».

— Это не самая лучшая из линий обороны, — сразу признал он, — но по крайней мере она выбрана опытными тактиками, и что-то путное из всего этого сделать можно.

— Как вы думаете, как долго мы здесь пробудем? — спросил я его.

— Надеюсь, долго. Отступить дальше, не ухудшив значительно общего положения, мы больше не можем. Мы теперь на таком рубеже, где мы должны либо остановить красных, либо погибнуть. На фронт отправляют уже любого более-менее здорового мужчину о двух руках и ногах. Эту линию обороны мы просто *обязаны* удерживать, — без лишнего пафоса, но с выражением убийственной серьезности на лице закончил фон Бёзелагер.

— Слава богу, хоть переход этот закончился. Любой наш солдат предпочел бы сейчас схватиться с полусотней русских, нежели пройти еще полсотни метров. Однако из того, что вы рассказали, герр ритмейстер, я так и не уяснил для себя, насколько имеющаяся ситуация безнадежна или, напротив, обнадеживающая.

— Скоро, черт подери, узнаем, — ответил фон Бёзелагер.

Слёзы ветерана

Фон Бёзелагер был прав. Вскоре мы, черт подери, узнали... Но вначале русские позволили нам провести в Гридино один день без войны, и нас встретили дожидавшиеся там прибытия батальона обер-лейтенант Бёмер и лейтенант Кизо. Бёмер уже оправился от легких ран, полученных им у Шитинково, а Кизо — от ран, из-за которых он выбыл из строя еще осенью.

Бёмер — как старший по званию офицер — принял на себя теперь командование батальоном, Ламмердинг был возвращен на должность адъютанта, Беккер был назначен командиром 12-й роты пулеметчиков, лейтенант Олиг — командиром 11-й роты, а Кизо принял под свое командование остатки 10-й роты. Теперь численность нашего батальона выглядела так: шесть офицеров и 137 человек унтер-офицерского и рядового состава.

Несмотря на неотложность проведения оборонительной подготовки, всему батальону было выделено шесть часов на отдых — довольно умеренное послабление, которое было воспринято нами как шесть каких-то нереальных, украденных где-то часов. Впервые за восемнадцать последних дней у наших солдат появилась возможность лечь и поспать, вместо того чтобы урывать по несколько минут дремы между атаками русских и своими обязанностями караульных. Только тогда я по-настоящему осознал, что человек в состоянии выдерживать пребывание в гораздо более суровых климатических условиях и переносить гораздо более сильное напряжение, нежели животное; в критические моменты он может использовать для этого свою силу воли, а также имеет возможность сберечь значительное количество жизненной энергии благодаря способности к разумному мышлению.

Люди пробуждались ото сна посвежевшими, с возрожденным боевым духом. К тому же нас приободряло то, что оборонять Гридино будет легче, чем Шитинково. Леса здесь начинались почти в километре от деревни, и единственной неблагоприятной особенностью ландшафта с точки зрения обороны являлось некоторое понижение местности, ведущее к большому колхозному амбару около деревни и поросшее мелким подлеском и кустарником. Перевязочный пункт был, как обычно, расположен рядом с батальонным пунктом боевого управления, а та часть дома, к которой была пристроена конюшня, смотрела как раз в ту сторону, откуда ожидалась атака врага. Ввиду того, как удачно проявил себя Генрих в Шитинково, я поручил ему организовать оборону перевязочного пункта со стороны конюшни, т. е. с тыльной части здания. Тульпин подготовил к работе операцию.

Нам предстояло оборонять фронтальную линию протяженностью чуть более полутора километров, а сама деревня была открыта для ударов с трех главных направлений. Батальон не располагал ни противотанковыми, ни легкими орудиями, но нас обещали усилить артиллерийскими подразделениями на весь следующий день. Видимо, нам лучше всего было придержать их в резерве до начала непосредственно самого боя; ста сорока трем человекам предстояло защищать полуторакилометровую линию обороны от атак с трех направлений!

Ночь прошла спокойно. В 5 утра зазвучала тревога. Под покровом тьмы отряд из примерно двадцати пяти красных прокрался незамеченным в наше расположение прямо за спиной патруля, обходившего выносные сторожевые посты, и окружил некоторые из домов. Бёмер и Беккер ответили контратакой, русские бросили в бой сильное подкрепление, и после жестокой рукопашной схватки дома были отбиты, а русские отступили к колхозному амбару за деревней. После еще нескольких контратак в дело вступила артиллерия, и в результате русские были обращены в бегство. На поле боя после них осталось шестьдесят пять убитых; кроме того, мы захватили восьмерых пленных, а также два вражеских пулемета и четыре миномета.

Едва лишь батальон успел перегруппироваться и запастись боеприпасами, как русские атаковали нас снова, но теперь уже с севера. Довольно короткого промежутка времени между первой и второй атаками оказалось, однако, достаточно для того, чтобы от дикого мороза смазка в большинстве наших пулеметов опять застыла, приведя их в небоеспособное состояние, и их пришлось спешно отогревать у печей. Один-два отряда применили более оригинальный и, главное, экстренный выход из положения: они облили металлические части

пулеметов бензином и подожгли их. Огонь растопил смазку, и пулеметчики снова вступили в бой. Вторая атака была также отбита, и на этот раз в снегу перед нашими позициями осталось тридцать трупов русских.

Бёмер знал, что следующую атаку русские предпримут с наступлением темноты. Для того чтобы сократить протяженность нашей линии обороны, было сожжено несколько домов и амбаров. Пулеметы, боеприпасы и все остальное было должным образом подготовлено к очередному бою.

Через полчаса после того, как в 4 часа пополудни уже стемнело, русские ударили по деревне пулеметными очередями, а вслед за этим, отчаянно вопя, бросились в атаку. При свете ракет стало видно, что их было около четырех сотен. Немецкие минометы и автоматы ударили плотным заградительным огнем в самую гущу этой массы, и первая волна вражеского ночного наступления залегла в сугробах. Далее оно было перенаправлено на самую северную оконечность деревни, где Кизо подготовил в первом же доме сильный опорный пункт нашей обороны. В попытках захватить этот дом русские предприняли несколько самоубийственно отчаянных атак, но каждый раз безуспешно. В конечном итоге Кизо и двое его пулеметчиков были ранены, а четверо убиты, но враг так и не смог прорваться в деревню через этот бастион.

В результате последовавшей далее атаки силами примерно в сто человек русским удалось захватить несколько домов, но почти сразу же мы выбили их оттуда нашими контратаками. Правда, при этом автоматной очередью с близкого расстояния вначале был убит лейтенант Олиг, а затем, получив тяжелое ранение, упал Ламмердинг.

Для того чтобы помочь нам заткнуть брешь в нашей обороне, к нам прибыло подкрепление из 37-го полка, и после нескольких часов ожесточенного боя в черте деревни и на открытом пространстве русские отступили, оставив около сорока своих товарищей окруженными нами среди группы плотно стоявших домов. К 11 вечера мы смогли заняться этими домами и сожгли их вместе с засевшими в них русскими.

В ходе этого длившегося почти сутки сражения за Гридино русские потеряли убитыми около ста пятидесяти человек. Потери 3-го батальона составили: убитыми — один офицер и одиннадцать солдат, ранеными — два офицера и два человека унтер-офицерского и рядового состава. Еще восемь солдат оказались в лазарете потому, что были настолько ослаблены нервным и физическим истощением, дизентерией, нечеловеческим напряжением последних дней, а также слишком продолжительным пребыванием на морозе, что оказались совершенно непригодными к участию в боях. Обстановка на перевязочном пункте была совершенно типичной для таких моментов: толпа беспомощных, стонущих от боли, грязных и окровавленных людей, в основном лежащих на соломе, набросанной прямо на пол. Воздух был густо налит тяжелой смесью запахов антисептических средств, гари от керосиновых ламп и вони от давно не мытых человеческих тел — за последний месяц практически все они ни разу не снимали с себя ни одного предмета одежды.

Тяжело дыша, беспокойно и непрерывно ерзал на своей соломенной подстилке Ламмердинг. Его левая рука непослушно и совершенно безжизненно болталась при этом сбоку — пуля из русской винтовки угодила ему между плечом и шеей и, видимо, серьезно повредила какие-то важные нервные волокна, а кроме этого, пробила верхнюю часть левого легкого.

— Я не могу отправить тебя назад в госпиталь, пока не остановится легочное кровотечение, — сказал я ему. — Тебе необходим отдых, и поэтому я собираюсь сделать тебе инъекцию С.Э.Э., которая избавит тебя от боли и позволит поспать.

— Прекрасное предложение, — кивнул Ламмердинг со своей обычной ироничной усмешкой. — Очень жаль, доктор, что не могу отблагодарить вас тоже чем-нибудь таким. Поспать я мечтаю больше всего на свете, да все никак не получается.

— Я помогу тебе, — ответил я и сделал ему внутривенную инъекцию.

Через тридцать секунд Ламмердинг проговорил с изумлением:

— Как странно... Я не чувствую больше никакой боли. Что случилось? Что за чудесное

снадобье вы вкачали в меня?

Он замолчал на несколько секунд, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям, а затем продолжил:

— Очень похоже на то, как если бы я немного выпил — чего-то такого крепкого, конечно. Должен сказать, что я уже довольно здорово пьян, доктор, — прошептал он с шутливой серьезностью. — Где же вы держали сей волшебный эликсир все это время?

— Это комбинация Скополамина, Энкадола и Эфетонина, — разъяснил ему я. — Выражаясь более простым медицинским языком, применяется для притупления обостренных психических реакций.

Ламмердинг закрыл глаза как раз за мгновение до того, как появился маленький Беккер, пришедший специально для того, чтобы взглянуть на него.

— Теперь он будет какое-то время спать, — сказал я Беккеру. — Это облегчит прекращение кровотечения в легких. Но мне совершенно не нравится, как выглядит его рука, — сомневаюсь, что она восстановит свои функции полностью.

— Прекратите шептаться, как две школьницы, — послышался вдруг голос Ламмерлинга. — Мне тоже очень интересно знать, что там с моей рукой. Правда, Беккер, в настоящий момент я обладаю не вполне адекватным мышлением. Доктор притупил мою психику. Правильно, доктор? Но на самом деле он сам не знает, что говорит. Я чувствую себя здоровым как конь.

— Рад найти вас в столь бодром расположении духа, — отозвался Беккер, а затем, повернувшись ко мне, спросил, понизив голос: — Чего это он такой радостный?

— Это действие наркотика. Он сейчас в исключительно приподнятом настроении и не склонен терзаться мирскими тревогами и заботами, — ответил я.

— Вы имеете в виду, что вы как будто меня напоили, доктор? Ладно. Скажите мне только, как там обстановка на фондовой бирже.

— Беспокоиться не о чем, — ответил Беккер. — Можете спать спокойно хоть всю ночь. Русские сегодня больше не появятся.

Мы вышли на улицу и остановились возле длинного ряда выложенных плечом к плечу мертвых немцев. Их должны были увезти на военное кладбище у Малахово. Прямо по центру этого печального развернутого строя наших погибших товарищей лежал Олиг. Он был резервистом, совсем еще почти юнцом, немного побаивавшимся сарказма Ламмердинга, преклонявшимся перед героической натурой Кагенека и благоговейно трепетавшим перед грубой силой Штольца. Теперь и он присоединился к другим, уже покинувшим нас, — к Кагенеку, Штольцу, Больски, Штоку, Якоби, Дехорну, Петерманну... Казалось, что шеренга мертвецов так и тянется бесконечно вдоль заснеженной дороги, уходящей в сторону зловещего багрового зари догорающих домов. Все лежащие сейчас перед нами погибшие товарищи — кто с Рейна, кто из Вестфалии — входили в первоначальный состав нашего 3-го батальона, когда он еще насчитывал восемьсот человек. После последнего боя от этих восьми сотен осталось лишь девяносто девять человек.

На следующее утро для доставки раненых в Малахово была организована небольшая колонна из конных повозок. В самой большой из них, запряженной двумя ломовыми лошадьми, должны были ехать Ламмердинг, Кизо и еще четверо. Ламмердинг был пока еще довольно сонным и вялым. На наши прощальные рукопожатия он отвечал довольно просто и сдержанно. Сейчас ему незачем было блистать ни своей ироничностью, ни подвешенностью языка, ни своей фирменной непробиваемой невозмутимостью.

Мы молча наблюдали за тем, как маленькая колонна медленно движется по заснеженному полю дорогой на Малахово. Меньше чем в километре от нас начинался лес, через который проходила дорога, и когда колонна преодолела примерно половину этого расстояния, вдруг послышались сухие щелчки выстрелов нескольких русских винтовок. Выстрелы раздавались с направления, которое считалось совершенно безопасным. К счастью, красные стреляли со слишком большого расстояния, но некоторые их пули все же угодили по колонне. По лесу, скрывавшему невидимого врага, немедленно ударили

сплошными очередями два наших пулемета. Левая из двух лошадей, запряженных в самую первую повозку, везшую Ламмердинга, упала на дорогу. Вся остальная колонна сбилась за ними в кучу и остановилась. Солдаты принялись лихорадочно выпрягать убитую лошадь, чтобы оттащить ее с дороги. Я отчетливо видел, как рекрутированный мной сибиряк, «Ханс», предпринимает геркулесовы усилия для того, чтобы стащить все еще взбрыкивавшую ногами лошадь в придорожный сугроб. Яростный огонь наших пулеметчиков возымел свое действие — русские отстреливались из-за деревьев не менее ожесточенно, но теперь уже совершенно беспорядочно и не прицельно, и колонне с ранеными удалось добраться до небольшого взлеска, послужившего им укрытием.

Я очень надеялся на то, что Ламмердинг сможет благополучно пережить ужасную дорогу до госпиталя в Германии. Санитарных поездов, уходивших на запад, в те дни отчаянно не хватало. наших раненых грузили на совершенно не приспособленные для этого платформы для перевозки скота, которые, конечно, не имели никакой защиты от свирепствовавших морозов. Медицинского персонала для их сопровождения было тоже катастрофически мало. В результате огромное количество немецких раненых встретили ужасную смерть прямо в дороге, среди бескрайних снежных российских степей.

Очень часто они находились в пути в подобных условиях по три недели, и должная медицинская помощь могла быть оказана им лишь в крупных городах по дороге. На каждой железнодорожной станции из вагонов выносили новых умерших и складывали их рядами на заснеженных платформах. Многие, очень и очень многие, чьи ранения были изначально не такими уж смертельно опасными, все же умерли в дороге от переохлаждения, обморожений и гангрены, так и не доехав до Германии.

* * *

Следовавший к нам по той же дороге посыльный из штаба дивизии повстречался с колонной в лесу и сообщил нам, что от огня русских пострадал только один человек — да и то лишь легкая царапина. Но, вообще-то говоря, он вез нам гораздо более важную новость.

3-й батальон 18-го пехотного полка подлежал замене 3-м батальоном 37-го пехотного полка.

В 9 утра из лесу показались первые шеренги прибывших нам на замену подразделений. Мы глазели на приближавшиеся к нам колонны с нескрываемым удивлением — этот батальон был явно значительно сильнее нашего, не говоря уже о боеспособности. Его бессменным командиром с самого начала и поныне был майор Клостерманн, а из первоначального офицерского состава в живых осталось более половины. Что касалось моей медицинской службы, то я передал наш перевязочный пункт с рук на руки моему коллеге, ассистензарцту Шюсслеру. Он оказался хорошим человеком и опытным фронтовым врачом.

Очень скоро наши преемники из 37-го полка почувствовали, что Гридино — отнюдь не оздоровительный курорт: в ходе приема-передаточных мероприятий двое из их людей были убиты русскими снайперами.

— Милое местечко оборонять придется! — проворчал на это майор Клостерманн. — Уверен, что скучать по нему вы будете не слишком сильно.

Наш отход по той же дороге на Малахово он прикрывал несколькими пулеметами и одной легкой пушкой.

Все случилось точь-в-точь как несколько часов назад, когда мы прикрывали нашу колонну с ранеными — русские попытались устроить нам засаду из того же самого места.

В результате их винтовочного огня один наш человек был ранен в бедро. Мы забросили его в повозку и поспешили к тому взлеску, за которым можно было укрыться. Пулеметы Клостерманна безостановочно колошматили по тому месту, где затаились русские. Бежать — особенно некоторым из нас — оказалось гораздо труднее, чем можно было предположить. Преодолев очередные несколько десятков метров, нам приходилось падать в снег, чтобы восстановить дыхание. Теперь уже можно было без натяжки сказать, что весь батальон, до

последнего человека, достиг самой крайней степени изнурения. Учащенно и с силой вдыхаемый морозный воздух причинял почти нестерпимую боль в груди, и вскоре я почувствовал на языке вкус собственной крови. Но вот мы достигли наконец густого леса и, немного придя в себя, расслабленно растянулись, пошатываясь, вдоль дороги.

Совершенно вымотанные и подавленные, мы вышли из леса, зная по карте, что деревня Малахово будет сейчас прямо перед нами. Мы просто не представляли до этого момента, как она выглядит в действительности. Деревня оказалась чуть больше Гридино и имела две главных улицы, расположенных под прямым углом друг к другу. Ширина такая же, как и длина, — защищаться будет сложнее, машинально отметил я про себя.

Двигаясь давно уже растянувшейся и беспорядочной вереницей, мы молча прошли мимо огневых позиций 21-сантиметровых минометов, расположенных вдоль окраины деревни. Солдаты их расчетов — тоже молча — провожали нас широко распахнутыми от изумления глазами. Жалко и неуклюже шаркавшая своими валенками по накатанной дороге банда оборванцев с сосульками, свисавшими с застегнутых на лице *Kopfschutzer-ov*, вряд ли могла вызвать своим появлением какую-то другую реакцию. Выглядели мы, конечно, не слишком героически и даже не слишком по-солдатски, и все же мы были отрядом самых настоящих героев, бесстрашно сражавшихся с русскими до самой последней капли крови и ни разу не отступивших ни шагу назад, не имея на то особого приказа. Мы ковыляли без строя, не в ногу, сгорбившись в три погибели под тяжестью собственного оружия. При взгляде на нас со стороны могло показаться, что еще метров пятьсот отступления от Москвы добьют этих бедолаг окончательно.

Вдруг откуда-то с головы нашей растянутой колонны пробежал по цепочке шепот: «Командир! Командир!.. Командир!..»

Мы подняли глаза и сразу же разглядели у дверей полкового пункта боевого управления характерную упрямую и коренастую фигуру оберста Беккера. Сбоку от него стоял Калкройт. Они вышли и поджидали нас специально для того, чтобы поприветствовать наше прибытие.

По размазанной по дороге колонне мгновенно прокатилось группирующее ее воедино движение. Не прозвучало ни единой команды, но все инстинктивно подтянулись, подровнялись и сформировали правильный походный строй, пошли в ногу, вскинули винтовки на плечо под правильным углом и подняли головы, глядя прямо перед собой.

И совсем уж неожиданно раздался зычный голос Шниттгера, запевшего строевую песню. Все как один подхватили ее уже на второй строчке. В морозном воздухе зазвенела старинная песня о солдатской мечте. Мы пели ее так, как если бы возвращались в свои казармы после успешного проведения учебных маневров.

Течет с горы звенящий ручей
Прохладного игристого вина...

Беккер поправил на голове козырек своей *Kopfschutzer*, прикрывавший его лицо подобно поднятому забралу рыцарского шлема, и, приложив ладонь к виску, принял стойку смирно. Он, конечно, знал эту совсем не уставную и даже откровенно дерзкую песню. Подходя к крыльцу пункта боевого управления, мы как раз допели последние ее строчки:

Счастливец тот, кто может забыть
Все ужасы и беды, участником которых
Ему довелось не раз быть.

По задубленной морозными ветрами коже щек старого командира скользнули две-три скупых солдатских слезы.

— Стой! Нале-во! Смирно! — гаркнул Бёмер.

Остатки 3-го батальона вытянулись по струнке перед своим командиром полка. Бёмер

щеголеватого, как на парадном построении, приблизился к Беккеру безупречным строевым шагом и, вскинув руку к виску, звонко доложил:

— 3-й батальон 18-го пехотного полка прибыл по вашему приказанию для дальнейшего прохождения службы.

Ад — это Гридино

Для размещения истаявшего 3-го батальона оказалось достаточно всего восьми домов. Все они стояли в ряд один за другим на одной из двух улиц Малахово; по правую сторону от нас было расквартировано недавно прибывшее с Крита подразделение парашютистов-десантников. Они должны были поддержать нашу численность и действовать как контратакующий отряд на тех участках, где линия обороны окажется недостаточно надежной.

Эти наши новые квартиры для постоя, расположенные в южной части деревни, были уже натоплены и подготовлены к нашему появлению. В течение нескольких считанных минут мы плотно закрыли изнутри входные двери всех восьми домов, все до одного разулись и улеглись спать на всю ночь, зная наперед, что нас не побеспокоят никакие тревоги.

Когда мы проснулись двенадцать часов спустя, весь окружающий мир воспринимался нами уже совсем по-другому. Мы смогли наконец увидеть его отдохнувшими глазами ясно и четко. С наслаждением умывшись, мы впервые за последние три недели спокойно, никуда не торопясь, позавтракали. Хлеб был не замерзшим и даже мягким, и хотя вместо кофе был, как обычно, кофейный напиток, который мы называли *Negerschweiss* («негритянский пот»), мы пили его с огромным удовольствием, наслаждаясь не столько его весьма сомнительными вкусовыми качествами, сколько самой возможностью неторопливо смаковать каждый глоток.

Только что отрезавшему себе аппетитный кусок комиссарского хлеба маленькому Беккеру вручили вдруг приказ о его переводе в штаб оберста Беккера в качестве офицера по особым поручениям. Вскоре после этого раздался сигнал тревоги, и мы собрались вместе с парашютистами-десантниками в здании бывшей школы. Экипировка новых боевых товарищей поразила наше воображение. Они располагали полным комплектом зимнего обмундирования, выглядели чрезвычайно эффектно, были прекрасно подготовлены и имели в своем арсенале новейшие модели огнестрельного оружия. На их фоне мы выглядели просто как шайка бородатых бродяг, облаченных в самые невообразимые и к тому же чудовищно грязные лохмотья. Среди всех нас невозможно было выделить хотя бы двоих, имеющих более-менее единообразную форму одежды. И все же мы были искренне рады десантникам, поскольку им была поставлена задача полностью очистить окрестные леса от русских, которым удалось просочиться в наш тыл через линию обороны, удерживаемую 1-м батальоном под командованием Хёка. Задачу эту они выполнили со всей основательностью в первый же день и вернулись уже после полудня, неся на себе своих погибших товарищей.

Нам предстояло узнать еще очень многое о применявшейся Красной Армией новой тактике проникновения в тыл врага. Из-за продолжавших свирепствовать морозов мы могли рассчитывать на постой лишь в деревнях, которые зачастую располагались в трех-пяти километрах друг от друга. Между деревнями не было обычно ничего, разве что попадался время от времени наш патрульный пост. Под покровом тьмы русским удавалось пробираться незамеченными через эти неконтролируемые пространства и неожиданно возникать, как привидения, уже позади наших позиций.

В тот вечер — это был мой день рождения — я был гостем оберста Беккера и встретился также с маленьким Беккером, которого нашел во вполне благодушном расположении духа после первого дня работы в тыловых деревнях с тыловыми подразделениями. Он даже познакомился там с красивой русской девушкой, студенткой московского медицинского института по имени Нина Варварова. Вспомнив Наташу, я лишь угрюмо проворчал что-то не слишком лицеприятное. По пути обратно к нашим домам я

отчетливо слышал отзвуки ночного боя у Гридино и благодарил Бога за то, что мы не принимаем в нем участие.

* * *

На следующее утро я оборудовал подземное убежище в погребе дома, выбранного мной для перевязочного пункта, а также принимал у себя очередного нового командира нашего 3-го батальона — гауптмана Грамински из 1-го батальона. Это был серьезный, вдумчивый и ответственный офицер, спокойный и дотошный в работе — из тех командиров, что сразу же завоевывают уважение к себе у подчиненных. Мы обсудили с ним сложившееся положение и пришли к общему выводу, что нам, конечно, посчастливилось быть размещенными в пяти километрах позади главной линии обороны. Но, с другой стороны, когда нас будут бросать в бой, это будет означать, что ситуация на данном участке особенно опасна и нам, таким образом, предстоит принять участие во всех самых свирепых схватках.

Наша разведка перехватила секретное радиосообщение русских, из которого стало ясно, что красные ведут подготовку к главному удару по Гридино, являвшемуся главным северо-восточным пунктом «линии Кёнигсберг», выпиравшим в сторону, как больной палец. Шум сражения донесся до нас в полдень, и у нас создалось впечатление, что русские пока проводят лишь разведку боем перед тем, как предпринять главную атаку. Однако когда я писал письмо Марте, я упомянул лишь о не слишком значительном бое, поскольку наши близкие там, на родине, еще не были должным образом подготовлены к тому, чтобы осознать всю серьезность перемен, произошедших на Восточном фронте.

Раненые из Гридино эвакуировались через Малахово, и уже ближе к вечеру я вдруг увидел среди них ассистензарцта Шюслера. Жизнерадостный молодой врач, заменивший меня в Гридино, получил основательную порцию шрапнели прямо в живот, и у него было совершенно явное сильное внутреннее кровотечение. Он прекрасно осознавал, что его жизнь висит на волоске, но все же сумел найти в себе силы благодарно улыбнуться мне, когда я сказал ему, что позвоню в госпиталь и скажу, чтобы они подготовились к срочной операции.

— Думаю, что будет уже слишком поздно, — прошептал он.

И оказался прав. Умер он той же ночью, вскоре после операции.

На место Шюслера в Гридино был немедленно направлен штабсарцт Лиров.

Прошла еще одна относительно спокойная ночь, но к утру со стороны Гридино послышался такой ужасающий грохот, как будто там разверзся сам ад. Генрих сидел рядом со мной, готовый в любой момент к бою, как вдруг ровно в 10.00 зазвонил телефон и мне было зачитано донесение и вытекавший из него приказ, касавшийся лично меня: «Штабсарцт Лиров убит попаданием шрапнели в голову и легкие. 37-й пехотный полк остался без офицера медицинской службы. Ассистензарцту Хаапе немедленно отправиться в Гридино на замену Лирова».

— Ну, теперь нас превратят в настоящий винегрет! — возмущенно бросил я Генриху. — Они больше не воспринимают нас как целостное и неделимое подразделение, и теперь все кому не лень будут затыкать нами любые возникающие бреши. Проклятье! Мне это совершенно не нравится. Мы что, единственный батальон во всей дивизии?! Почему бы этим ублюдкам не послать на замену кого-нибудь другого — кого-нибудь из тех докторов из дивизии, которые сидят сейчас и греются перед печкой, — и не оставить нас в покое хотя бы на какое-то время?!

Через пять минут, доложив на пункте боевого управления о своем убытии, мы уже двигались по направлению к Гридино. Слишком хорошо помня засады вдоль дороги, я не рискнул ехать туда на санях. Всю дорогу я ругался, как старый шахтер, — не столько из-за смертельной опасности, навстречу которой мы направлялись, сколько по поводу отсутствия здравого смысла, проявленного штабом дивизии, оторвавшим нас от нашего батальона. Изрыгая проклятия, я возмущенно вышагивал по заледенелой дороге, а Генрих молча семенил рядом.

Лес мы миновали без приключений, но на открытой дороге, выводящей уже непосредственно на Гридино, русские заметили нас и стали обстреливать, да не из чего-нибудь, а из минометов. Пристреляться как следует у них все никак не получалось, и хотя мины рвались все время где-то по сторонам, в сугробах, особой радости это нам не доставляло. Мы рванули к Гридино перебежками, распластываясь на снегу через каждые несколько десятков метров. По тому, какое неумеренное количество боеприпасов расходовали русские на столь малозначительную цель, как мы с Генрихом, я мог предположить лишь, что у них там в отношении нас возник спортивный интерес — кто первый попадет. Возможно, ставкой в этой игре была бутылка водки.

Вдруг меня толкнуло особенно сильной взрывной волной, и я ощутил острую боль в левой ноге. «Они ранили меня!» — как-то очень уж драматично крикнул я бежавшему прямо следом за мной Генриху и сиганул в сторону от дороги в небольшую ложбинку, укрытую особенно глубоким сугробом. Генрих прыгнул следом и припал к земле рядом со мной. Не снимая ничего из одежды, я быстро ощупал себя. Судя по болевым ощущениям и только что возникшим дыркам на левом валенке, в ногу мне угодило два не слишком крупных осколка — один прямо в пятку, а другой в голень. Я явственно чувствовал, как валенок наполняется моей собственной кровью, но был уверен, что кости ноги, однако, не повреждены. Промелькнула вдруг мысль (и я не без удовольствия уцепился за нее), что это ранение может означать для меня, что я наконец попаду домой. Русские, увидев, что мы замерли, стали активнее пристреливаться по нашему укрытию — разрывы мин ухали все чаще и все ближе.

— Бежим дальше, Генрих. Отсюда пора уже выбираться!

Генрих побежал впереди, я поковылял следом. Через каждые метров двадцать или около того мы бросались ничком в снег. Так, коротенькими перебежками, мы и добрались до Гридино. Если не воспринимать минометный обстрел слишком серьезно, то со стороны это, должно быть, выглядело как довольно комичный бег с препятствиями. Мы укрылись за первым же домом деревни, до которого добежали, и, переводя дыхание, уселись на ступени крыльца. И тут я ни с того ни с сего начал весело хохотать, и все никак не мог остановиться. Мне вдруг показалось почему-то чрезвычайно забавным, что после целых двух дней относительного покоя и отдыха судьба швырнула нас обратно в самое что ни на есть дерьмо. И, вдобавок ко всему, даже не вместе с нашими товарищами, а с совершенно незнакомым подразделением, проблемы которого интересовали меня в настоящий момент меньше всего на свете.

Генрих уставился на меня широко распахнутыми от изумления глазами.

— С вами все в порядке, герр ассистензарцт? — встревоженно спросил он.

— Все в порядке, Генрих, с ума я пока не сошел. Но как можно серьезно относиться ко всем этим невзгодам? Так ведь и на самом деле не мудрено спятить! Ведь все это спланировано людьми, которые полагают, что они способны мыслить рационально. А самое забавное в том, что мы беспрекословно выполняем то, что нам приказано, хотя в глубине души прекрасно понимаем, что все это — чистой воды безумие. Неужели это не смешно?

— Нет, герр ассистензарцт, совсем не смешно, — флегматично ответил Генрих, не поняв, по-моему, ни слова из того, что я сказал.

— Ну посмотри, Генрих, это же настолько откровенный идиотизм, что по этому поводу остается лишь рыдать или смеяться. Относиться к этому серьезно я уже просто не могу, это выше моих сил. Я предпочитаю смеяться.

Мы разыскали батальонный пункт боевого управления, и я проковылял внутрь, чтобы доложить майору Клостерманну о нашем прибытии.

— Вы наша единственная надежда, так что постарайтесь держаться на ногах, — проговорил он, услышав о моем ранении. — Перевязочный пункт уже давно переполнен ранеными, которым некому оказать хоть какую-то помощь.

— В таком случае у меня просто не остается выбора, герр майор, — только и было что ответить мне на это.

Еще до нашего появления в Гридино все раненые были перенесены в дом, который я

использовал для перевязочного пункта раньше. Для своего перевязочного пункта доктор Шюсслер выбрал более просторное здание, рассудив, что так будет лучше для раненых, но почему-то совершенно упустил из виду, что оно прекрасно простреливается русскими. Расплата за эту недалекость оказалась как для него самого, так и для многих его раненых суровой: несколько русских снарядов, разорвавшихся прямо перед домом, буквально напиговали их осколками. Само же здание в конце концов сгорело дотла, а тело штабсарцта Лирова так и осталось где-то на его пепелище.

Теперешнее здание перевязочного пункта (то есть именно то, что было у меня и раньше) было хоть и поменьше, но зато гораздо безопаснее. Оно было буквально забито стонущими ранеными. В не слишком большой главной его комнате на полу лежало около двадцати человек, и почти всем им не было оказано пока еще никакой медицинской помощи. На всю эту не слишком веселую компанию был всего лишь единственный и уже давно сбившийся с ног санитар-носильщик. Я знал, что раненым придется дожидаться отправки в Малахово до наступления темноты — эвакуировать их по этой опасной дороге раньше этого времени было просто безрассудно.

— Где все инструменты и медикаменты? — спросил я у санитар-носильщика.

— Ничего нет, герр ассистензарцт. Все сгорело вместе с тем, другим перевязочным пунктом.

То есть мы располагали лишь тем, что имелось в моей медицинской сумке, в старом вещмешке Генриха, да еще разве что небольшими рулончиками бинтов, которые, по идее, должны были иметься у каждого солдата. Увидев меня, раненые принялись наперебой взывать к моему вниманию, и тут я в очередной оказался перед весьма непростой дилеммой, прекрасно знакомой каждому фронтовому врачу: принимая решения, я должен был основываться на своих реальных возможностях и таким образом обходить своим вниманием тех тяжело раненных, которым я все равно мало чем мог помочь — для того, чтобы иметь время помочь другим, тем, помочь кому я действительно мог. Двое тяжело раненных в живот и один с критически тяжелым ранением в голову были укутаны одеялами и помещены в стороне на особенно толстых и мягких соломенных подстилках. Голова последнего была зафиксирована в вертикальном положении для уменьшения внутричерепного кровяного давления. Один из раненных в живот был в настолько тяжелом состоянии, что вряд ли выдержал бы дорогу до госпиталя. Состояние раненого в голову прогнозировать в настоящее время было затруднительно, но и он тоже выглядел далеко не лучшим образом. Главным для него в тот момент было мобилизовать в себе внутренние энергетические резервы, достаточные для того, чтобы противостоять болевому и психическому шоку. Второй раненный в живот выглядел более обнадеживающе.

Сделав для них все, что мог, я занялся относительно более легкими ранениями. Перво-наперво — сделал болеутоляющие уколы тем, кто в них действительно нуждался, раненым в легкие и испытывавшим слишком сильный болевой шок произвел инъекции С.Э.Э., ввел «Кардиазол» раненым с сильными нарушениями кровообращения и сделал всем до одного противостолбнячные прививки. К тому времени, когда я закончил заполнять и подписал все карточки ранений, я был непрерывно занят ранеными в течение трех с половиной часов. Хромя по направлению к посту боевого управления, я впервые за все это время вспомнил о собственном ранении ноги. Решив отложить обсуждение этого вопроса с Клостерманном до вечера, я лишь сообщил ему, сколько санитарных машин понадобится для эвакуации раненых после наступления темноты, а также вручил ему список медицинских инструментов, медикаментов и прочего, которые следовало раздобыть в госпитале.

Когда я вернулся на перевязочный пункт, солдат с ранением головы был уже мертв. Я попробовал применить прямую внутрисердечную инъекцию, но было уже слишком поздно. Тяжело раненный в живот, как я и опасался, тоже умер. Для того чтобы высвободить на полу побольше места, я сразу же велел вынести тела обоих на улицу. Убедившись в том, что моей помощи больше никому пока не требуется, я снял свой левый валенок и осмотрел ногу.

Поскольку рана голени до сих пор довольно сильно кровоточила, то выглядела она

гораздо серьезнее, чем была на самом деле. Кость была все же немного задета, но в основном это была лишь не слишком глубокая, даже, можно сказать, поверхностная рана тканей. Рассмотреть вторую рану было сложнее, но, самое главное, я убедился в том, чего и опасался: осколок впился и застрял в ахилловом сухожилии, в результате чего боль становилась все острее и острее. Предпринимать я пока ничего не стал, а лишь позволил Генриху перевязать мне голень и лодыжку и сделал самому себе противостолбнячную прививку.

Втыкать иглу шприца в чью-то другую плоть гораздо проще, чем в свою собственную, поэтому вокруг меня собралась целая группа сочувствующих зрителей, и мне пришлось притворяться, что я абсолютно, как говорят французы, *sangfroid* (хладнокровен).

* * *

В тот вечер на всем нашем участке фронта было относительно спокойно, и поэтому я принял приглашение майора Клостерманна и еще двух офицеров поиграть с ними в *Doppelkopf*. Поскольку я все время думал о своих ранах на ноге, сосредоточиться на игре было довольно сложно; гораздо проще оказалось придумывать все более и более веские обоснования того, почему рана моей пятки требует непременно госпитализации. Мои мысли были очень далеки от хода игры, на который другие трое, наловчившись, обращали тоже не слишком много внимания, будучи в гораздо большей степени занятыми отслеживанием звонких ручейков пфеннигов и марок, перетекавших из моих в их карманы.

— Играйте, доктор! Ваш ход, — в очередной раз напомнил мне Клостерманн.

Я вытащил карту и шлепнул ею по столу с таким остервенением, будто меня разбирал недюжинный азарт.

Довольно ухмыльнувшись, Клостерманн спокойно бросил сверху свою карту и облегчил мою наличность еще на несколько десятков пфеннигов. Я громко рассмеялся, будто пытаюсь скрыть свое сожаление о проигрыше, а про себя на самом деле подумал: «Развлекайся *здесь* своим *Doppelkopf*-ом сколько хочешь, а я скоро поеду *домой*!»

После игры я намеревался настоятельно порекомендовать Клостерманну начать подыскивать для своего батальона другого врача уже сейчас, но не успел я приступить к развитию этой темы, как он хлопнул меня по плечу и с выражением безмерного счастья на лице произнес:

— Как я все-таки рад, что теперь с нами опытный доктор! Уверен, что в скором времени вам у нас очень понравится.

«Ничего подобного!» — возмущенно подумал я, а вслух сказал:

— Меня довольно сильно беспокоит осколок в моей пятке, герр майор.

— Постарайтесь вылечить свою пятку, пока вы у нас, — с непоколебимым дружелюбием предложил Клостерманн. — Я выдам вам пару валенок самого большого размера, чтобы их можно было обувать даже на забинтованные ноги.

Его практический подход к вопросу чуть было не сбил меня с нужного настроения, но тут он добавил:

— Прошу вас, доктор, не понять меня неправильно — я вовсе не хочу оказывать на вас никакого давления. Поступайте со своей раной как знаете. Вам, как доктору, конечно, виднее.

— Осколок, застрявший в ахилловом сухожилии, — весьма неприятная штука, — продолжал упрямо настаивать я, немного преувеличив степень своих мучений. — Я, конечно, не смогу сказать раньше чем завтра, как поведет себя рана дальше, но, скорее всего, возникнет воспаление. Возможно, даже заражение крови.

Прощавшись и покидая пост боевого управления, я на всякий случай хромотал гораздо сильнее, чем это было действительно необходимо. А когда я доковылял до перевязочного пункта, моя память не без злорадства напомнила мне о Мюллере, который буквально умолял позволить ему остаться вместе с нами на фронте после того как ему оторвало два пальца на

левой руке. Но ведь и ситуация была тогда совершенно иной: Мюллер был среди своих старых товарищей, а не среди едва знакомых людей. Как бы то ни было, но справиться со своей не по делу разошедшейся совестливостью я смог лишь к утру следующего дня.

Тем временем Генрих, не вдаваясь в излишние рассуждения, принялся к подготовке обороны перевязочного пункта со стороны конюшни. Он даже успел уже соорудить из бревен особые баррикады в тех местах, откуда было удобнее всего вести огонь по врагу. Не принимавший в этом никакого участия ординарец штабсарцта Лирова околачивался, ничем особенно не занятый, на перевязочном пункте. Когда я, вдобавок к этому, узнал, что он даже не пытался отыскать тело своего офицера для того, чтобы предать его подобающему захоронению, меня захлестнула волна яростного гнева.

— Убирайся отсюда! — прикрикнул я на него. — Перерой хоть все пепелище старого перевязочного пункта, но найди тело герра штабсарцта! Если даже от него осталась лишь одна зола — принеси ее. Хоть один палец с его тела — но чтобы мы смогли похоронить его так, как он того заслуживает!

Выпроводив мерзавца на улицу, я устало присел и задумался о прелестной жене и ребятишках Лирова, чью фотографию он с такой радостью и гордостью показывал мне всего какие-то две недели назад.

Ординарец вернулся уже через несколько минут.

— Я ничего не нашел, — упрямо потупившись, доложил он.

— Пошли со мной, — мрачно ответил я, чувствуя, что вот-вот могу взорваться.

Поддерживаемый с одной стороны Генрихом, я захромал к сгоревшему дому. Ординарец угрюмо плелся сзади. Останки Лирова мы отыскиали почти сразу под первой же грудой обгорелых бревен.

— Бери и неси, — приказал Генрих, наподдав ординарцу сзади увесистого пинка.

Ранним утром, еще задолго до рассвета, противник предпринял энергичную атаку, в результате которой некоторые красные прорвались почти к самому перевязочному пункту. Они были уже буквально в тридцати метрах от нас. В свирепую рукопашную схватку вступили все, кто был поблизости, включая медицинский персонал и не слишком тяжело раненных. Русских отбросили. Чуть позже я узнал о том, как в самый критический момент боя один унтер-офицер, получивший к тому моменту жесточайшее обморожение обеих ступней, попросил поднять его вместе с его пулеметом на чердак одного из домов. Несмотря на нечеловеческую боль и полуобморочное состояние, он поливал оттуда врага своим смертельным огнем до тех пор, пока у него не вышли все патроны. Когда мне стало известно вдобавок, что этого унтер-офицера ждут дома жена и трое детей, мне стало невыносимо стыдно за свое пусть и небольшое, но все же малодушие.

К рассвету враг был выбит из Гридино полностью. И с рассветом же улетучились мои мечты о скором возвращении домой. С помощью Генриха я провел местную анестезию своей левой ступни и без особых затруднений извлек осколок из пятки. Так моя судьба оказалась связанной на некоторое время с 3-м батальоном 37-го пехотного полка.

* * *

Следующие десять дней оказались сущим адом: стремясь прорвать нашу линию обороны и открыть себе таким образом путь на Ржев и Смоленск, русские обрушили на Гридино нескончаемую череду следовавших один за другим ударов. Для отражения всесокрушающего натиска русских был задействован весь фронт Группы армий «Центр». Гридино находилось как раз на остром изгибе кривой вокруг Ржева и к тому же являлось ближайшей к Москве точкой всего фронта — так что ему доставалось особенно. С пункта боевого управления майора Клостерманна была видна, однако, лишь постепенно уменьшавшаяся от разрушений и пожаров деревня. Мое поле зрения было и того уже — от перевязочного пункта до громадного колхозного амбара, расположенного в сорока метрах позади дома. На какое-то время этот амбар стал нашей самой главной головной болью.

8 января русские захватили его снова, и каждый из нас, кто мог держать в руках оружие: санитары-носильщики, некоторые раненые, Генрих и я сам, — выбежали на мороз, готовые схватиться с ними за наш перевязочный пункт в жестоком рукопашном бою. Еще у нас была небольшая мелкокалиберная пушка, из которой мы принялись лупить по амбару прямой наводкой. Проку от этого, впрочем, было не слишком много, поскольку ее снаряды, ударяя в массивные стены амбара, теряли основную часть своей убойной силы, а их осколки и вовсе не проникали внутрь. Враг значительно превосходил наш маленький отряд числом, и мы уже начинали было подумывать о самом худшем, как появился Клостерманн с группой своих людей, и в результате нашей совместно проведенной контратаки красные были выбиты из амбара. Очередная атака русских, предпринятая ими ночью, очень быстро захлебнулась, встретившись с нашим концентрированным заградительным огнем из ручных видов оружия, подкрепленным залпами наших тяжелых 21-сантиметровых орудий. Ближе к утру русские отплатили нам с безопасного расстояния тоже довольно ощутимым артиллерийским обстрелом.

Закончился этот артобстрел примерно в 5 утра, и как только наши уши немного попривыкли к «оглушающей» тишине, мы услышали, что с востока к нам опять приближается огромная и пронзительно вопящая «Ура-а! Ура-а!» толпа красных. Вот — судя по воплям на пределе возможностей голосовых связок — они уже где-то рядом с амбаром. Взвившаяся в небо осветительная ракета выхватила из мрака довольно густую и большую толпу бегущих красных. Мы разом открыли по этой надвигавшейся на нас зловещей массе шквальный огонь из всех наших автоматов и винтовок. Скошенные нашими пулями, русские падали дюжинами, и их тела тут же втапывались в снег бежавшими следом за ними. Колхозный амбар снова перешел в их руки, но на этот раз мы забросали его гранатами из гранатометов. Выбегая из него с дикими криками наружу, русские попадали прямо под наш прицельный огонь. Чуть было не завязалась рукопашная, но тут вдруг все оставшиеся в живых русские, не сговариваясь, как один рванули обратно на восток под покров тьмы.

Некоторые из наших людей осторожно вошли в амбар. По всему полу валялось множество убитых и раненых красных — жертв гранатных осколков, а в одном из дальних углов амбара... совершенно не обращая никакого внимания на то, что происходит вокруг них, обнявшись друг с другом и размахивая в такт руками, хрипло горланили какую-то песню еще двое русских. Тут мы вдруг поняли, что эти двое просто-таки вдребезги пьяны! От наименее тяжело раненных мы потом узнали, что, комиссары, начиная уже впадать в отчаяние от неспособности Красной Армии прорвать наши линии обороны ночными атаками, выдали своим солдатам невероятно огромное по сравнению с обычными боевыми 100 граммами количество спирта, а когда те основательно набрались им — отправили их в атаку.

Когда наше первое удивление от увиденного прошло, мы разглядели и другую, еще более гротескную картинку: в другом углу, пытаясь укрыться во мраке за какими-то сельскохозяйственными агрегатами, тряслись от ужаса две довольно преклонного возраста старухи — они были укутаны в такое количество одежды, что поначалу мы приняли их за мужчин. Оказалось, что этих двоих, а вместе с ними еще пятьдесят стариков и старух из занимаемых красными деревень комиссары заставили бежать впереди атаковавших наши позиции красноармейцев. Весь этот щит из живых людей (за исключением двух старух) был сражен в горячке атаки нашим заградительным огнем и втоптан в снег бежавшими за ними невменяемо пьяными красноармейцами. Задумка комиссаров была дьявольски проста — подставить под наши пули пятьдесят бесполезных гражданских жителей вместо пятидесяти солдат. И она сработала... Мы вышли из амбара наружу, и нашим глазам предстало несомненное доказательство этого невероятного злодеяния — в снегу на подступах к амбару было множество трупов беззащитных, невооруженных стариков и старух. Трое из них были ранены, но пока еще живы. Их перенесли на перевязочный пункт вместе с тридцатью нашими ранеными. Убитыми у нас оказалось восемь человек.

По мере того, как вражеская артиллерия сжигала или разрушала своим огнем дом за

домом, наша деревня как бы усыхала и сморщивалась вокруг нас. Бесконечные тревоги держали нас день и ночь в напряжении. На следующий день, 10 января, мы подверглись бомбардировке со стороны Люфтваффе и в результате недосчитались еще девяти убитыми. Мы проклинали наших же летчиков за их глупость и совершенно неуместную точность бомбометания. После этого наш разведывательный отряд из двенадцати человек неожиданно наткнулся в лесу на значительное скопление русских и был практически полностью уничтожен; лишь двое тяжело раненных из его состава смогли каким-то чудом добраться обратно до наших позиций. Было отброшено назад еще две атаки русских; в ходе одной из них наш собственный миномет случайно произвел несколько выстрелов по нашим позициям, в результате чего восемь наших солдат получили тяжелые ранения. Следом за этим русские начали применять свой ужасающий «сталинский орг» и здорово отделали однажды Гридино. Пока «сталинский орг» исполнял свою дьявольскую сюиту, каждый человек в батальоне лежал распластавшись, где бы ни застало его это поистине адское светопредставление, и молился, чтобы на его долю не досталось ни одного из этих смертоносных снарядов. К счастью, в Гридино они надолго не задержались, и «орг» был переброшен на другой участок фронта, чтобы повторить свое выступление и для тамошних «слушателей».

У меня было сильно простужено горло, температура — постоянно повышенная, да и вообще я был абсолютно вымотан. Времени и возможности для хоть какого-то отдыха практически не было, поскольку со следующего дня русские принялись интенсивно обстреливать деревню из крупнокалиберных и противотанковых орудий. В результате попадания одного из таких снарядов была в щепки разнесена пристроенная к нашему перевязочному пункту конюшня. Красные атаковали нас в очередной раз и снова захватили колхозный амбар. На этот раз они сосредоточили особенное внимание именно на перевязочном пункте, и через окна к нам влетело множество их винтовочных пуль. Наши резервные отряды контратаковали русских, и амбар оказался снова в наших руках. Той ночью мы его сожгли — оборонять его было слишком проблематично, и он оказывался полезным больше русским, чем нам. В зареве этого пожарища и при температуре воздуха, достигшей отметки минус пятьдесят градусов по Цельсию, мы вынесли на улицу и тщательно вытряхнули все имевшиеся у нас одеяла. Для ползавших по ним вшам это стало чем-то вроде Варфоломеевской ночи — уже мертвыми, с одеял они падали на снег *сотнями*. Вражеских атак в ту ночь больше не было.

Казалось, что произошло невозможное: последовательно отбив одну за одной все атаки русских, мы вынудили врага прибегнуть к осуществлению какого-то другого плана действий. Весь следующий день, 12 января, длинные колонны Красной Армии двигались маршевым порядком на запад в обход Гридино — всего в пяти километрах от нас. Нескончаемые колонны перемещались по белой, как лист бумаги, равнине длинным грязно-бурым потоком. Будь у нашего батальона артиллерия — мы могли бы причинить им своим прицельным огнем немалый урон с такого расстояния. Наши более удаленные артиллерийские батареи обстреливали их в течение всего светового дня, и время от времени их снаряды попадали не только в целинные снега по бокам от дороги, но и по маршировавшим колоннам. В такие моменты наблюдавший за этим в бинокль Клостерманн удовлетворенно улыбался и приговаривал: «Наша задача — держать оборону в Гридино, а вступать в бой с теми, кто проходит мимо нас, в нашу задачу не входит. Сегодня вечером сможем спокойно, ни на что не отвлекаясь, поиграть в *Doppelkopf* ». И все же ему — так же как и всем нам — было прекрасно известно, что применение русскими новой тактики может означать для нас в недалеком будущем только еще более серьезные проблемы. Было совершенно очевидно, что они намереваются обойти с фланга западную оконечность «линии Кёнигсберг» и попытаются взять Ржев с тыла. И все же мы сидели и играли в *Doppelkopf*.

На следующий день, 13 января, стало ясно, что для того, чтобы мы не скучали, Красная Армия оставила в тылу некоторые из своих частей. Атаки с востока возобновились. За этот день враг оставил на полях перед нашими позициями более трехсот убитых; наши потери

убитыми составили сорок один человек. Однако такие несоразмерно малые потери с нашей стороны, могущие показаться при сопоставлении с потерями врага очень даже в нашу пользу, в действительности были для нас очень тяжелы — гораздо тяжелее, чем мы могли вынести. Подобная война на истощение постепенно, но верно пожирала батальон Кпостерманна — точно так же, как она постепенно истощила силы нашего 3-го батальона. Потери русских — если уж на то пошло — и должны были быть, грубо говоря, раз в десять больше, чем наши, поскольку мы вели огонь с подготовленных позиций, тогда как русские каждый раз шли на него по открытым заснеженным пространствам.

Легко раненным пришлось опять принять участие в защите перевязочного пункта — вплоть до рукопашных схваток, — да и я в который уже раз был вынужден забыть на время о своих прямых врачебных обязанностях и занять свое место среди сражающихся с оружием в руках. По части организации нашей собственной обороны перевязочного пункта Клостерманн в конце концов стал полагаться на меня полностью — так же, как в свое время и Кагенек с Ламмердингом. У нас в основном вполне получалось справляться со всем этим, и в первую очередь — в результате вдохновляющего примера со стороны самого медицинского персонала, а также благодаря хитроумным оборонительным укреплениям, организацию которых добровольно взял на себя Генрих.

14 января русские атаковали нас дважды, и все места, оставшиеся после вчерашних раненых, уже полностью эвакуированных, оказались занятыми следующей партией из тридцати раненых — оставалось лишь заменить соломенные подстилки на свежие. А вечером того дня с подступов к нашим позициям было убрано двести пятьдесят трупов русских, представлявших собой ложные мишени, которые только мешали бы нам при отражении следующей атаки.

Из Малахово было получено донесение: *«Русские прорвались через позиции 1-го батальона 58-го пехотного полка в районе Раминцы. В контратаку были брошены остатки 3-го батальона 18-го пехотного полка. Русские были отброшены назад. В ходе контратаки погиб командир батальона гауптман Грамински. Командование 3-м батальоном возложено на гауптмана Ноака»* .

Значит, наша старая шайка была снова в бою! И теперь ее командиром — уже шестым по счету за последние четыре недели — стал Ноак: Нойхофф, Кагенек, Ламмердинг, Бёмер, Грамински и теперь Ноак.

Одновременно была доставлена копия донесения из расположенного в Ржеве штаба дивизии: *«Прорыв русских у Ржева отражен. Но значительные силы русских совершили еще один прорыв у нас за спиной, в тринадцати километрах к западу от Ржева. Сложившееся положение представляется угрожающим»* . Это было последнее донесение, доставленное в Гридино в дневное время из Малахово. На следующий день, 15 января, русские оборудовали свои опорные позиции в лесах по правую и по левую стороны, а также прямо перед нами и стали в значительной мере контролировать дорогу, связывавшую нас с тылом, а также периодически забрасывали оттуда Гридино минами из минометов. Теперь для того, чтобы иметь возможность попасть в Малахово, приходилось дожидаться темноты, но даже и тогда никто не был наверняка уверен в том, что дорога не будет на этот раз заблокирована русскими. Полевой кухни к тому же в Гридино не было, и еду доставляли нам из Малахово с наступлением темноты. Раненые и мертвые перевозились по этой дороге также ночью, а ведь температура воздуха при этом была минус сорок пять градусов!

В одну из таких ночей к нам наконец прибыло подкрепление. Это были люди из строительных частей, из железнодорожных частей, откуда угодно, вплоть до музыкантов из полкового духового оркестра — лишь бы хоть как-то укрепить нашу обороноспособность. Эти «солдаты» не имели абсолютно никакого боевого опыта, а многие из них даже не представляли, как обращаться с оружием. К нам были направлены специалисты по самым разнообразным тыловым работам: инженеры, архитекторы, каменщики, геодезисты и т. д. В качестве пушечного мяса годился любой, лишь бы у него имелась пара неотмороженных ног и пара рук, способных держать оружие: Гридино должно было быть удержано любой ценой.

Моя рана на ноге нагнаивалась, отдохнуть толком не было никакой возможности. Оставшиеся не разрушенными дома в деревне были забиты людьми настолько, что лечь и вытянуться там в полный рост было просто негде. И всегда было полно работы — либо по оказанию первой помощи новой партии раненых, либо по эвакуации «старых», т. е., как правило, вчерашних.

Под покровом предрассветной мглы русские атаковали нас снова, и в бой против них была брошена эта почти не организованная толпа только что прибывших несмышленишек. Все эти высококвалифицированные в своих областях специалисты просто не имели практически никакого шанса на благополучный для себя исход, поскольку не обладали самой главной и единственно необходимой для выживания квалификацией — боевым опытом. Если, например, мы открывали по русским огонь из темноты, то сразу же вслед за этим старались перебежать на другую позицию, пригнув пониже голову. Новобранцы, каковыми они, по сути, и являлись, еще не постигли таких тонкостей ведения боя и проявляли фатальную для себя наивность буквально на каждом шагу. Они отважно отстаивали выбранный ими же самими клочок земли и упорно стреляли из одного и того же места, обнаруживая свое местонахождение с точностью, достойной лучшего применения, и становясь таким образом удобной мишенью для более опытных красных. Короткая прицельная очередь из русского автомата — и одним нашим новичком меньше. С наступлением рассвета 16 января мы просто выбились из сил, оттаскивая с поля боя четыре сотни русских трупов. Переключка «подкрепления» показала, что из 130 человек, прибывших к нам двенадцать часов назад, двадцать человек ранено, а 84 (...) убито.

Над Гридино повис еще один короткий день, который был в гораздо большей степени сумрачным, чем световым. У нас почти кончился керосин для ламп, совершенно необходимых на перевязочном пункте. Растворив по совету какого-то химика в бензине побольше пищевой соли, мы попробовали заправить лампы этой хитроумной смесью. Свет они при этом давали довольно скудный, но все же это было лучше, чем совсем ничего. При таком вот неустойчивом мерцании этих ламп мы и производили все перевязки, переливания крови и даже не слишком сложные хирургические операции, с которыми могли справиться своими силами. С возобновлением наших ночных перемещений по дороге Гридино — Малахово мне в помощь прислали молодого врача. Он сообщил мне, что оберст Беккер серьезно болен — по всей видимости, пневмонией. На следующий день, 17 января, я попросил моего молодого коллегу побыть немного моим заместителем на то время, пока я съезжу проведать Беккера. Мороз немного смягчился, и я очень надеялся на то, что мой смертельный номер, состоявший в дневном переходе из Гридино в Малахово, пройдет без встречи с русскими.

По здравом рассуждении мы с Генрихом вначале все же дождались наступления вечерних сумерек и лишь затем отправились в путь. Примерно на полпути по довольно узкой дороге, обрамленной с обеих сторон глубокими сугробами, мы заметили, что со стороны Малахово к нам приближаются по ней санная повозка и пятеро солдат. Мы были уверены, что это не русские, поскольку из Малахово они ехать просто не могли. Однако эти пятеро были вовсе не так уверены в том, что мы — немцы. Остановившись в отдалении, они требовательно крикнули нам: «Пароль!»

— Франкфурт! — выкрикнул я в ответ, прекрасно зная, что это вчерашний пароль, и надеясь на то, что это позволит нам подойти ближе, а там уж объяснить, что сегодняшний пароль нам просто не успели сообщить.

— Поднимите руки вверх! — крикнул один из пятерки.

Мы с Генрихом медленно подняли руки и оказались пленниками парашютистов-десантников. Они приказали нам забраться в сани и повернули обратно на Малахово, недвусмысленно направив два своих автомата прямо нам в животы. Однако когда я ввернул по дороге в свой монолог чрезвычайно грубое и типично немецкое выражение, это вроде бы более или менее убедило их, что мы, *возможно*, все-таки немцы. В любом случае дула их автоматов были теперь направлены на нас гораздо менее угрожающим образом. Они

доставили нас к своему командиру в Малахово, который узнал меня и принес извинения за произошедшую ошибку. Я искренне поблагодарил его за возвращение нам статуса германских граждан, а также за то, что нас подвезли на санях. Если не считать наставленных на нас автоматов, это было все же намного приятнее, чем идти пешком.

Первым же делом я немедленно отправился осмотреть оберста Беккера. У него действительно была пневмония с сильным воспалением левого легкого. Состояние Беккера было, без натяжек, очень тяжелым. Я обещал зайти к нему еще раз утром.

Когда я появился на пункте боевого управления 3-го батальона, все мои старые друзья крепко спали. Но Ноак и престарелый оберштабсарцт Вольпиус, каким-то образом оказавшийся за время моего отсутствия обратно в батальоне, оказали мне весьма радушный прием. От чашки кофе я отказался, сделал несколько глотков прокипяченной воды из растопленного снега и с огромной благодарностью растянулся на уютно похрустывавшем соломенном тюфяке. Мне необходимо было поскорее забыть о Гридино хотя бы на какое-то время.

Стальные челюсти капкана

Однако когда я внезапно очнулся от мертвецки крепкого сна, Гридино было все еще со мной. Я потянулся затекшими конечностями, прислушался к мирной тишине раннего утра и вдруг резко спохватился, будто ведром ледяной воды окатили: ведь с наступлением темноты я должен снова вернуться в этот эпицентр ужаса и страданий. И все же думать о Гридино сейчас было совершенно не время. Повалившись еще несколько минут на своем соломенном лежаке, я позволил себе несколько сомнительное удовольствие предаться своим меланхолическим размышлениям. Все они все равно упрямо возвращались к Гридино, к этой полуторакилометровой полоске фронта, на которой начиная со 2 января распрощалось с жизнью более трех тысяч человек — как немцев, так и русских.

Насколько по-другому было все в Малахово, а ведь всего-то пять километров от передовой! Это была какая-то совершенно иная реальность, мирная обстановка которой нарушалась лишь время от времени взрывами разве что нескольких бомб, беспорядочно сброшенных каким-нибудь одиночным русским самолетом. Старый оберштабсарцт Вольпиус мог совершенно спокойно укладываться спать каждый вечер, пребывая в практически полной уверенности, что его храп не будет прерван до самого утра. Он спал сейчас прямо надо мной, удобно устроившись на печи, и пока я пытался справиться со своим довольно мрачным настроением, это происходило как раз под оглушительный аккомпанемент этого самого его храпа — низкого, тяжелого и абсолютно ничем не нарушаемого. Крики «Тревога!», зверские ночные морозы, серебристое сияние осветительных ракет, рукопашные схватки, налитые кровью глаза врага — все это было не для него. Красным, подумал я, сейчас, пожалуй, даже хуже, чем нам. Их снова и снова бросают в атаки по заснеженным полям, и каждый раз они как минимум натыкаются на яростный перекрестный заградительный огонь, а как максимум — встречаются лицом к лицу с решительным противником, с людьми, ставшими теперь умелыми подручными смерти. Решительные лица с застывшим взглядом, зоркие глаза, быстро и умело прикидывающие расстояния и углы прицеливания, — любая встреча с ними сулила мало чего хорошего. Русским приходилось теперь воевать против непоколебимо уверенных в себе солдат, научившихся применять свое оружие не иначе, как с отточенным артистизмом: они, например, с безошибочной холодной расчетливостью держали в своих руках гранаты с уже активированным запалом до тех пор, пока оставалось время только на то, чтобы она долетела до цели, — причем взрывалась она точно над головами русских. И это было уже, пожалуй, не просто умелым, но *искусным* убийством. Сегодня вечером мне снова предстоит стать частью всего этого. Душное помещение перевязочного пункта наполнится стонами раненых и зловонием, мои руки будут по локти в их крови, которую мне предстоит не раз останавливать в ходе этой моей личной битвы со смертью и болью. А затем я буду с

автоматом в руках защищать наш перевязочный пункт с тыла, оттуда, где раньше была конюшня. И кто знает, сколько моих пуль достигнет цели... Одни и те же руки будут бороться за жизнь, а затем убивать, и все это почти одновременно. Но смерть врага больше не отягощает душу, а хорошо перевязанная рана или тем более спасение жизни товарища прекрасно восстанавливают душевное равновесие. Ведь должно же сохраняться хоть какое-то равновесие в мире, в котором, как известно, наблюдается весьма острый его дефицит!

Старый Вольпиус продолжал храпеть все так же ритмично и невозмутимо. Он проспал и прохрапел таким вот образом уже четыре недели. Его бездеятельность и полная бесполезность были столь выдающимися, что являлись своеобразными гарантами его безопасности. Гридино не представляло для него решительно никакого интереса. А если и представляло, то разве что в той связи, что ему нравилось успокаивать себя тем, что фронт где-то в стороне, что он удерживается, и, соответственно, можно спокойно поспать еще одну ночь. Храп старого оберштабсарцта плавно перешел в крещендо, затем он пару раз всхрюкнул и проснулся. Не спеша спускаться с печи, он потянулся за своими очками с толстенными линзами.

— Что-то у меня появился какой-то зуд, — безо всяких предисловий раздраженно объявил он вместо обычного для таких случаев «С добрым утром». — Надеюсь, вы принесли с собой не слишком много вшей, доктор.

Его рука исчезла под одеялом, и Вольпиус принялся энергично чесаться.

— Возможно, несколько фронтовых вшей помогут укрепить такие чувства, как единство и товарищество.

— Не хотите ли вы сказать, что здесь у нас нет никакого фронта?! — тут же огрызнулся он. — Могу сообщить вам, что, например, не далее как этой ночью здесь у нас был изрядный артиллерийский обстрел, а еще нас обстреляли из пулемета с вражеского самолета, а еще, с него же, на деревню было сброшено несколько бомб. Но вы так крепко спали, что ничего этого даже не заметили, — с надменной гримасой закончил он.

К девяти утра я уже стоял у кровати больного оберста Беккера. Эту ночь он провел более-менее сносно, но тщательный осмотр подтвердил мой первоначальный диагноз. Это была пневмония.

Он решил, что остаться в Малахово будет для него лучше, чем ехать на лечение в Ржев, а до тех пор, пока он не поправится, распорядился передать командование полком майору Хёку. Мне же было приказано оставаться в Малахово в качестве его лечащего врача. Выйдя после этого на улицу и заслышав в отдалении грохот боя, я только в тот момент осознал, что нам с Генрихом не нужно возвращаться в Гридино! По крайней мере, до тех пор, пока здоровье оберста Беккера не придет в норму. Теперь, находясь в пяти километрах от передовой, мне даже не терпелось немного поиграть роль бывалого фронтового вояки, а также разделить все «опасности и лишения» жизни в Малахово вместе со старым Вольпиусом. Сияя довольной улыбкой, я поспешил в штаб Ноака, чтобы доложить ему о своем новом назначении.

Ноак и сам был чрезвычайно обрадован тем, что я снова стану врачом 3-го батальона. Жалкая перепуганность Вольпиуса от одной только мысли о том, что его могут отправить вместо меня в Гридино, была просто-таки душераздирающей: ведь два офицера медицинской службы на сто человек личного состава — это действительно было чем-то неслыханным. Ноак высказал мысль, что мне стоит в ближайшее время каким-то образом убедительно подтвердить свою незаменимость в Малахово, а маленький Беккер тут же подсказал и решение.

— В тыловых деревнях царит абсолютный хаос, — сказал он. — Они переполнены гражданскими беженцами; их набивается по двадцать пять-тридцать человек в один дом. Еды на всех, конечно, не хватает. К тому же половина из них — больные, в основном простудными заболеваниями, и в том числе наверняка вирусными, а ютятся все в одних и тех же помещениях со всеми остальными. Кошмарный хаос! Почему бы вам, Хайнц, не взять на

себя что-то вроде опеки над ними? Я бы даже постарался выделить вам для этого лошадей.

Однако за несколько дней до того, как мы с маленьким Беккером вознамерились воплотить этот план в действительность, начали происходить гораздо более существенные события. Вокруг Малахово стали разворачиваться тяжелые кровопролитные бои, в результате которых судьба Ржева, да и каждого немецкого солдата в этом секторе повисла на волоске: Красная Армия совершала масштабный обходной маневр на окружение с запада и других направлений и уже захватила нашу жизненно важную коммуникацию — железнодорожное сообщение между Вязьмой и Ржевом — в районе Сычовки.

Итак, русские постепенно окружали нас, а над Малахово разразился тем временем сильнейший снегопад. Вдобавок к этому с северо-востока на нас ринулись ужасные снежные бури, блокировавшие все дороги и обездвижившие вообще все вокруг. Наши запряженные лошадьми снегоочистительные плуги не справлялись с этим невероятным количеством снега, и практически все наши солдаты с утра до вечера расчищали лопатами дороги, по которым нам подвозились боеприпасы и продовольствие. 22 января, когда фронт вокруг Малахово опять засверкал и зарокотал взрывами, из штаба дивизии пришло сообщение о том, что положение вокруг Ржева приняло крайне критический характер. Теперь командиром нашей дивизии был генерал Гроссманн, сменивший на этой должности Аулеба в ходе отступления от Москвы. Внешне Гроссманн совершенно не соответствовал своему громкому имени — это был довольно низкорослый, но вместе с тем чрезвычайно энергичный человек.

На следующий день новости были еще того хуже. Семь русских армий под предводительством маршала Жукова стремительно сминали нашу линию обороны с очевидным намерением завершить окружение осажденных германских войск в районе Ржева. Противостоя остатками своих сил этому невероятному натиску, наша 86-я дивизия продолжала оборонять железнодорожное сообщение между Вязьмой и Ржевом, уже захваченное на некоторых участках русскими. Гридино представляло собой самый северо-восточный бастион немецкой линии обороны. На карте это выглядело как вызывающе оттопыренный палец, раз за разом яростно атакуемый русскими. Казалось, что так долго удерживать Гридино просто нереально. Но генерал Модель, сменивший Штраусса на должности командующего 9-й армией, был человеком не только чрезвычайно решительным, но и на удивление изобретательным. Для начала он издал общий по 9-й армии приказ, гласящий о том, что врагу не должно быть уступлено ни одного метра земли, за что приказывалось сражаться до самой последней капли крови самого последнего солдата. Затем он организовал контратаки всесокрушающему натиску русских с применением «временных противотанковых подразделений» — наскоро сформированных отрядов, оснащенных противотанковыми артиллерийскими орудиями, всеми имеющимися в распоряжении зенитными орудиями, ну и, разумеется, всеми остальными видами огнестрельного оружия. Эти отряды бросались на врага с конкретной целью: полностью освободить от него железную дорогу на Вязьму — единственное оставшееся у нас к тому времени наземное сообщение с родиной. Если бы мы лишились этой жизненно важной для нас коммуникации, 600 000 германских солдат и офицеров оказались бы в окончательно замкнувшемся вокруг них стальном кольце русских. Мы, конечно, продолжали бы сражаться до последнего, пока у нас не иссякли бы все боеприпасы и продовольствие, а дальше — неизбежный конец.

25 января случилось вдруг чудо. Для поддержания морально-боевого духа личного состава 6-й дивизии в Малахово из Биельфельда прибыли потрясающие подарки.

Это были праздничные угощения, отправленные нам Райнекингем — нацистским крейслейтером этой области, который раньше был приписан ко 2-му батальону 18-го пехотного полка в качестве рядового солдата. Еще перед самым финальным ударом по Москве он был переведен в Германию на партийную работу, а теперь не без некоторой лживости засыпал нас невообразимым количеством сигарет, сигар, ликеров и натуральных немолотых кофейных зерен.

— Приговоренным всегда дают хорошенько набить себе утробу перед самой смертью, — угрюмо прокомментировал это Вольпиус.

Но теперь, когда мы как следует передегустировали все ликеры, а на огне закипал самый что ни на есть настоящий кофе, мы почувствовали в себе гораздо меньше готовности к пусть и геройской, но все же гибели. Во многих посылках было даже порядочное количество штайнхегера — излюбленного напитка вестфальцев и липперляндцев.

— Если до нас дошли кофе и выпивка, то дойдут и боеприпасы, — оптимистично резюмировал Ноак.

В тот вечер все мы так основательно набрались, что положение вокруг Ржева стало представляться нам почти в розовых тонах.

Видимо, для того, чтобы наполнить чашу нашего счастья до краев, фронт вокруг Малахово заметно поутих. Ноак даже пошутил по поводу того, что русские, будучи сами большими любителями выпить и повеселиться, великодушно решили оставить нас разочек в покое и не мешать и нашей пирушке. Оказалось, однако, что, как и раньше, они просто перебрасывали в тот момент свои войска на запад, где имели больший успех, который требовалось закрепить. Нескончаемые колонны красных обходили Гридино стороной, направляясь к тылам наших позиций у Ржева.

«Линия Кёнигсберг» была удержана. Удержана ценой огромных наших потерь, но враг так и не прорвал ее ни в одном месте, а на каждого погибшего немецкого солдата пришлось по десять погибших русских.

Нина Варварова

Оберст Беккер быстро шел на поправку, и я почувствовал, что, чтобы не быть отправленным обратно в Гридино, мне пора продемонстрировать свою незаменимость и в каких-то других направлениях. Маленький Беккер раздобыл для меня серую кобылицу по имени Веста и передал ее мне вместе с шутливым удостоверением на право собственности, в котором указывалось, что Веста теперь принадлежит мне и что по окончании военных действий, а также в признание моих служебных заслуг мне будет разрешено забрать ее с собой обратно в Германию. Несмотря на свою призрачность и отдаленность во времени, вероятность того, что и лошадь и я останемся в живых, все же впечатлила меня.

Веста была самой лучшей лошастью из всех, что у меня когда-либо были. Это было довольно проворное животное среднего роста, очень кроткого нрава и с очень развитым чутьем на опасность. Когда инстинкт подсказывал ей, что впереди находится что-то, могущее представлять для нас угрозу, она коротко всхрапывала, останавливалась как вкопанная, а затем обходила опасное место стороной. На следующее утро я взобрался на нее верхом и отправился в свой объезд по тыловым деревням, предварительно связавшись и уговорившись о встрече с начальником медицинской службы нашей дивизии, оберфельдмаршлом Грайфом, которого не видел с самого начала отступления от Москвы. Внимательно выслушав мой подробный доклад о проделанной работе, он попросил, когда у меня будет для этого время, тщательно проанализировать весь мой опыт фронтового врача в зимних условиях ведения боевых действий и обобщить его в виде небольшой брошюры для использования в Германии при специальной подготовке врачей перед отправкой в Россию.

В главной тыловой деревне я разыскал фельдфебеля нашей медицинской службы и попросил его сопроводить меня по всем домам, в которых обитало гражданское население. В жарко протопленных и душных избах я обнаружил действительно невообразимое количество беженцев, и в результате лишь беглой поверхностной проверки было обнаружено сразу два случая сыпного тифа. Больные лежали прямо среди пока еще относительно здоровых, которые в своем ослабленном состоянии были особенно подвержены инфекциям. Острый недостаток белка в так называемом «рационе» этих измученных голодом людей проявлялся, например, в многочисленных случаях отеков ног. Вследствие авитаминоза у многих детей наблюдались явные признаки рахита. Из-за несбалансированности питания кормящие матери не могли производить молоко ни в достаточном количестве, ни необходимого качества. Одним словом, с медицинской точки зрения условия обитания во всех домах,

занятых гражданскими жителями, были просто-таки плачевными. Когда я разъяснил фельдфебелю все опасности, которыми чревата выявленная мной неорганизованность в условиях проживания, он сообщил мне, что здесь имеется некая молодая русская женщина, студентка-медик, которая по собственной инициативе помогает своим соотечественникам. Ее имя было Нина Варварова, и фельдфебель добавил, что за эту ее добровольную деятельность ей один раз в день выдают бесплатный пищевой паек на немецкой полевой кухне.

— Та-ак, понятно! Значит, эта молодая особа уже сумела заставить работать на себя не только тебя, но и кухонных буйволов. Из того, что я увидел, я могу заключить, что она не слишком-то старается отрабатывать свое бесплатное питание.

— Это очень хорошая девушка, герр ассистензарцт! — принялся с жаром и искренней убежденностью защищать ее фельдфебель.

— Покажите ее мне.

Фельдфебель отвел меня в дом, забитый, как и остальные, совершенно невероятным количеством людей, и указал мне на сидящую у огня высокую девушку лет двадцати. Тряпочкой, смоченной в теплой воде, она умывала лицо пожилой крестьянке. Одета она была в обычную блузку и юбку из грубой материи, которые, несмотря на свою простоту, лишь подчеркивали прекрасные формы ее тела. Вот она, закончив умывать старуху, с явным облегчением поднялась от печи и, еще пока не заметив пристального внимания к себе с нашей стороны, сделала несколько шагов по душной и зловонной комнате и присела к кому-то еще. Я невольно отметил про себя, что выглядит она вполне здоровой и даже упитанной — благодаря, несомненно, немецкой полевой кухне.

Увидев нас, она встала и, не меняя выражения лица, спокойно поджидала, пока мы подойдем к ней. Ничего такого особенного, из-за чего ее можно было бы считать красавицей, решил я опять же про себя. Высокие скулы, чистая кожа лица и еще кое-какие более тонкие характерные особенности, которые обычно отмечают *про себя* ценители красоты отдельных русских женщин. Небрежно свисавшие на плечи длинные прямые волосы соломенного цвета были, однако, чисты и тщательно расчесаны. Сквозь тонкую ткань дешевой блузки угадывалась грудь прекрасной формы, совершенно не знакомая, по-видимому, ни с каким нижним поддерживающим ее бельем. При всем этом она обладала еще и какой-то удивительно естественной грацией. Как я уже отметил, она не была красавицей в общепринятом понимании, но все же имела некий совершенно особенный магнетизм... Глаза! — вдруг понял я. Это были глаза кошки... или кого-то из семейства кошачьих... да, глаза пантеры. В какое-то мгновение мне даже показалось, что в них промелькнуло пренебрежительное «попробуй-дотронься-до-меня-если-не-боишься», а ярко-красные губы искривились в еще более презрительную линию. Я непроизвольно отвел взгляд, а фельдфебель как раз в этот момент шепнул мне из-за плеча, причем, по-моему, уже второй раз:

— Она говорит по-немецки.

Девушка стояла все так же неподвижно, все в той же полной самообладания позе, но чувствовалось, что все ее тело замерло в напряженном ожидании.

— Вы хорошо говорите по-немецки? — наконец спросил я с неожиданной дрожью в голосе.

— Не слишком, — ответила она слегка охрипшим голосом и с очень милым акцентом.

— Она говорит по-немецки очень хорошо, — нашел нужным вставить фельдфебель, — а понимает так вообще все.

— Я вижу, фельдфебель, вы очень хорошо осведомлены об этой особе, — повернувшись к своему провожатому, язвительно и не слишком дружелюбно улыбнулся я, и хотя выражение ее лица нисколько не изменилось, я знал, что моя ирония не ускользнула от нее.

— Вы действительно изучали медицину? — продолжил я свои вопросы.

— Два года в Москве, — и правда довольно бегло и уверенно ответила она все с тем же

очаровательным акцентом. — Но все занятия прекратились, как только немцы подошли слишком близко. Вообще все прекратилось.

— А почему вы здесь, а не в Москве?

— Я сбежала, когда в конце октября начались преследования предателей и изменников.

— Сбежали? Хм! Весьма интересно!

— Почему это вам так интересно? — спросила она, довольно вызывающе сверкнув своими кошачьими глазами.

— Потому что я очень интересуюсь всем, что происходит в России, — интересуюсь, девочка моя, для того, чтобы знать, где правда, а где обман.

— Я не ваша девочка, герр доктор, и то, что я говорю, правда.

Я был застигнут врасплох и даже несколько смущен тем, с какой готовностью парировала она мой не вполне изящный намек. Но более всего меня поразило то, что я мгновенно оказался как бы в оборонительной по отношению к ней позиции. Пользуясь тем, что я его не вижу, фельдфебель едва слышно усмехнулся у меня за спиной.

— Я вовсе и не имел в виду, что вы моя девочка, — как-то не слишком убедительно проговорил я в свое оправдание. — Вы здесь — только мой помощник по медицинской части, вот и все, если вы, конечно, знакомы с этой работой. А на чьей вы стороне — на нашей или на стороне красных — будет выявлено должным образом. Учитывая то ужасающее состояние, в котором пребывают эти люди, вам предстоит много работы с ними.

Я замолчал на какое-то время, а затем добавил:

— Я бы хотел, чтобы вы привели здесь все в такой порядок, чтобы уже вскоре мне нужно было появляться здесь не чаще раза в неделю — для того, чтобы удостовериться, что все мои распоряжения выполняются вами должным образом.

— У меня нет даже никаких медикаментов, герр доктор.

— Все, что нужно для работы с больными, вы получите.

Оставшуюся часть дня я говорил с Ниной и фельдфебелем в строго официальной манере, намечая в общих чертах программу их действий и раздавая им конкретные указания. Для размещения больных сыпным тифом должен был быть выделен в качестве изолятора отдельный дом, который надлежало освободить от всех остальных. Нина должна была поселиться в небольшом домике неподалеку от того, в котором мы встретились впервые, и приходить туда для того, чтобы вести амбулаторный прием. Фельдфебелю я приказал выяснить, сколько в деревне имеется коров и коз и какое именно количество молока они производят. Половина этого количества должна была сдаваться Нине, на которую ложилась ответственность за справедливое распределение его среди кормящих матерей.

— Завтра, — строго сказал я им напоследок, — я зайду к вам еще раз днем. Очень надеюсь на то, что к этому времени все мои сегодняшние указания будут выполнены в полном объеме.

В тот вечер ко мне на пост боевого управления заглянул Руди Беккер, и я рассказал ему о тех мероприятиях, которые уже организовал.

— А что вы скажете насчет Нины? — озорно улыбнулся он. — Разве я был не прав?

Ответить на этот вопрос так же прямо, как он был задан, я воздержался:

— Она для меня просто медицинский помощник. Как медицинская сестра в госпитале.

— Конечно, конечно, но медицинские сестры бывают порой чрезвычайно прелестны.

— Разумеется, но врачу не следует уделять этому фактору слишком много внимания, — очень убежденно проговорил я. — Когда я был студентом, руководитель нашей группы часто повторял, что нам вообще категорически противопоказано заводить близкие знакомства с медицинскими сестрами. И он был совершенно прав, — довольно напыщенно продолжал я, не замечая хитрой улыбки маленького Беккера. — Мое отношение к этой молодой женщине будет справедливым и беспристрастным, но ей придется работать.

— Bravo! — воскликнул со смехом Беккер. — Замечательно сказано, доктор! Ни прибавить, ни убавить!

— Послушай-ка, что я тебе скажу, Руди, — продолжил я. — Это просто нелепо и

смехотворно, как эта беженка из Москвы, — если она является таковой на самом деле, — завладела там помыслами всех наших людей. И ты никогда не увидишь меня среди жаждущих снискать ее благорасположение, среди всех этих кухонных буйволов и прочих дураков-артиллеристов, полагающих, что она — их посланная небом покровительница, этакая местная Святая Барбара.

Вошел Ноак с толстой стопкой немецких газет и вырезок из них. Теперь загадка с неожиданными дарами от крейсleitера Биельфельда была разгадана. Оказалось, что он сам же и привез их нам, лично сопроводив этот бесценный груз сигарет, сигар, кофе и ликеров по тряской железной дороге до самого Ржева — теперь уже в звании лейтенанта. Он же привез и эти газеты.

В одной из них сообщалось о смерти обер-лейтенанта Эрбо Графа фон Кагенека, одержавшего шестьдесят семь побед в воздушных боях. Это был родной брат нашего Кагенека — командир истребительной эскадрильи в Северной Африке. Будучи сбитым в ходе своего последнего боя 28 декабря, он скончался затем в госпитале 12 января от полученных тяжелых ран. Моя память перенесла меня в ночь накануне битвы у Шитинково, когда в разговоре со мной Кагенек рассуждал о смерти. Это было как раз 28 декабря, в тот день, когда сбили его брата, а на следующий день был практически убит и сам Кагенек.

Шитинково стало, по сути, концом для 3-го батальона. Со смертью Кагенека в нашем батальоне умерло и что-то еще. Нет, конечно, не боевой дух наших людей; даже когда нас разбивали вдребезги, у нас никогда не было ни одного случая трусости. Если уж быть до конца точным, то поначалу отдельные случаи все же были и в нашем батальоне, но трусы у нас не задерживались, поскольку лучше уж лишиться одного-двух человек, чем если потом они будут сеять панику среди остальных. Я совершенно не сомневался в том, что дома, в Германии, было множество гарнизонов, солдаты которых искренне стремились попасть на фронт, понимая, что место им именно тут, а не там. Но трусость на войне — очень странная штука. Оказавшись на фронте, человек через некоторое время начинал замечать, что ему гораздо труднее сносить презрительные насмешки товарищей, чем идти на пули врага. Откровенно говоря, под действием ослепляющего и лишаящего рассудка страха каждый мог в тот или иной момент обратиться в бегство. Подобные проявления малодушия, разумеется, старались скрывать, а многие, заметив их в ком-либо из окружающих, стремились всячески его высмеять — лишь бы только отвести тень подозрения в трусости от себя самого.

Но нашему 3-му батальону в этом отношении повезло: дух товарищества у нас был развит просто-таки необычайно. Дух все еще оставался, но сам батальон в том первоначальном виде, каким мы его знали, фактически прекратил свое существование. Смерть стала какой-то имперсонифицированной. Списки наших потерь, которые я теперь составлял, были лишь обезличенными цифрами, а не списками погибших друзей, которых хорошо помнишь. Убитые стали лишь идентификационными отметками в журнале потерь, а раненые — лишь хирургической статистикой. Если бы случилось так, что я оставался одним из самых предпоследних оставшихся в живых военнослужащих 3-го батальона перед тем, как погибнуть и им, то ни о каком истинном товариществе, наверное, не было бы уже и речи — во всяком случае, в моем понимании этого чувства.

На передовой было спокойно, и мы той ночью засиделись за разговорами совсем уж допоздна. Пока не иссяк запас штайнхегера, ежевечерние пирушки стали у нас почти узаконенным правилом. С комфортом расположившись вокруг жарко натопленной печи, мы становились во хмелю то эмоциональнее, то меланхоличнее, то сентиментальнее, то вдруг нам становилось до слез жаль самих себя. Так было и на этот раз, когда Ноак принес относительно свежие немецкие газеты. Наши разговоры не особенно интересовали Вольпиуса, и он с достоинством удалился на свою лежанку, после того как мы пару раз откровенно проигнорировали его попытки поразглагольствовать на его излюбленную тему — о войне 1914 года.

На следующее утро — видимо, в результате некоторого легкого похмелья после вчерашних возлияний и заплочных бесед — я был в очередной раз охвачен одержимой

мечтой отправиться домой в отпуск и мысленно перебирал вполне достаточные для того основания. Я мог бы, например, перечислить целый ряд людей, которые уже побывали в отпуске, хотя имели для этого гораздо меньше заслуг, чем я. Мой очередной отпуск должен был начаться еще в середине декабря, сейчас же было уже начало февраля, а о моем законном праве побывать на родине никто и не заикался. Я осмотрел рану на своей ноге. Она все еще нагнаивалась. На мне начинало сказываться нечеловеческое напряжение зимних боев. Я устроил себе детальный самоосмотр и обнаружил выраженную аритмию сердцебиения и явственно различимый шум экстрасистолы в сердце. Вот оно! Такой тревожный предупредительный сигнал проигнорировать уже было нельзя. Аритмия и шум экстрасистолы — благодаря им я мог бы оказаться дома!

Когда я добрался после полудня до нашей базовой тыловой деревни для проверки выполнения моих распоряжений, все было выполнено в точном соответствии с ними. Четверо опасных инфекционных больных (все четыре случая — сыпной тиф) находились в изоляторе. Я разъяснил Нине и фельдфебелю медицинской службы, что теперь мы можем сделать для них уже не слишком многое. Но по крайней мере их можно было вымыть и избавить от вшей — так же, кстати, как и те места, где они лежали до этого. Я предложил проследить за тем, чтобы все гражданские жители вывешивали свою одежду на мороз, когда будет особенно холодно, а также порекомендовал применять порошок «Russia». Но, добавил я при этом Нине, по-настоящему эффективного средства против этого заболевания пока все же не существует. Мы можем лишь способствовать усилению циркуляции крови, давать таблетки «Пирамидона» для ослабления жара и болей в конечностях и применять успокаивающие средства для смягчения нервного возбуждения. Я передал ей привезенные мной медикаменты, и мы отправились взглянуть на рахитичных детишек и беременных женщин. С помощью самой же Нины в качестве переводчицы я объявил гражданским жителям, что, помимо того, что она должна лечить их, они тоже обязаны неукоснительно выполнять все ее распоряжения, а фельдфебелю приказал оказывать ей всяческое необходимое содействие.

За все это время я едва взглянул несколько раз на саму девушку, за исключением, конечно, тех моментов, когда обращался к ней лично, разъясняя смысл тех или иных своих распоряжений. Дело тут в том, что я, к своей полной неожиданности, ясно осознал вдруг, что находиться рядом с ней, просто видеть ее доставляет мне огромное удовольствие. Я заметил также, что в тот день она повязала себе вокруг головы нарядный красный шарф, подчеркивавший миловидность ее лица столь же удачно, сколь и ее длинные волосы пшеничного цвета накануне.

— Теперь все в ваших руках, так что решайте сами, что вам лучше всего предпринять в том или ином отдельном случае, — сказал я ей. — Со своей стороны я обещаю вам полную поддержку. Но мы можем помочь всем этим людям только в том случае, если и они сами будут проявлять должную сознательность и дисциплинированность, а спрашивать за это я буду с вас.

— Я поняла вас, герр доктор, и сделаю все, как вы сказали, — ответила она своим спокойным и слегка хрипловатым голосом.

Смотрела она на меня так же спокойно, как и говорила, но уже без дерзкого вызова, как накануне, в нашу первую встречу. Выглядела она сегодня как-то даже светло и безмятежно, и я не мог не заметить, что ее голос с неподражаемой мягкой хрипотцой и прелестным иностранным акцентом оказывает на меня какое-то просто-таки на удивление успокаивающее действие. Мне нравилась та серьезность, с которой она подбирала правильные немецкие слова, ее несуетливая и очень уверенная манера двигаться по всем этим забитым больными людьми комнатам, ее фигура, ее дивная природная грация. Я неожиданно почувствовал, что хочу узнать побольше о ее прежней жизни, узнать о том, какие мысли, какие воспоминания и какие надежды на будущее скрываются за ее взглядом, обладавшим столь неодолимо притягательной силой.

Я осознал вдруг, что многое отдал бы за одну только возможность провести с ней вечер

в обычной неторопливой беседе у натопленной русской печи, познакомиться поближе, выявить общие интересы — да просто в конце концов побыть несколько часов в компании красивой и интеллигентной женщины.

Обуреваемый подобными размышлениями, я вернулся в Малахово неистовым галопом.

Русский коток

Генрих встретил меня новостью о том, что Тульпин серьезно болен. У него был очень плохой кашель и высокая температура, а сам он жаловался на головную боль и боли в конечностях. Я сразу же отправился на перевязочный пункт и нашел его там в совершенно бредовом состоянии, но так и не смог поначалу определить, то ли это были последствия его болезненного пристрастия к морфию, то ли явный случай сыпного тифа. В течение той ночи я побывал у него еще дважды и в конце концов поставил свой диагноз.

У Тульпина был сыпной тиф.

Дабы не вызвать панику на перевязочном пункте, я никому ничего не сказал, но немедленно отправил его санями в госпиталь с запечатанным посланием оберштабсарццу Шульцу, в котором и был указан поставленный мной диагноз. Тульпин пытался скрыть болезнь до тех пор, пока у него не стали проявляться предательские красные пятна на спине, шее, лбу, руках и ногах. Я тоже помалкивал до этих пор о его пристрастии к морфию и решил навестить его через три или четыре дня в Ржеве, где собирался конфиденциально обсудить его случай с тамошним лечащим его врачом. Отправив Тульпина в госпиталь, я в целях сведения к минимуму вероятности распространения заболевания провел тщательную чистку и обработку против вшей во всем перевязочном пункте.

В штаб батальона только что прибыло донесение из штаба дивизии, датированное 5-м февраля. В нем содержалось разъяснение причин временного затишья в боях на нашем участке фронта. Наша участь решалась сейчас далеко позади нас, где и проходили в данный момент самые тяжелые бои. Огромные силы русских, значительно усиленные многотысячными подкреплениями, проходившими на наших глазах мимо «линии Кёнигсберг» на запад, совершали прямо сейчас массированный прорыв далеко позади железнодорожного сообщения Ржев — Вязьма с явным намерением захватить его полностью, а затем двинуться в северном направлении и таким образом окончательно запереть германские войска в «мешок» в районе Ржева. Ирония судьбы заключалась в том, что мы никоим образом не могли повлиять на развитие этих событий ни тогда, ни тем более сейчас. Нам не оставалось ничего другого, как только сидеть и ждать на удерживаемой нами «линии Кёнигсберг», которая, в случае если бы нас окружили, так и стала бы лишь названием из курса истории этой войны.

Нас, конечно, несколько приободряло то, что северный участок нашего фронта, тянувшийся к востоку от нас, тоже так и не уступил врагу ни единого метра земли, но целью русских было теперь атаковать эту линию с тыла. Крупная группировка кавалерии русских под командованием Горина прорвалась в район боевых действий с северо-запада и соединилась с уже занявшими там свои позиции отрядами партизан в шестнадцати километрах от Вязьмы. Тем временем 29-я армия русских атаковала Ржев с юго-запада и уже достигла окраин той части города, что была расположена за Волгой. Однако в ответ на это нами был применен двойной охват, решительно совершенный, с одной стороны, силами нашей 86-й дивизии при поддержке частей СС и, с другой стороны, силами 1-й бронетанковой дивизии. Маневр был проведен успешно, и в результате вся 29-я армия русских оказалась зажатой в клещи. Вслед за этим к развитию событий подключилась 39-я армия русских, отчаянно пытавшаяся вызволить своих товарищей из окружения. Общее положение получилось в конце концов безнадежно запутанным, но мы знали, что где-то там, глубоко в заснеженных лесах между Ржевом и Белым, под самым носом у многочисленных формирований красных успешно действует уже успевшая прославиться группа нашего Титжена.

И наконец-то мы получили ответ на вопрос, ставивший нас в тупик с тех самых пор, как лег первый по-настоящему глубокий снег: как русские умудрялись перемещать свои войска и технику прямо по снежной целине. Тогда как наше финальное наступление на Москву погрязло в снегах, тогда как наше отступление было буквально привязано к наезженным дорогам, русские снова и снова поражали наше воображение своей чрезвычайной мобильностью и способностью возникать с самых неожиданных направлений. Они неоднократно атаковали нас со стороны казавшихся совершенно непроходимыми заснеженных равнин и были очевидно независимы от известных нам дорог. В этом было что-то не просто мистическое, но даже пугающее. И вот наконец в донесении из штаба дивизии мы прочли объяснение этого таинственного явления. Они выстраивали первые свои колонны в шеренгу по двадцать или даже более человек и просто-напросто посылали их по целине в нужном направлении. Нет нужды говорить, что в числе этих «первопроходцев» силком оказывались и все подвернувшиеся под руку гражданские. Первым несколькими шеренгам, барахтавшимся в глубоких сугробах, приходилось действительно несладко, и через некоторое время они падали в полном изнеможении. Тогда им на смену приходили следующие шеренги, посвежее, а упавших оттаскивали назад. Получалось что-то вроде огромного людского «катка» для утрамбовывания снега. Колонна таким образом не слишком быстро, но постоянно «катила» вперед, и постепенно в совершенно нехоженой целине образовывалась новая, плотно утоптанная дорога. За двигавшимися пешим порядком первыми колоннами следовали легкие грузовики, а за ними шла уже более тяжелая техника и артиллерийские орудия.

Об этом людском снежном «катке» русских мы слышали или догадывались и раньше, но как-то не очень верилось. И все же это был он! Сия военная хитрость была сама простота. Возможно, она даже являлась составной частью подготовки русских, но в наших методических материалах и программах подготовки о ней не было сказано ни слова. А в совокупности вырисовывалась следующая картина: отсутствие подходящей легкой техники, изначальное отсутствие правильной породы лошадей, отсутствие подготовки к сильным зимним морозам, отсутствие зимнего обмундирования, отсутствие медикаментов для лечения болезней, с которыми мы здесь столкнулись, отсутствие своевременной информации о том, как правильно подготовить пулеметы к стрельбе при температурах окружающего воздуха ниже минус сорока, — все это повлекло за собой наше отступление от Москвы, а сейчас и риск быть окруженными и разбитыми под Ржевом.

* * *

Фронт был по-прежнему зловеще тих. Шниттгеру было приказано взять двадцать человек и сменить на выносном оборонительном посту между Гридино и Крупцово находящийся там отряд парашютистов-десантников. Поскольку в том месте не было никаких домов и нашим людям предстояло жить как эскимосам, рассчитывая в качестве укрытия только на глубокий снег, группе Шниттгера было выдано значительное количество брезентовых плащ-палаток и одеял.

Почти каждый день я навещался с проверками в наши тыловые деревни и вынужден был признать, что Нина Варварова — в своей спокойной и несуетливой манере — обеспечила всех больных исключительно хорошим уходом. Мои приказы она выполняла со всей возможной скрупулезностью, а больных сыпным тифом выхаживала так, будто в не слишком отдаленном будущем им предстояло выполнение важного правительственного задания. В один из таких дней моя обычная рутина была прервана появлением саней с несколькими русскими гражданскими. На санях лежала беременная женщина, а сами сани, за неимением лошади, тянул ее муж. Выяснилось, что женщина упала с печи и, сильно ударившись о скамью, сломала себе несколько ребер. Падение вызвало у нее предродовые схватки, и когда мы внесли ее в дом и положили на толстый ворох соломы, мучившие ее боли были столь ужасны, что она почти агонизировала в практически бессознательном

состоянии.

Я немедленно сделал женщине внутривенную инъекцию С.Э.Э. — сходную с той, что облегчила страдания Ламмердинга. Через тридцать секунд ее искаженное болью лицо разгладилось, боль отступила и женщина расслабилась. Роды, хоть и были преждевременными, прошли без осложнений, и вскоре новорожденный мальчик, крестьянский сын, огласил избу здоровыми пронзительными криками. Вошел его дед — сурового вида старик в жалких обносках — и принялся эмоционально благодарить меня, отчаянно жестикулируя при этом руками, и вдруг упал передо мной на колени и принялся иступленно целовать мои валенки. Я отпрянул назад и сказал Нине, чтобы она перевела ему, что я сделал лишь то, что сделал бы на моем месте любой врач, независимо от национальности. После этого все были удалены из комнаты, а Нина осталась с женщиной и ребенком, чтобы помочь им устроиться поудобнее на их соломенном ложе. Ничего, конечно, не понимая, я все же с интересом прислушивался к оживленному диалогу двух женщин. Русский язык очень благозвучен, богат разнообразными голосовыми модуляциями, особенно когда на нем говорила Нина. Ее хрипотца в голосе была просто неподражаема! Мои инструменты были уложены в сумку и я уже собирался уезжать, как вдруг передо мной возникла Нина, будто желая о чем-то спросить.

— Вас что-нибудь беспокоит? — спросил я. — Что именно?

После небольшой, немного нервной паузы она спросила меня, понизив голос:

— Герр доктор, как ваше имя?

Такого вопроса я не ожидал и решил обыграть ситуацию со всей возможной внешней беззаботностью и добродушной веселостью:

— Может, среди русских и принято при первом же знакомстве представляться друг другу по именам, — с улыбкой сказал я. — Есть такая традиция и в Англии, но в соответствии с немецкими понятиями о приличии нам с вами несколько рановато обращаться друг к другу по именам.

Нина залилась румянцем от смущения и несколько последовавших за этим секунд не вымолвила ни слова. Затем, справившись с собой, проговорила:

— Ваше имя хочу узнать не я, герр доктор, а та женщина. Она хочет назвать вашим именем своего мальчика.

Краснеть теперь настала моя очередь.

— Это уже слишком, — пробормотал я. — Бородатый дед кидается целовать мне ноги, самого молодого жителя деревни собираются назвать моим именем, и я впервые вижу, что Нина Варварова умеет краснеть, и все это — в течение всего нескольких часов. Это слишком много.

Нина стояла и молчала, будто не рискуя еще больше усугубить возникшую неловкость.

— Хорошо, Нина, — проговорил наконец я. — Скажите ей, что она может назвать своего сына Генрихом. Надеюсь только, что через двадцать или тридцать лет этот маленький Генрих не пойдет с оружием против моего сына Генриха, если у меня будет сын.

Мне было очень жаль, что я не могу больше ничего сделать для несчастных крестьян. Если бы они были обеспечены необходимым количеством правильной пищи, это было бы для них намного лучше, чем все лекарства, вместе взятые. Больше всего они нуждались в белках — мясе, молоке, сыре. Голод наносит урон человеческому организму довольно методично: вначале исчезает жир, затем для трансформации в энергию начинают использоваться мышечные ткани. При этом организм постепенно отказывается тратить хоть малейшую свою энергию без действительно жизненной на то необходимости. Начинается это с ослабления до минимума сексуальных импульсов. Полные груди молодых женщин ослабевают и уменьшаются в размерах вплоть до полного исчезновения; прекращаются даже менструальные циклы. На этой стадии уже начинается губительное воздействие голода на собственно физические ткани различных органов. Происходит дегенерация сосудистой системы, появляются отеки — в особенности на ногах, но могут быть также и на лице. Эти отеки часто ошибочно принимаются за признаки прибавления веса, тогда как в

действительности имеет место уже процесс разрушения всей системы, который даже в случае выздоровления зачастую приводит к хроническим последствиям.

Я не мог не обратить внимания на то, что среди жителей деревни наблюдались совершенно разные степени физического истощения. Поэтому я поинтересовался у Нины, как она может объяснить то, что некоторые крестьяне едва переставляют ноги от голода, тогда как другие выглядят вполне здоровыми, а многие даже — и куда здоровее даже наших солдат.

— Это потому, что многие из местных жителей имеют спрятанные запасы пищи, — ответила она, — а, например, эвакуированные из прифронтовых деревень не имеют вообще ничего.

— Так почему же первые не делятся своей едой с вторыми? Если не хотят — давайте заставим их!

— Это будет не так-то просто. Эти запасы очень хорошо упрятаны. Прятать все самое ценное в тяжелые и опасные времена — естественная реакция крестьян, и они вряд ли выдадут вам свои тайники даже под страхом собственной смерти.

— Но где же все-таки они прячут свои запасы?

— В снегу, — ответила Нина с едва заметной улыбкой. — При таких температурах пища не портится.

— А как удалось сохранить столь завидное состояние здоровья вам? — удивленно спросил я.

— В Москве не было дефицита в основных продуктах питания, а с тех пор, как я оказалась здесь, я помогала вашим солдатам на полевой кухне и всегда имела возможность вволю наесться тем, что оставалось в котле.

Нашу беседу прервали пронзительные крики маленького Генриха. Громко заявляя о своем голоде, он не тратил времени попусту. Нина быстро помогла молодой матери накормить младенца, и эта невольно представшая моим глазам сцена была наполнена таким миром и покоем, что все царившее вокруг безумие вдруг отдалилось и стало каким-то нереальным.

— Как вы думаете, Нина, — обратился я к ней, пригласив жестом руки присесть поближе к огню, — есть хоть какой-нибудь здравый смысл в войне? В том, что люди умирают в таких мучениях вместо того, чтобы жить и быть счастливыми?

Очень удивившись подобному вопросу, она пристально посмотрела на меня.

— Скажите мне, Нина, — настойчиво спросил я, — что вы думаете обо всем этом?

— Люди обязаны платить свой гражданский долг Родине, — машинально ответила она явно заученной фразой, как будто находилась на уроке в школе.

— Почему же вы тогда убежали от вашего народа и пришли к нам?

— Я не убегала от своего народа, — медленно и осторожно ответила она. — Я нахожусь на оккупированной Германией территории потому, что надеялась, что вы принесете освобождение русскому народу.

— И что же мы, принесли его?

— Нет, я больше не верю в это, — вдруг со всей прямотой ответила она. — Первые же сообщения, полученные с оккупированных вами западных областей, ясно показали мне, что это та же самая тирания, только в другой форме.

— Но разве мы не предоставили *лично вам*, Нина, довольно значительную свободу? Разве вам не позволено вести себя так, как вы хотите? Разве мы не кормим вас, притом что пищи едва хватает нам самим? Разве я не обеспечиваю вас медикаментами для ваших соотечественников, хотя, как вы сами понимаете, они совершенно не лишние и для нас самих?

— Я говорю не о немецких солдатах. Я говорю о тех, кто придет за вами. О тех, кто придет править этой страной, — о «коричневых». Это только считается, что они освободили нас от большевиков; на самом же деле ничего, кроме униформы, не изменилось.

Глаза Нины гневно сверкнули, и я почти физически ощутил, как напряглось все ее

выпрямившееся тело. Голос ее, однако, никогда не утрачивал своего спокойствия.

— Сейчас они уже начинают прибирать к рукам колхозы и все, что от них осталось, — продолжила она. — Мы надеялись, что они вернут нам нашу землю, но они присваивают ее себе и будут заставлять нас работать на них. Даже вы, солдаты, не говорите ничего о том, чего можно ожидать от вашей власти. Вот и вы тоже сидите да помалкиваете!

— Вы слишком нетерпеливы, Нина, — примирительно заметил я. — Великая Римская империя тоже была построена не за один день. Невозможно создать за год и новый Русский Рейх.

Она ничего не ответила мне на это, а лишь продолжала пристально смотреть на меня все с той же невозмутимостью. Ясность ее мышления приятно удивила меня, к тому же я разделял ее разочарование и утраченные иллюзии.

— Интересно, многие русские думают так же, как вы? — не удержался я, чтобы задать следующий вопрос.

— Конечно, многие. Но только они ничего не скажут вам об этом. Они боятся и красных, и немцев.

— Почему же вы тогда столь откровенны со мной?

— Мне больше нечего терять, поскольку свою Родину я уже потеряла. ГПУ убьет меня точно так же, как они уже убили моего отца и брата, а жить в изгнании — как живут мои дядя и тетя в Париже, тоскуя каждое мгновение всем сердцем по России, — я не захочу.

Действие С.Э.Э. на нашу пациентку, по-видимому, подошло к концу, поскольку каждый вдох снова стал причинять ей нестерпимые боли. Постаравшись предварительно совместить обломки ребер, мы сделали ей из лейкопластыря фиксирующую повязку вокруг грудной клетки и этим немного облегчили ее страдания.

— Сегодня вечером ее уже можно будет забрать домой, — сказал я Нине. — Все пациенты, которых не коснулся сыпной тиф, должны оставаться по своим домам, где за ними вполне могут поухаживать и их родственники.

Укутавшись так, что оставались видны лишь одни глаза, я отправился в обратный путь, несмотря на то что разбушевался нешуточный снежный буран. Я был совершенно спокоен за то, что Веста обязательно найдет обратную дорогу в Малахово. В любом случае я к тому времени уже достаточно «обрусел» для того, чтобы знать, что необходимо для того, чтобы не пропасть даже в столь суровых погодных условиях. По дороге обратно я не встретил ни одного человека. Все укрылись под надежной защитой теплых бревенчатых домов, многие из которых занесло снегом почти по самые крыши. И снова всю обратную дорогу я думал почти исключительно о Нине. Она не была шпионкой — в этом я теперь был уверен, а ее судьба как беженки от красных волновала меня все больше и больше. Если бы только Германия могла дать какую-то реальную надежду всем этим противникам большевизма и, в частности, Нине! Но все выглядело так, будто спохватываться теперь об этом было уже поздно. Прямо за нашими спинами находились не только огромные скопления прорвавшихся в наш тыл русских армий, но также неисчислимые тысячи горилл (партизанских формирований). Их исполненное каких-то надежд, почти радушно-гостеприимное отношение к нам в те дни, когда мы входили в Россию как освободители, сменилось теперь на ненависть к нашей вероломной политике, к нашей «коричневой» тирании и к нам самим как таковым. Это была ненависть, растущая день ото дня подобно снежной лавине, ненависть, вздымавшаяся сейчас прямо за нашими спинами и готовая вот- вот уничтожить нас.

Ржев

Через несколько дней переводом по службе обратно в Германию нас покинул Вольпиус. Перевод был организован Ноаком; мы с Генрихом отвезли старого штабсарцта в Ржев на нашей конной санной повозке. Мы посадили его на железнодорожной станции, пожелали солдатской удачи, торжественно изрекли еще несколько каких-то бессмысленных фраз и отправились на наших санях в Ржев, чтобы как следует осмотреть его.

По контрасту со Старицей Ржев был современным городом, выстроенным по прямоугольной структуре — с улицами, расположенными параллельно и перпендикулярно по отношению друг к другу: часть из них шла с севера на юг, а часть — с востока на запад. Ржев раскинулся по ту сторону Волги и за несколько коротких недель стал значить для нынешнего поколения немцев столь же многое, сколько значил в свое время Кёнигсберг для наших предков. Однако в 1942 году Восточная Пруссия уже не могла служить нашим бастионом против неисчислимых сибирских орд — их следовало остановить у Ржева. Несмотря на то что до фатерлянда было еще полторы с лишним тысячи километров, Ржев был все же германской крепостью.

Я договорился с врачом парашютистов-десантников о том, что он ненадолго заменит меня в Малахово, так что немного свободного времени у нас было. Весь ход моих мыслей то и дело неуклонно возвращался к тому, что дорога от Ржева до Германии была все еще свободна и что если повезет, то я мог бы отправиться по ней в свой запоздалый, но тем более долгожданный отпуск. Именно сейчас меня можно было бы без проблем заменить в Малахово каким-нибудь молодым врачом из тылового госпиталя, и я смог бы наконец отдохнуть от России дома с Мартой и моей семьей. С тех пор, как поезд с пятью молодыми унтерарцтами оставил вокзал Колона, минуло уже почти полтора года, а мой последний официальный отпуск был вообще уже более двух лет назад. В Малахово не происходило сейчас ничего особенного; моего отсутствия в течение шести недель никто особенно и не ощутил бы; да и в любом случае незаменимых людей в конце концов не существует — это было доказано не одну сотню раз на примере 3-го батальона. От всех этих мыслей мне стало невыразимо жалко самого себя, и, возможно, в результате этого я опять почувствовал нехорошую боль в области сердца. Я поспешно стянул три перчатки с правой руки и нащупал пульс на левом запястье. Как я и предполагал, он был исключительно аритмичным, что свидетельствовало о значительных шумах экстрасистолы.

Генрих покосился на меня сквозь облака выдыхаемого пара, мгновенно превращавшегося в иней на его и так уже порядком заледенелой шапке с опущенными книзу «ушами», и встревожено поинтересовался:

— Вы себя нормально чувствуете, герр ассистензарцт?

— Нет, Генрих. В том-то и дело, что не слишком нормально. Думаю, что пока мы с тобой в Ржеве, мне следует побывать в здешнем госпитале и показаться специалисту.

На фоне медицинского персонала тылового госпиталя я почувствовал себя оборванцем, но мне это было уже не впервой. Наши медики заняли под госпиталь большое и довольно красивое здание городской больницы. Первым делом мы заглянули в офицерскую столовую госпиталя, где в тот момент обедали несколько господ врачей, облаченных в безупречно сидевшую на них выглаженную и чистую униформу, поверх которой они надевали еще и стерильно белые халаты. Столы, за которыми они сидели, были накрыты столь же ослепительно белыми скатертями. От моего внимания, однако, не ускользнуло, что по моим боевым наградам скользнул не один и не два, а гораздо больше завистливо-уважительных взглядов всех этих молодых и безукоризненно одетых военных медиков, которые предпочли опасностям фронта спокойную службу в тыловом госпитале. Среди молодежи я заметил и профессора Краузе, которого знал еще по медицинскому факультету Дюссельдорфского университета, когда сам был там студентом. После этого мы еще много раз пересекались с ним по службе в Восточной Пруссии, но больше всего меня обрадовало то, что он был исключительно высококвалифицированным специалистом по сердечно-сосудистым заболеваниям и даже читал по ним лекции в университете на самых старших курсах. Прекрасно отобедав, мы направились в его кабинет, и я сказал, что у меня есть особая личная просьба к нему.

— Чем могу быть полезен? — с готовностью и как-то очень по-дружески поинтересовался он, и я решился откровенно выложить ему все свои карты.

— Я уже довольно долгое время на фронте, герр профессор, — начал я сразу с самого главного, — прошел через очень напряженные бои и начиная примерно с Калинина стал

замечать, что мое сердце не вполне в порядке. Если рассматривать вопрос с чисто врачебной точки зрения, то я полагаю, что вполне заслужил небольшой отпуск для поправки здоровья и восстановления сил. Одним словом, я хотел бы попросить вас, г-н профессор, устроить мне соответствующее обследование, приняв во внимание вышеизложенные обстоятельства.

Между нами мгновенно возник невидимый, но ощутимый почти физически и очень настораживший меня барьер отчуждения.

— Хорошо, — ответил Краузе несколько суховатым тоном. — Я обследую вас завтра, в десять утра.

Местная комендатура разместила нас на постой в доме по улице Розы Люксембург, при котором имелась также конюшня для двух наших лошадей. Устроившись, мы отправились с Генрихом пешком на поиски госпиталя-изолятора для больных сыпным тифом, где должен был находиться Тульпин.

Этот госпиталь-изолятор оказался совершенно жутким местом даже для людей с закаленной психикой. Многие больные пребывали в практически непрерывном иступленном бреду, некоторые были вообще без сознания. Мы вошли в палату Тульпина, в которой, кроме него, было еще около восьмидесяти (!) больничных коек, причем ни одной свободной. Один из больных издал вдруг истошный вопль на пределе возможностей своих легких, вскочил со своей койки и побежал к окну с явным намерением выброситься в него с разбегу. Его примеру немедленно последовал кто-то еще. В палату стремительно ворвались два санитары, схватили обоих за какие-то мгновения до непоправимого и потащили обратно к их койкам. Было достаточно лишь одного взгляда, чтобы понять, что большинство больных данной палаты обречено. Надежда победить болезнь в течение нескольких последующих недель была лишь у нескольких молодых парней, еще не успевших подорвать и растерять свое здоровье. Те же, кому было за тридцать, практически наверняка должны были умереть, несмотря даже на примененное вакцинирование, а прививки эти получили лишь некоторые из них.

Нас подвели к койке Тульпина. Если бы мы не знали, что это точно он, мы вполне могли бы его и не узнать: его лицо было исхудавшим и обескровленным настолько, что казалось, будто кожа натянута прямо на череп. Его глаза были широко распахнуты, но было совершенно ясно, что он абсолютно не воспринимает ничего из происходящего вокруг. Время от времени он невнятно бормотал какие-то бессвязные слова. Чаще всего повторялось имя Мюллер — видимо, Мюллер занимал довольно много внимания Тульпина в мире его галлюцинаций, по крайней мере в настоящий момент. В отдельные моменты казалось, что Тульпин видит, что мы с Генрихом стоим у его койки, но даже если и так, то он все равно совершенно не узнавал нас. Его состояние было тяжелым настолько, что его, увы, приходилось признать безнадежным, и обсуждать тут пристрастие больного к морфию или что-либо еще было совершенно бессмысленно. По совести говоря, бессмысленным в этом ужасном месте казалось все. Тульпин стремительно приближался к смерти и вечному покою, и движение это было лишь в один конец. А, зная о нем то, что знал я, можно было понять, что для него это было лишь избавлением от ужасных страданий, которые вряд ли можно было назвать полноценной, счастливой жизнью. Генрих этого не знал и оказался совершенно не готов к представшей его глазам трагедии.

Я положил ладонь на горячий потный лоб Тульпина, но он вдруг схватил мою руку и с силой отбросил ее от себя.

— Оставьте меня! — неожиданно громко выкрикнул он, рывком приподнялся на своей койке, уставился на меня своими широко распахнутыми безумными глазами и завопил еще громче: — Оставьте меня! На помощь! Прочь! Прочь! Помогите мне! А-а-а! Мюллер!

На крики Тульпина явился один из санитаров, довольно бесцеремонно толкнул его обратно на койку и приложил к его лбу мокрое холодное полотенце.

С непередаваемым облегчением вышли мы на улицу из этой жуткой обители смерти, где по каждому коридору металось эхо жутких криков людей, сходявших с ума от инфекции, распространяемой русскими вшами. Едва мы с Генрихом сделали несколько глубоких вдохов

свежего морозного воздуха, как увидели еще одну не слишком веселую картину: погрузку нескольких завернутых в брезент трупов в телегу, которая должна была отвезти их на военное кладбище. Да, смерть собирала здесь обильную жатву... Эти бедняги сумели уцелеть при отражении яростных вражеских атак, пережили почти до конца свирепую русскую зиму — и все это лишь для того, чтобы какая-то крохотная вошка, прячущаяся в их нестираной одежде, инфицировала их в конце концов смертоносной тифозной лимфой.

С наружной стороны госпитальных ворот висела не слишком умело намалеванная вручную афиша, зазывающая на эстрадный концерт с участием немецких и русских артистов, с исполнением музыкальных и литературно-поэтических номеров, а также при участии двух русских танцоров; вход объявлялся свободным, а начало — как раз сегодня вечером. Афиша очень удачно дополняла совершенно безумную палитру Ржева: одна из русских армий, окруженная нами буквально в трех километрах от города; пятеро мертвецов в нескольких метрах от ворот с обратной стороны на телеге, будто с живодерни; наш сошедший с ума и мучительно умирающий товарищ; и вот теперь, в довершение всей этой фантазмагии, — эстрадно-цирковое представление. Спешите видеть! От нечего делать мы отправились по указанному на афише адресу и оказались в огромном и промозглом полуподвальном помещении. В углу гудела жарко растопленная печка, сделанная из железной бочки, а весь потолок был покрыт крупными каплями конденсата, стекавшего целыми ручейками по окрашенным коричневой масляной краской стенам. Хотя в помещении, по сравнению с улицей, было, можно сказать, совсем не холодно, мы, конечно, не стали снимать ни шинелей, ни перчаток. «Не в театре», как говорится. Но вот артисты довольно заметно дрожали от холода, особенно легко одетые русские танцоры, добросовестно выделявшие на грубовато сколоченных дощатых подмостках разнообразные замысловатые кренделя, чтобы раздобыть хотя бы немного еды для себя и своих семей. Собравшаяся публика излишне весело хохотала над затасканными шутками артистов-разговорников, неумеренно громко выражала свое одобрение танцорам, и в конце концов мы выбрались оттуда на ночную улицу, не дожидаясь окончания «шоу».

Пока мы были в подвале, где-то снаружи, судя по звукам, разорвалось несколько авиабомб, но, чувствуя себя под землей в полной безопасности, никто не обратил на это почти никакого внимания. Возможно, мы и вовсе забыли бы об этой бомбардировке, если бы нашим глазам не предстал вдруг тыловой госпиталь, а точнее — то, что от него осталось в результате нескольких прямых попаданий. Половина здания лежала в руинах и была охвачена сильным пожаром. Мы с Генрихом оказались поблизости как раз вовремя для того, чтобы помочь извлекать из-под обломков еще живых больных и раненых. В результате всех этих перипетий мы добрались до нашего дома на улице Розы Люксембург лишь далеко за полночь.

* * *

Когда я явился на следующее утро для прохождения обследования, профессор Краузе поприветствовал меня довольно сдержанно. Он диагностировал аритмию и шумы экстрасистол и выдал мне следующий вердикт:

— Полагаю, что в настоящее время это не может являться достаточным основанием для предоставления вам отпуска по болезни.

— Но, герр профессор, я совершенно изнурен, да и мое сердце явно не в порядке.

— У вас просто психическое перенапряжение, герр ассистензарцт, вот в чем ваша проблема. Это все, что я могу вам сказать.

— Иными словами, я проявляю истеричность? Так, что ли? — с жаром воскликнул я.

— Называйте это как хотите. Что касается меня, то я не могу дать вам предписания для предоставления отпуска по болезни. Если хотите, я могу сделать так, чтобы вы остались на следующий месяц для работы в одном из тыловых госпиталей в Ржеве. Это вам поможет.

Не сказав больше ни слова, я вышел из кабинета, охваченный бессильным гневом и

пораженный до глубины души столь несправедливым к себе отношением.

Я был совершенно обескуражен и никак не мог понять, почему Краузе отказал мне в предписании при наличии таких несомненных и вполне, казалось бы, достаточных для отпуска по болезни симптомов. Ответ на эту загадку подсказал мне один фельдфебель, служивший при госпитале. Он поведал мне по секрету, что недавно Краузе получил прямое указание от генерала Моделя — нового командующего 9-й армией — не выпускать из России никого из тех, кто может хотя бы ползти с оружием в руках. Ни один человек не мог быть отправлен в Германию без разрешающей визы Краузе. Скрепя сердце я вынужден был согласиться с тем, что поставленный Краузе диагноз был в основном правильным и мои шумы экстрасистол в сердце являются лишь внешним проявлением моего внутреннего душевного конфликта, вызванного моими слишком затянувшимися во времени усилиями, направленными на то, чтобы контролировать свои эмоции в ходе жесточайших боев. Все это дополнительно усугублялось не только суровыми погодными условиями, но и неоднократными разочарованиями по поводу моего бесконечно откладывавшегося отпуска. Последней каплей в этой череде негативных факторов оказалось, видимо, мое ранение в ногу, вызвавшее эмоциональный шок, приведший к такой вот реакции моего и так уже изнуренного до предела физического тела. Но у меня и в мыслях не было отсиживать целый месяц в тыловом госпитале; если уж у меня не получилось отправиться домой в отпуск, то я предпочитал честно тянуть свою лямку и дальше вместе с моими друзьями в 3-м батальоне.

* * *

— Похоже, это конец, — пристально посмотрев на Ноака, проговорил я.

Я уже вернулся в Малахово, и мы с Ноаком, расположившись неподалеку от пышущей жаром печи на пункте боевого управления, внимательно изучали самое свежее донесение о ситуации вокруг Ржева. Положение выглядело просто-таки катастрофическим. Если говорить коротко, то две огромных армии красных были сейчас разделены всего лишь тридцатью с небольшим километрами. Если они сомкнутся — жизненно важное для нас сообщение между Ржевом и Смоленском будет отрезано, а внутри образовавшейся таким образом западни окажутся тридцать германских пехотных дивизий, семь дивизий бронетанковых войск, парашютно-десантные части, подразделения СС и штабы наших 4-й и 9-й армий. В этом сулящем столь огромную опасность коридоре шириной лишь тридцать километров всецело доминировала артиллерия красных, а вокруг нас на этом плацдарме стояло или перемещалось шестьдесят русских пехотных дивизий, семнадцать танковых бригад, тринадцать кавалерийских дивизионов, а также двадцать батальонов лыжников, основная часть которых была прекрасно экипирована.

— Да, похоже, нам действительно конец, *предположительно*... — ответил Ноак. — Но старик Беккер утверждает, что наступательные силы русских едва держатся на ногах от усталости, что у них не хватит силы одолеть нас этой зимой.

— Но ведь карта не врет, а до конца зимы еще очень и очень не близко.

— Оберст Беккер не часто ошибается — у него на такие вещи особый нюх, как у старого боевого коня.

— Тогда, пожалуй, я все еще могу надеяться на получение отпуска.

Ноак рассмеялся и хлопнул меня ладонью по спине. В тот вечер, сидя на нашем посту боевого управления, я испытывал почти, можно сказать, облегчение — облегчение от того, что от меня так почти бесцеремонно отделались в этом ублюдочном Ржеве, облегчение от того, что Краузе невольно предотвратил совершение мной поступка, от которого я мучился бы потом всю оставшуюся жизнь — ведь я чуть не бросил моих товарищей в столь трудную минуту. Я чуть не забыл о единственной прекрасной вещи, зародившейся в этом кошмаре, — о тесных узах боевого братства, связывающих всех офицеров и солдат. От первоначального состава нашего 3-го батальона осталось не так уж много людей. Мы с Ноаком даже вывели

точные цифры: когда генерал Модель отправил на передовую каждого человека, без которого можно было обойтись в тыловых подразделениях, численность нашего батальона была доведена до сотни с небольшим. Но из первоначальных восьмисот человек, вошедших на территорию России 22 июня, оставались теперь только два офицера — Руди Беккер и я, пять унтер-офицеров и двадцать два солдата. Несмотря на то что эти цифры не были столь уж неожиданными, они потрясли нас — даже когда мы вспомнили, что еще несколько человек находились в данный момент в отпусках по ранению или болезни и могли еще вернуться в батальон, а также что могут остаться в живых сколько-то человек из группы Титжена, о потерях которой мы не имели никаких сведений.

Самым поразительным было то, что всего несколько уцелевших от первоначального состава человек сумели не только сохранить боевой дух 3-го батальона, но и вселить его в пришедшее к нам новое пополнение. Больше, чем кто бы то ни было в нашем батальоне, сделал для этого обер-фельдфебель Шниттгер. Его боевой дух, как, впрочем, и он сам, были просто непобедимы. На следующий день я сопровождал небольшую группу солдат, доставлявших провиант на упрятанный в снегах главный выносной пост Шниттгера. Когда мы дошли до места, нашим глазам предстал целый ледовый бастион. В небольшой ложбинке, не бросаясь издали в глаза, был выстроен самый настоящий блиндаж, только стены его были не железобетонными, а сложенными из аккуратно спрессованных и облитых для прочности водой снежных блоков. Дополнительную прочность всей конструкции придавали ветки деревьев, выполнявшие роль арматуры. Крыша была также сделана из ветвей и льда, а для маскировки — основательно присыпана сверху снегом. Внутреннее убранство этого ледового строения было тоже довольно занятным и, главное, практичным: пол был устлан толстыми еловыми лапами, покрытыми сверху брезентом и одеялами, посередине стоял прочный шест, поддерживавший крышу, а на импровизированном столике из ящиков от патронов горели день и ночь два парафиновых светильника, создавая внутри исключительно уютную иллюзию тепла. Непогода занесла строение с наветренной стороны снегом по самую крышу, и теперь ему был не страшен даже самый свирепый снежный буран.

Организованные Шниттгером выносные посты действовали с безупречностью часового механизма. Он лично обходил их, меня караульных и неизменно принимая личное участие в отражении каждой предпринимаемой русскими атаки.

Как и всегда, Шниттгер был невозмутимо спокоен. Он накормил меня бобовым супом, а затем растопил немного снега на парафиновой лампе и сварил нам кофе из остатков гостинцев, привезенных нам из Биельфельда.

Пристально разглядывая несомненно лучшего солдата из всего нашего батальона, я со стыдом вспоминал некоторую проявленную мной истеричность в связи с очередной неудачей с отпуском. Длинная прядь давно не стриженных соломенных волос Шниттгера упала ему на один глаз, и, будто угадав мои мысли, он мельком взглянул на меня, хитровато прищурился другим глазом и добродушно улыбнулся. Это был по-настоящему бывалый, закаленный жестокими боями и тяжелыми испытаниями ветеран, хотя при всем этом гораздо больше походил на жизнерадостного капитана успешной футбольной команды. На его груди висел Германский Крест в золоте — теперь, со смертью Кагенека, единственный в батальоне. Из-за внешне проявленной беззаботной манеры поведения о Шниттгере, особенно в отдельные моменты, даже могло сложиться впечатление как о несколько легкомысленном человеке. Такая его оценка была, конечно, ошибочной, поскольку с такими качествами, как легкомысленность или беспечность, невозможно было бы благополучно совершить около сорока крупных атак и около ста двадцати разведывательных рейдов на территорию врага. Если бы мы предложили сейчас Шниттгеру отправиться в отпуск домой, он воспринял бы это как личное оскорбление.

Поскольку мне необходимо было провести профилактический осмотр всех людей Шниттгера, маленькая колонна, доставившая им провиант, отправилась обратно, не дожидаясь меня. Все, включая своего командира, оказались более-менее здоровы, и когда холодное зимнее солнце уже почти опустилось за горизонт, Шниттгер облачился в свои

роскошные меховые шубу с шапкой и лично проводил меня добрую половину пути обратно до Малахово.

Нина здесь, и Марта — там

Рождественская почта и новый радиоприемник прибыли к нам одновременно. Радиоприемник был гораздо больше и лучше того, по которому Нойхофф так любил слушать «Лили Марлен». Мы могли без труда настраиваться на любую радиостанцию Германии — великолепная штука после трех месяцев полной оторванности от дома! Можно было поймать и английские радиопрограммы, и мы закрывали глаза на приказы, запрещавшие эту в общем-то вполне безобидную практику.

Почта свалилась на нас как снежная лавина. Ее накопилось за несколько недель, включая сотни и сотни праздничных посылок. Конечно, это были письма и посылки для всех восьмисот человек, из которых в живых остались лишь очень немногие. При рассортировке почты имя почти каждого адресата вызывало еще не успевшие потускнеть воспоминания об этом человеке, а зачастую и то, как он погиб: этот еще до Рождества, когда почта еще была в пути по бескрайним просторам России, а этот уже после Рождества. Мы решили проштамповать и отправить по обратным адресам все письма, адресатов которых больше не существовало. Но все посылки были открыты. Каждый взявший себе посылки погибших товарищей брал на себя и обязанность вернуть отправителям все находившиеся внутри предметы, представлявшие собой материальную ценность, а также личные письма. Для оставшихся в живых солдат 3-го батальона это было Рождество в марте. Благодаря русским морозам ничего из продуктов не только не испортилось, но, напротив, прекрасно сохранилось. Мы вдруг стали счастливыми обладателями просто-таки неисчислимого количества разнообразных тортов, кексов, пирожных, бисквитов, окороков, ветчины, колбас, шоколада, сухофруктов, орехов, какао, сигар, сигарет, табака, пудингов, консервов, домашних заготовок, варенья, кофе и дюжин других роскошных лакомств. Наши матери, сестры, жены и подруги там, в Германии, оторвали все это от себя или выменяли еще на что-то ценное для того, чтобы доставить нам хоть какую-то радость здесь, среди российских снегов. В некоторые посылки были вложены фотографии женщин и детей, а в одной обнаружился даже крохотный детский башмачок с запиской: «Из этого он уже вырос». Отец этого малютки погиб у Шитинково: одна из русских гранат взорвалась прямо перед его лицом, от которого, понятное дело, ничего не осталось.

Я снова получил огромную пачку писем от Марты. Как я и опасался, мое послание с предупреждением о переносе празднования нашей помолвки дошло до нее с большим опозданием. Большинство гостей собралось в назначенный срок, на самого *fiancé*; (жениха, *фр.*) так и не дождались. В посылке Марты, кроме угощений, оказалась еще и миниатюрная рождественская елочка — точно такая же, как и присланная ею мне на прошлое Рождество в Нормандию. Ноак получил в подарок от своей семьи почти такую же милую крохотную елочку. Мерцающий свет печного огня, потрескивание разноцветных рождественских свечек, глубокие сугробы снаружи — при подобном антураже было совсем не трудно перенестись мысленно на несколько недель назад и представить, что сейчас Рождество. В конце концов, мы почти никогда не знали точно, какое сегодня число, так что любая из календарных дат была для нас так же хороша, как и 25 декабря. Я решил немного смошенничать с письмами от Марты, и вместо того, чтобы читать их в строго хронологическом порядке, сразу же распечатал самое последнее из них — судя по дате на почтовом штемпеле. Почти не выходя за рамки обычных сроков, оно дошло до нас всего за три недели.

— Марта будет петь в «Ромео и Джульетте», — с гордостью сообщил я Ноаку.

— Вы ведь, кажется, говорили, что все *вражеские* пьесы и оперы стали теперь запрещены.

— Да, но опера «Ромео и Джульетта» написана Сутермайстером, а он — швейцарский

композитор.

— Но Шекспир-то — англичанин.

— Ах, Ноак, даже сами англичане никак не могут решить окончательно, кто же в действительности писал его пьесы. Я, например, ничуть не удивлюсь, если Геббельс обнаружит вдруг, что Шекспир был немцем. Подождите-ка минутку! Послушайте, что она пишет! «3 марта в 8 часов вечера д-р Эрнст Фабри и я будем исполнять на франкфуртской радиостанции дуэт из сцены на балконе. Выступление будет транслироваться в прямой эфир. Возможно, ты сможешь услышать его...»

— Какое сегодня число? — крикнул я Ноаку. — Быстрее!

— Даже не имею представления. Возможно, 3 марта — это как раз сегодня.

— Генрих, ты знаешь, какое сегодня число?!

— Я вообще думаю, что сейчас примерно конец февраля, герр ассистензарцт.

Я схватил трубку полевого телефона и, дозвонившись до штаба полка, узнал у ординарца фон Калкройта, что в действительности было 2 марта. Я вздохнул с чувством непередаваемо огромного облегчения. Слава богу! Бросившись к радиоприемнику, я принялся вращать ручки настройки, чтобы поймать Франкфурт. Вот наконец я нащупал сигнал, но прием оказался очень слабым и некачественным.

— Генрих, — позвал я. — Где мы можем раздобыть проволоку для нормальной выносной антенны? Такой прием — позор для батальона! Пошли к связистам. Если прямо сейчас начнется крушение всего Вермахта — я все равно первым делом должен найти проволоку!

Я поспешно натянул на себя обе своих шинели, валенки, *Kopfschutzer*, и мы с Генрихом вышли на улицу.

Меньше чем через час мы располагали примерно полусотней метров колючей проволоки, которую перебросили через конюшню и закрепили на крыше соседнего дома. Радиостанция Франкфурта зазвучала чисто, как колокольчик. Заснул я в тот вечер совершенно счастливым человеком.

Проснувшись ранним утром, я сразу же отправился по тыловым деревням со своей инспекцией. Кроме того, что я хотел узнать, как обстоят дела с гражданскими больными, я намеревался еще осмотреть и сделать прививки от сыпного тифа всем работавшим на нас русским. Обычно я отправлялся в такую поездку из Малахово в полдень, сейчас же я хотел вернуться обратно как можно раньше, с запасом по времени. От Гридино или от Крупцово не доносилось никаких звуков, свидетельствовавших бы о том, что там наблюдается какая-то боевая активность; возможно, в мой Большой День будет спокойно и на всем нашем участке фронта. Даже Веста — и та шла рысью гораздо резвее, чем обычно.

Нины дома не оказалось, и входная дверь была заперта. Старуха из соседнего дома объяснила мне знаками, что моя помощница ушла в соседнюю деревню для осмотра и амбулаторной помощи тамошним больным. Я отправился к уже известному нам фельдфебелю медицинской службы, который подтвердил мне, что по моему распоряжению все русские, находившиеся на германской службе, соберутся к двум часам дня.

— Хорошо. Я бы хотел, чтобы вы тоже присутствовали.

Мы вышли на улицу вместе и почти сразу столкнулись с шедшей нам навстречу Ниной. Она вскинула брови от удивления, так как не ожидала увидеть меня в столь необычно ранний для меня час.

— Пойдемте в ваш дом, — предложил я ей и передал поводья своей лошади фельдфебелю, чтобы пойти рядом с Ниной.

Внутри ее маленького домика все было очень мило, опрятно и к тому же натоплено. Немного смущаясь, она пригласила меня войти. На столе лежало несколько немецких рождественских пирожных и бисквитов — очевидно, угощение какого-то немецкого солдата. Мне почему-то стало очень досадно увидеть это в доме, где жила Нина. Я, кстати, привез ей по случаю немного конины, но пирожные и бисквиты! Нет, это было уже слишком...

— Это вы сами испекли? Вот в этой печи? — не без мрачного ехидства

поинтересовался я.

— Нет, герр доктор, — залилась она румянцем, как маленькая девочка, которую уличили в чем-то зазорном. — Это меня угостил один солдат.

— Поня-а-атно... Ну и как, вам понравилось, как готовят немецкие женщины?

Она отвела глаза, завернула пирожные в платок, убрала их в буфет и почти неслышно ответила:

— Да, очень понравилось.

— Может быть, вы хотели, чтобы я тоже привез вам каких-нибудь пирожных из тех, что мне прислали из дома? Простите, что не догадался и привез вам только мяса, — продолжал упорствовать я, хотя вполне мог и прикусить язык, не выпячивая своей досады и не делая события из такого пустяка.

— Нет, не хотела, благодарю вас! — вспыхнула вдруг она. — Этими пирожными угостил меня человек, который ничего не значит для меня.

Говоря это, она смотрела на меня с нескрываемым вызовом и плохо скрываемой обидой, и на этот раз глаза пришлось отвести мне.

— Забудьте об этих глупых пирожных, — примирительно буркнул я и позвал с улицы фельдфебеля, чтобы тот принес мне список русских, подлежащих вакцинации.

Незадолго до двух часов указанные в списке гражданские жители стали постепенно подтягиваться к дому, в котором квартировал фельдфебель. Это были несколько стариков, некоторое количество женщин среднего возраста и — больше всего — молоденьких девушек, помогавших при немецких полевых кухнях. Я собирался проверить их всех на предмет возможного наличия туберкулеза, а также вакцинировать — тоже всех — от тифа и сыпного тифа. Я сказал фельдфебелю, чтобы он пригласил внутрь вначале стариков, затем женщин и в самом конце — девушек. Нина разложила вакцину и инструменты на белом полотенце, которое предварительно простерилизовала, прогладив несколько раз горячим утюгом. Я осмотрел и вакцинировал стариков. К сожалению, у одного из них была обнаружена запущенная форма туберкулеза; я вынужден был освободить его от службы на нас. Настала очередь старших женщин, которые, обнажаясь по моей команде до пояса, выглядели довольно хило и болезненно — явно от недоедания. Все они прошли осмотр и вакцинацию благополучно, после чего в избу вошли самые молодые девушки — в большинстве своем в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет. Когда они принялись снимать с себя свои одежды, фельдфебель начал проявлять заметное беспокойство. Это было вполне объяснимо — ведь он был военным медиком, и его фельдшерские обязанности распространялись до этого момента только на военнослужащих, т. е. на мужчин. Ему было явно очень не по себе, и он попросил меня отпустить его сходить проверить, все ли там в порядке с лошадьми и, в частности, с моей Вестой.

— Нет, фельдфебель, — ответил я. — Вы не можете оставить меня здесь одного. А насчет Весты — не беспокойтесь, это очень благовоспитанная кобылица.

Коротконогость всех этих молоденьких русских девочек сражала меня просто наповал. Насколько я мог заметить, эта характерная особенность была свойственна, увы, большинству женщин Московской области, да и не только. Они были хорошо развитыми, сильными, крепкими и здоровыми, но не могли похвастать такими длинными и стройными ногами и такой узкой талией, как Наташа или Нина, явно принадлежавшие к другому классу. Постепенно фельдфебель преодолел свое смущение и даже, похоже, начал получать активное удовольствие от пикантности момента. Мне было очень жаль отстранить от дальнейшей службы одну довольно милую девушку, поскольку у нее были обнаружены явные признаки туберкулеза, а когда я увидел, как сильно это ее расстроило, мне стало жаль ее еще больше, и я велел фельдфебелю, чтобы и ей, и тому старику продолжали давать еду на наших полевых кухнях.

Вакцинация вскоре была закончена, и я уже собрался уложить свои инструменты, чтобы ехать назад, как вдруг фельдфебель спросил меня, а не состоит ли на службе Германии и Нина?

— Разве она не подлежит осмотру наравне со всеми остальными? — как можно тактичнее спросил он, но в глазах у него я заметил очень не понравившийся мне блеск.

— Нина — моя сотрудница, — стараясь не выдать своих чувств, ответил я, — и она не только вполне в состоянии сама определить, больна она или нет, но даже, я думаю, и прививки сама себе смогла бы сделать.

— Мне кажется, что было бы все-таки целесообразнее, если бы и осмотр и вакцинацию провели мне вы, герр доктор, — сдержанно заметила Нина.

Фельдфебель улыбнулся, но это еще вовсе не означало, что во время осмотра Нины будет присутствовать и он.

Прежде чем я успел подумать, что сказать, Нина опередила меня:

— Я бы предпочла, чтобы осмотр проводили вы один, герр доктор.

Я приказал фельдфебелю выйти наружу и пойти проверить лошадей. Скользнув взглядом по Нине, он козырнул мне и вышел из комнаты.

Нина начала раздеваться, а я поступил так, как нас учили, когда мы были еще студентами: чтобы не позволять природным инстинктам отвлекать от работы, я принялся подготавливать шприц, отведя взгляд в другую сторону от пациентки. Впервые за всю мою медицинскую практику я был по-настоящему смущен. Ведь я уже не раз проводил медицинские осмотры довольно многих привлекательных женщин — гораздо более привлекательных, чем Нина, старательно убеждал я себя, — так что это просто нелепо, что я так робею обернуться и посмотреть на нее. И все же мне пришлось совершить над собой сознательное и причем немалое усилие для того, чтобы взять в руку стетоскоп и заставить себя подойти к ней. Все эти ухищрения, однако, ничуть не помогли мне, когда в конце концов моим глазам предстало ее обнаженное тело — оно имело настолько прекрасные формы, что у меня буквально перехватило дыхание. Я почувствовал, что мое лицо мгновенно стало пунцовым от хлынувшей к нему крови, и даже не пытался заставить себя сказать ей в тот момент хоть что-нибудь. Не проявляя ни малейшего смущения, Нина стояла возле стола подобно богине и лишь машинально наблюдала за движениями моего стетоскопа, с помощью которого я прослушивал ее абсолютно здоровое тело. Не обнаружив, разумеется, признаков ни туберкулеза, ни чего бы то ни было еще, я быстро сделал ей прививку.

— У вас превосходное здоровье, и вы можете продолжать свою службу в качестве моего помощника, — сухо проговорил я плохо подчинявшимся мне языком.

— Благодарю вас, доктор, — проговорила она с улыбкой, продолжая стоять лицом ко мне и спиной к печному огню.

— Да, состояние вашего здоровья настолько выше всяких похвал, что, я полагаю, в настоящий момент вам даже не о чем беспокоиться, — добавил я совсем не обязательную в данных обстоятельствах фразу и ощущая, что меня покидают уже последние крохи самообладания.

Поскольку Нина все еще не сделала ни одного движения для того, чтобы прикрыть одеждой свою ослепительную наготу, я поспешил добавить совсем уже деревенеющим языком:

— Можете одеться.

И наконец направился к двери.

За то, что я едва совладал со своими внутренними реакциями при мысли и тем более при виде Нинино тела, я был в ярости на самого себя и как на врача, и как на мужчину. Я очень надеялся на то, что ничто из этого бурного внутреннего конфликта не имело заметного внешнего проявления.

Если я хотел вернуться в Малахово с надежным запасом по времени перед началом вечерней радиотрансляции, то времени на посещение и осмотр больных сыпным тифом уже не оставалось. Оседлав Весту, я сдержанно попрощался с Ниной. Отъехав немного по заснеженной дороге, я обернулся и увидел, что она все еще стоит у порога дома, провожая меня взглядом, и холодный завывающий ветер раннего зимнего вечера яростно трепет волосы ее непокрытой головы.

По дороге обратно меня неотвязно преследовала не слишком приятная мысль о том, что во всей этой истории я выгляжу не слишком честно по отношению к Марте. Но что еще мне оставалось делать?! Нину необходимо было осмотреть. Проявленная мной нерешительность выставила меня, конечно, в не слишком выгодном свете и дала повод для всевозможных домыслов и мне самому, и, наверное, Нине, и, уж конечно, фельдфебелю. Нина, в конце концов, была просто очередной пациенткой женского пола, еще одной русской, которую необходимо было осмотреть и сделать прививку. Так уж получилось, что ей посчастливилось быть обладательницей прекрасного тела, завораживающих глаз и очаровательной улыбки, при которой ее губы изгибались настолько загадочно, что сразу же невольно хотелось узнать, что таится за этой улыбкой, — вот и все, успокаивал я себя. Я пробыл в России уже слишком долго; Нина стала частью моей работы; в конце концов мне просто давным-давно пора в отпуск... Тогда я смогу наконец обручиться с Мартой. Между тем уже через три часа я буду слушать голос Марты, поющей для меня. Нина будет забыта. Нина — с ее развевающимися на студеном зимнем ветру волосами пшеничного цвета, с ее извечным невозмутимым спокойствием, в котором, однако, сквозил вызов, с ее немецкими пирожными от каждого влюбленного в нее тылового ефрейтора... Примерно такой вот мысленный сумбур происходил у меня в голове, свидетельствуя не о чем ином, кроме как о смятении чувств. А Веста все несла и несла меня легким галопом в Малахово, а ночная тьма все сгущалась и сгущалась над бескрайними снегами...

* * *

В 7.45 того вечера все мы уже собрались вокруг радиоприемника: я, Ноак, Генрих и Руди Беккер, которого я пригласил специально. Приемник был настроен на радиостанцию Франкфурта уже весь последний час. Я закурил большую сигару, присланную мне Мартой на Рождество, а Генрих приготовил замечательный чай. Мои наручные часы были точно синхронизированы с временем, передаваемым по радио, — я сделал это еще рано утром и теперь без конца проверял правильность их хода. Я то и дело поглядывал на них и считал минуты и секунды точно так же, как делал это до того в России всего три раза: когда 22 июня началась операция «Барбаросса», когда 15 июля началась битва за Полоцк и когда 2 октября началась битва за Москву. По радио играла какая-то музыка, но я даже не слышал ее — все мое внимание было приковано к медленно перемещавшейся минутной стрелке. Вот наконец и ровно восемь. Финальный аккорд музыки и затем голос диктора: «Сейчас вы услышите увертюру из оперы Генриха Сутермайстера „Ромео и Джульетта“, исполняемую...»

Растерявшись, я пропустил мимо ушей название исполнительского коллектива, а от волнения и наваливавшегося разочарования совершенно забыл, что дуэту с участием моей Марты предшествует еще и увертюра. Казалось, музыка не кончится никогда.

— Эфирного времени может и не хватить на дуэт, — крайне обеспокоенно заметил я Ноаку.

— Терпение, доктор, времени хватит на всех.

— Не поверю, пока не услышу голос Марты.

Вот наконец снова голос диктора: «А теперь — великий лирический дуэт из сцены на балконе. Для вас поют Марта Аразим и д-р Эрнст Фабри».

Несколько вступительных аккордов, сопровождаемых утонченно гармонизированным с ними хоровым пением, появляется голос Ромео, и вот... ему вторит Марта. Меня совершенно потрясло то, что каждый тон ее голоса был в точности таким, каким я помнил его, — возможно, потому, что прошедший год очень сильно изменил меня самого и — на каком-то подсознательном уровне — я почему-то считал, что каким-то образом должен измениться и ее голос. Но голос звучал так, будто этого года и не было вовсе. Здесь и сейчас Марты со мной не было — так же, как, впрочем, и меня самого... Я сидел сейчас на своем обычном месте в Дуйсбургском оперном театре и воочию наслаждался тем, как Марта и мой друг Эрнст Фабри исполняют этот дуэт на столь знакомой сцене. Фабри и Марта пели

настолько проникновенно, такими прекрасными голосами, что огромное расстояние, разделявшее их и наш маленький домик у скованной льдами Волги, превратилось вдруг в ничто, в нелепую и ничего не значащую чепуху.

Трое моих товарищей слушали пение с таким восхищением, что я понял, что они ощущают почти то же самое, что и я, — что Марта поет для нас, вместе с нами. И, самое главное, я ничуть не сомневался в том, что все ее эмоции сейчас были адресованы не какому-то там воображаемому Ромео, а именно мне. Когда ее голос стал постепенно затухать и как бы удаляться в сопровождении нежнейшего пианиссимо и когда прозвучало это ее финальное и неподражаемое «Мой Ромео...», я почувствовал, что безмерно, непередаваемо счастлив. Дуэт из оперы «Ромео и Джульетта» закончился. Я выключил радиоприемник, и в комнате воцарилась звенящая, ничем не нарушаемая тишина.

— Великолечно, — произнес наконец Ноак. — Хайнц, обязательно напишите Марте, что все мы в восторге от ее пения.

— Мне никогда не нравилась опера до сегодняшнего вечера, но это было действительно прекрасно, — тихо заметил Беккер.

Генрих смотрел на меня широко распахнутыми глазами: он тоже полагал до этого вечера, что мир оперы и театра населен некими сверхъестественными существами из какого-то иного измерения, и пребывал сейчас в благоговейном восторге от практически личного контакта с этим удивительным миром, который подарила ему сегодня Марта.

Еще долго после того, как все заснули той ночью, я лежал с открытыми глазами и прислушивался к звучащим во мне отголоскам этой прекрасной мелодии. Я был снова полностью околдован одним лишь звучанием голоса Марты. В какой-то момент, впервые за два или три последних часа, отметил я про себя с удивлением, я подумал вдруг о Нине, чей хрипловатый голос околдовывал меня несколько последних недель. Но теперь мне спела сама Марта, и если голос Нины станет для меня голосом моей сирены, я должен суметь, подобно Улиссу, «залить свои уши воском», чтобы не слышать его.

«Зимнее обмундирование» и весенняя лихорадка

Из так называемых достоверных источников до нас дошел слух о том, что дивизии, принявшие на себя главный удар войны, будут отозваны ранней весной с фронта и отправлены во Францию для восстановления сил. К сожалению, выяснилось, что это, скорее, принятие желаемого за действительное, — причем почти на следующий же день после того, как генерал Модель лично побывал в одном из многочисленных подобных нашему численно истаявших подразделений, солдаты которого были до крайней степени изнурены зимними боями. Превознося до небес их беспримерный героизм, Модель благодарил их за службу, и люди с надеждой ждали, что он вот-вот скажет: «Скоро вас отправят во Францию для восстановления сил». Но в действительности Модель так и не произнес этих слов. «Вперед, товарищи, к новым победам!» — было его последним наказом. Но слух тем не менее продолжал существовать, подкрепленный еще и свежими «достоверными сведениями» о том, что в Ржев уже прибыла замена потрепанным боями батальонам.

Однако единственным, что произошло вместо прибытия свежих пополнений нам на замену, был отвод из Малахово подразделения парашютистов-десантников. И сразу же вслед за их исчезновением фронт в районе Малахово ожил снова: русские атаковали Гридино и Крупцово. Прямым попаданием противотанкового снаряда был убит ассистензарцт Кнуст — офицер медицинской службы 2-го батальона под командованием Хёка, и я был отправлен ему на замену.

К счастью, постоянная замена Кнусту прибыла уже через три дня, и мне за все это время довелось оказать помощь всего одному раненому. По причудливой иронии судьбы это оказался сам Хёк, угодивший под осколки вражеской гранаты. Я отправил его обратно в Малахово с серьезными ранениями головы и левого колена. Он был выведен из строя не меньше чем на два месяца, и командование 2-м батальоном принял на себя обер-лейтенант

Райн — пасторский сын и единственный в дивизии — кроме фон Бёзелагера — обладатель Рыцарского Креста. Однажды мы с адъютантом командира батальона Клюге стояли у пункта боевого управления и всматривались в раскинувшиеся вокруг заснеженные пейзажи. Я вдруг заметил на его лице что-то вроде выражения некоторого облегчения. Хёк, надо заметить, держал свой батальон в большой строгости.

— Скажите-ка мне, — обратился я к Клюге. — Сегодня, насколько мне известно, 9 марта. Под снегом, должно быть, много мертвых солдат. Что будет, когда начнутся весенние оттепели?

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, что, когда снег растает, это место будет похоже на задний двор живодерни.

— Ах, вот вы о чем. Мы уже получили в связи с этим особый приказ по дивизии. Когда нам передадут условный сигнал «весенняя лихорадка», весь фронт отойдет на пару километров назад на уже подготовленные позиции.

— А как мы узнаем, что весна уже наступила?

— Солдаты скажут. У нас тут бытует поверье о том, что им известен один несколько эксцентричный, но несомненный признак.

— Какой же это?

Клюге передал мне свой полевой бинокль.

— Видите вон те проволочные ловушки на уровне колен на нейтральной полосе? Когда враг по невнимательности запнется за них, они приведут в действие заложенные там мины и ручные гранаты.

— А какое это имеет отношение к «весенней лихорадке»?

— Если вы присмотритесь повнимательнее, то увидите, что проволока привязана не ко вбитым в землю деревянным колышкам. Посмотрите-ка левее вон тех кустов.

Я направил бинокль туда, куда он указывал, и увидел вертикально торчавшую из снега человеческую руку. Казалось, что она крепко сжимает в кулаке натянутую проволоку, которая в действительности была обвязана вокруг запястья. Рука таким образом служила тем самым «колышком». Это выглядело как действительно несколько эксцентричный символ угрозы — рука, как бы потрясающая кулаком из могилы.

— Солдаты считают, — пояснил Клюге, — что, когда эти руки оттают и упадут, мы и получим условный сигнал «весенняя лихорадка».

Позднее я узнал, что 2-й батальон отошел на подготовленные весенние позиции действительно именно в тот самый день, когда упала на землю первая сжатая в кулак рука.

А может, это было просто совпадение.

* * *

По возвращении в родной 3-й батальон моя жизнь потекла по уже установившемуся обычному распорядку. На следующее утро — 12 марта — Ноак решил составить мне компанию в поездке по тыловым деревням, где я показал ему изолятор для больных сыпным тифом, больницу и перевязочный пункт, в котором жила Нина. В доме пели какую-то русскую песню, но это был не Нинин голос. Мы постучались и вошли. При нашем появлении со скамейки у печи испуганно вскочила какая-то молоденькая русская девушка лет семнадцати и, прервав песню, робко положила свою балалайку на стол.

— Где Нина? — спросил я ее.

— В бане, — ответила девушка.

— В бане *зимой*? — рассмеявшись, переспросил Ноак.

Как могла, на ломаном немецком она ответила:

— Этот день не очень холодный; *баня* — очень горячий.

— Ваша помощница, должно быть, очень крепкая и закаленная девушка, — ухмыльнулся Ноак.

— Надо сходить в баню, — почему-то вдруг сказал я.

— Прекрасно! — расхохотался совсем уж развеселившийся Ноак. — Никогда еще не видел молоденьких девушек в бане!

Мы прошли около тридцати или сорока метров по глубоким сугробам к бане.

— Эй, Нина! — посчитал я все же нужным предупредить ее о нашем приближении.

Сразу же вслед за этим моим криком открылась верхняя половинка входной двери в предбанник и оттуда показалась Нина. Она была одета лишь в легонькое летнее платьице из какого-то бледно-голубого материала, а ее влажные длинные и еще не расчесанные волосы небрежно свисали на левое плечо. Никто из нас не произнес ни слова. Затем Нина открыла нижнюю половину двери в баню, подхватила под мышку свои валенки и, как была, босиком, бросилась бежать прямо по снегу к дому. Ноак лишь молча проводил ее расширившимися от удивления вперемешку с восхищением глазами.

Когда мы вернулись в дом, Нина была уже полностью одета и представила нам первую девушку:

— Это моя подруга Ольга. Поскольку она уже перенесла легкую форму обычного тифа, Ольга помогает мне ухаживать за больными сыпным тифом.

— Это хорошо, — сказал я. — Лишняя помощь нам никогда не помешает, особенно от тех, кто уже имеет естественный иммунитет. Когда мы приехали, Ольга тут что-то пела. Попросите ее спеть что-нибудь еще, Нина. Господину гауптману было бы очень интересно услышать еще какие-нибудь русские. Не правда ли, Эдгар?

— Это было бы прекрасно! Как раз заодно и согреемся.

Упрашивать петь Ольгу не пришлось. Первоначальное смущение у нее уже прошло, и она с видимым удовольствием принялась, одну за одной, исполнять песни, пронизанные тоской по родине и страданиями неразделенной любви. Русские вообще очень любят музыку, и мы с Ноаком подпали под сильное обаяние и самих песен, и их исполнительницы. Когда Ольга решила, что пора сделать перерыв, Нина как раз внесла растопленный самовар. И я и Ноак очень пожалели тогда, что не догадались захватить с собой немного рома и рождественских пирожных — можно было бы устроить чудесную вечеринку.

* * *

«Вынужден доложить, что Нина Варварова серьезно больна. Очень высокая температура», — прочитал я. Записка была подписана уже известным нам тыловым фельдфебелем медицинской службы и передана мне одним из людей с полевой кухни.

Как только я закончил с выполнением своих обязанностей на батальонном перевязочном пункте, я немедленно отправился посмотреть, что там случилось с Ниной. Когда я приехал, Нина спала, но очень беспокойно, а у ее кровати сидела Ольга. Симптомы слишком однозначно указывали на сыпной тиф. Она металась во сне по кровати, лицо было налитое кровью, а с разгоряченного лба катил крупный обильный пот. Я приложил ко лбу мокрое холодное полотенце, и ее напряженное тело немного расслабилось. Через несколько минут Нина открыла глаза, сфокусировала на мне взгляд и слабо улыбнулась.

— Думаю, у меня сыпной тиф, герр доктор, — едва различимо прошептала она.

— Возможно. Я в этом пока не уверен, — ответил я, нагнувшись к ней.

Она снова улыбнулась.

— Я не боюсь, доктор. Вы *сможете* вылечить меня — так же, как уже вылечили некоторых других.

Ее глаза смотрели на меня с полной, безграничной верой в то, что я могу ее спасти.

Я велел Ольге неотлучно находиться при Нине, ни под каким предлогом не оставлять ее одну ни на минуту, а фельдфебеля приказал назначить вместо Нины других гражданских для ухода за больными сыпным тифом. Я пытался приободрить себя тем, что, как показала практика в этой части России, русские проявляют гораздо большую сопротивляемость к этой страшной болезни, чем немцы. Но при этом я не мог все же не понимать, что вначале Нине

предстоит выдержать страшную битву со Смертью.

Через два дня мой диагноз полностью подтвердился. Нинино тело — особенно живот и плечи — покрылось характерными красными пятнами. По мере прогрессирования эти пятна стали появляться также на руках, ногах, ладонях и стопах ног. Ее селезенка сильно увеличилась в размерах, значительно повысилось кровяное давление. Ольга ухаживала за ней со всей самоотверженностью, на какую только была способна.

Еще один больной сыпным тифом в этой же деревне был уже при смерти, но в разговорах с Ниной я старался выкинуть это из головы и твердо заверял ее в том, что буду бороться за ее жизнь всеми доступными мне средствами — лишь бы только помочь ей самой справиться с болезнью. Я чувствовал, что обязан этой девушке, смиренно и безропотно лежавшей теперь передо мной, не меньше чем вдвойне: ведь она не только была моей верной помощницей, но и, вне всякого сомнения, заразилась, ухаживая за другими больными сыпным тифом. Я привез с собой несколько чистых шерстяных одеял на замену старым, которые забрал для особой термической и химической обработки от вшей. Я сам дал ей две таблетки «Пирамидона» и таблетку сильного успокаивающего, а остальные необходимые медикаменты, с подробными предписаниями по применению, вручил Ольге, добавив к этому еще и средство для усиления кровообращения. Когда я выходил из комнаты, Нина провожала меня лишь глазами: произнести вслух: «До свидания, герр доктор» — у нее уже просто не было сил.

* * *

Позвонил по телефону Руди Беккер: штаб полка требовал от нас провести детальную инвентаризацию всего имущества, боеприпасов, гужевого скота и запасов продовольствия, которыми в настоящий момент располагал наш батальон. Подобное распоряжение могло указывать лишь на приближение каких-то перемен, и Ноак прямо спросил у Беккера, в чем тут дело. Означает ли это наш отвод во Францию? Или, может быть, приписание к другому полку? Или отступление? Или наступление? Выяснилось, что ни первое, ни второе, ни третье, ни — тем более — четвертое, но причина тем не менее была все-таки приятной. Судя по всему, старик Беккер оказался прав. Наступательный потенциал русских в конце концов все же иссяк; враг был обессилен не меньше нашего, и германский Генеральный штаб уверился в том, что этой зимой русские уже не причинят нам никаких серьезных неприятностей. Теперь мы могли спокойно сидеть на наших позициях и проводить обстоятельную инвентаризацию.

Я вдруг избавился от оказавшегося неожиданно огромным внутреннего страха, не проявлявшегося ранее, и война предстала мне в другом, не столь зловещем аспекте. Каждый солдат инстинктивно чувствовал, что, когда зима закончится, у нас будет несравненно больше шансов противостоять красным. Я подошел к окну и выглянул наружу. Повсюду пока лежал снег, ставший для нас за эти несколько ужасных месяцев символом смерти. Еще минуту назад я воспринимал его как зловещий белый саван, который будет покрывать землю до скончания века; теперь же я осознал, что это все же преходящее явление. За несколько следующих недель он уступит место весенним ветрам, а солнце с каждым днем будет припекать все сильнее и сильнее. Кошмар зимней войны закончится, и из этого мира вечной мерзлоты возникнет новая жизнь и новая надежда на лучшее. Я стал буквально физически ощущать, как исчезают мои проблемы с сердцем — и аритмия, и шумы экстрасистол. Теперь я твердо знал, что снова увижу свой родной дом и Марту.

Когда я отправился на следующий день с объездом тыловых деревень, мой первый визит был, конечно же, к Нине. Болезнь достигла критической стадии, и организм Нины отчаянно боролся за жизнь. Маленькая Ольга неотлучно сидела рядом с ней и прикладывала холодные компрессы ко лбу. Я привез им основательный запас мяса и других продуктов, а также немного кофейных зерен для стимуляции Нининого кровообращения. Ее пульс все еще молотил с частотой 120 ударов в минуту, а высокая температура усиленно гнала кровь

по разогретым сосудам. Взгляд был затуманенным, а мышление спутанным и все чаще переходящим в бред; страшный тифозный яд уже вовсю свирепствовал в ее теле. И все же она была еще совсем не похожа на того Тульпина, каким мы увидели его в тифозном изоляторе Ржева. На ее стороне была завидная сопротивляемость молодого и отменно здорового организма, и это наполняло меня надеждой на то, что она все-таки выдержит.

Больше я пока не мог сделать для нее ничего; вопрос сейчас состоял лишь в том, располагает ли ее тело достаточной физической силой и выносливостью для того, чтобы победить болезнь. Я смочил полотенце в холодной воде и прижал к ее пылающему жаром лбу. На какое-то мгновение мне показалось, что в ее глазах промелькнула слабая искорка узнавания, но она сразу же исчезла, и взгляд снова стал отсутствующим и невидящим.

Побывав у других больных, я снова ненадолго заглянул к ней, а на обратном пути не чувствовал никакого стыда оттого, что всю дорогу молился за ее выздоровление.

Когда я вернулся в Малахово и зашел на перевязочный пункт, меня там дожидался Мюллер! При моем появлении он вскочил и вытянулся по стойке смирно, а я, отбросив пустые формальности, долго и сердечно жал ему руку. Теперь я мог быть совершенно спокоен за то, что мой перевязочный пункт будет безупречно соответствовать любым потребностям. Я был страшно рад видеть Мюллера и не мог представить себе ни одного другого человека, который был бы настолько же полезен батальону. Он сказал мне, что ему подлечили его изувеченную руку в смоленском госпитале, но отправлять обратно в Германию с таким ранением не стали. Безропотный Мюллер не выражал ни малейшего недовольства тем, чем мог повидать свою семью и не повидал ее из-за того, что его попросту лишили вполне законной возможности съездить домой в отпуск по ранению. Вместе с Мюллером прибыли еще четырнадцать человек свежего пополнения, и в том числе один обер-лейтенант и один лейтенант — оба прямиком из Биельфельда. И оба понаслушались о войне в России таких ужасных вещей, что, доверились они мне по секрету, — прежде чем уехать из дома, сделали завещания на случай своей смерти. Увидев же по приезду сюда, какое здесь царит спокойствие, они были немало поражены и испытали огромное облегчение.

И действительно, временное затишье, установившееся у нас здесь, приняло настолько долговременный характер, что мы наконец даже смогли похоронить сотни трупов наших товарищей, павших в ходе удерживания главной линии обороны. Военное кладбище в Малахово разрослось до невероятных размеров и теперь содержалось в порядке особым подразделением, изготовившим нормальные кресты для всех погибших с указанием их имен. Основную долю забот, связанных с этими захоронениями, принял на себя специально прибывший к нам для этой цели дивизионный католический священник, а в соседних районах богослужение при захоронениях производил протестантский пастор. Религиозные различия этих двух вероучений были на время забыты, и эти двое просто исполняли свои обязанности, как истинные христиане.

Нашлось у нас время и для того, чтобы отпраздновать 22 марта день рождения Генриха. Может, это было и не совсем правильным, но, поскольку Генрих являлся общепризнанным экспертом по части приготовления всевозможных блюд из конины, мы назначили его шеф-поваром и распорядителем собственного «банкета», главным блюдом которого было потрясающее жаркое с картофелем, поджаренным на касторовом масле.

Незначительные атаки, продолжавшиеся предприниматься неприятелем у Гридино и Крупцово, представляли собой огромный интерес для новоприбывших, но не достаивались почти никакого внимания со стороны старослужащих. Ноак упорно не желал выделять нашего «рейнского принца» из числа неопытных новобранцев и продолжал относиться к нему как к обычному новичку, чем немало задевал его самолюбие. Разница между новоприбывшими и старослужащими проявилась, например, 25 марта в результате примерно трехчасовой заметной оттепели, произошедшей после полудня, за которой снова последовало резкое похолодание, а затем и снежная буря, разыгравшаяся вокруг Малахово: новички даже не обратили на эту оттепель почти никакого внимания, но на нас она

произвела очень сильное впечатление — ведь это был первый несомненный признак приближения новой весны!

А на следующий день прибыло наше зимнее обмундирование! Если выражаться точнее, то зимним-то, конечно, оно было зимним, но назвать его «обмундированием» было никак не возможно, поскольку к армейской униформе оно не имело ровным счетом никакого отношения. Это было довольно впечатляющее количество меховых шуб, теплых пальто, самых разнообразных шерстяных изделий, подбитых мехом зимних ботинок и т. д., т. е. всего того, что собрали для нас наши добрые штатские соотечественники в ответ на призывное обращение Геббельса к нации, сделанное им еще в декабре прошлого года. В этом обращении министр пропаганды не постеснялся солгать, что мы обеспечены вполне достаточным количеством теплого зимнего обмундирования, но при этом хитроумно добавил, что русская зима настолько сурова, что лишнее никогда не помешает. В результате наши великодушные сограждане пожертвовали огромное количество своих личных шуб, теплой обуви, вязаных шерстяных свитеров и кофт, пальто — всего того, что, по их мнению, могло помочь нам справиться с русскими морозами. При этом они, конечно, не имели ни малейшего представления о том, что, если бы мы своевременно не «позаимствовали» теплую одежду у убитых нами русских солдат, мы все давно уже замерзли бы тут насмерть. Огромные кучи гражданской одежды, сгруженные на конюшне нашего командного пункта, выглядели довольно комично — особенно если учесть, что прибыли они к нам на следующий день после первой весенней оттепели.

Примерно в то же время нам стали подвозить целыми партиями лыжи, сани и белую легкосмываемую краску для камуфлирования техники и артиллерийских орудий, т. е. все то, в чем мы так отчаянно нуждались четыре предыдущих месяца.

Рождественские посылки, зимняя одежда, лыжи с санями — теперь мы были полностью укомплектованы для ведения боевых действий в зимнее время! Однако увидеть это смогли лишь двадцать восемь из первоначальных восьмисот человек личного состава 3-го батальона...

* * *

Теперь, с учетом всех пополнений, численность батальона достигла 160 человек, и, поскольку мы уже относительно хорошо отдохнули, нам было приказано занять передовые оборонительные позиции у деревни Клипуново, сменив на них 3-й батальон 37-го пехотного полка. 30 марта мы вышли из Малахово и уже к вечеру того же дня были на наших новых позициях. Наш командный пункт был расположен в том же самом доме, в котором фон Бёзелагер когда-то отпаивал горячим бульоном нас с Генрихом, продрогших до самых костей при форсированном переходе из Старицы. С тех пор ничего не изменилось — командный пункт представлял собой все ту же маленькую неприступную крепость, однако фон Бёзелагера в ней больше не было. Его отозвали с фронта и направили в Будапешт в качестве германского военного советника для того, чтобы он попытался привить румынской армии хоть какие-то зачатки дисциплины, а также обучить их применяемым Вермахтом методам ведения войны.

И вот мы снова на передовой. Но какой разительный контраст с тем, что было раньше! Теперь это была статичная война: патрули, разведывательные рейды, снайперы и, как всегда, досадно неожиданные артиллерийские обстрелы — как составные части обязательной ежедневной программы, в результате которой при всей статичности мы все же имели и почти ежедневные потери. Труднее всего оказалось внушить нашим солдатам серьезное отношение к подобной статике: приходилось постоянно твердить им о том, чтобы они не расслаблялись и сохраняли повышенную бдительность. Мой перевязочный пункт располагался примерно в пятидесяти метрах от командного пункта, что раздражало меня, но я так и не стал обременять себя организацией каких-то перемен на этом относительно спокойном участке фронта. Единственным местом, где проявлялась регулярная боевая активность, было, как

всегда, Гридино. Если нарушалось спокойствие на нашем участке, то это происходило всегда с той стороны, которой он примыкал к сектору у Гридино, т. е. на нашем правом фланге. Эта часть линии обороны удерживалась Бёмером и его отдохнувшей 11-й ротой, а Шниттгер и его люди находились в заслуженном резерве.

За три или четыре дня мы уже вполне освоились на новом месте и чувствовали себя в Клипуново так, как будто были там уже давным-давно. Серьезную проблему представляли собой вражеские снайперы, но мы частично решили ее, понастроив везде, где только можно, снежные стены и соломенные изгороди, мешавшие их прицеливанию. Русские вполне могли также неожиданно выпустить несколько пулеметных очередей по главной улице деревни, причем в любое время дня и ночи. Хоть стрельба и не была прицельной, это все же доставляло досадные неудобства, поскольку в каждый из таких моментов приходилось падать ничком в снег, что, впрочем, мы делали уже автоматически. Новички, только что прибывшие из Германии, находили в этом, однако, даже какое-то удовольствие.

Но и эти же самые новички не могли пока по достоинству оценить наш мрачноватый фронтовой юмор. Однажды, например, я зашел по какому-то делу к Шниттгеру, который сидел в тот момент за столом в своем доме и писал письмо родителям одного из новобранцев, убитого накануне русским снайпером. Несколько его бывалых ветеранов, удобно расположившись у печи, предавались тем временем праздному ничегонеделанию.

— Как ты написал, Шниттгер, что он погиб смертью героя? — спросил один из унтер-офицеров.

— Выполняя свой сыновний долг перед фатерляндом... — с усмешкой подхватил кто-то еще.

— Перед лицом упорно наступавшего врага, — добавил третий, и вся компания разразилась зычным хохотом.

На самом деле этот не слишком веселый эпизод выглядел, со слов Шниттгера, примерно так: один из новобранцев вышел ночью в туалет на улицу и решил воспользоваться для справления своей надобности специально организованным для этого отхожим местом на заднем дворе дома, которое представляло собой всего лишь широкую доску, перекинутую через край воронки от взрыва. Русский снайпер тщательно прицелился по неподвижно сидящей цели, и новичок упал замертво в воронку.

— Никто так и не хватился его до самого утра, — закончил Шниттгер, а затем добавил с укоризной: — Вот видите, герр ассистензарцт, даже вы улыбаетесь!

Если отбросить драматический аспект случившегося, то ситуация была действительно комичной. Однако подобный комизм мог быть оценен лишь людьми, видевшими собственными глазами сотни и тысячи смертей, но никак не необстрелянными новичками.

Шниттгер вернулся к написанию письма родителям этого бедняги, а я отправился через всю деревню к позициям Бёмера. Чуть не забыл упомянуть, что я в тот день исполнял весьма лестные для себя обязанности командира батальона, поскольку Ноак, воспользовавшись затишьем, отправился в штаб полка в Малахово. Если не считать меня и Бёмера, чья рота удерживала наиболее опасный сектор обороны, у Ноака на тот момент было в подчинении лишь пять офицеров, да и те все неопытные, только что из Германии. Но я был почти совершенно спокоен, так как знал, что за ближайшие сутки вряд ли произойдет что-то экстраординарное.

Бёмер, узнав о моем назначении временно исполняющим обязанности, не замедлил вскорости воспользоваться моей не слишком глубокой осведомленностью по поводу собственной ответственности. Произошло это, когда мы совершали обход вырытых в глубоких сугробах траншей, тянувшихся по направлению к кромке елового леса, в котором отдельно стоящие в пушистом снежном одеянии ели освещались ярким лунным светом, как на нарядных рождественских открытках. И это при том, что на календаре было уже 31 марта! Вдруг из лесу стремительными скачками вылетел большущий белый заяц! Не успел я опомниться, как он с поразительной ловкостью и скоростью скрылся, параллельно нашей траншее, среди деревьев. Бёмер сказал, что это несомненный признак того, что где-то не

слишком далеко от нас в лесу находится русский патруль. Патрули эти, так же, впрочем, как и наши, не слишком горели желанием вступать с нами в бой, да и к тому же у нас был приказ не производить ни одного выстрела до тех пор, пока это не станет абсолютно необходимым. Однако в следующее мгновение из чащи выпрыгнули прямо на нас еще два зайца, и у меня сразу же промелькнула мысль о том, насколько монотонен наш рацион, основанный почти исключительно на конине.

— Каковы будут распоряжения командира батальона? — лукаво взглянув на меня, быстро спросил Бёмер.

— Стреляем! — воскликнул я, мгновенно приняв первое важное решение в качестве командира батальона.

Оба наших винтовочных выстрела раздались одновременно, и оба зайца, как-то на удивление синхронно кувыркнувшись в воздухе, плюхнулись в снег.

— А что же теперь с русским патрулем? — озабоченно спросил я.

— О, не волнуйтесь. Они вернутся обратно на свои позиции и доложат, что имели незначительную стычку с врагом в лесу, напугали его и теперь всю оставшуюся часть ночи все могут спать спокойно.

К тому времени, когда Ноак вернулся довольно поздно ночью, один из патрульных Бёмера уже доставил мне обоих зайцев; один из них весил шесть с половиной килограммов, другой — четыре ровно. Пока Ноак стряхивал снег со своих ботинок, я с самым безмятежным видом, на какой был способен, доложил:

— За время вашего отсутствия ничего особенного не произошло, герр гауптман. Подстрелены разве что два русских зайца без потерь с нашей стороны.

Поездка домой

Войдя на командный пункт во второй половине дня 11 апреля, Ноак молча и без всякого выражения на лице подал мне какую-то бумагу. Я взял ее у него чисто механически и, прежде чем взглянуть, что это такое, закончил писать строчку в составляемом мной медицинском докладе.

Отпускное свидетельство! Уже заполненное и подписанное. Отпуск домой! Мне! Начиная с завтрашнего дня! Я был поражен, ошеломлен и, уставившись на этот бланк, который держал обеими руками, стремительно перебирал в мыслях все, что может помешать мне за следующие двенадцать часов. Общее ухудшение положения — нет, за двенадцать часов вряд ли. Я могу быть убит — тоже маловероятно; а кроме того, я уж постараюсь не оказаться таковым. Могут убить врача какого-нибудь другого батальона, и меня пошлют на его замену — нет, пошлют другого врача. Русские могут захватить дорогу на Ржев или железнодорожное сообщение с Вязьмой — нет, у них уже не хватит на это наступательного потенциала. Тогда, получается, меня не может остановить ничто! Уже завтра я буду ехать в Германию, к Марте!

Глядя на выражение моего лица, Ноак разразился вдруг смехом, обнял меня за плечи и сказал:

— Вот видишь, Хайнц, армия все же не забыла о тебе.

Мы принялись, как двое сумасшедших, громко хохотать вместе, пока я не вспомнил, что у Ноака тоже имеются все возможные основания побывать в отпуске.

— Жаль, что ты не сможешь поехать вместе со мной, Эдгар, — сочувственно вздохнул я.

— Чепуха, дружище. Только обязательно поцелуй за меня Марту, а еще позвони моей жене и скажи ей, что я тоже скоро буду дома. Только, смотри, Хайнц, не забудь! Не забудешь? — закончил он уже вполне серьезно.

— Не беспокойся, Эдгар. Я скажу ей, чтобы к твоему приезду она приготовила соломенный тюфяк и раскрыла настежь все двери и окна вашего дома, чтобы тебе было достаточно холодно, чтобы спать по ночам.

— Надо будет не забыть захватить с собой еще пару вошек, чтобы было совсем уж привычно, по-домашнему...

— И побольше конского мяса...

— Скажи ей, чтобы напекла к моему приезду комиссарского хлеба...

Хлопая друг друга по спине, мы хохотали до слез, когда вдруг вошел еще ничего не знавший о моей новости Генрих.

— Генрих! С меня довольно этой проклятой России! Иди, пакуй мои чемоданы! — крикнул я ему.

Не двигаясь с места, Генрих смотрел на меня с недоверчивой улыбкой так, как если бы я вдруг спятил.

— Я получил отпуск, дуралей, — рассмеялся я. — Можешь начинать укладывать мои вещи.

На круглом лице Генриха расплылась широкая улыбка.

— Примите мои поздравления, герр ассистензарцт. Конечно, герр ассистензарцт, я сейчас же все упакую, — протараторил он, сияя от радости за меня.

Я собирался выехать в Ржев в четыре утра на больших санях, запряженных парой лошадей, вместе с Генрихом и Хансом в качестве провожатых. Тут можно упомянуть о том, что за время пребывания в России у меня выработалась привычка обязательно заезжать на перевязочный пункт вечером накануне отъезда куда бы то ни было. Но в этот раз я никак не мог заставить себя сделать это — в каком-то уголке моего сознания затаился страх перед тем, что во время этого посещения какая-нибудь шальная пуля может положить конец моему отпуску еще до того, как он начнется. Из трех человек, вместе с которыми я добирался до Васильевского по дороге в отпуск ровно четыре месяца, в живых не осталось ни одного — все они были убиты во время последовавшего за этим боя. Нет, теперь, уже с отпускным свидетельством в кармане, я не хотел подвергать себя никакому риску. В разговорах о старых добрых временах мы с Ноаком засиделись допоздна. Мои уже упакованные пожитки и автомат были сложены у стены, и когда в старенькой русской печи догорело последнее полено, мы улеглись спать.

Через пять минут, как мне показалось, Генрих уже осторожно тряс меня за плечо.

— В чем дело? — встревожено спросил я. — Тревога?

— Нет, герр ассистензарцт, на этот раз ваш отпуск. Уже почти четыре часа. Русский Ханс дожидается нас на улице в уже запряженных санях.

Пока Ноак и я спали, Генрих тихонечко сварил за печью крепкий кофе на парафиновой горелке, а также наделал мне в дорогу целую грудку бутербродов, аккуратно завернутых теперь в несколько газет. Мне вдруг в первый раз пришло в голову, что предстоит довольно долгое путешествие. Генрих налил мне кофе в кружку, а еще такую же кружку с кофе отнес Ноаку. Тот встал со своего тюфяка, протер глаза и молча уселся рядом со мной. Так мы и принялись в молчании за наш кофе — Ноак еще не проснулся и наполовину, мне тоже не приходило в голову, о чем тут можно говорить. Допив кофе, я натянул на себя обе своих шинели и всю остальную зимнюю амуницию, молча пожал стоявшему у печи Ноаку руку и направился к двери.

— *Auf Wiedersehn* и удачи! — ощущая какую-то странную неловкость, пробормотал я.

— Счастливого пути и всего наилучшего всем твоим домашним, — улыбнулся в ответ Ноак и затворил за мной дверь.

Мы с Генрихом устроились в санях сзади, а Ханс сел спереди, с вожжами в руках. Ночь была темной, снежной и ветреной. У лазарета мы на минутку остановились, чтобы попрощаться с Мюллером, который уже дожидался меня у входа. Я сказал ему, что заменяющий меня врач приедет уже сегодня. Короткое «*Lebewohl!*» («*Прощайте!*»), и сани выехали из деревни.

Позади нас по улице вдруг ударила вражеская пулеметная очередь. Подобные моменты всегда были отвратительно неожиданными, но сейчас я пригнул голову даже быстрее, чем обычно. Где-то рядом с Гридино рвались вражеские снаряды, а за ним — должно быть, в

районе Крупцово, — виднелись вспышки осветительных ракет. Должно быть, вражеский патруль. Ханс пустил лошадей рысью. Над нашими тыловыми позициями монотонно тархтела кругами «Усталая утка» («У-2»). Все это вместе складывалось в обычную еженощную симфонию северо-восточной оконечности «линии Кёнигсберг», которую я уже, казалось, знал наизусть.

Снег прекратился, и из-за рваных облаков выглянула луна, заливая пейзаж своим таинственным и даже каким-то сверхъестественным серебряно-голубым светом. Ханс осадил лошадей и позволил им перейти на шаг; теперь мы были в относительной безопасности — во всяком случае, вне зоны действия русской артиллерии, и с каждым шагом все ближе и ближе к дому. Единственная возможная угроза исходила от «Усталой утки» и ее бомб. Если мы угодим под одну из них — значит, я не заслужил отпуска домой. Наш Ханс имел очень милую привычку разговаривать с лошадьми, причем изъяснялся он с ними на каком-то грубом сибирском диалекте, сильно отличавшемся от звучания его речи, когда он говорил с нами. Было вообще что-то такое оперно-театральное в том, что по всем этим живописным, погребенным под снегом и залитым светом последней ночи полнолуния окрестностям нас вез в санях не кто-нибудь, а именно этот двухметровый гигант, считавшийся официально одним из наших врагов, которому для полного антуража только разве что бороды до пояса не хватало.

Когда мы подъезжали к нашей главной тыловой деревне, я показал ему знаками, чтобы он завернул в нее. Ханс понял меня сразу же и направил сани напрямик к маленькому Нининому домику. За окошками мерцал свет, и Ольга отворила мне дверь еще до того, как я успел постучать.

Нина лежала в кровати и смотрела на меня своими огромными и на этот раз совершенно ясными глазами. Взгляд ее уже не был отсутствующим и ни на что не реагирующим, но в нем снова присутствовала какая-то странная комбинация пронизательности и вместе с тем тайны. Я приставил стул к ее кровати и, сев на него, взял ее за запястье. Пульс теперь был ритмичным и имел хорошее наполнение. Жар и лихорадочное состояние отступили. Прежде чем я успел что-либо сказать, она тоже взяла меня за руку обеими своими ладонями и выразительно сжала ее.

— Я очень благодарна вам, герр доктор, за все то, что вы сделали для меня. Вы...

Ее голос вдруг задрожал, а глаза мгновенно наполнились слезами, и, смутившись этим, она замолчала и отвернула лицо в сторону.

Не пытаясь высвободить свою руку из ее ладоней, я тихо сказал:

— Скоро вы поправитесь окончательно, Нина. Я знал, что вы выкарабкаетесь, вы молодец!

Ольга все это время стояла рядом, в ногах кровати, и прямо-таки лучилась удовольствием. Голоса Генриха и Ханса, будто их до этого момента и не существовало, — только сейчас донеслись до меня с улицы, напомнив о том, что мои обязанности врача здесь уже выполнены. Нина быстро сказала что-то по-русски Ольге. Девушка торопливо засеменила к самовару у печи и налила мне кружку чая, а затем еще две кружки и вынесла их наружу, моим провожатым, плотно притворив за собой дверь.

— Я еду в отпуск, Нина, — сказал вдруг я. — Прямо сейчас. Заехал к вам уже по дороге во Ржев.

— Я знаю, — отозвалась Нина.

— Откуда? — удивился я.

— Фельдфебель вчера сказал.

Повисла небольшая пауза, а потом Нина добавила:

— И я знала, что вы заедете сюда этим утром.

Вот уж этого-то, казалось, ей неоткуда было знать, но в действительности она знала меня даже лучше, чем я мог себе представить. Я улыбнулся и сказал ей зачем-то:

— Я в этом и сам не был уверен так, как вы.

Вот уж этого-то не следовало говорить точно, поскольку в глубине души я знал

наверняка, что просто не смог бы уехать из России, не попрощавшись с Ниной.

В следующее мгновение мне стало ясно, что ей было известно и это — точно так же, как мне самому.

— Мы с Ольгой ждали вас уже с пяти утра.

Я почувствовал сильное смущение, и мне вдруг захотелось скрыться куда-нибудь от этого тревожащего и пронизывающего меня насквозь взгляда, поэтому я поднялся со стула и сделал несколько шагов в сторону печи. Всем своим видом я старался показать, что совершенно спокоен, но в то же время озабочен предстоящим нелегким путешествием, в которое уже пустился.

— Может, вы и правы, — с трудом подбирая слова, пробормотал я, уставившись зачем-то на огонь и стоя при этом спиной к Нине. — Как врач я все равно должен был заехать проведать вас как своего пациента... Ну и, конечно, я хотел попрощаться с вами...

Я обернулся от печи, и увидел, что Нина встала со своей кровати и, пошатываясь от слабости, очень неуверенной походкой идет прямо ко мне. Она была в тот момент так трогательно хрупка после перенесенного кризиса, а я невольно отметил про себя, что теперь она стала еще прекраснее, чем раньше.

— Нина, дорогая моя, что же вы делаете! Вы не должны...

Я сразу же бросился к ней — и как раз вовремя, потому что в следующее мгновение она покачнулась, потеряла равновесие и стала падать мне навстречу, но успела обхватить мою шею руками.

Я тоже крепко обнял ее, и наши лица сблизились настолько, насколько я не смел и подумать. Теперь в ее глазах не было *никаких секретов*. Я осторожно поднял ее на руки и понес через комнату обратно к кровати. Она положила голову мне на плечо, и ее длинные волосы свесились через мою руку. Бережно опустив ее на кровать, я накрыл ее сверху одеялами.

— Зачем вы сделали это, Нина? — со строгим укором спросил я. — Вы пока еще слишком слабы для того, чтобы вставать.

— Я не хотела, чтобы вы вспоминали меня больной и беспомощной, когда будете в Германии.

— Нина, дорогая моя, вам надлежит провести в постели никак не меньше еще одной недели. Я скажу Ольге, чтобы она не позволяла вам вставать до этого времени.

— Да, доктор, благодарю вас. Я сделаю все, как вы скажете.

— А сейчас я должен ехать. Меня ждут на улице мои люди.

— Вы же вернетесь обратно в Ржев? Вернетесь, доктор?

— Примерно через шесть недель. Боюсь, моя солдатская удача не настолько огромна, чтобы позволить мне остаться в Германии до конца войны.

— Я все еще буду здесь, доктор.

Я сдержанно пожал ей руку на прощание и, не оглядываясь, вышел из домика. Всю оставшуюся дорогу до Ржева я не смотрел по сторонам. Теперь я хотел только одного — попасть на поезд в Ржеве и устремить свой мысленный взгляд только вперед, по направлению к дому, чтобы не видеть больше Россию, остающуюся позади.

В десять утра мы были на железнодорожном вокзале Ржева. Здание вокзала сильно пострадало от бомбардировки, и мой поезд стоял на открытой платформе. Генрих и Ханс внесли мои вещи в вагон, и я уселся у дальнего окна. Все стекла по другой стороне вагона, обращенной к платформе, были выбиты. В поезд набивалось все больше и больше таких же, как я, отпускников, несмотря на то что он должен был отправиться на Вязьму не раньше, чем через четыре часа. Генрих и Ханс стояли на платформе.

В одиннадцать часов послышался рев моторов русского самолета и на вокзал посыпались бомбы. Мы все повыпрыгивали из поезда и — за неимением лучших укрытий — залегли между рельсами, вдавливая свои животы как можно глубже в снег. Несколько бомб все же попало по вокзалу, а два вагона нашего состава оказались так сильно повреждены, что их пришлось отцепить. К счастью, погибших и раненых не оказалось, а самое главное — был

цел паровоз.

Весь наш состав вообще выглядел довольно необычно. Начать с того, что перед паровозом было прицеплено три открытых товарных платформы, причем первые две из них были загружены камнями, а на той, что была непосредственно перед паровозом, имелся запас рельсов и особое приспособление для их укладки. Это было вынужденной мерой предосторожности против чрезвычайно усилившейся в последнее время и очень досаждавшей нам партизанской активности русских «горилл», руководимых теперь недавно появившимся новым действующим лицом по имени Никита Хрущев. «Гориллы» практически ежедневно минировали железнодорожное сообщение между Вязьмой и Смоленском, применяя чаще всего следующую немудреную тактику: дождавшись, когда в результате взрывов мин поезд будет вынужден остановиться, они атаковали его с обеих сторон всеми имевшимися у них силами. Поэтому каждый отправлявшийся в отпуск должен был иметь при себе винтовку и запас патронов к ней. Множество немецких солдат с отпускными свидетельствами в карманах так и нашли свою смерть на этой железнодорожной ветке между Ржевом и Смоленском, неожиданно и грубо прервавшую их мечтательные размышления о долгожданной встрече с семьей. В результате воздушных налетов, взрывов мин и стрельбы «горилл» вагоны нашего состава были в ужасающем состоянии. Значительная часть окон была выбита, и в попытках удержать тепло в вагонах оконные проемы заделывались одеялами, фанерой и даже картоном. Отопительные системы в поездах вроде нашего работали крайне редко, а если и работали, то производили настолько мизерное количество тепла, что хватало лишь на то, чтобы не замерзала питьевая вода. Однако никто из нас не обращал слишком много внимания на столь ерундовые неудобства. Самое главное — мы ехали домой.

Без всякой видимой причины отправка поезда задержалась на целый час, и в путь мы тронулись только в три дня. Генрих и Ханс долго махали мне руками вослед — до тех пор, пока состав не изогнулся на повороте и нам не стало видно друг друга. Участок железной дороги между Ржевом и Вязьмой был в то время полностью под нашим контролем, поэтому опасаться нам было нечего. К наступлению сумерек мы доехали до Сычевки, и пока ночная тьма не сгустилась окончательно, я успел ясно разглядеть места, по которым мы двигались в обратном направлении шесть месяцев назад. Где-то здесь поблизости — и, кстати, тоже в похожих сумерках — меня чуть не пристрелил раненый комиссар, когда я пытался оказать медицинскую помощь другим раненым русским. В те дни война была для нас увлекательным и чуть ли даже не приятным приключением, мы были полны надежд на скорую победу и бодро маршировали на Москву полным батальоном... К восьми вечера мы добрались уже до Вязьмы, где и остановились на ночь. На ночлег мы расположились в здании вокзала, где нам раздали комиссарский хлеб, консервированные сосиски и теплый *Negerschweiss* ².

За ночь к нашему составу подцепили еще несколько пассажирских вагонов с отпускниками, и на следующее утро мы тронулись дальше, на Смоленск. Вместе с теми, что были в дополнительных вагонах, домой теперь нас ехало около шестисот человек.

В десять вечера того дня мы наехали на первую мину и поняли наконец на собственном опыте, почему поезд так медленно тащился весь день по равнинам — со скоростью не более двадцати пяти-тридцати километров в час. Именно благодаря этой невысокой скорости паровоз успел остановиться, не сойдя с рельсов. Шедшие впереди паровоза первые две товарных платформы с камнями сбросило с путей и сильно повредило. Отпускники высыпали из вагонов и совместными усилиями убрали их с полотна и столкнули с насыпи. Затем, пока основная часть этой шумной и веселой гурьбы стояла с винтовками наперевес на случай нападения «горилл», остальные принялись за работу по восстановлению поврежденных путей. Уже через пару часов новые рельсы были положены, и мы двинулись потихоньку дальше на Смоленск.

² Негритянский пот (нем.) — шутовское название ячменного кофейного напитка.

Вдруг соседнее с моим окно разлетелось вдребезги от автоматной очереди, и поезд быстро, какими-то судорожными рывками остановился. Нас обстреливали из леса, довольно близко примыкавшего к путям с правой стороны. Многие повыпрыгивали наружу с левой стороны и стали вести огонь по «гориллам», пользуясь прикрытием вагонных колес и рельсов. Остальные открыли дружную пальбу по лесу прямо из вагонов. Очевидно, концентрированного огня шести сотен винтовок и автоматов оказалось для «горилл» многовато, и их выстрелы быстро смолкли. Одного из нас все же постигла участь, которой все мы так боялись: он был убит с отпускным свидетельством в кармане. Мы оставили его на заснеженной платформе смоленского железнодорожного вокзала. Из находившихся при нем документов мы узнали о том, что в Германии его приезда с нетерпением ждут жена и четверо детей.

На равнинном участке между Смоленском и Оршей поезд наконец набрал нормальную скорость, и впервые за все время пребывания в России мы смогли воспринять расстилавшиеся вокруг заснеженные ландшафты не как таящие в себе смертельную угрозу, а как вполне мирный пейзаж — как, скажем, на рождественских открытках. Но только уже в самой Орше мы почувствовали по-настоящему, что война осталась позади, а впереди — отпуск! Офицер, командовавший составом, издал приказ для всех его пассажиров — приказ, звучавший для нас крайне странно и даже как-то нереально, приказ, резко противоречивший нашим прочно укоренившимся на фронте привычкам: «Разрядить все винтовки и автоматы, а все магазины — освободить от патронов».

Под всеобщее изумление послышался лязг сотен затворов, а из магазинов посыпались патроны. Все они были собраны и аккуратно упакованы в сумки для боеприпасов, и война вдруг сразу оказалась где-то очень-очень далеко от нас — стрельба здесь была *строжайше запрещена!*

В только что выстроенных бараках возле станции нашим широко распахнутым глазам предстали новые удивительные сюрпризы, подготовленные специально для нас этим «новым» миром, в который мы сейчас возвращались. Во-первых, длинные ряды столов, застеленных белоснежными скатертями и уставленных всевозможной едой. Повсюду вокруг горели разноцветные свечи, помещение было хорошо натоплено, и, в довершение ко всему, нас встречали военным духовым оркестром, негромко (насколько это возможно для военного духового оркестра) наигрывавшим старинные немецкие вальсы и народные песни. Нам навстречу устремились прекрасные, как ангелы, сестры милосердия из Красного Креста в еще более белоснежной, чем скатерти, униформе, но мы, потрясенные всем этим великолепием цивилизации и не знавшие, как теперь вести себя дальше, поначалу молча попятились назад. Немного освоившись, мы аккуратно сложили свои чемоданы и вещмешки у стен, сняли с себя шинели и другое рванье, спасавшее нас от свирепых морозов во время зимних боев, и побросали его поверх наших пожитков. Ни слова не говоря, мы расселись в нашей отвратительно грязной униформе за столы, на скатертях которых не было пока ни единого пятнышка. Довольно многие так и не выпускали из рук своих винтовок до тех пор, пока сестры милосердия не напомнили им вежливо, что теперь в этом нет никакой необходимости, что никаких боевых тревог во время этого фантастического пиршества не предвидится.

Мы ели в полной тишине, совершенно подавленные нереальностью всего происходящего. Но если очень многие из нас садились за столы суровыми солдатами, доведенными зимней войной до звероподобного состояния, то к завершению этого неожиданного банкета, организованного с такой любовью и добротой, они превратились во вполне милых и даже миролюбивых людей.

В Брест-Литовске армия приготовила для нас еще один необычный прием. Это была как бы следующая, но не менее необходимая стадия в процессе подготовки нас к возвращению в приличное общество. Нам было приказано выйти из комфортабельного пассажирского поезда, в котором мы могли со всеми удобствами предаваться сну большую часть пути от Орши через Минск до Брест-Литовска, и следовать к другому особому составу,

оснащенному всем необходимым оборудованием для полного выведения вшей. Мы входили в состав с одного его конца грязные и завшивленные, а через некоторое время выходили с другого конца опрятные и чистенькие, как новорожденные младенцы. Процедура была обязательна и одинакова для всех, от оберста до рядового, и распространялась также на всю нашу униформу. Когда мы входили в первый вагон — ее у нас забирали, а когда выходили из последнего — выдавали обратно, тщательно обработанную в специальных печах с такой температурой, что она убивала даже личинки вшей. Мы снова приосанились в соответствии с нашими званиями, погрузились в другой немецкий комфортабельный пассажирский поезд и устремились на Варшаву, Познань и Берлин.

Когда мы въехали наконец на территорию Германии, время близилось к вечеру. Нигде не было видно даже остатков снега, деревни и города были как всегда опрятны и ухожены, а на пахотной земле уже зеленела озимая пшеница. Еще четыре дня назад мы тоже проезжали сельскую местность, но она была всецело во власти ледяной хватки смерти. Земля, проплывавшая за окнами теперь, уже проснулась, и весь мир радостно предвкушал скорое наступление очередного лета.

Когда наш поезд плавно вплыл под своды вокзала Франкфурта-на-Одере, нас там уже встречали с кофе и бутербродами миловидные, хорошо одетые и радостно-приветливые местные горожанки. От них мы узнали, что наш поезд был всего лишь третьим поездом с отпускниками, пришедшим из России, и нам оставалось только возблагодарить Провидение за то, что нам посчастливилось оказаться в числе первых двух тысяч, получивших отпуск. Эти воспитанные в лучших европейских культурных традициях женщины являлись представительницами какой-то местной добровольческой организации, и, едва мы насытились приготовленным для нас угощением, они буквально засыпали нас вопросами о положении в далекой России.

— Снега все еще очень много; фронт удерживается надежно, — таковы, в общих чертах, были наши ответы, но по вежливому интересу и рассеянным взглядам этих милых женщин было совершенно ясно, что они не имеют ни малейшего представления о суровых реалиях зимней войны.

— Скажите, в России было очень холодно? — спросила меня пожилая седовласая фрау.

— Да, очень холодно. Как только началась зима, так сразу же и стало очень холодно.

— Но ведь мы отправили вам всю нашу теплую одежду. Я, например, послала свою лучшую меховую шубу.

— Боюсь, их доставили нам с некоторым запозданием.

— Но зато они точно дождутся следующей зимы, — не слишком уместно пошутил какой-то обер-лейтенант.

С наступлением сумерек мы въехали в Берлин. Те, кто жил в городе, быстро поспрыгивали с поезда и растворились в толпе. Мне предстояло ждать несколько часов отправления ночного поезда до Рура, но навещать кого-либо из моих знакомых в Берлине у меня не было совершенно никакого настроения. Я чувствовал, что сейчас мы будем друг для друга совершенно чужими людьми. Вместо этого я решил побродить по улицам города, которые не ожидал увидеть столь ярко освещенными. В Берлине было полно солдат — вне всякого сомнения, их было тут несравненно больше, чем в Малахово и Ржеве вместе взятых, и я чувствовал себя довольно неловко в моей сильно поношенной униформе. Каждые несколько шагов мне приходилось вскидывать руку к козырьку, чтобы ответно приветствовать без устали козырявших мне бесконечных солдат. Когда меня это утомило, я спустился на несколько ступенек в маленькое полуподвальное кафе, откуда доносилась веселая музыка. Заказав кофе, я стал исподволь разглядывать хорошо одетых штатских, весело болтавших и смеявшихся за соседними столиками. Официантка принесла мне кофейный напиток на кукурузной основе, но он был обжигающе горячим и налитым не в потрескавшуюся эмалированную кружку, а в изящную фарфоровую чашку. Именно в этот момент я очень остро почувствовал и впервые осознал по-настоящему, что нахожусь почти дома.

Еда, поглощавшаяся за соседними столиками беспечно галдящими штатскими, выглядела довольно аппетитно, и я вспомнил, что после тех бутербродов на франкфуртском вокзале не ел пока ничего. Подозвав официантку, я сделал заказ: суп, омлет и телятину.

— Ваши продуктовые карточки, герр лейтенант, — сказала вдруг официантка.

— Что, извините?

— Продуктовые карточки. Перед тем, как обслужить вас, я должна получить ваши продуктовые карточки.

— Простите меня, фройляйн, но у меня нет никаких карточек.

— Тогда, боюсь, я не смогу обслужить вас. Таковы правила, герр лейтенант. Вы ведь знаете, сейчас идет война.

* * *

Мы с Мартой вышли из здания Венского оперного театра под наводящие на грустные размышления отголоски «Гибели Богов», все еще продолжавшие звучать у нас в ушах, и направились поужинать в уже открывшийся летний ресторан под открытым небом, расположенный прямо на крыше высотного здания. Весь мой отпуск, казалось, состоял лишь из Марты и... еды. Но все же никакое самое изысканное кушанье, ни даже пир по поводу нашего обручения не могли даже сравниться с пронзительной радостью от нашего первого совместного завтрака, через час после того как поезд доставил меня из Берлина в Дуйсбург. Он состоял всего лишь из кофе, булочек и меда, но мгновенно избавил мою память даже от воспоминаний о гуляше из конины и *Negerschweiss* -е. Пока Марта варила настоящий кофе из собственноручно намолотых натуральных кофейных зерен, которые она купила на черном рынке и берегла до моего приезда домой, я блуждал счастливым взглядом по знакомой комнате. Вскоре я обнаружил, что могу избавиться от докучливых мыслей о России, просто прикасаясь руками к предметам, являвшимся частью жизни Марты: к роялю «Блютнер», стоявшему в арке окна, к маленькому ломберному столику, на котором за вазой с тюльпанами лежало еще не отправленное мне в Россию письмо; к моим развешанным по стенам картинам маслом и акварелью; к письменному столу, на котором в рамке стояла фотография молодого врача в белом халате по имени Генрих Хаапе.

Вошла Марта с кофе.

Создавалось впечатление, что почти все, кому я наносил визиты, держали специально для этого момента немного кофейных зерен, бутылочку выдержанного вина и какой-нибудь совершенно особенный сорт колбасы. Меня ужасно баловали, и, кажется, никто даже не догадывался, что я был бы совершенно счастлив тарелкой самого что ни на есть обычного горохового супа. Все они мучались комплексом вины в связи с тем, что наши солдаты в России жертвуют ради них своей жизнью; из-за дефицита объективной информации многим казалось, что начиная примерно с Рождества в России воцарился полный хаос. Как одного из самых первых, вернувшихся в отпуск, меня постоянно расспрашивали об условиях нашего пребывания в России и просили рассказать правду о положении на Восточном фронте. Однако, что бы я ни говорил им в ответ, они продолжали как заводные твердить о нашем грядущем летнем наступлении и о неминуемой и окончательной победе: пропагандистская машина справлялась со своей работой вполне исправно. Выслушивая раз за разом одни и те же ответы на один и тот же довольно стандартный набор вопросов, Марта демонстрировала недюжинную выдержку. Я всегда с облегчением выслушивал, как мои «собеседники» со скорбным видом бормочут под конец своих расспросов какую-нибудь обычную банальность, вроде: «Да, германский солдат проделал это снова... Все закончится этим летом». Я знал, что после подобной глубокомысленной сентенции дальнейшая беседа потечет в совершенно ином направлении.

Мы побывали вместе с Мартой у фрау Дехорн. Она до сих пор была в трауре, и жизнь утратила для нее свой смысл. Но наши посещения супруги оберста Беккера, фрау Ноак и семьи Генриха оказались настоящими праздниками. Мы играли с маленькой краснощекой

дочуркой Генриха — ей было всего два годика — и заставляли до слез хохотать фрау Аппельбаум рассказами о том, как ее Генрих готовит лошадиное мясо на касторовом масле.

Были и вечера, наполненные волшебством оперного искусства, когда голос Марты, исполняющей в Дуйсбургском оперном театре партии Памины, мадам Баттерфляй и Джульетты, уносил меня в совершенно иной мир.

Мы с Мартой отпраздновали наконец нашу помолвку. Дом в Крефелде, принадлежащий моему старшему брату Хансу, был полон дорогих нам гостей. На следующий день мы отправились поездом в Вену — Марте был предоставлен двенадцатидневный отпуск, заканчивавшийся как раз в день моего отбытия обратно в Россию.

Время, проведенное нами в Вене, промелькнуло как одно сказочное мгновение. Мы побывали в Гринзинге и Пратере, трепетали от радости при виде первых признаков весны в венских лесах. В последний вечер в Вене мы даже успели побывать на «Гибели Богов» и поужинать в летнем ресторане на крыше высотного здания.

Во время того ужина Марта вдруг пристально посмотрела на меня и спросила:

— Скажи мне, Хайнц, ты действительно думаешь, что мы победим в этой войне?

— Не знаю, — ответил я, — но надеюсь. Это будет колоссальной задачей.

Она нежно положила свои ладони поверх моих, и мы молча устремили наши взгляды на расстилавшийся под нами старинный город. В мягких вечерних сумерках угадывались силуэты древних башен. Откуда-то донеслась плавная мелодия какой-то столь же старинной венской песни, исполняемой на пианино, и Марта стала негромко напевать ее мне. Через считанные несколько мгновений у нашего стола возник метрдотель, учтиво поклонился Марте и еще учтивее произнес:

— Не соблаговолите ли доставить нам удовольствие услышать в вашем исполнении несколько венских песен под аккомпанемент нашего пианиста?

— С удовольствием, — улыбнулась она. — Особенно этим чудесным вечером.

Поднимаясь из-за стола, она наклонилась и прошептала мне на ухо:

— Я хочу, чтобы ты знал, что я пою только для тебя...

Эпилог

Теплый майский бриз ерошил белокурые волосы Хайнца-младшего, игравшего с малюткой Йоханнесом на аккуратно подстриженном искусственном газоне. Изогнутые пальмы отбрасывали лишь небольшие зазубренные тени, не слишком спасавшие от жаркого южноафриканского солнца; высокие азалии льнули к светло-зеленой кроне золотых кипарисов, а у камелий уже налились соком новые бутоны, готовые распахнуться уже в самые ближайшие дни.

Я наблюдал за мельтешением этих двух белокурых детских головок будто со стороны, с огромного расстояния: Хайнц, которому теперь было уже тринадцать, родился в штуттгартском бомбоубежище в 1944-м, а Йоханнес — уже здесь; мы и назвали его в честь этой благословенной солнечной страны, увидевшей его появление на свет и даровавшей всем нам возможность мирной и спокойной жизни. Но мои мысли были заняты сейчас не двумя моими сыновьями, резвившимися сейчас на зеленеющих возвышенностях в пригороде Дурбана, в этом маленьком волшебном мире лета зимой, а письмом, которое я держал в руке. Его только что принесла мне из почтового ящика Марта, и адрес на нем был написан четким и аккуратным почерком барона фон Калкройта. Месяц назад я вдруг увидел (впервые за все послевоенное время) его подпись на одном из деловых писем из Германии. Это было для меня полной неожиданностью, и я немедленно написал ему. И вот теперь я держал в руках его ответ. Мои мысли унесли меня в прошлое, на пятнадцать лет назад, в тот май 1942-го, когда я снова попрощался с Мартой на железнодорожном вокзале Кельна...

С наступлением мая в Ржев и Малахово пришла и весна. Снег исчез, и вместо него образовалась грязь — километры и километры вязкой грязи. Часть пути от Ржева до Малахово я преодолел на санях — весь колесный транспорт безнадежно увязал и застревал в этом болоте. Ноак был переведен в 1-й батальон, а командование 3-м батальоном снова принял на себя наш папа Нойхофф. Воссоединение было взаимно радостным. Было решено, что наш 3-й батальон не подлежит восстановлению, а будет действовать как отдельное маленькое подразделение. На нашем участке фронта было совершенно спокойно, летнее солнце высушило дороги и поля, и вся округа приняла гораздо более благоприятный и дружелюбный вид. С наступлением тепла полностью исчез и сыпной тиф, даже среди местного гражданского населения, и Нине, которая к тому времени уже полностью поправила свое здоровье, делать было почти нечего. Когда возникала необходимость, она охотно помогала мне, и я был очень признателен ей за это, как самому настоящему другу и соратнику.

В середине июля на смену нам в Малахово прибыла дивизия саксонцев; мы погрузились на поезд в Ржеве и прибыли для кратковременного отдыха в лагерь около Сычовки, где нас должны были переформировать и отправить под Орел. Мне было присвоено звание оберарцта. Но 30 июля вся эта почти курортная идиллия резко прекратилась... Слухи распространялись подобно пожару в сухом лесу: генеральное наступление красных на Ржев... Малахово уже в руках русских... значительные силы Красной Армии готовятся к триумфальному занятию Ржева. Вся 6-я дивизия, вооруженная лишь ручным огнестрельным оружием, была срочно погружена в поезда и всего через несколько часов уже брошена на врага. На платформе железнодорожной станции у Сычовки мне был вручен приказ отправиться в 58-й пехотный полк 6-й дивизии в качестве полкового офицера медицинской службы. С собой я взял Генриха и русского Ханса.

В Ржеве царила атмосфера обреченности. Малахово, Гридино, Крупцово, Клипуново не выдержали напора наступления красных; русские подошли вплотную к Волге с северной стороны уже почти по всей линии нашей обороны. Опоры моста через Волгу у Ржева были заминированы и подготовлены к взрыву в любой момент. 58-й полк занял позиции у Полунино в районе северных окраин Ржева, и в ту же ночь Нойхофф с остатками 3-го батальона, майор Хёк и другие мои старые товарищи были брошены в бой на нашем фланге. Утро 31 июля возвестило своим приходом начало самого жестокого сражения за всю эту летнюю кампанию, но после десяти суток крошечного ада русские все же отступили. Ржев был удержан.

Некоторые русские гражданские из деревень в районе Малахово, спасаясь от большевиков, переправились через Волгу и оказались в Ржеве. Среди них была и Ольга — подруга Нины, ухаживавшая за ней во время болезни весной. Сумев разыскать меня во всем этом хаосе, она кинулась мне в ноги, схватила за руку и разразилась неудержимым плачем. Я узнал от нее, что Нина осталась на той стороне для того, чтобы не оставлять без ухода больных, была по чьему-то доносу схвачена комиссарскими пособниками, судима открытым военно-полевым судом за сотрудничество и пособничество немцам и в конце концов получила пулю в затылок как предательница. Ольга пыталась говорить в ее защиту на суде, но лишь накликала беду и на себя, поскольку суд был, по сути, лишь показательным фарсом. Самой ей чудом удалось избежать той же ужасной участи лишь благодаря благоприятному течению обстоятельств — какой-то русский солдат сжалился над ней и, рискуя собственной головой, отпустил ее в ночь перед самой казнью.

Красная Армия возобновила свои атаки с еще большим натиском и ожесточением. День за днем они бросали тысячи своих бойцов против сотен наших и пытались прорваться в город группами танков. Их артиллерия и «сталинские оргáны» сравнивали с землей почти все строения в черте Ржева. Германской армии приходилось жить практически под землей, в подвальных помещениях. Но генерал Гроссманн — командир 6-й дивизии — не утратил в данной ситуации своего завидного самообладания, что со всей справедливостью

можно отнести и к каждому офицеру и солдату его дивизии. Выполняя свой долг, не дрогнул ни один из них. Оберст Беккер и мой новый командир полка, оберст Фурбах, были награждены рыцарскими крестами. Этой же награды был удостоен и наш несравненный обер-фельдфебель Шниттгер. Но Нойхофф был убит пулей в голову, а Ноак умер от ужасных ран живота в самый разгар сражения. Фон Калкройт и обер-лейтенант Райн из батальона Хёка также получили очень серьезные ранения и были эвакуированы.

Так мы и воевали день за днем: стремительно несущая свои воды Волга сзади, красные — впереди. Основными нашими укрытиями служили окопы и воронки от снарядов. Мы отбрасывали назад ударные отряды врага и пропускали прямо над своими головами русские танки для того, чтобы забросать их гранатами сзади, а затем завершить их уничтожение отчаянными рукопашными схватками с их экипажами. И каждый день мой бункероподобный перевязочный пункт был переполнен ранеными и умирающими. Это был один сплошной, ни на миг не прекращавшийся кошмар.

Нам непрестанно твердили о том, что если мы сможем удержать огромные силы красных у Ржева, то этим будет обеспечена наша победа на юге. И наши армии на юге исправно выполняли свою часть этого плана, победоносно продвигаясь на Кавказ и к Сталинграду.

* * *

Командование наших бронетанковых войск написало на меня представление к награждению их особой наградой — Знаком ближнего боя — за то, что в ходе одного из боев я собственноручно вывел из строя два русских «Т-34». В действительности первый из этих двух танков был уничтожен не мной, а Генрихом, хоть и при непосредственном участии с моей стороны: когда этот бронированный монстр провалился в замаскированный ветками противотанковый ров, я помог Генриху дотянуться до выходного отверстия дула его беспомощно задравшейся кверху пушки, обхватив его за ноги и приподняв кверху, а Генрих быстро вбросил в дуло обе имевшихся у него гранаты. Воодушевленный нашим успехом, я через несколько дней уничтожил самодельной противотанковой гранатой еще один «Т-34», угрожавший нашему перевязочному пункту.

Примерно в то же время мне приколотли на мундир Германский Крест в Золоте.

Во второй части представления к этой высокой награде говорилось: *«В ходе оборонительных боев к северу от Ржева офицер медицинской службы полка оберарцт Хаапс руководил работой перевязочного пункта в Полунино. В период со 2 по 21 августа 1942 года, вынужденный действовать практически в одиночку в примитивных условиях, а также в условиях сильного артиллерийского, бронетанкового и пехотного обстрелов, оберарцт Хаапс оказал медицинскую помощь в общей сложности пятистам двадцати одному раненому. Благодаря значительным личным усилиям и прекрасной организации работы перевязочного пункта он не только оказал помощь всем без исключения раненым солдатам, но также обеспечил их своевременную эвакуацию в тыловые области...»*

Во время вражеского прорыва у Полунино д-р Хаапс вместе с легко ранеными солдатами занял оборонительные позиции в окопах, примыкавших к перевязочному пункту, стойко защищал его и внес существенный вклад в общий успех обороны на этом участке. Когда в результате ожесточенного боя все полевые телефоны и радиосвязь вышли из строя, д-р Хаапс добровольно вызвался доставить важные оперативные донесения по ситуации в штаб полка одновременно с эвакуацией в тыл своих раненых. В течение нескольких дней д-р Хаапс принимал активное личное участие в организации противотанковой обороны, в том числе в закладке мин и сооружении других противотанковых заграждений. В ходе прорыва русских 18 августа д-р Хаапс, являясь одним из всего двоих оставшихся в живых офицеров, собрал вместе разрозненные остатки батальона и сумел организовать новые эффективные оборонительные позиции, чем внес очень существенный вклад в предотвращение вражеского прорыва к Ржеву».

Но для меня это были часы, дни и недели, переполненные кровью, невыразимым ужасом и страданиями. И самым лучшим вознаграждением был для меня тот факт, что каждый раненый, прошедший через мои руки, был благополучно эвакуирован. Конечно, некоторые из них умерли от своих страшных ран; ко многим из них я был вынужден применить самые грубые формы полевой хирургии для того, чтобы дать им шанс выжить в дальнейшем; но все они получили от меня все, что только я мог дать им, и ни один из моих раненых ни разу не попал в руки врага. Потери с нашей стороны были огромны, и поскольку я каким-то образом сумел уцелеть во всем этом, то оказался в 1942 году одним из наиболее награжденных фронтовых врачей Вермахта, а также был удостоен внеочередного звания штабсарцт и назначения на должность дивизионного адъютанта медицинской службы при оберфельдмарше Грайфе.

* * *

Так, с жесточайшими кровопролитными боями, мы удерживали Ржев до наступления зимы, а затем вынуждены были начать отступление, которое постепенно приняло необратимый характер. Война закончилась для меня уже на берегах Рейна, в одном из старинных фортов. Оказавшись в безнадежном окружении, мы в конце концов прекратили ставшее бессмысленным сопротивление и капитулировали. Ко мне подошел французский офицер, я сдал ему свой комиссарский револьвер, и на этом моя война была закончена.

* * *

...Я снова взглянул на письмо от фон Калкройта. Он писал мне о том, что уже пытался однажды организовать встречу ветеранов нашего полка в Биелефельде, но смог разыскать только обер-лейтенанта Райна из батальона Хёка и пришедшего к нам уже под самый конец лейтенанта Аустерманна. Оберст Беккер теперь уже вернулся, а когда писались еще только первые главы этой книги, он находился в Сибири, отбывая длительный срок заключения как «военный преступник». Зимой 1955 года, однако, он оказался в числе одной из самых первых партий немцев, все-таки освобожденных коммунистами. Жена Беккера не знала о его возвращении вплоть до почти самого последнего момента и, не веря своему счастью, встретила своего старика обратно практически с того света; старого вояку еще удавалось разговаривать на тему о свирепых боях за Ржев, но что касалось его пребывания в Сибири — то тут уж из него невозможно было вытянуть ни слова.

Престарелый Вольпиус закончил свою не слишком поражающую воображение карьеру военного врача в Сталинграде. Там же погиб и Крамер. Ламмердинг еще до капитуляции Германии был освобожден от военной службы в Вермахте по инвалидности в результате тяжелого ранения, полученного им у Гридино, и уже приступил было даже к изучению юридического права в Гейдельберге. Но тут союзные войска высадились во Франции и начали свое стремительное продвижение по ней. Ламмердинга мобилизовали снова, и уже через четырнадцать дней, сражаясь с неприятелем во главе приданной ему роты у Эйфеля, он получил пулевое ранение в живот, оказавшееся на этот раз смертельным. Барон фон Бёзелагер оказался единственным оставшимся в живых кавалерийским командиром из числа побывавших на Восточном фронте, но все равно погиб, пытаясь сдержать финальный натиск русских на Варшаву.

За несколько дней до письма от Калкройта я получил еще одно послание, адресованное «Дяденьке доктору»; пришло оно от семнадцатилетней Малиес Аппельбаум, дочери Генриха — той самой маленькой девочки, которой я рисовал картинки, побывав на ферме Генриха во время своего первого отпуска. «Мы до сих пор не знаем точно, что случилось с моим папой, — писала она. — Нам ничего не известно о нем начиная с 1944 года». Генрих погиб. Я знаю это точно, хоть у меня и нет достаточно весомых подтверждений этого. Генрих мертв просто потому, что он никогда не позволил бы себе сдаться в плен.

Мюллер? Вероятно, он был убит под Березиной, но утверждать этого точно я не могу. Возможно, он до сих пор в Сибири. Возможно, в Сибири до сих пор находится не только он, но и многие другие солдаты и офицеры 6-й Биелефельдской дивизии. Возможно, они так никогда и не вернутся назад. А может быть, они отправятся в свое далекое путешествие обратно к жизни уже завтра.

Глоссарий

Это прежде всего история 3-го батальона — одного из трех батальонов, составлявших 18-й пехотный полк. Этот и два других полка входили, в свою очередь, в состав 6-й дивизии (известной также как Биелефельдская дивизия или «Вестфальские гренадеры», поскольку большая часть ее солдат была призвана на службу из Вестфалии и с нижнего Рейна). Вместе с несколькими другими 6-я дивизия входила в состав Девятой германской армии, которая вместе с Второй и Четвертой германскими армиями, а также двумя бронетанковыми группами под командованием Гудериана и Гота составляла на Восточном фронте Группу армий «Центр».

На практике к каждой пехотной дивизии прикреплялся также один артиллерийский полк, один полк инженерных войск (которых называли саперами), разведывательный отдел, а также подразделения снабжения, интендантские части и части медицинской службы — доводя таким образом общую численность дивизии до примерно восемнадцати тысяч человек. В каждом полку, помимо трех составлявших его батальонов, имелись еще штабная рота, рота тяжелой артиллерии, противотанковая рота, а также военный оркестр, в результате чего общая численность полка составляла около трех тысяч шестисот человек.

Возвращаясь к нашему 3-му батальону, нужно также сказать, что каждый батальон, помимо трех составлявших его рот, вооруженных легким огнестрельным оружием (винтовками, автоматами и т. д.), имел также роту, вооруженную крупнокалиберными пулеметами, штабной взвод (который называли также взводом управления), а по мере необходимости подкреплялся еще и подразделениями тяжелой артиллерии из состава роты тяжелой артиллерии полка. В общей сложности каждый батальон насчитывал, таким образом, около восьмисот человек. Каждая рота батальона (около ста восьмидесяти человек) состояла из трех взводов.

Медицинская служба каждой дивизии — в нашем случае 6-й Биелефельдской — состояла из двух рот санитаров-носильщиков, одного полевого госпиталя, автомобильной роты санитарных машин и возглавлялась офицером медицинской службы дивизии, имевшим своего адъютанта и штат помощников. В общих чертах задача офицера медицинской службы батальона на передовой состояла в том, чтобы быстро оказать раненым первую медицинскую помощь, достаточную для того, чтобы они смогли выдержать дорогу до полевого госпиталя дивизии, где проводились уже более сложные операции. На практике же, как мы убедились из прочитанного, работа фронтового врача в России включала в себя очень много такого, что никогда не предусматривалось ни клятвой Гиппократ, ни уставами германской армии.

Звания германских вооруженных сил оставлены в таком оригинальном виде, в каком они были у автора. Им соответствуют следующие примерные эквиваленты званий, принятые в российской армии (в некоторых случаях точных эквивалентов просто не существует):

Генерал — *Генерал*

Оберст — *Полковник*

Оберст-лейтенант — *Подполковник*

Майор — *Майор*

Гауптман — *Капитан*

Обер-лейтенант — *Старший лейтенант*

Лейтенант — *Лейтенант*

Обер-фельдфебель — *Старишина*

Фельдфебель — *Сержант*

Унтер-офицер — *Сержант*

Ефрейтор — *Ефрейтор*

Солдат — *Рядовой*

Медицинская служба имела свои специфические звания: *начальник медицинской службы дивизии* имел звание оберфельдарт (*arzt* — нем. врач), а далее звания следовали в следующем нисходящем по старшинству порядке: оберштабсарт, штабсарт, оберарт, ассистензарт и унтерарт (курсант военно-медицинского учебного заведения).